

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й М И Р

Рабочие трудящиеся

1956

7

1956

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXII

№ 7

Июль, 1956 г.

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ. <i>Продолжаем разговор о школе</i>	3
Е. ПОМЕРАНЦЕВА — Начало большого пути	
Л. АЙЗЕРМАН — Живое и омертвевшее	

Ю. ГОРДИЕНКО — Туркменские стихи	31
ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ — Баллада из пограничья, стихи. Перевод с чешского Якова Хелемского	36
ВЛ. ЛУГОВСКОЙ — Памяти друга, стихи	39
С. ЗАЛЫГИН — Свидетели, повесть	44
ВАСИЛИЙ КАЗИН — Лирические стихи	86
ТИЦИАН ТАБИДЗЕ — Стихи разных лет. Переводы с грузинского Б. Пастернака и Н. Заболоцкого	90
КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН — Под взглядом многих скорбных глаз... Стихи	95
БРУНО ЯСЕНСКИЙ — Заговор равнодушных, первая часть неоконченного романа Окончание	96
РАСУЛ ГАМЗАТОВ — Грузинским девушкам, стихи. Перевод с аварского Я. Козловского	144
БЕРНАРД ШОУ — О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории, одноактная пьеса. Перевод с английского И. Гуровой; Ответ простакам, отрывки из радиоречи	146
ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ — Рембрандт. Перевод с немецкого Р. Розенталя	163
ПУБЛИЦИСТИКА	
АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ — Рабочие поля	163
Трибуна писателя	
ВЛ. ЛИДИН — Путь книги	184
ДНЕВНИК ИСКУССТВА	
А. КАМЕНСКИЙ — Размышления у полотен советских художников	190
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	204
Л. Эйшлин. Литература и план.— Вл. Рубин. Автор, гонимый, книга.	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Л. МИХАЙЛОВА — Слушая читателя и читая критиков... (Поездка в Закарпатье)	212
ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ	
АННА ҚАРАВАЕВА — По поводу повести А. И. Шубина	242
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
В. Перцов. Не только объяснять, но и изменять! — Е. Старикова. Народ — это люди.— А. Коган. Дыхание нового.— С. Липкин. Власть разума.— Бор. Ефимов. Мастерство иллюстратора.— А. Илупина. Живой Рахманинов.— Л. Симонян. Об одном рассказе Кришана Чандра.	246
<i>Политика и наука</i>	
Кандидат исторических наук М. Юрьев. Героическая эпопея китайского народа.— А. Иглицкий. Политика национальной катастрофы.— А. Тимашев. Успехи польской географической науки.— Г. Менделевич. Горький — пропагандист науки.— Член-корреспондент Академии наук СССР В. Ковда. Исчезнувший остров.— Инженер А. Морозов. Путь к машине.	263
ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО	
В. Шепелев. Новые документы о Льве Толстом.— Мих. Цунц. Судьба Падунского порога.	275
РЕПЛИКИ	
Действительный член Академии художеств СССР М. Алпатов. Музеи и кинематография.— Н. Богословский. Ещё раз о словарях.— Ан. Шишко. Историческая тема.	278
МЕЖДУ ПРОЧИМ...	
Фаст не этого хотел...— Кто написал «Бориса Годунова»? — Пожалейте учащихся! — Арбуз не арбуз...	281
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ

Продолжаем разговор о школе

Есть одна область жизни, которая так или иначе касается всех. Это — воспитание растущих поколений.

Из года в год к профессору приходят новые студенты, к мастеру — рабочие, к генералу — новобранцы. В материале заготовки, из которой токарь должен выточить деталь по чертежу, заложены свойства будущего изделия. И в характере юноши, прежде чем он станет инженером, моряком, рабочим, есть уже черты человека, каким его сделали дом, школа и его эпоха. Школа не всегда знает, что выйдет из ученика, но за «качество материала» она отвечает. Вырастить молодых граждан нашего государства физически крепкими, богатыми духовно, жизнеспособными, воспитать их по-ленински правдивыми и непримиримыми, научить деятельной любви к Родине — что может быть увлекательнее и благороднее труда учителя!

На XX съезде КПСС были подвергнуты строгой критике недостатки нашей общеобразовательной школы. Наиболее крупный из них — известный отрыв обучения от жизни, недостаточная подготовленность выпускников школы к практической деятельности. Борьба за технический прогресс, призыв партии и правительства к комсомольцам, к юношам и девушкам взяться за освоение восточных районов страны ещё раз подчеркнули значение политехнического обучения.

Понятно и естественно высокое побуждение, которое заставляет отцов и матерей предъявлять строгий счёт педагогам. Вместе с тем у педагогов есть свой встречный счёт: к Министерству просвещения, к Академии педагогических наук, к родителям, есть интересный опыт, о котором нужно рассказать, мысли, которыми полезно поделиться.

В начале учебного года, в сентябрьской книжке «Нового мира», редакция подняла разговор о воспитании в школе. Сейчас, в преддверии нового учебного года, редакция сочла необходимым продолжить разговор о воспитании молодёжи.

* * *

Е. ПОМЕРАНЦЕВА

НАЧАЛО БОЛЬШОГО ПУТИ

Наша партия и Советское государство будут и впредь воспитывать нашу молодёжь идейно и физически закалённой, умеющей овладевать вершинами науки и в совершенстве владеть новой техникой, не боящейся трудностей, а способной преодолевать их, не боящейся свежего ветра новостроек, не чурающейся крепкого рабочего труда.

К. Е. Ерошилов
(Из речи на XX съезде КПСС).

1

Вы только открыли дверь — и даже чуть отшатнулись: уши гложут от грохота и визга, в нос бьёт крепкий вкусный запах сосны, а глаза оказываются в плену такого весёлого ритма работы, что хочется подойти к Владимиру Петровичу и изо всех сил крикнуть ему (иначе он не слышит):

— А мне что можно делать?

Но вы не сразу найдёте Морозова. Склонившись над верстаком, где-то в глубине мастерской, он объясняет девочке в тугой, до бровей косынке, как держать полуфуганок.

Вы ждёте, пока он освободится, и тем временем начинаете различать, что визг идёт от циркульной пилы, грохот — от большого деревянного барабана, ручку которого крутят двое ребят, а скрежет и жужжание — от токарного и фрезерного станков. Посреди мастерской на верстаках лежит остов разборной байдарки, в двух больших ящиках сложены готовые рукоятки для стамесок и другие искусно выточенные детали. И постепенно станет ясно: азарт, с которым семиклассники пилят, шлифуют, обтачивают дерево, — это не забава, а серьёзная работа.

Паренёк, размечающий доску по шаблону, на минуту отвлекается и коротко объясняет:

— Это колодки для сумок к полевому биноклю... Заказ фабрики «Кожаные изделия».

Рядом, за токарным станком, работа не ладится. Владимир Петрович спешит на помощь, и вот уже две рукоятки для стамесок готовы.

— Так делай. Понял?

Витя-«токар» рукавом утирает взмокший лоб, шаркает по полу валенками с огромными, как вёдра, голенищами и не очень уверенно кивает:

— Ага! Понял.

Вставляет новую заготовку — и портит её.

— Всё время получалось, — оправдывается он, — а теперь не получается!..

Витя прилаживается к станку и так и этак — дело пока не идёт. Но всё-таки он важничает перед девчонкой-непоседой, которой не стоит на своём месте, у верстака:

— Токарный станок — он самый ответственный!

Владимир Петрович проходит за его спиной, задерживается на мгновение и идёт дальше. Витя даже не замечает его. Насупившись, стиснув зубы, он морщится, щурится от летящей в него стружки, упорно ищет секрет.

Минут через десять Морозов, невзначай будто, подходит опять:

— Ну, вот и пошло, да?

— Ага!

— Кто ж тебе показал?

— Никто. Сам догадался...

У окон, за верстаками, «столяры» машут рубанками с таким пылом, что педагогу всё время приходится напоминать: главное — не сила, а ловкость и верный глаз. Стружки вылетают, цепляются за одежду, за волосы. Здесь готовят детали будущих байдарок будущего флота 568-й московской школы.

И вдруг будто уши ватой набили: такой плотной оказалась тишина. Владимир Петрович выключил рубильник — всё сразу остановилось.

— Сдать инструмент, убрать рабочее место! — чётко распоряжается Морозов. — Стамески, молотки — в шкаф. Начальник смены! Назначить трёх дежурных!

У дежурных куча помощников. Кто бежит за водой, кто выгребает пушистые опилки из-под станка, кто ничего не делает, просто трогает руками готовые детали — это тоже очень приятно.

Теперь, в тишине, можно разговаривать.

— Пришёл я преподавать машиноведение, — рассказывает Морозов, — а пришлсь взять на себя и мастерские и занятия по труду. Начинать было нелегко: ни инструмента, ни станков; а что имелось — всё в беспорядке. Шефы с фабрики «Кожаные изделия» выделили нам мастера. Я ему говорю: «Давай полуфуганки хоть сделаем». Сделали. Потом станки установили. Фрезерный станок я сам собирал. Старую станину нашёл на фабрике. «Отдайте», — говорю. Дали. Ну и всё остальное к ней подобрали постепенно...

Судьба новшеств напоминает судьбу растения. Высадят его в неурочную пору, неумело — и оно чахнет. А сделают это во-время, когда природа готова его принять, позаботятся о нём — глядишь, уже дало ростки, тянется кверху. Политехнизация в средней школе как раз таксе растение, которое высажено во-время. К сожалению, как всякая новая культура, поначалу она получила признание у немногих. Но там, где в неё поверили, уже приносит первые плоды.

568-я московская школа одна из первых ухватилась за идею политехнического обучения. В политехнизации увидели в школе не незваную гостью, не обузу, а помощницу. Не только, как многие другие, ввели два-три новых предмета и успокоились, но установили для шестых и седьмых классов практические занятия в мастерских, добились заказа фабрики «Кожаные изделия», чтобы подработать денег на летний туристический лагерь.

Очевидно, главное в том, что это дело начато убеждёнными людьми. Обычно человек плохо переносит резкую перемену климата. Можно сказать, что в 568-й школе стремятся максимально приблизить климат школы к климату жизни. Задача не из лёгких, в одиночку с ней не справиться самому опытному педагогу. Она требует от учителей продуманной системы, согласованных действий, чувства локтя.

Как-то ещё зимой, на заседании партбюро, шла речь о летней работе. Докладывала молоденькая учительница-биолог, деловито переворачивала странички тетрадки: за каким классом закрепить яблони, за каким — вишни, кто будет ухаживать за цветами.

— Один участок отдадим звену высоких урожаев. Каждый из юннатов возьмёт себе по грядке, посадит, кто хочет, и сам за неё будет отвечать. Кукурузу посеём в двух местах: отдельно на зелёную массу и отдельно до молочно-восковой спелости. Семена просить будем у колхоза, где летом работали. На опытном участке покажем основы севооборота: полевого и овощного. Кроме того, сделаем прививки: томата на картофель, дыни на тыкву... Осенью устроим праздник урожая, подведём итоги.

Не успела она закрыть тетрадку, со всех сторон посыпались вопросы и советы. В том, с какой страстью обсуждались детали летней работы, в том, что преподаватели жертвовали частью отпуска — надо ехать с ребятами в колхоз, в туристический водный лагерь, — чувствовалось желание сберечь начатое, дать ему окрепнуть.

И было понятно, почему между «колхозниками» и «лагерниками» пошла самая настоящая тяжба из-за одного преподавателя.

— Нельзя его в колхоз посылать. Бездушный человек. В прошлом году ребята были очень им недовольны, — озабоченно сказала Татьяна Сергеевна Морозова, директор школы.

— Может быть, в лагерь его, а из лагеря кого-нибудь в колхоз?

— Нет, — твёрдо ответили неподходящую кандидатуру «лагерники». — Нет, иждивенцы нам не нужны!

А вечером, на совете лагеря, уже не у взрослых — у ребят прозвучала та же мысль.

Вместе с политехнизацией в школе начался сдвиг во взаимоотношениях. Обычно — педагоги дают, ученики берут — стало выглядеть иначе. Ребята учатся не только брать у школы, но вместе с педагогами строить её.

Водный туристический лагерь школы — одна из попыток создать привычку к самостоятельности в решениях и поступках.

На совете лагеря, как равные, сидят и шестиклассник, который гордится и смущён новой ролью, и подчёркнуто независимый девятиклассник,

и совсем взрослый выпускник. Ничто, однако, так не говорит о разнице возрастов и характеров, как причёска. У шестиклассников макушки попросту острижены наголо. Там же, где по трое втиснулись за парты представители седьмых классов, уже торчат непокорные вихры. Но, верно, ни одна модница не продумывает оформление своей головки так тщательно, как пятнадцатилетний школьник. Справа, у окон, собрались зачёсы меланхолические, задорные, небрежные, зачёсы-гордость и зачёсы-мука, которые никак не хотят лечь,— это, конечно, восьмые и девятые классы. Только у девочек, независимо от возраста, косички и банты, косички и банты... Впрочем, сейчас это уже не ученики и ученицы, а командиры групп, завхозы по питанию, по имуществу, «контр-адмирал», метеоролог, казначей — народ ответственный, строители и руководители будущего лагеря.

Хотя вместо академически привычного колокольчика председатель, требуя тишины, взывает к собравшимся: «Ну, тише, вы!» — и обращается к членам совета лагеря нередко просто по школьному прозвищу: «Кузьмич, ты чего узнал про палатки, давай доложи»,— на совете лагеря решаются все важнейшие проблемы: какой в этом году в лагере будет флот, куда отправиться в поход, как распланировать лагерный участок, кого принять, кого исключить из лагеря.

На совете лагеря всегда есть педагоги, однако своего мнения они не навязывают, а только предлагают обсудить: «Пусть совет решит», «Как думает совет?» — лагерь основан на принципе самоуправления. Но так как от учителей исходит всё самое интересное — идея своей собственной пристани, маршруты походов,— их выслушивают в полной тишине, которая в школе, как известно,— и внимание, и уважение, и аплодисменты.

Средств у лагеря нет никаких, планы же — самые размахистые. Родители могут покрыть только часть расходов. Поэтому совету лагеря пришлось поработать — собирать бумагу и железный лом, устраивать платный концерт и, конечно, как можно больше сделать в своих мастерских.

Группу ребят отправили в Министерство морского флота просить списанные из воинских частей шлюпки: «Лагерь у нас водный, нужен флот!» Военные начальники посмотрели на необычных просителей сочувственно, поинтересовались: «А миноносцы вам не подойдут?» — и разрешили взять шлюпки.

В тот вечер на совете лагеря речь шла как раз о ремонте лодок.

— Попросить на ЭМИЗе, пусть шефы сделают! — крикнул долговязый семиклассник.

— Эх ты,— укоризненно ответили ему.— Всё шефы да шефы, а мы что — иждивенцы? Сами сделаем. Надо только решить, какому классу поручим...

(Невольно вспоминается грустная картина: в одной из так называемых «базовых школ» Академии педагогических наук, где есть образцово оборудованные кабинеты по машиноведению, по электротехнике, где немало занимаются политехнизацией, в пустом коридоре одиноко стоит преподаватель по труду и вытаскивает гвозди из старых досок от ящиков, наваленных огромной грудой. А что же ребята?.. Ребята придут на готовенькое и аккуратно выполнят урок по программе.)

Но и мастерские и лагерь — мир школы, замкнутый в границах её законов. В большую жизнь школьника вводят семья, товарищи, нередко — «улица». С политехническим обучением появились новые точки соприкосновения с внешним миром и прежде всего — дружба с шефами.

Дружба начинается с доверия. На первых порах 568-й школе пришлось буквально завоёвывать доверие фабрики «Кожаные изделия» и Электромеханического инструментального завода (ЭМИЗ). Прибрали заводской двор, потом добились разрешения бывать в цехах, наконец, добрались до главного — встали к станкам. Летом даже помогли шефам — поехали вместо них в колхоз. Предприятию было выгодно: рабочие стали в цехах. Школа же обогатилась и в прямом и в переносном смысле. Заработали полторы тысячи трудодней, завязали новую дружбу — с колхозом.

Дружба начинается с доверия, работа — с эксперимента. Не только дирекция 568-й школы, не только руководитель производственной практики, преподаватель физики Василий Арсеньевич Костюшин, но и дирекция завода, и начальники цехов, и мастера, и рабочие оказались вовлечёнными в этот эксперимент. Это были настоящие творческие поиски — со своими срывами и взлётами, надеждами и разочарованиями, поиски правильных взаимоотношений школы и предприятия.

Наряду с экспериментом педагогическим шёл и психологический эксперимент. Все участники его единодушно утверждают, что работа на заводе делает ребят серьёзнее, собраннее.

— Дико же безобразничать, когда кругом люди трудятся, — как о чём-то само собой разумеющемся, говорит директор ЭМИЗа Георгий Андреевич Мастерков.

Десятиклассники приходят на завод раз в неделю. Юноши в механическом цехе осваивают станки, девушки заняты на электромонтажных работах. Впрочем, Валя Сухова не захотела оставаться на сборке, встала к токарному станку, и теперь товарищам приходится равняться по ней.

«Монтажницы» собираются стайкой у проходной. Пёстрые шарфики, яркие вязаные шапочки — обыкновенные девочки-десятиклассницы. В цехе они надевают фартуки и косынки — и уже не отличить их от заводских работниц.

Они, конечно, немного робеют. Верно, потому молодого, перемазанного машинным маслом рабочего так и тянет подразнить их.

— И кому это нужно? Вам бы сейчас на каток самое время, — подмигивает он.

Девушки, стараясь не улыбаться, сосредоточенно рассматривают чертежи. Другой рабочий, постарше, шлёпает насмешника ладонью по спине:

— Ну-ка, беги, куда послали, слышишь?

А сам серьёзно и терпеливо начинает заниматься со школьницами. Приучает читать чертежи, показывает готовую модель, сам делает первую заготовку.

— Вот, смотрите! Ножницы зажмите в тиски. Раз — обрезали, теперь поворачиваете лист в ножницах, чтобы обрезанный край не мешал. Потом вот тут ровненько возьмёте. Ну, а эти уголки вырезать — это уже проще пареной репы...

Ученицы у него разные, у каждой своё отношение к делу и своя хватка. Одна, с задорно задранной носом, одетая не к месту парадно и ярко, откровенно тяготеет работой. Вырезать из листа корпус для реле ей не хочется, неинтересно. Вот она взяла ножницы, укрепила их в тисках, кокетливо оттопыривая мизинец, нажала на рукоять — и ничего не отрезала. Лист вырвался из рук, полетел, громяхая, на пол. Досадуя на себя, она заложила его снова, опять надавила на рукоять — всё напрасно. Стиснула зубы, навалилась — какое уж тут кокетство! — изо всех сил... Мастер даже пожалел её:

— Давайте я сделаю. Сила-то здесь ни при чём...

А тут как раз и пошло.

— Не надо, режет, режет уже!

И сама бы никогда не поверила, что так обрадуется...

Тем временем её подружка другими ножницами успела вырезать свою заготовку и ждёт, когда её покажут, что делать дальше. Волосы она подвязала простым платком и работу выполняет охотно и ловко.

Третья, худенькая, молчаливая, долго примеривается, присматривается, работает медленно-медленно — так и хочется помочь ей. Но мастер внимательно следит за ней минуту-другую и споккойно отходит к остальным. Когда же все заготовки кончены, её работу можно отличить сразу: она не просто хорошо — красиво, артистически выполнена.

Казалось, и вправду проще пареной репы. А пришлось самим разбирать чертёж, подбирать свёрла по диаметру — глядишь, и пролетело два часа. Сложили свои заготовки отдельно, на всякий случай ревниво напомним мастеру:

— Только, пожалуйста, пусть их никто не трогает. Мы сами всё до конца будем делать. И сами в ОТК понесём, хорошо?

Начальник цеха Электромеханического инструментального завода Николай Алексеевич Капралов стал одним из первых помощников школы. Опытный инженер (и сам — отец двух детей), он вдумчиво анализирует пройденное:

— Что вам сказать? Мы это дело в прошлом году начали и, если правде говорить, ещё как следует не понимали, к чему оно. И я не понимал. Мы так думали: пусть ребята на заводе побудут, меньше времени у них для баловства останется. Прикрепили к рабочим по четыре, по пять человек. А рабочим даже понравилось. То, что он сам делать не хочет, ребятам поручает — сходить куда надо, гайку завернуть... Навыков, знания технологии, так сказать, квалификации мы тогда ещё не давали. Начали ребята скучать... Прохожу, вижу — бродят по цеху. Тут я задумался: что делать? Посоветовались мы, изменили характер работы. Раньше они случайные задания выполняли, что мастер скажет. Теперь, под руководством опытных рабочих, сами с начала до конца собирают весь узел и сами несут в ОТК. А контролёрам я особое внушение сделал, чтобы со школьником спрашивать, как с рабочим. Пусть сразу приучаются, поймут — на заводе нужны точность и упорство.

Средних лет, худощавый рабочий, заглянувший к начальнику цеха, присел, послушал, добавил, усмехнувшись:

— И мы так... Когда ученик работает неаккуратно, мы ему настроение портим. Заставляем по нескольку раз переделывать. А вообще — хорошие ребята, грамотные. Чертёж начинаешь объяснять, а они сами уже всё схватывают.

— Теперь, когда они весь узел самостоятельно собирают, — продолжал Николай Алексеевич, — им уже не хватает двух часов, хочется больше поработать. Так сказать, из-за стола голодные вылезают. И если хотите моё мнение знать, — два часа в неделю действительно маловато. Четыре часа надо по-настоящему. Я так и на совещании выступал по этому вопросу. Спрашивали меня: не будет ли перегрузки? Знаете, хорошая есть пословица: «Работаешь сидя — отдыхай стоя». Устают они в школе? Конечно. Но ведь у них одна голова устаёт. А тут им тот же отдых и энергию есть куда приложить...

Педагоги стали на заводе своими людьми. В школе нет ещё кабинета по машиноведению, поэтому часть занятий с восьмиклассниками и девятиклассниками тоже пришлось перенести в цехи ЭМИЗа. И никакое наглядное пособие, никакой учебный кинофильм не даст, конечно, того эффекта, как непосредственное знакомство с работающими станками.

Преподаватель расставляет ребят по одному около станков, даёт время в них разобраться. Рабочие принимают школьников дружески, доброжелательно.

Толя Швайко целые дни пропадает в школьной мастерской и станок знает так, как деревенские мальчишки знают повадки лошадей. Он даже

огорчён, когда преподаватель задаёт ему последний вопрос и отходит: интересный разговор, его можно было бы продолжить!

Соседу Толи не везёт. Он сбился, путается, а его «шеф» — молодой токарь — так переживает за него, будто всю жизнь сидел с ним за одной партой. Выпятив губы, он беззвучно подсказывает своему подопечному. И с жаром заступает за него:

— Он знает. Он мне рассказывал. Он все названия знает, я ж его тоже спрашивал...

Впрочем, иногда в общий гул одобрения, с которым встречаются школьники на заводе, врывается, вроде помехи во время радиопередачи, суховатый голос скептика:

— Может случиться и так: посмотрит парень, как рабочий трудится, и задумается, стоит ли ему к станку становиться, чугунную пыль глотать. Или лучше пробиваться куда почище...

Однако опасения скептиков не оправдываются. С осени девятиклассникам предстоит начать производственную практику. Но уже в этом году во время занятий по машиноведению они успели облюбовать себе кто — токарный, кто — фрезерный станок, а кое-кто — пневматический молот кузнеца.

Работа начинается с эксперимента, успешный эксперимент позволяет наметить пути дальше.

Педагог видит плоды своих усилий порою спустя годы. Отдельная удача, разумеется, приносит ему временное удовлетворение. Но уверенность приходит только вместе с созданием последовательной системы в обучении и воспитании. В. Костюшин и В. Морозов осмотрели все закоулки в цехах завода, взяли на учёт каждое рабочее место. Педагоги строят свой план, заглядывая далеко вперёд:

— Через два года подрастут нынешние седьмые и шестые классы. Их можно будет ставить и на более сложные участки, скажем, к модельщикам. Предварительно в школьных мастерских они научатся работать по дереву и по металлу. Это будут уже совсем другие школьники...

4

Путь от эксперимента к перспективному плану, путь исследователя и новатора, прошла и другая — 569-я московская школа. Совместно с работниками Министерства цветной металлургии здесь разработана подробная программа изучения основ производства на базе Московского медеплавильного и медеелектролитного завода имени Молотова, с которым школа связана уже два года.

— Теоретические познания учащихся в области физики, химии, машиноведения, электротехники должны приобрести конкретность, практический смысл, — рассказывал о новой программе директор школы Николай Иванович Маклаков своим гостям — работникам просвещения Узбекистана.

Гости внимательно слушали, делали в блокнотах заметки.

— Очень, очень интересно...

Разговор шёл под аккомпанемент не совсем обычный: за дверью директорского кабинета высокий юноша в лыжной куртке, забравшись на стул, работал электросверлом.

— Мешает нам, будь он неладен, — поморщился директор и, втайне гордясь, небрежно объяснил: — Телефонную линию проводит.

Гудело невыносимо. Николай Иванович не выдержал, поднялся:

— Пошёл бы ты погулял. Ты нам разговаривать не даёшь!

— Мне ещё немножечко осталось, — жалобно попросил «монтер»

— Минуту, две?

— Не-ет, побольше... — вздохнул юноша, слезая со стула.

— Физик у нас новый,— продолжал рассказывать директор.— Прямо надо сказать — энтузиаст! Моторы раздобыли старые, списанные со склада, двенадцать штук. Три уже собрали. Теперь вот телефон ставят. Конкурент тебе и соперник, а? — обратился он к присутствовавшему при разговоре преподавателю химии.

— Зачем же соперник? Помощник! — мягко улыбнулся из-под мохнатых бровей Григорий Евтихиевич Васик. — Моторы они собрали, а куда их приспособить — не знают. Я говорю: нам дайте, в химический кабинет. Мы вытяжную установку сделаем и будем вести опыты прямо на столе. Сколько приходится во время урока бегать к вытяжному шкафу и обратно. Будто бы пустяк, а какую даст экономию времени!

Человек интересен пристрастием, изюминкой. Школы — тоже. В 569-й школе такой «изюминкой» стала химия. Можно ничего не знать о хозяине, только приглядеться повнимательнее к химическому кабинету — и многое будет ясно.

Хитроумное переплетение проводов и шлангов на столе преподавателя, множество штепселей на стенах. На окнах, на учебных столах — всюду самодельные приборы. Их много — значит тут заботятся о том, чтобы каждый мог сам проделать, а не только посмотреть опыт. В кабинете висят большая электрифицированная карта полезных ископаемых, таблицы, схемы — всё сделано членами химического кружка. А в конце кабинета, в шкафу, собрана специальная библиотека, где большинство книг с надписью: «В подарок химическому кабинету...»

На столике в лаборантской, в гуде других книг, лежит сборник «Роль труда в производственном обучении», раскрытый на статье Г. Е. Васи́ка. Многие места подчеркнуты, на полях «галочки» и пометки. Очевидно, готовится её переиздание. Тут же в разорванных конвертах сложены письма бывших учеников — слова благодарности и привета, поздние раскаяния в озорстве и наивные мальчишеские обещания стать лучше...

Вещи говорили об уме, сердце, работе хозяина — об уме беспокойном, о щедром сердце, об упорной работе с утра и допоздна. Не случайно вместе с директором школы Григорий Евтихиевич стал одним из страстных сторонников идеи политехнического обучения. Завод он воспринимает так, будто тот специально создан в качестве учебного пособия по курсу химии. И экскурсию учеников проводит сам, без помощи инженеров.

...На заводе шла своя жизнь. Катились вагонетки с ломом. Крановщица, позванивая, увезла раскалённый шлак в огромном ковше («Ну и ковшичек!» — ахали школьники). Началась разливка бронзы.

Григорий Евтихиевич уверенно ведёт класс за собой.

— По этим трубам подают в горн воду, по этим — воздух,— объясняет он и тут же для наглядности повёртывает рычаг. Ребят хлестнуло воздушной струёй. Подставляли руки, лица, смеясь, отскакивали в сторону.

— А теперь скажите: можно этот лом просто переплавить — и всё?

— Нет.

— Тут же примеси!

— Нужен восстановитель.

Воздух, вода, простое бревно становились сообщниками, освобождая медь от посторонних примесей; никель оказывался самым лукавым, настойчиво шёл за медью из горна в конвертор, из конвертора — в анодную печь. Григорий Евтихиевич шагал с одного места на другое, ребята обступали его, по-гусиному вытягивали шеи.

Рабочий хватал чурку, насаженную на металлический прут, сгонял сверху шлак с неотвязным никелем. На лицах ребят появлялось недоумение: разве ж это дело — работать вручную?

— Надо прибор придумать или приспособление, — недовольно басил аккуратно одетый мальчик.

— Ну и придумай! — поддразнил другой. — Вы ж с Вовкой, известно, изобретатели!

— И придумаем, — упрямо, с вызовом ответил тот.

Школьники уже не чувствовали себя беспомощными в неразберихе труб, вагонеток, вспышек пламени, льющегося металла, шлака. Всё стало понятным: для чего крановщица опять потащила ковш в дальний угол цеха, как работает разливочная машина, каким образом в узкое горло печи загружают металл.

Школа намерена продолжать свою работу на заводе, чтобы ребята могли получить практические навыки. И завод охотно идёт навстречу школе. Когда слушаешь директора Медеплавильного завода Григория Атаровича Абова, кажется, будто подшефная школа — ещё один из цехов его завода.

— Есть у нас в школе мастерские, — говорит он, — слесарные и токарные. Станки мы там поставили, мастеров дали. Сейчас освобождается один класс, там у нас будет кабинет электротехники. Всё оборудуем по последнему слову науки. С заводом школьники знакомятся во время экскурсий. Но экскурсия — это одно, а кроме того, надо обязательно дать им своими руками попробовать, почувствовать вкус к работе. Надо помочь ребятам найти себя. Школа — не ремесленное училище. Училище имеет определённый профиль и выпускает рабочих этого профиля. Школьная практика — совсем другое дело. Ребята должны как можно больше увидеть, узнать, постараться найти себе дело по призванию, по душе. И если человек хочет быть токарем, мы обязаны ему помочь. Учёбе же это не помеха. Даже наоборот, более серьёзным становится отношение, скажем, к физике, к химии, к черчению.

— Большое дело начато, важное, государственное дело! — убеждённо закончил директор завода и с горечью добавил: — Вот только делается оно медленно, кустарно, несерьёзно...

5

Бывает, что новшество годами, как в зимней спячке, без движения лежит в папке с надписью «Дело». Попав от бюрократов к людям творческим, оно, как сказочный Буратино, оживает и начинает бороться за свою жизнь. Идее политехнического обучения удалось наконец вырваться из министерских папок. Но трудно представить себе, каких усилий стоит ей завоевать право на существование.

— Право? На существование? — недоуменно спросите вы. — Да о чём, собственно, идёт речь, когда и Девятнадцатый и Двадцатый съезды партии высказались за политехнизацию, требуют, чтобы её заботливо поддерживали.

И всё-таки факты есть факты. Политехнизация во многих отношениях существо беспаспортное, бесправное. Правда, в докладных записках и документах Министерства просвещения, на страницах брошюр и в планах объёмистых монографий Академии педагогических наук она существует вполне легально, больше того, на первый взгляд занимает главное место среди других проблем — ей и внимание и почёт, о ней только и разговоры... Когда же мы встречаемся с политехнизацией в школе, она больше всего напоминает подкидыша, которого бескорыстно, по доброте сердечной подкармливают разные славные люди.

До сих пор работа школьников на заводе держится на одном только добром желании директора. А доброе желание, по меткому выражению

Г. Абова, — «величина переменная»; на одном заводе один директор, на другом — другой, этот хочет помогать, тот не хочет.

— Дело это государственное, и решать его надо по-государственному, — говорит директор ЭМИЗа Георгий Андреевич Мастерков. — Помоему, Министерство просвещения должно пресить Совет Министров обязать заводы, фабрики, МТС, колхозы, совхозы ввести у себя производственную практику школьников. Нам важно, чтобы ребята выходили из школы разносторонне образованными и чтобы не боялись завода. А то некоторые как научились в первом классе ручку держать, так и думают всю жизнь с ручкой в канцелярии просидеть. Надо дать возможность школьникам переходить из цеха в цех, с завода на завод, а там уж пусть выбирают.

Предположим, что на косного, упрямого директора можно найти управу — обратиться к вышестоящим организациям. Но даже директора-энтузиасты могут сделать совсем не много: списать часть оборудования школе, помочь из директорского фонда.

И тут мы сталкиваемся с первым удивительным противоречием. О политехнизации в школе, в частности о производственной практике, выпущено немало брошюр и книг. О работе ребят на станках пишут в газетах, показывают кинохронику. А вместе с тем ни завод, ни школа не имеют права оплатить рабочим время, которое они тратят на обучение школьников.

— В ремонтном цехе у нас работа идёт сдельно, — рассказывает директор Медеплавильного завода Г. Абов, — рабочему дорог каждый час; от этого зависит его заработок. А мы приводим ему ребят. Он вынужден отрываться от своей работы. У нас на заводе к школе относятся очень хорошо, тем более, дети — наши, из нашего посёлка. Но сколько может бесплатно человек работать? Ну, месяц-два он на энтузиазме продержится. А дальше что? Не могу же я его приказом обязать оставаться после работы и даром трудиться. База нужна, прочная материальная база. Тогда дело пойдёт как следует, тогда мы дадим ребятам трудовые навыки, а тех, кто хочет, хоть по четвёртому разряду выпустим...

Ни одному агроному не придёт в голову оставить без подкормки новый сорт ценной культуры. Хороший садовод старательно окутает деревце, прикроет снегом, чтобы его не побил морозом. А здесь повзое — и такое важное! — дело остаётся без поддержки, может захиреть оттого только, что неизвестно, когда Министерство просвещения добьётся ассигнований на оплату производственной практики школьников.

А вот второе противоречие: педагоги, которые занялись вопросами политехнизации, руководят производственной практикой, делают это главным образом «на энтузиазме». Приглядитесь к ним, и вы увидите, что народ это одарённый, бескорыстный, увлекающийся. В то время как иной учитель, проведя положенное число уроков в одной школе, торопится в соседнюю, чтобы немного приработать, энтузиасты часами проводят время с учениками в мастерской или на заводе, иногда вздыхают: трудно, семья, дети — и всё-таки вкладывают душу и работают, не щадя сил.

Да, политехнизация в школе — существо пока что беспаспортное. И живёт она, так сказать, без прописки — мастерские в школах оборудуются, а ни должности заведующего мастерскими, ни лаборанта, ни попросту слесаря нет. Приходится эти обязанности брать на себя дополнительно и опять-таки бесплатно или преподавателю машиноведения, или учителю по труду.

Политехнизация не только живёт без прописки, но и ходит в нахлебниках: выпрашивает у шефов по кусочку — то дерева, то металла для работы в школьных мастерских. Некоторые школы, которым обидно показалось «переводить дерево на стружку», стали действовать на свой риск и страх. Так, 568-я школа решила взять заказ у фабрики «Кожаные изде-

лия». Опыт оказался удачным, теперь школа думает перевести свои мастерские на хозрасчёт.

Школа экспериментирует, школа думает, школа хочет... А многое ли школа может? Есть ли у неё возможность экспериментировать, если из-за каждой, даже небольшой, суммы денег нужно испрашивать разрешение и ждать, пока бумага пройдёт долгий путь из района в гороно, из гороно — в министерство и обратно по инстанциям?

Школы, о которых мы говорим, входят в Москворецкий район, и надо сказать, им повезло, потому что заведующий районо Георгий Васильевич Гасилов сам инициатор, энтузиаст, убеждённый сторонник политехнизации. Но им тоже нелегко даётся каждый самостоятельный шаг.

Директор одной из школ, человек деятельный, не с одним десятком лет директорского опыта за плечами, целый год добивался средств на оплату труда рабочих, обучавших ребят его школы.

— Ходил, просил, писал, доказывал — и бросил. Бросил! Понимаете — устал... Не хватает меня. А ведь ещё экзамены впереди, выпуск...

Он не слабый человек, этот директор. Он стучался в разные двери — в министерство, в Академию педагогических наук. И нигде не получил ответа.

6

В Академии педагогических наук вопросами политехнизации занимаются и Институт методов обучения, и Институт теории и истории педагогики, и специальная комиссия, созданная при президиуме АПН.

Несомненно, многие сотрудники стараются изучать опыт школ, использовать его для методических пособий, в работе над новыми учебниками. Но эти усилия идут, так сказать, вопреки системе работы, принятой в Академии педагогических наук.

— Это маленькая академия, которая играет в большую академию — Академию наук. Институты, сектора — всё это не так уж и нужно, — с горечью сказал один из её сотрудников. — А нужно прежде всего, чтобы были опытные школы с мастерскими и лабораториями, хорошим составом педагогов, с коллективом научных сотрудников, иначе что мы можем делать? Ничего.

Для того, чтобы понять, насколько далека от реальной жизни та же комиссия по политехнизации при президиуме АПН, достаточно привести такой эпизод.

Назначено было заседание по вопросу о производственной практике. Зал — большой и торжественный, со множеством кресел в солидных чехлах. Список членов комиссии тоже большой и серьёзный: научные сотрудники академии, директора школ, директора заводов, учителя... Но ни директора школ, ни директора заводов, видимо, уже по опыту зная, что это им ничего не даст, на заседание не пришли. Поэтому в зале оказалось много пустых кресел.

Начали с повестки дня.

— Доклад об учебных пособиях для школы придётся отложить: нам надо обсудить план главы пятнадцатой монографии по вопросам политехнизации.

— Очень жалко! — крикнули с места.

— Почему — жалко? — удивился председательствующий.

— Жалко! Школа не ждёт. Ей пособия до зарезу нужны.

— Ну, знаете, — маститый председатель даже улыбнулся наивности вопрошавшего, — от того, будем или не будем мы тут обсуждать, школа не получит пособия ни раньше, ни позже.

— Очень плохо! — опять заметил тот же учитель.

— Что поделаешь, — грустно развёл руками председатель, — такова практика...

Вот и ещё одно противоречие: учёные заседают, зачем — не знают сами, не могут объяснить, — и всё-таки заседают.

Ощущение того, что Академия педагогических наук находится в тупике, что необходимо перестраиваться, искать новые формы работы, есть у многих её сотрудников. Но кто знает, когда наступит перелом.

А пока... Пока директора школ ведут себя, как люди, которые, оказавшись в незнакомом лесу, выбирают дорогу по солнцу или звёздам. Работники же АПН топчутся на месте, вздыхают, что нет нужных приборов, что необходимы длительные исследования, прежде чем можно будет решать, в каком направлении двигаться. А министерство? Министерство ждёт, когда для него соберут все данные, чтобы проложить просеку, наладить, так сказать, уже регулярное движение.

Казалось бы, отважных директоров школ надо получше снарядить в дорогу, снабдить «провиантом». На деле же они отправляются в путь с пустыми руками. И не удивительно, что лишь немногие решаются идти напрямом по неизведанным тропам, а большинство останавливается на полпути.

И тут мы опять-таки сталкиваемся с необъяснимым фактом. Оказывается, практика не всегда интересует теоретиков.

В течение двух лет 568-я и 569-я школы упорно продумывали, создавали свою систему работы учащихся на производстве. Отказывались от одних форм, искали другие. В 569-й школе при химическом кабинете занимается лаборантская группа, которая в дальнейшем будет стажировать в лаборатории Медеплавильного завода. А в 568-й школе уже в этом году десятиклассники, работавшие на станках в механическом цехе ЭМИЗа, решили получить квалификацию токаря, строгальщика, фрезеровщика.

Ни Василий Арсеньевич Костюшин, ни старший мастер цеха Михаил Алексеевич Гордеев не жалели времени, чтобы довести дело до конца, как не жалеют его родители, когда учат ребёнка ходить.

Весной пришло время подвести итоги.

Начать выпало на долю Вали Суховой. Выточила, проверила микрометром деталь, ещё раз оглядела станок, посоветовалась с Михаилом Алексеевичем. Он только успел подбодрить, как появились члены квалификационной комиссии: Николай Николаевич Гришин, главный технолог завода, и Николай Алексеевич Родионов, начальник механического цеха.

Поздоровались, спросили, как фамилия ученицы. «Ну, что же, Сухова, скажите...» Вопросов было много: от устройства станка переходили к расчёту скорости резания; надо было ответить, чем отличается метрическая резьба от дюймовой, как обрабатывать чугун и бронзу, какие применяются резцы; разобраться в деталях чертежа, припомнить правила техники безопасности. И главное было даже не то, что Валя хорошо знала материал, чётко рассказывала, главное были руки, ссадинками на пальцах, уверенные, уже рабочие руки.

Наконец начальник цеха удовлетворённо сказал: «У меня всё». Главный технолог кивнул: «У меня тоже» — и по-заводски пожал Вале запястье: «Молодец, поздравляю!»

— Если время выберешь, захочешь поработать — приходи, — пригласил мастер цеха.

— А дальше куда? — спросил кто-то.

— Дальше? — негромко ответила Валя, вытирая концами руки. — Сдам на аттестат, потом сюда, на ЭМИЗ, собираюсь поступать...

Чтобы не комкать зачёты, не спешить, комиссия собиралась четыре раза. Каждого спрашивали доброжелательно, но дотошно, а иногда такую зададут задачу, что, пока тот думает, сами решают её и сверяются друг с другом.

— Нашим заводским ученикам таких вопросов по теории не дают, — тихонько говорит старший мастер Гордеев учителю физики Костюшину.

— Так у наших ребят подготовка совсем другая!

Последним был Лев Шевырёв, фрезеровщик. Отвечал так легко, умно, весело, что Николай Николаевич Гришин не сдержался, похвалил:

— Просто лучше всех, поздравляю!

— А знаете, сколько он работал? — сказал Гордеев. — Он нам ещё помог. Другой раз попросишь — до девяти часов останется...

Было уже поздно, но разошлись не сразу — всё-таки событие не совсем обычное.

— Что ж, я доволен, — подвёл итоги главный технолог. — Теорию они хорошо знают. Практических навыков, конечно, маловато. Так и у наших рабочих, которым присваивают третий разряд, тоже навыков сначала не хватает... А в теории эти, конечно, посильнее будут...

— Нам важно было убедиться, — заметил Костюшин, — насколько это реальное дело. Трудновато было, но мы ведь очень поздно, во втором полугодии только, поставили перед собой эту задачу. Дальше легче станет.

— На будущий год? На будущий год совсем другой разговор будет, — откликнулся Гордеев. — Девятые и восьмые классы уже теперь у нас в цехах машиноведение проходят, станок они знают. Эгих мы без труда подготовим.

Школа закончила первый этап опытной работы. Однако ни один работник министерства, или горно, или районо, ни один научный сотрудник Академии педагогических наук не побывал в эти дни на заводе, не заинтересовался опытом школы, не помог ей!

А вместе с тем члены комиссии по политехнизации при АПН немало говорили о том, что некоторые педагоги стремятся дать учащимся специальность уже в стенах средней школы. Говорили резко и неодобрительно, ссылались на «украинский вариант»: там в отдельных местах получение специальности шло за счёт общего образования. Горячились, доказывали, что если завод даёт разряд школьникам, то делает это «милости ради», что это игра в специализацию... Упоминались при этом и 568-я и 569-я школы, путь их называли ошибочным и даже скользким. И вот никто — никто! — не заинтересовался, как же всё это выглядит на самом деле, как же получается на практике.

Опыт этого года говорит о том, что надо дать школам больше самостоятельности, больше возможностей для творческой работы, регламентировать деятельность учителей скорее программой, чем учебным планом. И не только в вопросах политехнизации.

А уж в этом новом деле давно бы следовало Министерству просвещения проявить гибкость, смелость, создать хотя бы там, где коллективы педагогов уже зарекомендовали себя способными экспериментаторами, фонд директора школы, чтобы он мог пользоваться им по своему усмотрению и не тратить сил на мелочное испрашивание разрешений по инстанциям, которое убивает всякую инициативу.

Нужно с большим доверием отнестись к школе. Пусть больше школ становится экспериментаторами, пусть на первых порах каждая пойдёт своим путём. Изучение этой практики — только оно одно — даст не умозрительное, а реальное представление о том, какой должна быть новая школа.

Л. АЙЗЕРМАН,
учитель 278-й московской школы

ЖИВОЕ И ОМЕРТВЕВШЕЕ

Решения XX съезда Коммунистической партии Советского Союза предусматривают новый подъём советской школы, требуют коренного улучшения дела обучения и воспитания. Мы должны, говорится в отчётном докладе ЦК КПСС XX съезду партии, формировать «...стронтелей нового общества, людей большой души и возвышенных идеалов, беззаветного служения своему народу, который идёт в авангарде всего прогрессивного человечества».

Есть немало ещё не решённых вопросов, волнующих школьную общественность. Поговорите с учителем-предметником, классным руководителем, вожатым, директором школы, комсомольским работником, поговорите так, чтобы они поведали о своих сокровенных думах, и вы уловите одно общее настроение: неудовлетворённость сегодняшней работой школы, желание как-то по-иному повернуть школьную жизнь, так, чтобы быстрее и лучше решать поставленные сейчас партией и государством задачи в области коммунистического воспитания.

Высокие интересы дела требуют всестороннего обмена мнениями. Нужен большой, пусть даже долгий, но по-советски откровенный и глубокий разговор о живом и омертвевшем в работе школы, о плодотворном, действенном и о вредном, схоластическом в воспитании, о верных и ошибочных направлениях педагогической мысли. И надо поспорить по-деловому, жарко, со всей страстностью людей, кровно заинтересованных в дальнейшем подъёме нашей, советской школы.

Наедине со своими думами...

Что бы мы ни стали делать в школе для улучшения её работы, какие бы разумные и целесообразные пути ни находили, успех в конечном счёте будет зависеть от учителя, от его хотения и умения работать, от того, сумеет ли он найти общий язык с учеником, установить с ним правильные отношения.

Когда я думаю о труде учителя, анализирую собственную педагогическую работу, тотчас же появляется миллион терзаний и сомнений, возникают сложные, подчас так-таки и не определившиеся мысли. Верно ли ты поступил в том или ином случае, не погрешил ли чем-либо в отношении педагогики, с каким чувством отошёл сейчас от тебя воспитанник?.. Первое движение — пойти спросить, посоветоваться с более опытным товарищем по работе. Но... оказывается, и он охвачен теми же сомнениями.

Постоянные столкновения характеров. Непрерывная борьба за человека. Свет и тени. Взлёты и падения. Самые неожиданные, не предвиденные никакой теорией и практикой конфликты... Да разве опишешь всю ту атмосферу, именуемую школьной жизнью, в которой каждодневно находится человек, посвятивший себя этому самому ответственному государственному делу — воспитанию ребят школьного возраста!

А потом, оставшись наедине с самим собой, подводишь итоги пройденного дня, всматриваешься в течение школьных будней, хочешь разобраться во многих противоречиях.

Вот этот ученик получил пятёрку за доклад об эстетике труда и творчества Горького. И он же, не вытерев ног, в грязных ботинках шагает по только что вымытому уборщицей полу вестибюля. Девушка, так бойко

рассказывавшая вчера о кристальной честности Веры Павловны и других героев «Что делать?», сегодня прибегла к помощи «дежурного бинта» (бинт этот используется невыучившими урок: обмотав им шею, ссылаясь на простуду, ученица просит преподавателя не спрашивать её). Я вижу великовозрастного лодыря, не вылезавшего из двоек, слышу подчас и грубую речь ученика, разговаривающего с учителем.

Конечно, радует добросовестная учёба и честные, по-настоящему комсомольское поведение многих и многих хороших учеников, которых в любой школе подавляющее большинство. Но разве это обстоятельство даёт нам, советским людям, право закрывать глаза на многочисленные случаи расхождения между словом и делом?

Однажды на комсомольском собрании школы, когда обсуждался довольно серьёзный вопрос этического характера, выступила ученица 10-го класса. Её выступление отличалось такой беспринципностью, что вызвало бурю протеста.

Улучив удобный момент, я побеседовал с этой комсомолкой. Незадолго до этого собрания девушка сделала удачный доклад о Зое Космодемьянской, её честной, принципиальной юности. И я напомнил об этом.

— Понимаю, нехорошо получилось с моим выступлением на комсомольском собрании, — сказала ученица. — Но Зоя тут ни при чём...

Не потому ли иногда расходятся слова наших воспитанников с их поступками, что сами эти слова часто произносятся в школе выпендренно, но не весомо, с пафосом, но не проникновенно? Возможно, потому и не доходят они до глубины молодого сердца, скользят по поверхности.

Нет, не имеем мы права проходить мимо всех этих тревожных явлений! Нельзя оставаться спокойным, когда видишь, что поведение отдельных учащихся не соответствует нормам нашей морали.

Слова-скорлупки

Передо мной выписки, сделанные в течение ряда лет из ученических сочинений. Вот две выдержки из работ о драме Островского «Гроза»:

«Чувствуется, что скоро придёт конец тёмному царству, наступит новое общество, в котором не будет угнетателей и угнетённых, — наше социалистическое общество», «Истинным борцом за освобождение народа была Катерина».

Здесь не только непонимание определённых исторических условий и конкретного литературного произведения. Здесь отчётливо проявилась характерная для некоторых старшеклассников склонность к громким, шаблонным фразам, рассчитанным на внешний эффект.

Я долго не мог понять, откуда в речи учащихся эта трескучая монотонность, почему их речь бесцветна и однотипна? И лишь с течением времени убедился, что эти качества речи вырабатываются под воздействием тех рассказов учителя, которые ученик слышит на уроке, тех книг и статей, которые он читает, тех лекций и докладов, на которых ему приходится бывать.

Как-то в канун Первомайского праздника девятиклассники спросили меня, можно ли им пропустить торжественную часть вечера, прийти из дома прямо к концерту и танцам.

— Почему вы так не хотите слушать доклад? — поинтересовался я. — Разве вам это не полезно?

— Так мы ведь знаем всё, что будет говорить докладчик.

— О чём же, по-вашему, он будет рассказывать?

— Вначале скажет, почему мы празднуем Первое мая и когда возник этот праздник, — ответил один из учащихся. — Далее — о том, как праздновали Первое мая в царской России...

Один за другим поднимались мальчики и девочки и в озорных, но умных репликах обозначили привычный штамп доклада.

А ведь, пожалуй, они во многом правы. Я вспоминаю, что сам в школьные и студенческие годы (а было это всего семь—девять лет назад) старался избежать официальную часть праздничных вечеров: набило оскомину повторение одних и тех же хорошо известных истин.

В подавляющем большинстве политические доклады в школах бесцветны, однолинейны, трафаретны, и слушают их ученики больше в обязательном порядке. Было бы полбеды, если бы эти доклады, ничего уже не давая ни уму, ни сердцу, не приносили желаемой пользы. Но моё глубокое убеждение, что в таком виде они наносят вред. Из одного доклада в другой кочуют дорогие по содержанию своему, но затасканные и обескровленные слова и понятия. Не одухотворённые горячей страстью, они теряют свою действенную силу. О них писал Маяковский:

Скажут так,—
и вышло
ни умно, ни глупо.
Повисят слова
и уплывут, как дымь.
Ничего
не выколупишь
из таких скорлупок.
Ни рукам,
ни голове не ощутимы.

Неощутимое слово приучает ученика к мысли, что бывают такие речи, фразы, которые произносят не потому, что они нужны для дела, а так, ради самих слов, ради формы. Отсюда, как мне кажется, и та необыкновенная лёгкость, с которой школьники, не задумываясь, жонглируют примелькавшими выражениями. И мы, работники школы, прежде всего несём ответственность за то, что ученики не умеют отличить подлинную приподнятость от поддельной напыщенности.

В прошлом году в нашей школе № 278 отметили День Конституции не как всегда, а без обычных докладов. Мы пригласили к себе в гости китайских студентов. Никто не произносил высоких слов, но это был вечер высоких чувств. Ни в каком докладе не прозвучали бы так сильно красота и величие идей социализма, как прозвучали они, когда в едином порыве поднялись все учащиеся и вместе с гостями запели песню «Москва—Пекин», а затем «Гимн демократической молодёжи». Об этом вечере вспоминали потом с волнением и радостью. И одна из причин успеха вечера — отсутствие в нём привычного шаблона, отступление от надоевшего стандарта.

В школах часто практикуются диспуты о моральном облике молодого человека, о дружбе, о принципиальности. По количеству таких «мероприятий» райкомы комсомола иной раз судят об уровне воспитательной работы в школьной комсомольской организации. Но как подчас проходят эти разговоры, скажем, о дружбе? Один из учеников расскажет о дружбе Маркса и Энгельса, другой приведёт в пример молодого гвардейца, третий использует пример из романа «Как закалялась сталь». Ни жизни школы, ни полемики, ни собственной мысли. Уходят после такого диспута и его участники и его организаторы неудовлетворёнными.

Может быть, вообще школьников не волнуют этические проблемы? О нет! Вспоминаю, как горячо они спорили, обсуждая, правильно ли поступили участники встречи Нового года, собрав с учеников по двадцати, а с учениц — по пятнадцати рублей. Не о пятёрке, разумеется, шла речь.

Широкий круг вопросов, связанных с взаимоотношениями мальчиков и девочек, был затронут в этом, если хотите, принципиальном обсуждении, главным достоинством которого являлось то, что в нём каждый говорил, что думал.

Почему удался этот спор?

Во-первых, непринуждённость обстановки. Разумеется, не было президиума, председателя, протокола, регламента. Всё располагало к естественности и простоте. (Сейчас вспоминаю, что самые откровенные, а по-сему самые полезные «дискуссии» о жизни, поведении, хороших и дурных поступках возникали чаще всего в походах, вечером у костра.)

Во-вторых, спор носил не абстрактный характер — о взаимоотношениях мальчиков и девочек вообще, — а разворачивался вокруг конкретных фактов, и это мешало ему уйти в область отвлечённого теоретизирования.

Настойчивые поиски покажут, как лучше проводить в школе и политические доклады, и диспуты, и лекции. Но уже сейчас несомненно одно: наибольшее воздействие на юных слушателей имеют непринуждённость обстановки, искренняя взволнованность речи, в которой надо решительно выбросить, как сказал поэт, «красивых слов сухую шелуху».

Перечитывая воспоминания Горького о Чехове, я нашёл одно место, которое, как мне подумалось, во многом должно помочь учителю в его воспитательной работе.

«Мне кажется, — рассказывает Горький, — что всякий человек при Антоне Павловиче невольно ощущал в себе желание быть проще, правдивее, быть более самим собой, и я не раз наблюдал, как люди сбрасывали с себя пёстрые наряды книжных фраз, модных слов и все прочие дешёвенькие штучки... Всё пёстрое, гремящее и чужое, надетое человеком на себя для «пушей важности», вызывало в нём смущение, и я замечал, что каждый раз, когда он видел перед собой разряжённого человека, им овладевало желание освободить его от всей этой тягостной и ненужной мишуры, искажавшей настоящее лицо и живую душу собеседника».

Долгое время я был уверен, что только так, просто, непринуждённо, и нужно говорить со школьником.

Как-то вместе с учениками 10-го класса мы пошли в районную библиотеку, где на читательской конференции обсуждался вопрос о том, каким должен быть молодой советский человек. В большинстве выступлений я не заметил каких-либо свежих, оригинальных мыслей, которые привлекли бы внимание всей аудитории. Но вот слово взяла студентка одного из вузов.

— В средние века, — говорила она, — рыцари дрались из-за женщины на турнирах, поклонялись ей, готовы были исполнить любое её повеление. А ведь в те времена от женщины не требовалось ни остроты ума, ни культуры и образованности... Мы живём в другую эпоху. Советская девушка поистине прекрасна. Умная, развитая, с широким кругозором, друг и товарищ, она по-настоящему заслуживает поклонения. Почему же наши юноши стыдятся дарить ей цветы, оказывать глубокое уважение?..

Признаюсь, выступление мне не показалось удачным — рыцарский ореол, высокая патетика...

А ребятам оно понравилось больше всего.

Случай этот заставил меня задуматься. Бесспорно, что юности всегда нужна романтическая окрылённость, душевная приподнятость, но очевидно также и то, что нашей молодёжи чужда холодная риторическая напыщенность, которую мы, учителя, невольно прививаем поощрением «красивости» в выступлениях, в классных сочинениях.



Палитра воспитателя должна быть богатой. Здесь найдётся место и чеховской задушевной простоте, и тургеневской лирике, и щедринскому сарказму, и толстовскому гневу, и горьковской романтической приподнятости.

Мы ведём борьбу с внешне эффектной холодной риторикой, показной парадностью, но нельзя заодно ополчаться против всего яркого, выделяющегося из будничного потока, что есть в нашей работе. Праздничное, яркое, и показное, парадное, — разные вещи.

Я уже упоминал о проведенном в нашей школе вечере советско-китайской дружбы. Целый месяц готовилась к нему школа, как к большому празднику: разучивали песни, затеяли целый концерт, изготовляли фото-выставку. Встреча прошла задушевно и взволнованно, и не удивительно, что провожать гостей пошли все присутствовавшие. Невозможно, чтобы вся школьная жизнь ссылаясь из таких запоминающихся дней, но и без них она немислима.

Права без обязанностей

...Года два назад мы объявили на линейке решение педагогического совета об исключении из школы за хулиганство одного из учащихся и предупредили всех озорников о возможности применения к ним той же строгой меры наказания.

— Директор школы не имеет права исключать много народу. Его за это самого снимут с работы,— с уверенностью заявил двенадцатилетний мальчик.

...Десятиклассницы опоздали в школу после каникул, так как задержались на экскурсии в Ленинграде. Приехав, они совершенно спокойно явились на занятия и были искренне удивлены и даже возмущены, когда с них потребовали ответа за прогул.

— Ну, а если бы ваши матери опоздали на два дня на работу? — спросил директор.

— Это совершенно другое дело,— в один голос ответили девушки.

У многих юношей и девушек сложилось представление, что учёба — это не обязанность их перед страной и народом, а лишь предоставленное нашей Конституцией право, которое они могут использовать по своему усмотрению. Попадаются и такие, которые считают, что они делают учителю, школе величайшее одолжение, аккуратно посещая классные занятия, выполняя домашние задания.

Отсутствие внутренней собранности, понимания гражданских обязанностей порождает расхлябанность и безразличие. Когда человек чувствует глубокую ответственность перед Родиной, он не может быть равнодушным. Чувство долга воспитывает волю, активность, инициативу.

Откуда же возникает безответственность в рядах ученической молодёжи, как покончить с ней?

Порой становится горько, а подчас и тревожно, когда сталкиваешься с учениками, ко всему равнодушными, безразличными. Учатся кое-как. И не потому, что мешает какое-то влечение, страсть. Нет. Такой ученик может прослушать лекцию, но не пойдёт на неё специально; попадёт в руки интересная книга — прочтёт её, но если для того, чтобы достать эту книгу, надо что-то предпринять, не будет к ней стремиться; пойдёт в воскресный день на лыжах, но не станет систематически, упорно работать в лыжной секции; любит музыку, но не хочет заниматься ею всерьёз. Музеи, выставки его не привлекают: «Зачем? Чего я там не видел?» У него нет больших целей и серьёзных стремлений.

Эта вялость, равнодушная инертность действует и на активных, целеустремлённых ребят. Нередко даже боевые, задорные ученики проявляют полную безинициативность, пасуют перед несложными препятствиями. А ведь безинициативность и равнодушие — родные сёстры.

О требовательности и взыскательности

— Я не знаю, что поставить в четверти ученику, — обращается за советом к директору молодой учитель.

— Что? Ещё одна двойка?

— Нет, он успевает. Но нужно выбрать между тройкой и четвёркой.

— Фу! Испугали: думал — ещё один неуспевающий...

Или:

— Как, шесть двоек? Да вы что... Вы же обещали не больше трёх. Идите, подумайте. Шесть двоек я от вас не приму.. Что? Все контрольные «на два»? Ну хорошо — четверо неуспевающих, и ни одного больше..

А бывает и так:

— Ну зачем вы Козлову ставите двойку? Ведь он кончит семь классов, в восьмой не пойдёт, а оставим — опять нам будет снижать успеваемость. Поставьте «три», и пусть он уходит из школы..

Как хорошо знакомы эти разговоры всякому, кто знает, что такое конец четверти.

Учитель, завуч, директор часто волнуются не потому, что ученики их школы имеют неглубокие и непрочные знания, Они озабочены одним: каков будет средний процент успеваемости.

Если хотите знать, как наскребаются эти проценты, зайдите в школу в последние дни четверти. Вы увидите, как учеников бесчисленнее количество раз переспрашивают, стараясь всеми силами вытянуть «на тройку». Школьнику, написавшему часть контрольных работ неудовлетворительно, теперь предлагают легчайшую задачу. От другого ученика учитель, затаив дыхание, ждёт, чтобы он сказал хотя бы несколько слов, тогда всё-таки с большим основанием ему можно будет поставить удовлетворительный балл. Третьего, здоровенного детину лет семнадцати, упрощивают, чтобы он выучил материал и пришёл его ответить после уроков.

Безусловно, процент успеваемости — немаловажный показатель, и было бы нелепым вообще его игнорировать. Но та форма, которую приняла оценка работы учебного заведения по этому критерию, глубоко порочна. Такая сама собой установившаяся «система» портит учащихся, воспитывая безвольных, безответственных людей. В самом деле, зачем каждыйдневно, систематически работать, когда можно «подучить» в конце четверти и обеспечить себе троечку?

О вреде процентомании немало сказано и написано, в том числе и Министерством просвещения. Но большинство школ всё ещё продолжает страдать этим тяжким недугом.

Мы должны быть внимательны к ученику. Нельзя ставить направо и налево двойки и не помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. Но пора прекратить вредное либеральничанье, уговариванье великовозрастных лодырей.

В семье не без урода. И в самом хорошем коллективе нет-нет да и встретится случай возмутительного хамства. Но справедливость требует сказать, что такие случаи единичны и, кстати, с ними не так уж трудно бороться.

Важнее и сложнее другое. Иной раз непочтительны, грубы бывают и хорошие ученики.

Я проводил туристский поход. В одном из городов мы подошли к киоску с газированной водой, чтобы напиться. Один, другой, третий, четвёр-

тый ученик берёт стакан и пьёт. Лишь пятый сообразил предложить стакан преподавателю.

С этим же классом произошёл у меня в школе разговор, который надолго остался в памяти. Дело было за несколько месяцев до экзаменов на аттестат зрелости, и нужно было как-то устроить так, чтобы можно было классное сочинение писать не два часа, как обычно, а четыре. Кто-то предложил прийти утром в школу соответственно раньше. Я возразил: ведь живу далеко, и мне пришлось бы очень рано встать, а день предстоял тяжёлый.

— Подумаешь: один раз встать пораньше, — пренебрежительно бросила тут же одна из учениц. И потом в течение долгого времени не могла понять, насколько бестактна её реплика.

— Ну что я особенного сказала? — недоуменно спрашивала она, когда кто-то из подруг упрекнул её.

В чём же дело? Откуда этот не сознаваемый самим учеником эгоизм? Почему мы так мало боремся с ним?

Никогда и нигде дети не были окружены такой заботой, как в нашей стране. Однако мы иногда забываем, что подлинная любовь требовательна и взыскательна. И в школе и дома ребята на каждом шагу видят, что всё предназначается для них, но далеко не всегда им умеют внушить, что же требуется от них самих в ответ на это внимание. Вот так, исподволь, постепенно, а главное, незаметно, и вырабатывается эгоцентрическое воззрение на окружающую действительность.

Помню, пришлось мне вместе с одной учительницей, немолодой женщиной, везти на экскурсию пионеров. Когда она вошла в автобус, сидевшая на ближайшем диване девочка встала и уступила место.

— Что ты, детка! — усадила её вновь учительница. — Не беспокойся, я постою.

Не сомневаюсь, что самые хорошие чувства заставили преподавательницу поступить так. Но не сомневаюсь и в другом: желая сделать добро, она сотворила зло.

Порой до глубины души возмущает безответственное отношение некоторых из школьников к своим обязанностям. Я беру несколько характерных примеров, анализирую их, стараюсь добраться до корня — и каждый раз убеждаюсь: необходимой требовательности, справедливой строгости и взыскательности нет в должной мере в нашей школе, частенько нет её и в жизни семьи. Ребёнок привыкает, что всё делается для него и ничего он не должен сам сделать для себя и других.

Скованная инициатива

Мы любимся, гордимся нашей молодёжью, сильной и духовно и физически. Но в то же время все мы, взрослые, и прежде всего школьные работники — первые наставники, несём огромную, государственной важности ответственность за любой просчёт в воспитании каждого ребёнка — будущего борца за коммунизм. Ведь даже и в молодом, стройном лесу так больно бывает увидеть одинокое, искорёженное, растущее вкривь и вкось деревце.

Испытываешь глубокое чувство обиды каждый раз, когда сталкиваешься со свойственной некоторым нашим подросткам житейской неприспособленностью. Встретилось ему на пути какое-то затруднение, препятствие — и он остановился, растерялся, ищет помощи со стороны.

— Мы не можем сделать монтаж, — прибегает ко мне старшеклассник, — не нашли нигде в школе клея...

— Что делать? — взволнованно и растерянно спрашивает редактор газеты, ученик 9-го класса. — Через два часа надо выпускать номер, а на полстолбца не хватает материала...

— Как нам поступить? — обращаются шестнадцатилетние юноши. — Наклеили плакат на картон, а он коробится..

Самое печальное, что они действительно не знают, как поступить, и не решаются без учителя ничего делать.

Откуда эта беспомощность?

Мы, учителя, в том повинны. Мы слишком мало давали простора для самостоятельной деятельности ребят, сковывали детское творчество. Делали это из лучших побуждений — занимались мелочной опекой, хотели больше взять на себя, чтобы излишне не затруднять ребёнка. Думали, будет лучше. Вышло хуже.

А ведь если предоставить возможность ученику самому поразмыслить над каким-либо серьёзным заданием, он проявит и выдумку и толковую сметливость. Самостоятельная работа всегда приносит большую радость. Мы можем, мы должны дать детям этой радости намного больше, чем они получают её сегодня.

В разговорах со старшеклассниками часто слышишь жалобы на однообразие школьных будней. Встречаясь с ними, видишь тоску по жизни, насыщенной большими страстями и горячими делами. Даже самый апатичный ученик с завистью и волнением читает о мужественных полярниках, дрейфующих в водах Северного Ледовитого океана, отважных исследователей Антарктики, смелых покорителях целины. И, может быть, потому и равнодушны эти подростки, что не видят никакой связи между героическими делами, о которых они мечтают и читают, и размеренным по часам и минутам школьным распорядком.

Основное место в жизни школьников занимают учебные занятия. Так и должно быть. Но в рамки ученического дневника разве вложишь все стремления человека, которому пятнадцать—семнадцать лет!

Очевидно, нужно, чтобы в школе, помимо учёбы, были какие-то другие, запоминающиеся дела, которые, повышая общий тонус жизнедеятельности ученика, вместе с тем благотворно сказывались бы и на учебной работе.

Есть беспредельная область, где человек может проявить свой ум, настойчивость, дерзновенность, область героических исканий и мужественных свершений. Это область труда.

Жалуются, что некоторые мальчики и девочки отказываются от выполнения поручений, связанных с физическим трудом, не любят их. Что ж, бывает и так. Но среди этих мальчиков и девочек есть и такие, не любовь которых к предлагаемой им в школе работе в какой-то мере оправдана.

Минувшей осенью мы провели субботник по сбору металлического лома. Работали с огоньком, весело, задорно, а главное—плодотворно. Перед субботником мы не проводили длинных собраний. Разговор был короткий: стране нужен металл. Но месяцами лом лежал на школьном дворе. Лишь в начале июня удалось организовать отправку последнего грузовика с металлом. Попробуйте убедить теперь школьников, что они занимались делом первостепенной важности.

Но только осмысленный, целенаправленный, оправданный труд увлекает человека, тем более молодого. У нас же иногда получается, что ученик не чувствует этой необходимости сделанного им, порученного ему. Поэтому работа и не интересует его.

Не меньшее значение имеет и другое обстоятельство. Дело, поручаемое школьнику, не должно быть очень лёгким и к тому же однообразным.

Как-то я зашёл в 10-й класс, ученики которого неплохо изготовили несколько альбомов и монтажей.

— Нужно будет сделать стенд о Маяковском.

— Опять клеть, — разочарованно протянул кто-то с задней парты.

Да, старшеклассник ждёт дела большого, напряжённого. Дайте ему собрать радиопередатчик, изготовить физический прибор, починить узкоплёночный аппарат, получить сложное (с точки зрения школьных условий) химическое вещество — и не останется следа от его бывшего равнодушия. Он побежит и в музей, и на техническую выставку, и в библиотеку. Тогда и к выполнению самых элементарных трудовых операций он отнесётся совершенно по-другому.

К сожалению, сегодня в большинстве школ не созданы все необходимые предпосылки для развития трудовой инициативы ребят. Немало таких школ, где нет ни кружков, ни мастерских, ни элементарных инструментов.

Сейчас, в связи с проводимой в школах политехнизацией, много пишут и говорят о развитии навыков физического труда. Но все эти разговоры идут преимущественно в одном направлении: отныне школа готовит не только и не столько в вузы, но и на производство; поэтому мы не можем выпускать из её стен неприспособленных к труду учащихся. Раз так, значит надо вооружить их знанием определённых принципов работы современного промышленного предприятия и выработать необходимые приёмы работы с простейшими инструментами, ознакомить с наиболее распространёнными типами станков.

Споры разворачиваются вокруг определения объёма этих умений и навыков, методов их формирования.

Это очень пухлое, важное дело. Но забывается другое, не менее важное: огромное значение труда в деле воспитания в духе идей коммунизма.

Когда говорят о трудовом воспитании, обычно ссылаются на Макаренко. Но Макаренко никогда не выдвигал на первый план задачи профессионального обучения, что делают сейчас некоторые педагоги-теоретики. Для него главное было — воспитание через коллективный труд. Естественно, трудовое воспитание тесно связано с трудовым обучением.

Макаренко неоднократно подчёркивал, что труд даёт неограниченные возможности для воспитания сознательной дисциплины, гражданской ответственности, товарищеской взаимопомощи, инициативности и настойчивости. О необходимости тесной связи обучения с общественно полезным трудом говорится и в Директивах XX съезда КПСС.

Пусть не будут на меня в обиде товарищи по работе, учёные из Академии педагогических наук, начальники из Министерства просвещения, если я скажу, что в жизни многих школ, в жизни учащихся ещё немало покоя, сна, мёртвого равнодушия. На это равнодушие жалуются учителя, этим покоем недовольны сами ученики. Жалуются, недовольны... и ждут чудесного королевича, который окропит школу живой водой.

Да, есть такой сказочный витязь, способный творить чудеса. Зовут его «Трудовая инициатива». Где появляется он, оттуда в страхе бегут лень и самоуспокоенность, равнодушие и скука. Но витязь этот приходит на помощь лишь к ищущим и дерзающим, смелым и принципиальным.

С парадного подъезда

Помню, к нам в школу приехала авторитетная комиссия для проверки состояния работы. Засев в кабинете директора, члены комиссии тщательно проверяли всю документацию. Спору нет, и это дело нужно. Но можно ли таким способом познакомиться с подлинным положением дел в школе?

Подобный контроль толкал руководителей школы (не будем снимать ответственности и с них) не столько к налаживанию самой работы, сколько

ко к внешне-показным, с позволения сказать, парадным её формам. А глубинные процессы повседневной жизни оказывались вне поля зрения. Во многих школах пышно расцвела «показуха», как метко назвал народ-языкотворец маскировку отсутствия настоящей работы созданием видимости её.

Представим себе, что в одной и той же школе работают два учителя. Один из них не ведёт никакой кропотливой, повседневной работы с учащимися, отношения с ними у него официальные, казённые; но зато он мастак на всякого рода «мероприятия» — выпуск стенных газет, организация экскурсий, проведение вечеров, лекций, докладов. Другой «мероприятий» проводит очень мало, но всегда умеет найти общий язык со свонми питомцами, не оставляет без последствий ни один проступок шалуна, тщательно следит за каждым шагом своих воспитанников, принимая близко к сердцу их радости и горести.

Чья работа глубже, содержательнее — не подлежит сомнению. Но при инспекторской проверке второй из учителей окажется в менее выигрышном положении: ведь надолго запоминающийся разговор с учеником по дороге домой, когда собеседники выбирают путь подлиннее, не укладывается в график плана, а беседу по душам, проведённую за чашкой чая на квартире учителя, не поместишь в отчёт.

Бумажно-канцелярский стиль руководства школой насаждал в ней (вне зависимости от искренних намерений работников Министерства просвещения и отделов народного образования) формализм и бюрократизм. А что может быть страшнее этого в работе педагога!

В одной школе мне пришлось встретиться со своеобразным документом. Правда, должен оговориться: я видел его не теперь, а года два назад. Солидная, большого формата конторская книга с наклейкой, на которой каллиграфически выведено: «Тетрадь поведения учащихся 6 класса «Б». Перелистываем страницы. Каждый лист отведён для одного ученика — своеобразный лицевой счёт. Вверху — имя и фамилия учащегося, затем идут графы: дата, содержание записи, подпись учителя. Что же записывается в этом современном кондуите?

С усердием, достойным иного применения, здесь зарегистрирован каждый проступок и каждая шалость:

«Выпускает бумажных птиц во время урока, чем отвлекает товарищей», «Опять не работает, тетради по-настоящему не имеет», «Стучал ногами», «Приклеивал себе усы», «Удалён с урока за то, что, стоя у доски, показал классу язык», «Бросил горох в товарищей».

Внизу страницы, под длинным списком всех нарушений, после слова «читал» стоит подпись отца или матери того, чьему поведению посвящён данный лист.

Приди в школу инспектор или комиссия какая — им сейчас и преподнесут «Тетрадь поведения». Смотрите: ни одна мелочь не ускользает от нашего внимания; принимаем все меры; ставим в известность родителей провинившихся учеников.

Попробуйте уязвить спрятавшихся за этим бумажным щитом. Не так-то просто это сделать.

Во многих школах бумагописание приняло угрожающие размеры. В них, говоря стихами Маяковского,

Люди
медленно
сходят
на должность посыльных
в услужении
у хозяев — бумаг.

Ярким образцом бумаготворчества могут служить составляемые в школах «планы воспитательных работ».

Как и всякое дело, педагогический труд требует планирования. Без чёткого, а главное, конкретного расписания не может работать ни учитель-предметник, ни классный руководитель.

Между тем до сих пор планы воспитательной работы составляются для проформы, в них вписывают самоочевидные истины, общеизвестные положения, формулировки своих обязанностей. Так появляются записи, вроде следующих: «Следить за успеваемостью отстающих», «Держать постоянную связь с родителями», «Следить за внешним видом учащихся» и т. п.

На ложный путь толкают учителя и высокой марки специалисты. Академия педагогических наук выпустила пособие «Классный руководитель». В этой книге помещён в качестве образцового план воспитательной работы. Что же он собой представляет?

Приведу некоторые его положения:

«Проводить индивидуальные беседы с учениками, получившими двойки... На положительных примерах воспитывать у учащихся чувство ответственности, добросовестности в выполнении заданий... Постоянно ставить в пример лучших учеников класса... Следить за своевременным опросом учащихся... Постоянно развивать среди учащихся чувство дружбы и товарищества...»

Эти и многие другие пункты без всякой конкретизации пересказывают обязанности классного руководителя, изложенные в соответствующем положении Министерства просвещения, которое помещено в той же книге. Но дело не только в этом. По приведённому плану во вторую четверть (самую короткую четверть в школе) в 5-м классе должно быть проведено восемь собраний, двадцать одна беседа, одна читательская конференция, одно обсуждение книги, три экскурсии, два сбора, два посещения кино-театра, спортивное соревнование и лыжная прогулка...

Бедные пятиклассники! Такого воспитательного «воздействия» и взрослый человек не вынесет, а о двенадцатилетних детях и говорить не приходится. Хотя скорее всего детей можно со спокойной совестью не жалеть: такие планы пишутся не для исполнения, а для показа.

Можно было бы сослаться и на другие доказательства, но, думается, и этого достаточно.

Отсутствие конкретности, определённости характерно и для большинства тех решений, которые принимаются на педагогических советах, производственных совещаниях, комсомольских собраниях.

Вот перед нами решение, принятое на комсомольском собрании одной из школ и составленное не без помощи взрослых:

«Улучшить дисциплину и успеваемость... Обязать комсомольцев своим поведением быть примером для всех учащихся... Вести борьбу со списыванием... Обязать комсомольцев не пропускать уроков... Улучшить воспитательную работу в группах...»

Все эти формулировки повторяют общеизвестные положения «Правил для учащихся». Кому и зачем подобные решения нужны? Никому и незачем. А ведь такие стандартные, безликие решения до сих пор живут и здравствуют в наших классах.

Совсем недавно, во время подготовки к отчётному собранию, на комитете комсомола нашей школы зашла речь и о резолюции.

— Так это легко сделать, — заявила ученица 10-го класса, член комитета, — возьмём прошлогодние постановления: они ведь все одинаковые и всё в них правильно.

Если решение принимается для формы, писал журнал «Партийная жизнь», повторяет общезвестные истины, которые переписываются из одного решения в другое, это и есть самый настоящий бюрократизм.

К сожалению, «самый настоящий бюрократизм» пустил в школе глубокие корни. Именно он привёл к вытеснению живой, но незаметной, не поддающейся учёту работы заметными, но мертворождёнными «мероприятиями».

Учить учителя

Педагогическая работа немыслима без постоянного живого обмена мнениями и опытом, без плодотворных дискуссий и обсуждений. Но всякий, кто знает, что сейчас представляет собой районное учительское совещание, педагогический совет, согласится, что они далеки от того, чтобы стать трибуной передового опыта.

Возьмём для примера проводимые два раза в год районные учительские совещания. Из года в год слышим мы на них стереотипные организационно-административно-дисциплинарные доклады, произносимые «в плане надзора и в тоне власти», как метко определил содержание и форму подобных выступлений М. И. Калинин.

Суть этих докладов можно изложить в нескольких словах: за минувший период такие-то школы работали хорошо, такие-то плохо. Не ищите в этих докладах глубокого анализа жизни школы, смелых обобщений и интересных предложений. Кроме проработки, «накачивания» и декларирования прописных истин, здесь почти ничего нет.

Сидишь на таком совещании в заполненном сотнями людей зале, слушаешь сообщения обо всех этих процентах, мероприятиях, принципах, недочётах, уровнях, и вот в твоей голове начинают вихриться мысли: помилуйте, ведь у всех собравшихся здесь есть только одна главная обязанность, основное дело жизни — обучение и воспитание детей, весёлых и угрюмых, озорных и сдержанных, ленивых и трудолюбивых, энергичных и инертных, разнообразных, но ж и в ы х, реально существующих мальчиков и девочек. А вот в докладах и речах не чувствуешь присутствия этого юного гражданина нашей страны. Как будто не за тем собрались сюда, чтобы искренне поговорить о том, как лучше обучать и воспитывать тех малышей, подростков, юношей и девушек, которые ежедневно заполняют классы и кабинеты школы. Какая-то странная бездетность в совещании, детям посвящённом!

Поведение и действия учителя, говорил М. И. Калинин, «находятся под сильнейшим контролем, под каким не находится ни один человек в мире. Десятки детских глаз смотрят на него, и нет ничего более внимательного, более зоркого, более восприимчивого в отношении разных нюансов психической жизни человека, никто так не уловит все тонкости, как детский глаз».

Разве не жизненно важно обменяться мыслями, поспорить о том, как лучше держать себя под этим сильнейшим в мире контролем? Но «проценты успеваемости» вытеснили из совещаний то, что является для педагога хлебом насущным. А ведь поговори учителя обо всём этом, поучись

друг у друга — станет меньше конфликтов с учениками, пойдёт лучше общая работа и, глядишь, тот же процент поднимется.

Казалось бы, кому, как не педагогической науке, решать сложные проблемы работы школы. Смело вмешиваться в жизнь. Обобщать передовой опыт, вскрывать причины педагогических срывов. Учить учителя, воспитывать воспитателя... Но — увы! — педагогическая наука стоит в стороне от животрепещущих, волнующих учителя проблем.

Жизнь школы — это постоянные поиски новых путей, углублённое экспериментирование, постановка опытов и всесторонняя их проверка. Но педагогическая литература (мы говорим здесь не о лучших её образцах), варьируя одни и те же шаблонные положения, убивает живое, не стимулирует напряжённые поиски нового, приучает учителя возвращаться в замкнутом кругу некогда кем-то канонизированного, санкционированного «сверху».

Вот так и рождается боязнь самостоятельности, прививается перестраховка, культивируется «правило»: семь раз отмерь, а отрезать дай другому (чтобы самому не отвечать!)

«...Я утверждаю, — писал А. С. Макаренко, — что в педагогической работе педагог имеет такое же право на смелость и даже на риск, как и всякий другой работник». Безусловно, всякий педагогический опыт необходимо всесторонне проверить, прежде чем широко внедрять его в жизнь. Но ведь всестороннее обсуждение и является лучшей проверкой всего нового.

Школа, где я работаю, находится на окраине города. Вокруг большое строительство. Осенью после дождя или весной, чтобы попасть в школу, приходится идти по грязи, от которой не спасают калоши. Естественно, эту грязь ученики несут в класс. Тогда мы обязали всех школьников оставлять в раздевалке обувь, в которой они пришли, и надевать тапочки. Не уверен, насколько правильно такое решение, но знаю — в школе стало и чище и тише.

Об этом узнали в Мосгороно и сразу взволновались. Подумать только — тапочки! Но ведь они никакими циркулярами не предусмотрены. Как же смели их ввести?.. А между тем, насколько мне известно, например, в Чехословакии в тапочках ходят в школе все ребята.

Я лично не сторонник того, чтобы подобный порядок вводить во всех наших школах (и тапочки — лишь скромная иллюстрация), но, как очевидно, и большинство учителей, я за то, чтобы на педагогических советах, учительских совещаниях, в педагогической литературе бурлила живая мысль. И в труде педагога нужны новаторство, поиски, творческая смелость, борьба с омертвевшим, с шаблонами.

Поближе к жизни!

В 1939 году, выступая перед учителями-орденоносцами сельских школ и говоря о тех качествах, которые необходимо выработать у наших детей, Михаил Иванович Калинин особо подчеркнул: «Эти свойства нельзя привить ребёнку с помощью красивых проповедей или голыми агитационными выкриками. Они могут быть глубоко внедрены в сознание ребёнка только в порядке повседневного незаметного воздействия на основе товарищеского общения в течение всего периода школьной жизни».

Это положение, формулирующее важнейший принцип советской педагогики, является основополагающим для практики воспитательной работы. Но эта азбучная педагогическая истина, как показывает жизнь, подчас забывается.

Мы хорошо знаем силу слова, слова страстного, весомого, западающего глубоко в душу и оставляющего в ней неизгладимый след. Педагог не может не использовать в своей работе значение волнующих и убеждающих человеческих слов. Однако использование словесного воздействия в воспитательной работе оправдано и приносит обильные плоды лишь тогда, когда это сопровождается, подкрепляется каждодневным воспитанием на конкретных, реально ощутимых примерах.

И диспут и лекция о дружбе — полезные и нужные вещи. Но если мы говорим о воспитании дружбы и товарищества, то должны помнить, что значение этих лекций и диспутов хотя и очень велико, но всё же второстепенно. А главное — это систематическое воспитание на примерах повседневных будней.

Заболела ученица. Врачи отправили её в санаторий. За полтора месяца никто из одноклассников не догадался написать ей, рассказать о жизни школы, подбодрить...

У школьника М. сложились исключительно тяжёлые материальные условия. Когда юноше исполнилось восемнадцать лет, отец, уже давно живший в другой семье, сразу перестал давать ему деньги на содержание. Товарищи, узнав, в какую беду попал их одноклассник, договорившись с родителями, очень тактично поочерёдно приглашали его учить уроки к себе домой, обязательно угощали обедом...

Подобных ситуаций немало в жизни каждой школы, и воспитывать дружбу и товарищество (воспитание этих черт я взял как конкретный, но, разумеется, не единственный пример) необходимо прежде всего на этих живых, убедительных и наглядных фактах.

Конечно, нужны и плакаты, и монтажи, и беседы, и тематические сборы. Нужны и полезны. Но при одном условии: если это не единственные и не главные средства воздействия на учеников, а лишь одна из многих частей широкого педагогического наступления.

Как-то мы разговорились с одним учителем.

— В чём дело, — удивлялся он, — проведены в нашей школе беседы о культуре поведения, проведены не раз, а, к примеру, дорогу школьники учителю не уступают, норовят в дверь пройти первыми?

Удивляться тут нечему. Мало того, чтобы ученики поняли, усвоили какой-то нравственный принцип, моральную норму. Требуется постоянные упражнения, длительная тренировка, чтобы выработались соответствующие моральные навыки. Если эти упражнения не проводятся систематически, то всевозможные беседы, лекции могут даже причинить известный ущерб воспитанию подрастающего поколения, ибо приучают к тому, что говорится одно, а делается другое.

Более трёх десятилетий назад в статье «О характере наших газет» В. И. Ленин писал: «У нас мало воспитания масс на живых, конкретных примерах и образцах из всех областей жизни... Побольше внимания к тому, как рабочая и крестьянская масса на деле строит нечто новое в своей будничной работе».

Эти ленинские указания, сохранившие живое значение и до наших дней, имеют самое непосредственное отношение и к работе школы. По-

ближе к жизни — вот путь, указанный нам Лениным, и, только идя по этому пути, можно выполнить задачи, стоящие перед нами, — воспитание молодых строителей коммунизма, достойных сынов и дочерей советской эпохи.

* * *

Мы стремились наметить темы и направления для обсуждения некоторых проблем школьной жизни. Естественно, эти заметки не полны. Автор — преподаватель городской школы и потому ничего не мог сказать о сельской школе. Он работает в старших классах, и здесь ничего нет о работе начального и среднего звена. Но даже если говорить о старших классах городской школы, то многое оказалось незатронутым, а то, что затронуто, нуждается в обсуждении.



Ю. ГОРДИЕНКО

★

ТУРКМЕНСКИЕ СТИХИ

АМУ

Прости,
что я тебя порой печалю,
в глухую ночь
срываюсь с якорей,
мечусь, плыву,
не зная, где причалю:
у добрых,
у недобрых ли дверей.

Не вспоминая лихом
день прошедший,
представь себе
пустынные края,
где,
названная в страхе «сумасшедшей»,
среди песков
течёт Аму-Дарья.

Я там примет особенных
не встретил:
шуршит песок,
проходят облака,
на островах перебирает ветер,
как и в России,
стебли тростника.
Лишь заросли его
пышной и гуще.
Зимой
легко осилишь реку вброд...

За что же
так назвал её
живущий,
кочующий издревле здесь
народ?
Зачем он это имя
вплёл в былины?
Вглядись:
воды пустая широта
на зыбком стрежне,
жёлтая от глины,

вскипает вдруг,
всронкой завита.
Со слов
не очень веришь
прошлым бедам.
Но вот,
пугая близкою бедой,
край берега
с колёсным свежим следом,
вдруг рухнув,
пожирается водой.

И веришь:
гнев слепой стихии
страшен —
не пощадит
ни сада, ни жилья.
...Маячат
лишь обломки стен и башен
там, где вчера
текла Аму-Дарья.
Что не лежится ей
в привычном русле?
Мечта её тревожит
или быть,
набеги тамерлановы на Русь ли,
иль караванных троп
седая пыль?
Или уставшей
в проторённом ложе
носить суда
и поплавки сетей,
земля пустыни голой
ей дороже
обсаженных тутовником путей?
Глядишь,
и представляется воочью,
как летом,
в месяц таянья снегов,
безумная Аму
однажды ночью
сворачивала в степь из берегов,
чтоб там,
куда,
живой души не встретив,
вступала бесноватая вода,
кибитки шли,
забрасывались сети,
закладывались башни и мечети,
вставали над песками
города.

НАД РАСКОПКАМИ НИСЫ

Взойдя на холм
тропою каменистой,
я сел на камень,
подвернув полу.
Пустое дно долины
было Нисой.
И значит, я —
на городском валу.

Кусок стены,
песчинками истёртый,
дождями
и сухой позёмкой вьюг.
...Здесь тишина
была и вправду мёртвой,
века прошли
с тех пор, как умер звук.

И лишь внизу,
там,
у подножья сопок,
уйдя в дела серьёзные свои,
рабочие
траншеями раскопок
сновали,
как большие муравьи.

Старик в панаме
бережно и скупое
там землю обнажал
за слоем слой.
И коршуном
профессорская лупа
кружилась над старинной пиалой.
Её возьмут
и, отряхнув от пыли,
запишут,
из каких она слоёв.
...А из неё
живые люди пили,
густым вином наполнив до краёв;
любили женщин,
радуясь и мучась,
пахали,
на соседа шли войной.

...А ведь и нам,
и мне такая участь.
И значит,
так и надо под луной,
чтоб всё,
что было самой яркой былью,
всё,
что земля
оставит от меня,

белёсой,
 никому не нужной пылью
 осело под ударом кетменя?

Нет!

...Шли монголы,
 разверзались тверди,
 сметались царства,
 гибли города,
 но старенькую сказку о бессмертье
 не забывали люди никогда.
 И, не солгав,
 иные говорили,
 встречая смерть насмешливо,
 мол, вот
 не весь умру —
 душа в заветной лире,
 в холстах и камне
 прах переживёт.

ЧЕЛОВЕК ИЗ ПУСТЫНИ

Под вечер, с караваном, на верблюде
 он к пастухам добрался
 чуть живой.
 Над ним в душе посмеиваясь,
 люди
 сочувственно качали головой.
 Пологий холм
 был как-то странно шаток,
 в ушах стоял
 глухой, протяжный гул.
 Он сел к огню
 среди косматых шапок
 и даже не заметил,
 как уснул.
 Потом костёр потух.
 И с этой ночи,
 пробормотав во сне
 про пауков,
 студент-мальчишка,
 с горсткою рабочих
 он начал «покорение» песков.
 С утра
 пустыню в шесть лопат копая,
 крепили остов вышки буровой.
 И вновь он удивлялся,
 засыпая,
 что день прошёл,
 а он ещё живой.
 Пески, свистя,
 свою тянули песню,
 и солнце жгло
 полуденным огнём.
 С усталостью и жаждой,

как с болезнью,
боролся он,
слабея с каждым днём;
не раз погибнуть мог
в пустыне Чёрной,
змеи не отличая от сучка,
но, спотыкаясь,
нёс и нёс упорно
мальчишка этот
бремя новичка;
делил на граммы воду,
шёл с поклажей
из года в год —
всё дальше, всё вперёд.
И пастухи решили:
время даже
над человеком верха не берёт.
Он поседел и высох,
а сдаётся —
задор всё тот же,
злой и молодой,
горит в глазах
строителя колодцев,
охотника за пресною водой.

...В блокнот вношу какие-то пометки,
к нему на стан добравшись
чуть живой,
а он,
в костёр подбрасывая ветки,
сочувственно качает головой.



ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

★

БАЛЛАДА ИЗ ПОГРАНИЧЬЯ

Иржи Тауферу

Сказали мне,
что буря не поздней зимы напрядет,
что мир сползает под гору, к войне,
что мы живём на дремлющем вулкане.

Я услышал и пострашнее вещи —
мол, атомная бомба разразится
и всё погибнет в пламени зловещем...
А я как раз лечился близ границы.

Точнее: всё происходило в Хебе,
где мир так мил, и сказочен, и светел.
Сидел я скромно на воде и хлебе,
поскольку был приговорён к диете.

Истосковавшись наконец по чарке
того, что пахнет розой или сливой,
смотрел я молча на влюблённых в парке,
на женщин юных и красивых.

Мужчины? И о них бы не мешало
сказать... Да что тут скажешь? Как и все мы,
они лишь в паре хороши, пожалуй...
Но тут уж мы иной коснулись темы.

Так я гулял среди мужчин и дам
и озираю окрестные высоты.
Так шёл я постепенно по следам
приятеля стариннейшего — Гёте.

Блуждая по равнине, средь полян
и под гору, как этот мир, спускаясь,
я обнаружил подлинный вулкан
и заслонил глаза рукою, каюсь.

Нет, здесь канатной не было дороги,
хоть этажей до кратера немало.
Лишь тишина стояла на пороге
заглохшего, но грозного провала.

По кромке кратера брела в обнимку пара
влюблённая, нисколько не тревожась.
Мужчина был ещё совсем не старым,
его подруга и того моложе.

К чему им шум и суета столицы?
Им тишина пустынная желанна.
Кто счастлив, может счастьем насладиться
повсюду, даже в кратере вулкана.

И, пойманы в оптические стёкла,
пестрели горы, как пятнистые олени.
На солнце ярко вспыхнули бинокли
двух пограничных вышек в отдаленьи.

И часовой, заметив пару нашу,
сказал: «Им хорошо!» Поцеловал несмело
портрет возлюбленной и прошептал: «Наташа,
сейчас бы ты, наверно, покраснела...»

И на другом посту солдат вздохнул: «О да!..» —
и затаился дымом сигареты.
А я взглянул туда, взглянул сюда
и улыбнулся, тишиной согретый.

И этот мир на гибель обречён?!
Здесь, где родные горы так цветисты,
так ясно всё, — навеки должен он
избавиться от вас, милитаристы!

И это будет время торжества
и свадеб. И сиять нам будут звёзды.
И будет прятать пышная листва
не пулемётные, а птичьи гнёзда.

Для вас и не подыщешь, господа
зачинщики войны, достойной кары.
Посуду мыть вы будете тогда
и подметать полы и тротуары.

Мечта об этом сердцу дорога.
Все люди смогут счастьем насладиться.
Дозорные на вышках у границы
воскликнут: «Перед нами нет врага!»

Мы видим счастье наше
уже сегодня, тут.
И Мэри иль Наташа
не зря нас дома ждут.

Володя или Сэм —
мы шлём любимым письма.
Желая счастья всем,
для мира родились мы.

Для мира без вражды,
без бомбы и обмана,
без хвори и нужды
и спящего вулкана.

Для родины своей,
где мак цветёт весенний,
где щебет меж ветвей,
на кручах — бег олений.

Перевод с чешского Якова Хелемского.



ВЛ. ЛУГОВСКОЙ

★

ПАМЯТИ ДРУГА

А. А.-Стрепихееву

СЕРДЦЕ

Возьми прилети, моё сердце,
Синицей
На милый порог,
Где вновь народившийся месяц
Сгибает свой белый рог,
Где все сирени июня
Свой гибельный чувствуют
Срок.
Возьми улети, моё сердце,
Как птица,
На милый порог!

Там в серой измятой пижаме
Профессор
Встречает гостей.
Он длинными машет руками,
Он требует новостей.
Хитрым горит любопытством
Его близорукий взгляд,
И мощные вопли футбола
В динамике старом
Гремят.

Как мало себя мы знаем
В нашей новой стране.
Кто знает
Любовь и дружбу
В новой их глубине?
Живём мы в сказочном мире,
Но сказок мало у нас.
А добрые, мудрые сказки
От нас
Не отводят глаз.

Большая и добрая сказка —
Ты сказками
Нас одарил,
Сказочно верил в дружбу,
По-сказочному
Любил.

Болельщиком шара земного
 Жил,
 Не жалея сил.
 Красивым был человеком,
 Смешным великаном
 Был.

Скажите,
 Разве не должен
 Жить такой человек,
 Высокий,
 Как мамонт сибирский
 Возле студёных рек?
 Ты девушке улыбнёшься,
 Она
 Потихоньку вздохнёт,
 Дерево тронешь в апреле —
 Дерево расцветёт.

Наша земля прекрасна,
 Прекрасна наша земля.
 Нам очень нужны великаны,
 Чтоб тихо цвели поля,
 Чтоб двигались мы
 В мирозданье,
 Чтоб нежились детские сны.
 И добрые великаны
 Нам тоже
 Очень нужны.

Но сердце у великана
 Не облако,
 Не гора.
 Больше, чем золота
 В недрах,
 Рассыпано в нём добра.
 Но всё же оно обычное,
 Обычное,
 Как у всех,
 Больной, утомлённый комочек —
 Свидетель
 Трудов и утех.

Живут великаны чувства
 В натруженном сердце том —
 Мечта овладеть природой,
 Планетный покинуть дом,
 Увидеть не наши зори
 И вновь коснуться зари,
 Когда по весне
 Токуют
 Влюблённые глухари.

Растут великаны мысли,
 Чтоб разум
 Не знал оков,
Чтоб не было подлости.

В жизни
И не было
Злых дураков,
Чтоб вышвырнуть заваль
На свалку
К плесени и грибам
И, растворяясь,
Исчезнуть,
Землю прижав к губам.

Сны великанские долги...
Долго ты счастья ждал,
Пошёл над матерью Волгой,
Над Волгой пошёл —
И упал...

Сны великанские долги —
Старайтесь
Побольше найти
Добрых
Больших великанов,
С ними
Нам
По пути.

А вы, идущие следом
По землям
Грядущей весны,
Не убивайте сказок —
Светлы великаньи сны.
Делайтесь великанами,
Несите ворох вестей
И шумно,
Как все великаны,
Встречайте любимых гостей.

Твердите
О радости в мире,
Твердите,
Что люди сильны,
Что сбылись уже
Под солнцем
Все великанские сны.
Женщинам улыбайтесь,
Пейте дыхание губ.
Слушайте голос победы —
Гром
Журавлиных труб.

И вот,
Когда месяц рождённый
Согнёт
Серебряный рог,
Возьми улететь, моё сердце,
Как птица,
На милый порог.

БРЕВЕНЧАТЫЙ ДОМ

Деревянные стены,
 дощатые полки,
 И ружьё над кроватью,
 и снег за окном.
 Чуть качается тень
 воронёной двустволки
 От горячих печей
 чуть колыхается дом.
 Чуть колыхается,
 движется,
 уплывает
 В ледяные закаты,
 в седые леса.
 Загулявши, позёмка
 летит полевая.
 И хозяин вошёл,
 и пошли чудеса.
 И ольха зацвела,
 и весною подуло,
 Бурый вальдшнеп захоркал,
 заблеял бекас.
 Тяга бьёт холодочком
 в горячие дула,
 Красный луч молодой
 на берёзе погас.
 Я обязан земле
 той безмерной удачей,
 Что со мной
 повстречался
 товарищ такой.
 Он ходил, усмехаясь,
 в бревенчатой даче
 С детской жадностью к жизни
 и древней тоской.
 Ведь не скоро сойдутся
 в одном человеке
 Милость сердца,
 весёлая
 дерзость ума.
 Ты был тих
 и широк,
 словно русские реки,
 И просторен душой,
 как родная зима.
 Ты был зорок
 и полон
 холодной отваги
 В кабинетном покое,
 в тиши
 до утра,
 Когда слышалось только
 шуршанье бумаги,
 Бормотание формул
 и шорох пера.
 Где ж ты, милый кудесник,
 провидец событий?

С. ЗАЛЫГИН

★

СВИДЕТЕЛИ

Повесть

1

Евгения Меркурьевна Арзамасская — старшая преподавательница кафедры английского языка Н-ского ветеринарного института — решила защищать диссертацию на соискание учёной степени кандидата филологических наук.

Впрочем, она не знала, окончательное это решение или нет, и, сделав первые шаги, уже успокаивала себя тем, что ещё не поздно и передумать.

«За» и «против» было множество доводов.

В прошлом году Евгения Меркурьевна была в отпуске в Москве и показывала там наброски своей работы. Эта поездка составила в жизни Евгении Меркурьевны заметную главу. Потрёпанный чемоданчик, без застёжек, старинной работы, крокодиловой или другой какой-то кожи, не поддающийся действию времени, в котором Евгения Меркурьевна носила свои рукописи — с десятков общих тетрадей, — приобрёл вдруг значение неразменного богатства. Очень многие доценты и даже профессора, доктора наук говорили ей, что они счастливы были познакомиться с нею лично и с её работой.

За двадцать три дня, которые Евгения Меркурьевна провела в столице, она почувствовала себя в некоторой, пусть очень небольшой, степени, но всё-таки жрицей науки. Во всяком случае, все эти дни как бы составляли один сплошной довод «за».

«Против»... Против тоже были обстоятельства. Работу надо было оформить. Это оформление представляло собой какие-то операции, которые Евгении Меркурьевне никогда в жизни не приходилось выполнять. Затруднением, и немаловажным, была необходимость собрать документы и справки, которые администраторы и работники отделов кадров называют «личным делом». В данном случае речь шла о личном деле соискателя учёной степени.

Хотя Евгения Меркурьевна каждый год собиралась перейти из ветеринарного института в какой-нибудь другой — по её понятиям, более порядочный — и даже собиралась переехать в другой, тоже более порядочный город, это не мешало ей настойчиво и с темпераментом обучать будущих ветеринарных врачей английскому произношению, спряжениям и склонениям вот уже более десяти лет. За эти годы она несколько раз писала автобиографии, заполняла анкеты, и на этом кончались её личные заботы о личном деле. И вдруг выяснилось, что у неё в деле нет справки о среднем образовании. О высшем есть, о среднем — ни строчки. Евгения Меркурьевна была из тех женщин, которые всю жизнь собираются навести порядок в ящиках своего собственного комода, поэтому отсутствие какой-то несчастной справки ничуть её не удивило.

Однакоже начальник отдела кадров ветеринарного института, женщина, с которой Евгения Меркурьевна находилась в прекрасных отношениях, поскольку они по очереди покупали билеты на все премьеры местного драмтеатра и концерты филармонии, была шокирована.

— Товарищ Арзамасская,— сказала она совершенно официально,— дефект в личном деле! Недопустимый дефект! Как это могло случиться? Каким образом? Нарушение! Если говорить в порядке самокритики... Одним словом — достать! Выкопать, но достать!

В ответ Евгения Меркурьевна замахала руками и заговорила с обычной своей горячностью:

— Дорогая моя! Упаси меня бог от этой самой диссертации! Чтобы я... Чтобы мне пришлось ездить и собирать какие-то бумажки? Зачем они мне? Ради бога! Я буду ходить за справками, а люди будут думать, будто мне нужна диссертация, чтобы получать повышенный оклад? Извините! Не надо мне диссертации! Не хочу собирать справки!

— Ничего,— сказала начальница кадров.— Развлечётесь в дороге, приведёте свои нервы в порядок. Давно пора! Просто необходимо! Вы и не представляете, что вам необходимо отдохнуть и что от вас тоже хочется отдохнуть многим... Честное слово!

Спустя несколько дней Евгения Меркурьевна садилась в вагон, чтобы ехать в тот самый город, где она когда-то училась в гимназии.

Ехала Евгения Меркурьевна немногим более двух суток, и, по мере того как она приближалась к родному городу, перед ней возникали всё более и более отдалённые картины прошлого, как будто колёса вагона не просто стучали на стыках, а разматывали в обратном направлении повесть её жизни.

Воспоминаниям не мешали ни разговоры с соседями по купе, с которыми Евгения Меркурьевна, как всегда, очень быстро перезнакомилась, ни преферанс. Спорила она горячо, играла в преферанс с азартом и в то же время чутко прислушивалась к стуку колёс...

Годы, проведённые в ветеринарном институте, в который она попала во время эвакуации, в войну, да так и осталась, кажется, ничего не оставили примечательного в её памяти. Разве только зимние вечера вспоминались ей, в которые она, забравшись на диван с ногами и положив перед собой пачку хороших папирос, читала Толстого и Голсуорси, порознь и вместе, держа книги в обеих руках и думая сразу на двух языках. В эти часы она забывала обо всём на свете, то чувствуя себя до слёз ничтожной перед лицом искусства, то восторгаясь великолепными находками, которые встречались ей на страницах этих книг.

А больше — нет, ничего интересного в периферийном ветеринарном институте как будто не было...

Потом она подумала, что в этой поездке она проведёт день, в который со дня смерти её первого мужа — профессора минет ровно двенадцать лет.

Первый муж Евгении Меркурьевны был много старше неё. Евгению Меркурьевну никогда не покидало чувство восхищения перед этим человеком, перед его способностью отбрасывать всё мелочное и видеть в жизни самое большое. Она любила и глубоко уважала его всегда, а больше всего, кажется, когда уходила от него к другому. Тот, другой, был даже чуть-чуть моложе Евгении Меркурьевны, огромного роста, белокурый, слегка надменный со всеми людьми и только с ней нежный и по-детски ласковый. Два года, которые они прожили вместе, были как один страстный вздох, а потом, за несколько лет до войны, этот второй муж Евгении Меркурьевны был арестован.

Тогда заметно посевший за два года профессор пришёл к Евгении Меркурьевне и спросил, не может ли она если не забыть своё горе на

полчаса, так хотя бы подчинить его себе, чтобы они могли поговорить эти полчаса рассудочно, не будучи во власти своих собственных нервов.

Евгения Меркурьевна попросила профессора обождать, и, не раздеваясь, с тростью в руке и со шляпой на коленях, он ждал её на яркой и мягкой тахте, окружённый фотографиями, на которых белокурый красавец был снят анфас, а Евгения Меркурьевна — в профиль.

Тем временем Евгения Меркурьевна стояла в кухне, прислонившись к косяку двери, потом она подставила голову под ледяную струю водопроводного крана, наспех вытерла волосы и, накинув пуховую шаль, вышла к профессору.

Профессор поднялся с тахты, они поздоровались за руку, как будто только что встретились, как будто не она открыла ему дверь и с ужасом его встретила пятнадцать минут назад.

Профессор попросил её сесть, а сам стоя сказал, что его дом по-прежнему остаётся её домом, что он никогда не позволит себе упрекнуть её в чём-либо, что он не намерен взять с неё какое-нибудь обязательство и она вольна поступить, как ей вздумается, если вернётся вот этот человек — профессор кивнул на самый большой и самый красивый портрет, — что, наконец, их маленький сын очень поможет восстановить в семье душевное равновесие.

Евгения Меркурьевна вернулась к профессору. И хотя между ними никогда больше не возникало многого из того, что составляет обычную супружескую жизнь, всё-таки у них была семья, в которой муж и жена понимали друг друга с полуслова. Это было самое лучшее из всего, что могло быть после случившегося. Если сознание этого можно назвать счастьем, значит они снова были счастливы.

Потом перед Евгенией Меркурьевной возникли первые годы её замужества. Ей минуло двадцать, но уже тогда она имела несколько излишне полную фигуру. С развитым бюстом и слегка вогнутой спиной, с толстыми косами, сложенными в высокую причёску, она, когда смеялась — а смеялась она то и дело, — становилась как будто ещё моложе и заражала присутствующих своим весельем, и даже молчаливое её присутствие вселяло в людей какое-то приподнятое, радостное настроение.

Она заочно училась в институте иностранных языков, но сама, будучи студенткой, уже преподавала в механическом институте.

За редким исключением, ученики были старше своей учительницы, зато все без исключения они были в восторге от правил английского произношения и от классиков английской поэзии, заставляя свою наставницу не раз и не два читать из Байрона, Бёрнса, Шекспира.

Не было, кажется, случая, чтобы Евгения Меркурьевна надела свою шубку в мрачной полуподвальной раздевалке механического института одна, без помощи двух-трёх своих учеников, чтобы всё те же ученики не распахнули перед ней двери, когда она входила в аудиторию.

Не что иное, как безумие, если только полагать, что ученики могут быть без ума от своего наставника. Угар, лёгкий, но захватывающий угар, которого она иногда сама страшилась и поэтому чуть ли не бегом спешила домой.

Муж-профессор выходил в прихожую на её звонок, и, едва только она переступала порог, угар исчезал моментально. Муж слегка прикасался к её лицу руками, а она порывисто бросалась к нему и потом, переодевшись, почему-то ещё долго бродила по комнатам в тяжёлом мохнатом халате, с распущенными косами, присаживаясь то в одно, то в другое кресло.

Воспоминания могли бы увести Евгению Меркурьевну ещё дальше — к милому её сердцу девичеству и к детству, если бы наконец её путешествие не закончилось и поезд не подошёл к перрону.

2

Нину Муськову, свою подругу, Евгения Меркурьевна увидела в сквере перед домом и узнала сразу же. Невозможно было её не узнать — та же лёгкая походка, то же смуглое, но свежее лицо без единой морщинки, и только фигура стала чуть полнее.

Евгения Меркурьевна кинулась к подруге, принялась её обнимать, тискать, заглядывать ей в глаза и плакать. Удивлению её не было границ: в руках у себя она ощущала плотное, упругое, прямо-таки девическое тело и глаза на неё смотрели совершенно те же — маленькие, коричневые, не карие, а именно коричневые, с прежним блеском.

— Дорогой мой, милый мой Нино! — задыхалась от волнения Евгения Меркурьевна. — Какой же ты молодец! Поверь, если бы я могла завидовать, я сию же минуту задушила бы тебя от зависти. Ей-богу! Надо же уметь так сохраниться!

Нино, конечно, тоже была рада. Она не плакала, не размахивала руками и не хохотала. Она только сдержанно улыбалась, но за этой улыбкой был всё тот же дорогой Нино, Нино с возвышенными стихами, которые произносятся вслух только для самых близких друзей, с фантастическими помыслами.

— Не скромничай, Женечка, — проговорила Нина. — Ты тоже выглядишь прекрасно, совсем молодо! — Она отошла на шаг и как будто для того, чтобы ещё раз убедиться в своих собственных словах, оглядела Евгению Меркурьевну с ног до головы. — Конечно, конечно!

— Вот именно, ещё бы! — подхватила Евгения Меркурьевна. — Волосы у твоей Женечки совсем чёрные; такие чёрные, каких никогда в жизни у неё и не бывало, губы алые, на щеках румянец. Не хитри, Нино, ведь ты видишь всё, а то, чего не видишь, выглядит ещё хуже. Поверь! Вот узнала тебя, обрадовалась, побежала за тобой каких-нибудь двадцать шагов и до сих пор никак не могу отдышаться... Сердце...

— Ты, наверно, попржнему много куришь, Женя... Никотин...

— Чёрт с ним, с никотином! Нашла же, о чём говорить, право! А ты попржнему пиешь стихи? Работает? Где? Кем?

Из сквера, в котором гуляла Нина, подруги пошли в дом, и по дороге Евгения Меркурьевна несколько раз снова принималась обнимать подругу и говорила, говорила без конца, не выслушивая даже ответов на свои собственные вопросы.

Они вошли в дом через какой-то полутёмный коридорчик, через прихожую попали в большую, светлую, но пустоватую и поэтому не совсем уютную комнату. Немногочисленные вещи стояли здесь в беспорядке, окна были без занавесок. Евгения Меркурьевна, не обращая внимания на убранство комнаты, опустилась на диван, потянула за собой подругу.

— Ах, боже мой, боже мой! Какие-то совершенно глупые слёзы, не то от радости, не то от обиды, — говорила она, не вытирая лица и комкая в руке платочек.

— Какая же обида, в чём обида? Что ты?

— Ну, как же не обидно, мой Нино! Ведь сколько лет прошло с тех пор, как мы с тобой виделись?! Разве же не обидно, что так летит время, уходят годы? Молодости уже нет. Была — и нет... А в общем, я реву — и только, реву, дорогой мой Нино, а ты не обращай на меня никакого внимания, и всё будет хорошо.

И в самом деле, слёзы успокоили Евгению Меркурьевну, она перестала волноваться, глубоко вздохнула и снова через тот же полутёмный коридорчик пошла умыться. В умывальной привела в порядок причёску, подкрасила губы и внимательно посмотрелась в зеркало.

— Нет, что ни говорите, Евгения Меркурьевна, — сказала она строго своему изображению в зеркале, — а вы ещё женщина. Жен-щи-на! Отнюдь не старуха, нет, нет!

При электрическом освещении большие глаза Евгении Меркурьевны казались глубже, загадочнее, а на щеках и над бровями совсем не видно было морщинок. Возвращаясь в комнаты, Евгения Меркурьевна уже внимательно рассматривала обстановку.

В прихожей поразили её медицинские весы. Отметила она и обилие термометров: термометры были повсюду — в умывальной, в прихожей, в коридорчике. А когда она снова вошла в комнату, ей сразу бросился в глаза прибор для определения величины кровяного давления; он стоял на столике рядом с диваном.

— Что за амбулатория? — спросила она у Нины. — Уж не завёлся ли в вашем доме какой-нибудь медик?

Нина Петровна, которая всё ещё сидела на диване в той же позе, в какой оставила её подруга, быстро поднялась, и вся её аккуратная фигурка как-то насторожилась при этом безобидном вопросе. Очень тихо и значительно она ответила:

— Никаких медиков. Никаких амбулаторий. Борис Евграфович следит за своим здоровьем.

— Что-нибудь серьёзное? — шёпотом спросила Евгения Меркурьевна, невольно поддавшись той значительности, которую нельзя было не уловить в тоне подруги.

— Миокард... Повышенное кровяное давление... Артериосклероз. Ненормальное РОЭ. Вчера утром РОЭ было только четыре. Повышенное количество лейкоцитов. Но ты, пожалуйста, не говори об этом с Борисом. Он очень расстраивается.

— Что ты, что ты, дорогая! Зачем же? Но только все эти миокарды и склерозы — вовсе не болезнь, а состояние организма. — Евгения Меркурьевна подошла и погладила подругу по голове. — Честное слово, Нина! Это всё врачи. Я лично им не верю. Почему? Да очень просто. Если исследовать мой организм и поверить врачам, так я ещё десять лет тому назад должна была умереть. Извини, даже не умереть — просто околоть, сдохнуть совершенно! По науке — именно так. Но разве ты не знаешь, что наука только приближённо, только в общих чертах отражает жизнь? Так? А я частность. И, как частность, живу, чувствую, волнуюсь и ещё собираюсь защищать какую-то там диссертацию. Это дохлая-то?!

— Ах, Женечка! Но если у человека печень начинает...

— Печёнка? Я допускаю, что моя печёнка может взять надо мной верх, но это уже будет конец, конец, моя дорогая! И тогда уже всё равно желать чего-то другого бесполезно, тогда действительно оправдается единственно неоспоримый медицинский диагноз — все мы умрём. У вас можно закурить в этой комнате?

— Ах, Женечка! На тебя не повлиял возраст. Ты вот говоришь мне, будто я ничуть не изменилась, а сама? Сама ты всё такая же взбалмошная. Плачешь из-за пустяка, а о смерти говоришь с улыбкой, как будто она не грозит тебе совсем. Так можно только в молодости... Ты знаешь, я ещё скрепя сердце переносу этот твой демонизм, но, ради бога, при Борисе Евграфовиче... Очень, очень прошу тебя... Я просто благодарю судьбу, что он верит в медицину! Это его поддерживает, помогает ему, необходимо в его состоянии, как воздух. Этот воздух продлит его жизнь, а значит, и мою...

— Зачем?

Совершенно уже тихо, испуганно Нина Петровна переспросила:

— Я не поняла твоего вопроса, дорогая?

— Я спрашиваю: зачем вам с Боренькой ваша жизнь? Ну, что ты выдумала на меня свои глазёнки? Ну да, человек ведь должен отдавать себе отчёт в том, зачем нужна ему жизнь...

— Ты странная, Женя... Очень странная...

— Пожалуйста, не пугайся. Сколько людей — столько судеб... Ей-богу, я не буду убеждать тебя, что жизнь пужна только для подвига. Увы, я на собственном опыте знаю, что это не всегда так. Ты пишешь стихи? Продолжаешь писать?

— При чём тут стихи?.. Мы вышли, кажется, из этого возраста...

— Может быть, и вышли, если и к этому у нас не было настоящих склонностей. Но это так интересно и так естественно — узнать, для чего человек отчаянно бережёт свою жизнь. Я лично хочу написать одно небольшое исследование. Но не знаю, напишу его или нет, поэтому не знаю, стоит ли мне беречь свою жизнь. А что думает делать Борис Евграфович? Он ведь в своё время показал кое-какие способности, это верно...

Теперь подруги снова рассматривали друг друга, как и давеча, в сквере, только внимательно, не захлёбываясь от восторга первой встречи.

Полная, постаревшая Евгения Меркурьевна полулежала на диване, только плечами касаясь спинки и широко в стороны раскинув руки. Даже в этой созерцательной позе её руки, закинутые одна за другую ноги, губы слегка шевелились, и только глаза были неподвижными, внимательными. Аккуратная, подтянутая Нина Петровна застыла у окна, опираясь тонкими пальцами правой руки на подоконник.

— Ведь мы с тобой были и остались друзьями, мой милый Нино? — спросила наконец Евгения Меркурьевна.

— Ну, конечно же... Были и остались, — кивнула Нина Петровна. — Конечно. Ты, кажется, хотела закурить, дорогая? Ради бога! В этой комнате можно. Здесь живёт Тамара, иногда к ней сюда заходит её муж, он тоже курит. Борис Евграфович бывает здесь два раза в день — утром и вечером, он пользуется вот этим прибором. — Она кивнула на прибор для определения кровяного давления. — Извини, пожалуйста, но я должна позаботиться насчёт обеда. Через час сорок минут он придёт. Он работает консультантом в проектом тресте, это отнимает у него много сил. Ужасная работа!

Оставшись одна, Евгения Меркурьевна не изменила позы, а продолжала задумчиво смотреть туда, где только что стояла Нина. Потом она закурила, сбросила на пол туфли, поджала ноги под себя, но тут же снова встрепенулась и торопливо, в одних чулках, побежала на кухню.

Нина Петровна в передничке из голубой клеёнки хлопотала около плиты и не скрыла своего удивления, когда к ней вбежала подруга.

— Ты что-нибудь забыла? — Она обернулась к Евгении Меркурьевне, держа блестящую алюминиевую сковородку в руке.

— Евгения Меркурьевна всплеснула руками.

— Послушай, дорогой Нино, я ровным счётом ничего не понимаю!

— О чём это ты?

— Да о твоей собственной дочери, о Тамаре.

— И что же? Что тебя так взволновало?

— Позволь, значит она уже замужем? Так ты сказала?

— Нина Петровна поставила сковороду на плиту.

— Ну, да, я сказала так...

— Давно? Кто у неё муж? Где у неё муж? Как они живут? Ты одобряешь её выбор?

— Это всё очень важно?

— Помилуй! Да что же тогда важно, если не это? Если у тебя есть что-нибудь ещё более важное — выкладывай, я слушаю!

— Муж... Тамарин муж, — пожала плечами Нина. — Как тебе сказать... Всё так, как это обычно бывает. Она студентка, он студент. Пожились с полгода тому назад, а как живут... По-моему, ничего, а впрочем — покажет время.

— Ну ладно. А это что значит: «иногда к ней заходит муж»? Что значит приходящий муж?

— Пожалуйста, Женечка, не подумай, будто здесь что-то такое... Нет, нет. Ничего такого, уверяю тебя. Пока он живёт попрежнему в студенческом общежитии и каждый день по пути в институт заходит за Томочкой. Так они сами и мы с Борисом Евграфовичем решили. Так лучше и им и нам. Можешь ты мне поверить — так лучше? Или обязательно нужны доказательства? Ты же сама только что говорила: сколько людей, столько судеб... Ну, а если по-другому: сколько семей...

Нина Петровна проговорила это с мимолётной улыбкой, полушутливо-полусерьёзно, а Евгения Меркурьевна заметила, что и улыбки, и радость, и тревога — все выражения этого лица были очень коротки, тоже мимолётны. Едва появившись, они уже спешили скрыться, уступить место постоянной сосредоточенности, которая всё время присутствовала на лице, даже на округлых, почти девичьих щёчках в ямочками вблизи рта.

— Нет, не могу поверить, — вздохнула Евгения Меркурьевна. — Прости, но никак нельзя поверить, что так лучше для молодой женщины и молодого мужчины.

И она снова ушла в комнату и снова забралась с ногами на диван.

С первых же минут многое оказалось неожиданным в этой встрече, многим озадачила Евгению Меркурьевну любимая подруга... Но Евгения Меркурьевна не стремилась, да, наверное, и не могла думать о людях, присваивая им одно из общеизвестных определений: добрый, злой, смелый, трусливый. Представление о человеке складывалось у неё по-своему. Обычно на всю жизнь врезалась в её память какая-то встреча с человеком, один его поступок, какие-то его слова, иногда даже не высказанные вслух, а угаданные в жесте или в улыбке, какое-то одно выражение лица или всей фигуры. Однажды пережитое ощущение от этой встречи, от этих слов, от этого жеста она переживала потом снова и снова всякий раз, когда думала о человеке или просто кто-то упоминал его имя. Так она узнавала и так помнила людей. Ей и самой это казалось несколько странным. Тем не менее не только она сама так думала, но и в самом деле она очень редко ошибалась в людях. Нина Петровна Муськова, которую Евгения Меркурьевна наедине никогда не называла иначе, чем «мой Нино», все эти годы жила в её памяти стихами, возвышенными, но чуть-чуть холодноватыми, не по-женски последовательными, и ещё тем отсутствующим выражением лица, которое появлялось у Нино всякий раз, как она начинала читать свои стихи.

И вот теперь, сидя на диване, Евгения Меркурьевна поняла, что какое-то новое представление о подруге вытеснит это привычное, существующее много лет, и снова восстанавливала в памяти в самых мельчайших подробностях и встречу с Нино в сквере, и разговор с ней здесь, в этой комнате, и на кухне, где подруга стояла у плиты в голубом клеёнчатом фартучке, с алюминиевой сковородкой в руке и с каким-то недоступным выражением лица.

Евгения Меркурьевна не могла быть строгой к своей любимой подруге. Пристрастие Муськовых к медицине она называла про себя «семейной блажью», некоторую холодность дорогого Нино объяснила возрастом — и то и другое легко можно было и понять и простить, но что настораживало Евгению Меркурьевну, так это недоговаривание Нино о замужестве дочери...

Здесь было что-то необычное, быть может — непростительное, в этом Евгения Меркурьевна убеждалась снова и снова, оглядываясь вокруг себя. Поразительно, что в комнате, где живёт молодая женщина, нет даже кровати, её заменяет вот этот самый диван, нет ни одной приятной безделушки, портрета — должно быть, всё это призван заменить прибор для определения величины кровяного давления.

Самые разные мысли появлялись у Евгении Меркурьевны по этому поводу, и наконец её фантазия изобрела такую странную сцену: будто бы

толстовская Анна Каренина и красавица Ирэн Форсайт вошли в эту комнату. Вошли и ужаснулись. Разумеется, они были барынями, они жили не в домах, а в особняках, даже во дворцах, но всё-таки Евгения Меркурьевна никак не могла объяснить им, почему в комнате молодой женщины голые стены, почему нигде не видно духов, почему вместо дивана нельзя поставить кровать.

И уже совершенно нельзя было объяснить, что такое муж, который иногда заходит в эту холостяцкую комнату.

Так Евгения Меркурьевна размышляла в недоумении довольно долго, и, вероятно, эти мысли занимали бы её и дальше, если бы в комнату не вошла Тамара.

К старости Евгения Меркурьевна сдержанно, но непоколебимо всё больше и больше влюблялась в свою собственную минувшую девичью красоту.

Всё чаще убеждалась она, что мало, очень мало довелось ей встретить на своём веку женщин и девушек, которые внешне могли бы быть ей под стать лет двадцать — тридцать тому назад.

Но зато, если уж видела она безупречно сложенную женскую фигуру, широко открытые, сразу и задорные и стыдливые глаза под пушистыми ресницами, мягкие и тяжёлые косы, если могла она сказать, что это так же хорошо, как и у неё было когда-то, — значит восторгам её не было конца.

И вот, когда вошла Тамара и остановилась в нерешительности посреди комнаты при виде незнакомой женщины, которая с папиросой в руке сидела на диване, поджав ноги, и, кажется, рассматривала свои разбросанные по полу туфли, у одной из которых подмётка совсем почти была проношена, — эта странная женщина и не подумала поздороваться. Она подняла голову, взглянула на Тамару, проговорила: «Ой! Что такое?» — и сделала обеими руками жест, который мог обозначать только одно: «Стой и не шевелись!»

Тамара так и стояла, не шевелясь, а женщина долго смотрела на неё, выкатив глаза и время от времени порывисто вздыхая, а потом тихонько засмеялась, встала, не опуская глаз, пошарила ногами по полу, надевая туфли, и бросилась к ней навстречу. Она обняла Тамару, потом отбросила немножко от себя, стала целовать её, снова крепко прижав к себе, и только после этого заговорила:

— Томочка, милая, дорогая, ты помнишь меня?

И Тамара теперь уже сама ещё крепче прижалась к этой женщине, от которой пахло табаком и которая торопливо перебирала ногами по полу, потому что всё ещё не могла как следует надеть туфли, и сказала:

— Нет... Я вас не помню... Не знаю...

— Так я и думала! — воскликнула Евгения Меркурьевна. — Конечно! Ведь ты была совсем крошкой, когда я была молодой. Во всяком случае — похжей на тебя. Ведь так?

— Не знаю, право... — ответила Тамара, тоже начиная дышать тяжело от этих крепких объятий. — Не знаю...

— Ну, это не так важно, — решила Евгения Меркурьевна. — Ты стой, пожалуйста, стой и не шевелись, а я ещё посмотрю на тебя...

«Конечно, — думала Евгения Меркурьевна, рассматривая неподвижную и смущённую Тамару, — конечно, она хороша прежде всего потому, что сама не знает, как она хороша. Немножко грубоваты губы и нос — не совсем женственные... К тому же нос приплюснут чуть-чуть больше, чем следовало бы. Но боже мой! Разве в этом дело? Да как не стыдно тебе придираться к девушке! Глаза! Глаза — вот что главное: огромные, карие, в пушистых серых ресницах под крутыми, тоже серыми бровями. Ну, а щёки? А по-детски раздвоенный и по-женски выразительный подбородок? А цвет кожи?!»

Евгения Меркурьевна всплеснула руками и снова ткнулась в грудь Тамары совершенно поглупевшим от радости лицом.

— Детка! Детка! — говорила она, всхлипывая. — Как я счастлива! Спасибо тебе, дорогая. Ну, теперь пойдём присядем. — Она потянула за собой Тамару, и они рядышком опустились на диван. — Значит, ты не помнишь меня, милая? Конечно, это было давно, ах, так давно всё это было... Но всё-таки, может быть, мама иногда и рассказывала тебе о своей подруге Жене Арзамасской?

— Так вот вы кто?! Почему же вы не сказали об этом?.. Ну да, конечно, не всё сразу... Когда я была ещё девочкой, у нас в семье так часто говорили о вас...

— Ну, а потом стали вспоминать реже?

— Да. Реже...

— Это естественно! Нечему удивляться, не на что сетовать... Скажи, пожалуйста, можно называть тебя на «ты»? Позволяешь?

— Но вы уже называете... И хорошо! Так лучше. Только так!

Ещё через несколько минут Евгения Меркурьевна уже давала Тамаре наставления о том, какой фасон и цвет платья больше всего подойдут к ней, советовала каждый день гулять перед сном и меньше есть мучного, потому что у неё есть опасность слишком пополнеть, расспрашивала Тамару об институте. Если бы кто-нибудь мог подслушать их, то, конечно, решил бы, что перед ним тётушка и племянница, которые не виделись давно, страшно соскучились друг по другу и вот наконец-то отводят душу в оживлённом разговоре.

Однако этот разговор не был совсем непринуждённым — с каждой минутой перед Евгенией Меркурьевной всё настойчивее возникал один и тот же вопрос, и наконец она спросила:

— Ну, а как ты живёшь, Томочка... вот в этой комнате?

Что-то дрогнуло в голосе и, кажется, во всей фигуре Тамары, когда она тихо, словно по секрету, произнесла такое обычное:

— Ничего.

— Кто у тебя муж? Как его зовут?

— Мама уже рассказала вам? Да?

Тамара спросила об этом с тревогой, почему-то прижав к груди одну руку, протянув другую к Евгении Меркурьевне. И тут Евгения Меркурьевна вдруг решила действовать без обиняков, самым решительным образом.

— Скажи, моя милая, почему же твой муж так редко бывает здесь? Вот и мне было бы очень приятно познакомиться с ним...

Что-то туманное надвинулось на глаза Евгении Меркурьевны, что-то укололо её, когда она увидела перед собой изменившееся лицо Тамары — таким оно стало растерянным, такую выражало обиду. Сейчас должно было случиться одно из двух: либо Тамара заплачет, прикинется к Евгении Меркурьевне и сквозь слёзы всё расскажет ей, либо встанет и уйдёт, и между ними больше не будет сказано ни слова.

Казалось, время тянулось очень долго. Евгения Меркурьевна успела подумать, что напрасно она так грубо вмешалась в чужую жизнь...

— Если мать вам говорила, зачем же вы спрашиваете меня? — проговорила Тамара. И, не дожидаясь ответа (точно так, как уже представила в своём воображении Евгения Меркурьевна), Тамара встала, выпрямилась, осмотрела её с ног до головы, потом резко повернулась и вышла из комнаты.

— Ты ошибаешься, моя милая детка, твоя мать ничего не говорила мне, она только как-то странно упомянула... — Совершенно напрасно были произнесены вслед Тамаре эти слова, от них только тяжелее стало на душе у Евгении Меркурьевны. — Бабья привычка! Глупая бабья привычка вмешиваться в чужие дела! — договорила она уже для себя, оставшись одна.

И появление этой чудесной женщины, почти девочки, и уход её — всё промелькнуло быстро, как на экране, и Евгения Меркурьевна никак не могла отдать себе отчёта в том, что она была здесь не зрительницей, а действующим лицом, что именно из-за неё и случилось всё так нелепо, и хотя она всячески упрекала и поносила себя, её не покидало чувство, будто при разговоре с Тамарой присутствовал кто-то третий, и этот третий как раз и виноват больше всех...

«В конце концов, — подумала она, — больше всего виноваты Муськовы-старшие. Конечно, они!»

С этим раздражением, с обидой на Нину Евгения Меркурьевна и вышла к обеду.

Борис Евграфович Муськов уже сидел за столом, и Евгения Меркурьевна с первого же взгляда могла совершенно точно сказать, что изменилось в этом человеке за много лет: он немножко полысел и довольно заметно пополнел. И только. Во всём остальном это был тот же Боря Муськов, учитель гимназии, в которой обучалась когда-то Евгения Меркурьевна, и ученик, а потом ассистент её первого мужа — профессора, очень уравновешенный, очень предусмотрительный Боря Муськов, которого профессор называл: «Человек в меру». Боря умел многое. Запросто мог сочинить умную эпиграмму, но только так, что она никого не обидит, умел выпить — и порядочно, но никогда не напивался, умел неплохо преподавать в гимназии математику, прилично учился сам в институте, никогда, однако, не утруждая себя чрезмерной работой и соблюдая гигиену умственного труда.

И только один раз в жизни Боря Муськов совершил неожиданный поступок — это когда он женился на Нине Криченецкой, девушке мечтательной, своенравной, стихи которой приводили в то время в восторг Женю Арзамасскую.

Разговор за столом не то чтобы не клеился, а как-то уж очень быстро разрешался каждый вопрос, который возникал у собеседников. Прошло четверть часа, а Евгения Меркурьевна успела рассказать Борису Евграфовичу о цели своего приезда, и тот, пересев за письменный стол, на форменном бланке со своей фамилией, отпечатанной бурой краской, написал справку о том, что «гр-ка Арзамасская Евгения Меркурьевна закончила гимназию в городе Н-ске» и что он, «гр-н Муськов Борис Евграфович, бывший в то время преподавателем математики указанной гимназии, свидетельствует этот факт». Потом Борис Евграфович вынул из подмышки термометр и сообщил, что у него тридцать шесть и восемь, а сегодня утром было тридцать шесть и шесть, а вечером, он предполагает, будет тридцать семь. Далее он рассказал, что в прошлом году он провёл сезон в Кисловодске и Ессентуках, а нынче собирается поехать туда же и ещё на Сергиевские воды.

Хоть бы он уж действительно волновался, говоря о своём здоровье, охал и ахал, как это делают мнительные люди, так нет же — он рассуждал очень деловито и спокойно, с исключительным знанием дела. Нина, поставив на стол миску с супом, слушала супруга, затаив дыхание, на лице её появилось наконец выражение оживлённого интереса, она даже заволновалась. Глядя на неё, можно было подумать, будто ей рассказывают содержание ещё не переведённого на русский язык романа Голсуорси.

Итак, через четверть часа отношение Евгении Меркурьевны к Боре Муськову уже было для неё самой совершенно ясным.

«Ах, боже мой! — твердила она про себя, делая вид, будто поглощена беседой, которая шла теперь по поводу химического состава сергиевских минеральных вод. — Так вот в чём дело! Оказывается, Боря Муськов всегда оставался самим собой, всегда был последователен, даже когда он женился на Нине Криченецкой и этим привёл в недоумение всех своих знакомых!»

Напрасно этому шагу удивлялись тогда Евгения Меркурьевна и её мудрый профессор, даже, кажется, сама Нина. Совершенно напрасно! Боренька Муськов искал... Искал, не торопясь, последовательно, очень упорно и присущим ему одному чутьём нашёл в мечтательной девушке то, что было ему нужно.

Этим, вероятно, и была мечтательность — возвышенная, но отвлечённая, без всякой связи с окружающей жизнью, без определённой цели, — её легко можно было подчинить себе. И Боренька её подчинил, безжизненную страсть он заменил бесстрастной жизнью, непоколебимой привязанностью к себе. Это и был его идеал.

Он уже тогда знал, что настанет время, и все помыслы Нино будут сосредоточены на том, какая у мужа температура, как изменяется его самочувствие и кровяное давление, на режиме его питания и сна и на том ещё, какой у него стул.

Вот он сидит сейчас за столом в белоснежной расстёгнутой рубашке, ест суп с клёцками, и Евгении Меркурьевне казалось, что у человека нет ни одной черты, ни одного движения, которые не выдавали бы в нём этого преступного замысла и довольства тем, что замысел блестяще осуществлён.

Глядя на лысую голову, на полное лицо с постоянной сдержанной улыбкой, слушая размеренный голос, наблюдая слегка замедленные движения этого на редкость здорового, в меру упитанного, розового человека, Евгения Меркурьевна с каждой минутой поражалась всё больше и больше: как, каким образом это могло случиться, что в своё время ни она сама, ни её мудрый профессор, вообще никто из людей не разгадал Бореньку Муськова, никто не понял его намерений, а все только и делали, что от души поздравляли его с женитьбой на молодой и красивой девушке?!

Однако каким бы значительным ни было это открытие, всё-таки не оно сосредоточивало мысли Евгении Меркурьевны. Да, здесь, в этой семье, немислимые отношения между мужем и женой сложились окончательно, вошли в норму и, как бы это ни было странно, доставляли душевное удовлетворение и тому и другому. Это ясно.

А Тамара? Тамара и её муж — вот где скрывалось ещё не известное, скрывалось то, о чём Нино не хотела говорить, что заставляло Тамару заливаться краской стыда, заставляло страдать её, молодую и прекрасную женщину, почти ещё девочку, и что не вызывало ни малейших сомнений или угрызений совести у Бореньки Муськова, который, несомненно, был виной всему.

Нет, Евгения Меркурьевна не могла уйти из этого дома, не узнав всего до конца, не высказав вслух своего мнения, своей обиды по поводу того, что её поссорили с Тамарой, не заступившись за Тамару. Встать и уйти отсюда сейчас или оставаться здесь и делать вид, будто её ничего больше не интересует, кроме справки, которую только что написал Боренька, — и то и другое было выше её сил.

И когда Нина вышла на кухню за сладким, Евгения Меркурьевна сказала Муськову:

— Как бы мне хотелось видеть мужа вашей милой Томочки! Наверное, это очень интересный молодой человек?

К удивлению Евгении Меркурьевны, Муськов ничуть не был встревожен этим вопросом. Наоборот, на его гладком лице ещё заметнее стало выражение удовольствия, он откинулся на спинку кресла и проговорил:

— Дорогая Женя! Вам никогда не изменяло чутьё. Вы правы — очень, очень интересный молодой человек. Весьма недурён. Ну, а всё остальное... да, тоже терпимо, вполне терпимо. Привязан к Тамаре, пожалуй, даже больше, чем она к нему. Для собственной дочери мне этот вариант представляется вполне приемлемым. Пока что на очень большие,

но уже подаёт надежды как будущий инженер. Одним словом, зять мой — прекрасный парень!

— Ах, вот как! Значит, вы к нему очень благоволите. Но, кажется, он навешает вас только изредка?

И снова в ответ Боренька Муськов только покачал головой и улыбнулся, так что про себя Евгения Меркурьевна подумала: «Между прочим, прекрасные нервы! Права я или не права, но если бы ко мне кто-нибудь вот так же настырно приставал с расспросами о моей семье, так я бы прежде всего послала этого человека ко всем чертям!»

Побарабанив пальцами по столу, Муськов ответил:

— Ах, женщины, женщины! Едва войдут в дом, как уже всё знают! Какая же вы любознательная, Женечка! Всё ещё любознательная, что касается молодого, интересного? А?! — И он внимательно поглядел на Евгению Меркурьевну, прошёлся взглядом последовательно по причёске, лицу, плечам и бюсту.

Мужское внимание никогда не претило Евгении Меркурьевне, но тут она поёжилась, словно к ней прикоснулись не взглядом, а рукой, и продолжила размышления про себя: «Так, значит, вот ещё каков ты есть, Боря Муськов, гусь...»

— Но вы, право, напрасно думаете, что здесь кроется что-нибудь... что-нибудь щепетильное, — продолжал Муськов. — Ничуть. Дело обстоит очень просто. Так лучше. Удобнее по некоторым соображениям и молодым и нам с Ниночкой...

Как раз вошла Нина всё в том же голубом передничке и с прозрачной миской в руках, в которой колыхался бордовый кисель.

— О чём это вы? — спросила она. — О каких соображениях?

— Да вот, — ответил Борис Евграфович, — как я понял, ты, должно быть, уже рассказала немного о наших молодых Евгении Меркурьевне. А Женя любознательна. Хотела бы видеть молодого супруга, и у неё возникла к нам претензия: уж не прячем ли мы человека?.. Так что, Ниночка, объясни, пожалуйста, после обеда, в чём тут дело... Вы — женщины и с полуслова поймёте друг друга...

Нет, Боренька не делал здесь никакого секрета, и Нина, должно быть, тоже, хотя ей и было неприятно. В её усмешке проскользнула растерянность.

Евгения Меркурьевна завела разговор о курортах и даже блеснула своими познаниями в этой области, заявив, что воды Белокурихи более активны, чем мацестинские, и когда Муськов вставал из-за стола, он даже вздохнул с сожалением по поводу того, что не удалось довести интересный разговор до конца, но что поделаешь — режим. Он пройдёт сейчас в сквере перед домом, а через полчаса ляжет отдохнуть.

Как только женщины остались одни, Евгения Меркурьевна нагнулась к подруге через стол и проговорила:

— Ну, рассказывай же!

— Ах, ты всё о том же! Ну, какая муха тебя укусила? Боря сегодня в хорошем самочувствии, а ведь он мог бы и разволноваться от твоих домоганий... У него нервы...

— Милая, твой Боря — першерон. Знаешь такую породу тяжелозовов? Меня обучили в ветеринарном институте. Пер-ше-рон. И проживёт пятьдесят лет дома, да ещё пятьдесят на курортах, а всего сто. Уж ты мне поверь!

— Евгения! Что ты говоришь!

— То, что вижу. Так почему вы мучаете Томочку? Что за причина?

— Евгения! Это немислимый тон... Я пожалуюсь Боре...

— Не пожалуешься: надо беречь его нервы. Хуже будет, если я пожалуюсь ему. Ведь он же сказал, что никакого секрета нет, что мы женски быстро поймём друг друга. Ну?

На мгновение Евгения Меркурьевна испугалась: опять та же решительность, которая уже оттолкнула от неё Тамару. Но опасения были напрасны. Ямочки на круглых щеках Нино, правда, исчезли, лицо немножко вытянулось, и очень неохотно, вяло она заговорила:

— Ну, зачем всё это?.. Ты меня извини, дорогая, но ты действуешь как-то по-обывательски. Обязательно всё нужно знать...

— Обязательно. Мы старые друзья, а твой муж — ученик моего мужа. В нашем доме ты познакомилась, если помнишь, с Борисом. Одним словом, обязательно! Какие же мы старые друзья, если я не знаю вашей семейной жизни?

— Нет, всё-таки это странно — такая настойчивость... Если бы ты имела желание немного поразмыслить, так и сама бы догадалась... При таком состоянии здоровья, как у Бориса Евграфовича, — ты этому не веришь, а я ведь знаю, знаю, что у него по ночам холодный пот выступает на лбу, и это признак...

— Хорошо, я верю, что выступает пот на лбу. Дальше?

— Дальше... лучше позвать в наш дом этого самого молодого человека несколько позже... незадолго до того, как они оба кончат институт и поедут на работу, вступят в самостоятельную жизнь на производстве... Мы так и сделаем. Они ещё будут жить у нас вместе, в той самой комнате. А пока что мы не ставим в комнатах ни одной лишней вещи, чтобы было меньше пыли. Не говоря уже, что всякие хлопоты, волнения, посторонние звуки будут сказываться на здоровье Бориса Евграфовича. Понятно же тебе, наконец? Ясно?

— Нет! Непонятно! И неясно! Выражайся, пожалуйста, определённое насчёт «этого самого молодого человека!» Не всё ли равно, будет Тамара жить со своим мужем сейчас или через полгода? Ведь у тебя нет сомнений в том, что тамарин муж — порядочный человек, что они по-настоящему любят друг друга?

Нина посмотрела на Евгению Меркурьевну строго и с явным сожалением — похоже было, что она сомневалась в умственных способностях своей гостьи.

Евгения Меркурьевна заметила этот взгляд, но ничуть не была смущена, ей было сейчас не до того, чтобы обращать внимание на интонации голоса и выражение лица своего дорогого Нино.

— Так в чём же дело, я спрашиваю? — повторила она строго.

Нина Петровна вздохнула и перешла на «вы».

— Какая вы странная, Евгения Меркурьевна! С годами, что ли, вы стали словно ребёнок, которому всё-всё нужно доходчиво объяснить. Я повторяю ещё раз: после окончания института молодые уедут на работу, будут жить, как им вздумается, а раньше, чем за девять месяцев до окончания, они не должны... В этом нет ничего особенного. Когда Тамара выходила замуж, я предупредила её...

Внешне Евгения Меркурьевна сначала ничем не выдала своего возмущения, она сидела молча и спокойно, потом так же спокойно сказала:

— Я удивляюсь, почему Тамара не уйдёт от вас... Плюнуть и уйти! Просто и ясно! В конце концов она может продать какие-нибудь платьишки, взять уроки, вообще найти себе небольшую работу. Много ли им надо, двум молодым людям?

Нина не только не обиделась на Евгению Меркурьевну, а даже как будто обрадовалась, что разговор не привёл их к ещё большим осложнениям. Она ответила:

— Это было бы слишком грубо с её стороны... Томочка никогда не позволит себе обидеть отца и меня. Никогда... Это было бы попросту жестоко, она поставила бы нас в неловкое положение...

Всё, что произошло вслед за этим, было полной неожиданностью не только для Нины Петровны, но и для самой Евгении Меркурьевны.

Евгения Меркурьевна встала, прошла, а потом порывисто бросилась в комнату к Тамаре и, стоя в дверях, побледнев, хватая ртом воздух, сказала:

— Детка, дорогая, если ты человек, если ты женщина, если ты любящая женщина — сейчас же уйди отсюда к своему мужу! Сейчас же! Пусть студенты в его комнате убираются, куда хотят, завтра — послезавтра вы найдёте себе угол! Но пойми — иначе нельзя, иначе ты не можешь поступить, потому что ты хорошая, прекрасная девочка, и я верю в тебя!

Тамара вскрикнула и как прикрыла лицо рукой, так и не пошевелилась больше. В дверях столовой показался Борис Евграфович.

— Почему вы считаете необходимым воспитывать мою дочь, Женечка? — спросил он, вытирая голову платком.

— Потому что вы ханжа! — разъяснила Евгения Меркурьевна. — Даже варвары не могли додуматься до этого: выдать дочь замуж и не отдавать её мужу! Мой бедный муж, мой профессор, да разве он знал, кого учит, кому передаёт свои знания?! Кому и для чего? Вы обманули его, вы всех нас обманули: жену, дочь — всех, всех! Как я раньше не узнала вас?

С необыкновенной резвостью Борис Евграфович проскочил мимо Евгении Меркурьевны в комнату Тамары и закрыл дверь.

Некоторое время в квартире стояла тишина, а потом из-за дверей донёсся голос Бориса Евграфовича:

— Какое вы имеете право?! Кто вы такая? Ваш любовник был репрессирован! Я призыву вас к порядку!

— Боренька... Милый Боренька... Бедный Боренька... — тихо произнесла Нина Петровна, откинувшись на спинку стула. На её лице было выражение страшного испуга и бессилия.

Евгения Меркурьевна налила стакан воды, и хотя руки её дрожали и сама она тоже вздрагивала всем телом, всё-таки она не пролила ни капли и очень твёрдо сказала Нине Петровне:

— Пей!

— Евгения! Уйди из нашего дома, оставь нас! Я всё тебе прощу, всё! Только уйди... Он не переживёт...

— Я сказала тебе: пей!

Когда Нина Петровна сделала несколько глотков и слабым движением поставила стакан на стол, Евгения Меркурьевна проговорила:

— Вот тебе хороший совет, мой дорогой Нинно! Поступи в ветеринарный институт. Ей-богу! Это тебе очень пригодится. Ты узнаешь пользу ветеринарии.

— Что? Что с тобой? Оставь нас, будь добра, оставь! Зачем мне ветеринарный институт? Что с тобой?

— Там тебя научат правильному уходу и содержанию животных! Откорму — сальному, полусальному и беконному. Это тебе нужно. Потом тебя научат планировать отёлы, окоты и опоросы! Понимаешь? Теперь встань и закрой за мной дверь!

Спустя ещё четверть часа Евгения Меркурьевна сидела в укромном уголке городского парка, подальше от взглядов редких прохожих и горько плакала.

В парк выходила металлическая ограда бывшей гимназии, той самой гимназии, об окончании которой в личном деле Евгении Меркурьевны не было справки. Отсюда было видно и белое здание политехнического института, в котором когда-то Евгения Меркурьевна начинала свою самостоятельную работу преподавательницей английского языка, в полной уверенности, что работа эта только временная, только краткий эпизод в

предстоящей большой и разнообразной жизни... А случилось так, что преподавание языка стало уделом всей её жизни, но только уже не в этом большом и красивом городе и не в этом огромном институте, а в маленьком ветеринарном вузе, заброшенном на окраину страны. А может быть, и вся жизнь прошла вот так же нескладно, как сегодняшняя встреча с дорогим Нино?

Ехала, волновалась, сгорала от нетерпения скорее, скорее увидеть, обнять подругу...

Увидела — расплакалась от избытка искренних чувств, обняла, расцеловала. А через каких-нибудь три-четыре часа послала приятельницу ко всем чертям! Боже мой, если бы кто-то осмелился сказать ей сегодня утром, что долгожданная встреча обернётся таким образом! Да разве можно было этому поверить?!

Что за характер, что за нескладный, дикий характер! Ладно, пусть так случилось, но если бы она знала, что пройдёт год, два, три года и всё забудется и только при упоминании фамилии Муськовых на одну секунду возникнет в памяти немножко смешной, немножко грустный эпизод, возникнет и снова исчезнет, не оставив никакого следа... Так нет же: пока она жива, до тех пор будет помнить эту встречу до мельчайших подробностей, снова и снова переживать её, терзаться...

А из-за чего? В чём она виновата? Не она, а её обманули, обманули в лучших, в искренних чувствах! Ну ладно, она поступила необдуманно, крикливо, по-бабьи, но разве это меняет дело? Разве лучше было промолчать, сделать вид, будто ничего не заметила, провести в семье Муськовых день, а то и два, скромно распрощаться, улыбнуться и тихо-тихо уйти, чтобы уже никогда не встречаться снова?

Она так не может. Когда вспоминает всё с самого начала, никаких сомнений, никаких угрызений совести. Наоборот, в голову приходят яростные, невысказанные слова, и становится даже обидно, что они пришли только вот сейчас, а не тогда, когда им было место. Очень жаль! Право, очень жаль!

Можно сказать, что она поступила бестактно. А зачем такт перед людьми, которые поймут твою вежливость, как одобрение своих низких поступков?

Вежливость в этом случае — тоже притворство, а вот уж чего у неё никогда не было, того не было. Покойный муж-профессор не раз говорил ей, что нужно различать две разные вещи: сдержанность чувств, умение владеть своими чувствами и притворство... Да... Говорить он это говорил, и не раз, а ведь она знает, за что он её больше всего любил, знает, почему он к ней пришёл, когда она лишилась своего второго мужа: потому что она не умела притворяться...

Солнце уже скрылось, начало темнеть, и тогда Евгения Меркурьевна вдруг вспомнила, что в темноте она не сможет привести себя в порядок: припудрить заплаканное лицо, подкрасить губы, поправить как следует волосы на голове.

Торопливо она стала искать в своей сумочке пудру, зеркальце и тут вспомнила, что оставила всё это у Муськовых. Ну да, на диване, в тамариновой комнате. И папиросы тоже там оставила.

«Ужасно, ужасно! — Евгения Меркурьевна всплеснула руками и снова залилась слезами. — Ну, можно ли жить с таким характером?»

Но вслед за этим она подумала, что необходимо действовать изобретательно и быстро.

Она встала, сломала две-три веточки какого-то кустарника, в траве разыскала незрелый цветочек и, не то обмахиваясь, не то вдыхая аромат этого цветка, заслоняя своё лицо, быстро пошла по улице. Квартала через два в аптеке она купила пудру и помаду. Но зеркальца **не было**.

Она зашла в несколько магазинов и наконец в огромном «Гастрономе» увидела трюмо, со всех сторон обставленное бутафорскими конфетными коробками и деревянными колбасами.

Здесь она попудрилась.

3

В доме профессора Лосняковича Евгения Меркурьевна провела уже более суток, но её всё ещё не покидало ощущение незнакомой обстановки.

Вдвоём с мужем они, бывало, никак не могли установить определённый час для обеда, а утром вставали в разное время.

Здесь вся огромная семья — сам профессор Леонтий Николаевич, его жена Александра Александровна, свояченица, дочь, зять, внуки — садились за стол, как по команде.

Ложились в этом доме рано и рано вставали, так что Евгении Меркурьевне было жаль преждевременно расставаться с большим диваном, на котором она спала, с его едва приметным запахом кожи и с мягкой периной, которую ей стелила домработница.

Сам Лоснякович увлекался разведением гладиолусов, цветы росли у него в палисаднике перед домом, хотя этот дом и был пятиэтажным, коммунальным и стоял на оживлённой улице, а палисадничек был всего в два-три метра шириной, — гладиолусы никто не тревожил, наоборот, они росли под попечительством всего многочисленного населения дома. Самые же красивые цветы были у Лосняковича на балконе, особенно один поражал взгляд: темнофиолетовый, почти совсем чёрный, он блистал на солнце металлической и в то же время живой краской. Было в нём что-то сказочное, из Бажова.

Старшие Лосняковичи — профессор, его жена и свояченица — хорошо знали первого мужа Евгении Меркурьевны, были знакомы и с её родителями. Это знакомство они неизменно, ко всякому случаю, подчёркивали, приняли Евгению Меркурьевну, как родственницу, и очень часто повторяли: «Мы здесь все люди свои...», «между нами, своими людьми», «здесь чужих нет» — и так далее, в том же роде...

Эти выражения, повторяющиеся слишком часто, как-то претили Евгении Меркурьевне, но она обижалась только на себя за то, что ей недоступна эта стариковская сентиментальность.

Справку Леонтий Николаевич написал сразу же и с таким видом, как будто Евгения Меркурьевна доставила ему своей просьбой огромное удовольствие, сказав с весёлым выражением:

— Ради бога! Да разве это что-нибудь стоит?!

Старик был ещё бодрый и очень подвижной для своих семидесяти с лишним лет, очень вежливый и предупредительный, но суетливый.

Опять-таки Евгения Меркурьевна очень строго сказала себе, что нужно терпимо относиться к старости, да ещё к такой гостеприимной, как эта. Хватит с неё заниматься критикой чужих семей. Здесь она будет тише воды, ниже травы. Если ей что и не понравится, так она не позволит себе ни одного лишнего слова.

Однако не заметить суетливости и даже бестолковости Леонтия Николаевича было нельзя, тем более, что все домашние её тоже замечали и не делали из неё никакого секрета.

Знал Леонтий Николаевич, безусловно, очень много.

За столом, кушая с завидным аппетитом, он вдруг задумывался на минуту, а потом говорил: «Картошка? Это хорошо!» Картошечка! *Solanum tuberosum!* Очень хорошо! Один килограмм картофеля содержит сто миллиграммов витамина С, а человеку в день требуется пятьдесят миллиграммов! Картофель варёный в кожуре сохраняет семьдесят пять процентов витамина С, варёный без кожуры — шестьдесят процентов, а в суде — пятьдесят! Да! Пятьдесят!»

Заходил разговор о театре, и он вдруг вспоминал, что в 1776 году князь Урусов получил привилегию на содержание всех театральных предприятий в Москве, причём вспоминал с такими подробностями, будто сам был очевидцем этого события и близким знакомым Урусова. Вечером, поглядев на небо, потеряв себя за редкую, но ещё волнистую бородку, он сказал, что звезда «S» из созвездия Золотой Рыбы обладает наибольшей светимостью — в четыреста тысяч раз больше, чем Солнце, но эту звезду из нашего полушария почти совсем не видно, а вот из южного видно прекрасно.

Справки и комментарии по поводу чего бы то ни было он мог давать каждую минуту, в то же время, лишь только начинал Леонтий Николаевич излагать свою собственную мысль, его переставали слушать, да и невозможно было оставаться к нему внимательным, потому что никто не мог понять, что он доказывает и ради чего... Кажется, он и сам не понимал этого, забывал то, с чего начал, и, часто моргая, спрашивал собеседника: «Так я говорю? А может быть, не так?» И при этом глаза у него наполнялись влагой. Довольно трудно было себе представить профессора за кафедрой, читающего лекцию студентам.

Со всеми женщинами этой семьи — с профессоршей Александрой Александровной и её сестрой, которая никак не хотела, чтобы её называли по имени-отчеству, а обязательно только по имени — Клавой, с дочерью Лосняковичей, Зинаидой, у Евгении Меркурьевны быстро установились отношения.

Утром, когда Леонтий Николаевич уехал в институт читать лекцию, женщины, завладев его кабинетом, натащили туда уйму выкроек, журналов мод и неисчислимое количество отрезков, мехов, искусственных цветов, пуговиц, застёжек, брошек, заколок и новых, ещё не ношенных платьев.

Сначала примеривали к детям, вызывая их в кабинет по очереди, чтобы не мешали друг другу, а примерив, сразу же выставляли за дверь. Потом наступила очередь взрослых, причём почти всем пришлось освободиться от верхнего платья, чтобы материал лучше лежал на фигурах. Шестиоты, коверкоты, бостоны, велюры, драпы пахли нафталином, но этот запах, от которого у Евгении Меркурьевны обычно болела голова, теперь приводил её в восторг, прямо-таки в ажиотаж.

Она была совершенно уверена, что ни одно платье, как бы шикарно оно ни было, — увы! — не сделает изящными слишком полные фигуры матери и дочери Лосняковичей и слишком тощую фигуру Клавдии, но это ничуть не мешало ей измерять их фигуры сантиметром во всех направлениях, примеривать, прикладывать, прикалывать, горячо спорить и сквозь запах нафталина улавливать в материалах экзотический аромат каких-то неведомых стран. Кончилось тем, что она едва не прожгла самый лучший отрез венгерского велюра пеплом своей папиросы.

После этого отрезки и платья стали понемногу выносить из кабинета, но, прежде чем кончить осмотр, Евгении Меркурьевне были ещё показаны ящики комода и сундучок среднего размера с некоторыми вещами, предназначенными для старшей внучки.

Совсем, кажется, забылись неприятности, пережитые накануне. И только позже, под вечер, когда она отдыхала всё в том же кабинете профессора на диване, пахнущем кожей, вдруг стало как-то грустно... Грустно и пусто на душе.

На другой день Евгению Меркурьевну поразил один, казалось бы, незначительный или, во всяком случае, не очень значительный случай.

Домработница Лосняковичей вынула из почтового ящика газеты — целую пачку — и унесла их прямо на кухню. Почту доставляли два раза в день, и оба раза это повторилось.

Сначала Евгения Меркурьевна даже обрадовалась: «Ах, вот как поступают профессора?! Чего же тогда требовать от меня?»

Евгения Меркурьевна подумала так потому, что в ветеринарном институте, в котором она обучала студентов английскому языку, в местном и на профсоюзных собраниях её часто упрекали в аполитичности, в том, что она, Арзамасская, пассивный член кружка текущей политики, так что в конце концов она сама поверила, что у неё нет интереса к этой стороне жизни.

Для себя она находила оправдание: виноват доцент Бутко. В общем человек уважаемый, кандидат ветеринарных наук, известный специалист в области ранней диагностики, лечения и хирургии грыжи лошадей, доцент Бутко как раз и был руководителем кружка текущей политики.

Уже одна эта фамилия наводила Евгению Меркурьевну на размышления, не имеющие, кажется, ничего общего с внутренней и внешней политикой.

В её воображении возникали очень работающие лошадки — Серко, Гнедко, Игренько, — все сплошь прихварывающие грыжей и потому понурые, без всяких признаков той лошадиной нежности во взгляде, которая пленяла и вдохновляла Толстого, а вслед за ним и Голсуорси.

Когда доцент Бутко на одной довольно низкой и хрипловатой ноте от первой до последней строчки прочитывал членам кружка текущей политики газетную полосу, через каждый абзац поднимая голову и со всей строгостью поглядывая на слушателей — не отвлекается ли кто-нибудь из них посторонними занятиями? — у Евгении Меркурьевны начиналась мигрень. Не помогал ни пирамидон, ни кофеин. Она готова была закурить опиум, чтобы только отделаться от этой боли, но опиума не было, а в голове часами вертелась одна и та же довольно странная, но ходячая среди ветеринаров фраза о том, что, когда лошадям нечего есть, они читают газеты.

С другой стороны, случались и такие вещи, которые вдруг наполняли для Евгении Меркурьевны газетные строки каким-то особым, одной только ей известным смыслом.

Помнится, в Москве, на Внуковском аэродроме, когда Евгения Меркурьевна собиралась вылететь домой, растревоженная лестными отзывами столичных учёных о её работе, в ресторане она увидела негра.

Негр был совсем не такой, каких ей доводилось встречать прежде. Он был не коричнево-чёрный и даже не чёрный, а иссиня-чёрный, чуть-чуть сизый. Курчавые с проседью волосы, губы и, кажется, даже глаза и те имели этот лёгкий сизый налёт.

Негр пытался объясниться с официанткой, показывая на меню, разводил руками и улыбался. Официантка улыбалась ему в свою очередь тоже очень приветливо, но от этого переговоры не подвигались быстрее, и посетители за соседними столиками делали вид, будто они никуда не торопятся и могут ждать официантку, сколько угодно.

Негр произнёс несколько слов по-английски, и тогда Евгения Меркурьевна быстро пересела к нему за столик и от его имени заказала обед.

На чистейшем английском языке, не американском, а именно английском, негр поблагодарил Евгению Меркурьевну и замолчал. Он, должно быть, хотел ещё поговорить с ней, но не знал о чём.

Тогда она вдруг заговорила о том, что знала из истории этого народа. Сначала лицо собеседника приняло напряжённое выражение, и она испугалась, но испугалась напрасно — вскоре он оживился.

Полтора часа они просидели за столиком ресторана, и перед Евгенией Меркурьевой открылось что-то новое, неведомое, что-то такое челове-

ское, о чём она не знала прежде. Каждое чувство в отдельности, которое она угадывала в своём собеседнике, она определяла совершенно точно: это были и грусть, и радость, и надежды, и застенчивость, и суждения очень прямые, откровенные, которым по-русски она дала бы название бесшабашности. Но то, что эти чувства составляли все вместе, в общем, соединённые в одном человеке, даже в одной его улыбке или взгляде, она не могла назвать.

Она слушала о неграх в Южной Африке, в Северной Америке, в Либерии и чуть было не пропустила посадку на свой самолёт.

Мистер Лок проводил её до калитки посадочной площадки и помахал платком.

С тех пор всё, что касалось событий, связанных с негритянским населением разных стран, Евгения Меркурьевна читала в газетах с особенным вниманием и всякий раз видела перед собой иссиня-чёрное, почти сизое лицо.

Быть может, на Лосняковичей повлиял в своё время какой-нибудь товарищ Бутко или ни у кого из них никогда в жизни не было встреч, подобных встрече с мистером Локом, только факт оставался фактом — никто в этой семье не читал газет.

Не её это было дело — вмешиваться в семейные дела, тем более, что она дала себе зарок ни в коем случае, ни при каких обстоятельствах ничего подобного себе не позволять, а главное — не начинать, потому что, если начнёшь хоть одним словом, потом уже трудно остановиться.

Но когда и в следующий раз домработница понесла газеты из почтового ящика на кухню, Евгения Меркурьевна не могла удержаться, пробормотала что-то насчёт цивилизации и варварства (опять варварство!) и, войдя в гостиную, разложила газеты на столе, а потом по крайней мере часа два внимательнейшим образом их читала. Прочитала всё — вплоть до передовых. И вдруг стало как-то легче и уму, и сердцу свободнее.

Совершенно напрасно тов. Бутко, специалист по лечению грыжи лошадей, упрекал тов. Арзамасскую в аполитичности и даже поставил такой диагноз, будто она самый отсталый элемент, самый пассивный член кружка текущей политики.

На самом же деле она интересовалась очень многими политическими событиями, но только не переносила, когда эти события преподносились ей в виде обязательного рациона, да потом ещё требовали от неё какой-то отдачи. Доцент Бутко так и говорил: «Изучали? Прорабатывали? Ознакомлялись? Давайте отдачу!»

А вот сейчас никто не требовал от неё отдачи, а она, сидя за столом в гостиной Лосняковичей, вдруг пустилась в рассуждения о международной политике, и Лосняковичи присмирели, как будто даже чего-то испугались. Евгения Меркурьевна отметила про себя: это ей нравится... Ну да, нравится, что у хозяев вытянулись физиономии, что слушают они гостью с таким пугливым вниманием, почти молча, и только раз Александра Александровна тихо спросила: «Как там, ничего не написано про войну?», а в ответ Евгения Меркурьевна засмеялась и сказала, что, по её глубокому убеждению, войны не должно быть и не будет. Просто удивительно, сколько она, оказывается, знала, сколько удерживала её память и как свободно она могла говорить на международные темы!

Когда же в одной из центральных газет она обнаружила заметку о своём ветеринарном институте, о том, что научный работник этого института успешно выводит новую породу полугрубошёрстной овцы, Евгения Меркурьевна даже залилась радостным смехом.

К своему собственному удивлению, она и об овцах заговорила, и тоже очень горячо, хотя чувствовала, что в этом вопросе она весьма и весьма слабовата, поскольку все её познания почерпнуты из переводов с англий-

ского на русский, которые под её руководством выполняли будущие ветеринарные врачи в количестве сорока тысяч печатных знаков в год. Но в этих переводах речь всегда шла не столько о животных, сколько об их болезнях. Евгения Меркурьевна коснулась и болезней. С каким-то особым шиком говорила она о чесотке и парше овец, о чуме и роже свиней, о сапе лошадей и ящуре крупного рогатого скота. Ей даже показалось приятным быть причастной к ветеринарии.

Кажется, очень незначительным был этот случай с газетами. Тем не менее именно после этого случая Евгения Меркурьевна невольно стала внимательнее присматриваться ко всему тому, что происходило на её глазах.

Когда ещё через день Евгения Меркурьевна проснулась утром и лежала на своём уютном диване, она услышала, что в гостиной мать и дочь не то упрекают в чём-то профессора, не то ругают его.

Оказалось ни то, ни другое.

— Пищи! — раздавался неторопливый голос профессорши, едва заметно заикающийся и очень низкий, почти мужской. — Пищи: «Считать тему актуальной. Отметить производственное значение работы по выявлению местных сортов. Представить сорт ноль восемьдесят один...»

— Мамочка, — возражал профессор. — Право же, это не совсем удобно. Во-первых, сортов нет, есть местные репродукции. Во-вторых, представить сорт ноль восемьдесят один... Не рано ли, мамочка, дорогая? А? Ты помнишь, как мы выставили сорт ноль семьдесят два и какие были неприятности? Помнишь? Его пришлось убрать с витрины. Это не совсем удобно... Сколько было разговоров, ай-ай-ай!

— Ты пуганая ворона, Леонтий! — совершенно тем же тоном ответила профессорша. — Представить сорт ноль восемьдесят один...

— Мамочка, — вмешалась Зинаида, — надо учитывать обстановку. Если бы мы были на кафедре вдвоём...

— Вот именно, вот именно! — подхватил Леонтий Николаевич. — Если бы нас было двое — я и Зинуша... Но между нами партийная прослойка! Надо считаться!

— Ты кто? — неожиданно строго спросил голос Александры Александровны.

— Я? Кто я? — быстро, быстро произносил слова профессор. — То есть как это «кто я»?

— Ты заведующий кафедрой! Вот кто ты! И не забывай этого!

— Мамочка, — снова вмешалась дочь, — ну, какой он заведующий? Цыкнет на него декан — он бежит ко мне, и я иду разговаривать в деканат. И в учебную часть я. И в хозяйственную тоже я.

— Ты помоложе... И не должна забывать это, а должна помогать отцу. Он же помогает тебе?

— Вот именно, вот именно, Зинуша, помоложе...

— Я и не отказываюсь. Не возражаю. И в деканат ходить не возражаю. И в учебную часть. Я и лекции читаю. Ты только вводную да заключительную, и то студенты жалуются декану, что ничего не понимают, а я потом хожу в деканат и на комсомольские собрания слушать, как тебя ругают...

— Ну ладно, ладно, — просительно заговорил профессор. — На кафедре мы всё уладим, в деканате тоже. А Овчаренков?

Тут все заговорили сразу, заговорили с новыми возбуждёнными интонациями и успокоились очень не скоро, только тогда, когда профессорша сказала:

— Вот всегда так! Попусту проводим время. Пора завтракать, а решения по второму вопросу так и не обсудили.

Евгения Меркурьевна поняла, что здесь обсуждался протокол заседания кафедры. Она подумала: «А может быть, и в нашем ветеринарном институте на некоторых кафедрах вот так же пишутся протоколы? Не может быть, у нас нет семейственности!» Вслед за этим она усмехнулась про себя: с чего бы это она вдруг начала думать такими же официальными словами, как доцент Бутко? Но ещё немного погодя она снова возмутилась, уже не думая о том, какие слова приходят ей в голову: «Если у них там на кафедре есть члены партии, так они-то что думают? Почему они позволяют? Нет, надо кончать здесь все дела и уезжать. Хватит! Я чувствую, что и в этом доме у меня могут возникнуть крупные неприятности!»

Евгения Меркурьевна и в самом деле, наверное, уехала бы домой, но ей нужен был ещё третий свидетель, которого она разыскивала.

«Только до вечера в этом доме, — говорила она себе. — В крайнем случае, до обеда завтрашнего дня. А сегодня я ничего не должна ни видеть, ни слышать».

Обедали молча, если не считать, что кто-то снова упомянул фамилию Овчаренкова и опять вся семья пришла в неестественное возбуждение. Но к тому времени, как подали десертное вино, это возбуждение уже прошло, и тут Леонтий Николаевич с упоением стал вспоминать родителей Евгении Меркурьевны, её первого мужа и с чувством жаловаться на то, что очень много беспорядков и в торговле и в обучении студентов.

Александра Александровна кивала мужу, а он смотрел на неё и продолжал говорить, когда она выражала одобрение, и замолкал, когда этого одобрения не было с её стороны.

У Евгении Меркурьевны что-то начинало путаться в голове.

«У Муськовых был обед, — думала она. — Здесь тоже обед. Всё повторяется. Всё повторяется...»

Спустя час после обеда Александра Александровна ходила тяжким, медлительным шагом из комнаты в комнату и говорила:

— Пора! Пора! Зинаида! Леонтий! Леонтий! Пора писать! Маленький, — она склонилась над колясочкой самого младшего своего внучка, — маленький, пойдём на работу. — Потом, подняв голову, сердито сказала дочери: — И угораздило же тебя так избаловать ребёнка! Он и полчаса не может полежать, чтобы его не качали. Слава богу, не первый, и ты не молодая мать — знаешь, как это делается!

Мальчонка заплакал, засучил ногами, будто обиделся на бабушку, и Александра Александровна снова ласково принялась его успокаивать:

— Тю-тю-тю, мой мальчик, тю-тю-тю, малыш, ты ведь у нас тоже будешь учёным, правда? Кончишь школу, институт, потом аспирантуру... Напишешь диссертацию! Ну, что ты плачешь? Недоволен? Чем недоволен? Тебе этого мало, да? Ах, вот в чём дело: ты хочешь ещё в докторантуру, хочешь быть академиком? Да? Молодец, так и надо! Ам! — Александра Александровна сделала страшное лицо и, широко открыв рот, схватила ртом маленькую ножку ребёнка, так что только прозрачно-розовая пятка торчала наружу. Потом и другую ножку она тоже подержала во рту, а когда выпустила её, спросила строго и озабоченно, обращаясь к домработнице: — Куда девали красного попугая?

— Вот только что тут был, сейчас был... Ребятишки, верно, утащили, — засуетилась домработница.

— Найди! Найди сейчас же! Ты же знаешь, он без этого попугая и минуты не лежит спокойно! А пелёнки? Почему не приготовлены пелёнки? Пока мы будем работать, нам нельзя отвлекаться. Всё должно быть под рукой.

Спустя ещё несколько минут Леонтий Николаевич с огромной стопой книг, а Зинаида с несколькими папками уже сидели за письменным **столом в кабинете**. Профессорша расположилась тут же на диване. Ногой

она покачивала голубую колясочку с ребёнком и красным попугаем, на коленях у неё лежали пелёнки...

— На чём мы кончили прошлый раз, Зинуша? — спросил Леонтий Николаевич.

— На том, что паслёновые распространены по всему земному шару, а мы имеем сорок видов, — ответила профессорша.

— Вот именно! Конечно! — живо подтвердил Леонтий Николаевич. В голосе его звучали те радостные нотки, которые возникали всякий раз, когда он что-то подтверждал, с кем-нибудь соглашался. — Сорок видов в европейской и азиатской части... Межвидовое скрещивание этих ценнейших растений имеет огромное значение...

— Ближе к делу, Леонтий, — заметила Александра Александровна.

— Пиши, детка... Межвидовое скрещивание паслёновых в случае успеха открывает огромные перспективы, так как при этом возникает возможность соединить в одном растении очень ценные и весьма разнообразные свойства и качества...

В кабинете воцарилась торжественная тишина. Слышно было, как скрипит перо в руке Зинаиды Леонтьевны, пощипывает в колясочке самый маленький Лоснякович да горошинки перекатываются внутри красного попугая...

Профессор диктовал, Александра Александровна вслед за ним неслышно повторяла его слова, шевеля крупными губами в морщинах, с седой порослью у самых краешков губ.

Зинаида — вся в мать, массивная, со строгим лицом и тоже с пушком на верхней губе — записывала очень старательно и торопливо. Когда ей было непонятно что-нибудь, она поднимала лицо и быстро, быстро моргала, глядя не на отца, а на мать.

Зинаиде Леонтьевне было лет сорок пять, может быть, и совсем близко к пятидесяти, но, когда она моргала так, она становилась очень похожа на своего собственного младенца, который, лёжа в колясочке, сосредоточенно рассматривал целлулоидного красного попугая с зелёной головкой. Александра Александровна тотчас улавливала взгляд дочери и говорила:

— Повтори, Леонтий...

Должно быть, профессор очень быстро уставал от напряжённого умственного труда, мысли всё чаще начинали уводить его куда-то в сторону.

— Паслёновые... — заговорил он мечтательно. — Solonaseae... А вот ещё река есть Паслénка... В Польше... Начинается около Мазурских болот... Озёра Снярвы, Мамры, озеро Негоцин — очень глубокие...

— Леонтий! — предостерегающе произнесла Александра Александровна, но профессор торопливо пытался закончить свою мысль о Мазурских озёрах:

— Нет, нет, обожди, мамочка! Я спутал. Озёра — восточнее. А река Паслénка — западнее. А ещё западнее — городок Паслénк. Только он уже сам собой, он вовсе не на реке Паслénке...

— Леонтий! — гораздо громче произнесла профессорша, и Зинаида тоже поддержала её:

— Папа! Давай же по существу!

Леонтий Николаевич не скрывал своего удовлетворения: он успел так выказаться насчёт Мазурских озёр, реки Паслénки и городка Паслénк и теперь бойко продолжал по существу:

— Теоретические основы межвидового скрещивания разработаны ещё далеко не достаточно, но наша советская передовая наука и, в частности, выдающийся учёный... — Но уже через несколько минут он тихо, робко и как-то просительно сказал: — Мазурско-Августовская военная операция... Знаменитая... Февраль тысяча девятьсот пятнадцатого года... А в четырнадцатом поражение генерала Самсонова... Застрелился...

Александра Александровна поднялась во весь рост и приблизилась к мужу вплотную:

— Леонтий! Тебе кто дороже — собственная дочь или этот самый генерал Самсонов? Я спрашиваю: кто тебе..

— Конечно! Конечно! — Будто останавливая жену, профессор замахал руками над головой, не оборачиваясь, однако, лицом к супруге. — Конечно, мамочка... Мы надеемся, что наши работы по межвидовому скрещиванию паслёновых... — торопливо и совсем испуганно заговорил он. И вдруг замолк, а когда обернулся к жене, оказалось, что на лице у него умиротворяющая, добрая и даже весёлая улыбка.

Успокоившаяся было Александра Александровна хотела что-то сказать мужу, должно быть, что-то очень злое, но от неожиданности заикнулась. Профессор протянул к ней руку и спросил:

— Здесь, мамочка, уместно вставить Матвея Степановича? Как ты думаешь?

Александра Александровна качнула колясочку маленького взад-вперёд и ответила:

— Ах, боже мой! Ну конечно же, конечно! Вы знаете, дорогая, — обратилась она к Евгении Меркурьевне, которая всё это время пыталась читать газеты, сидя за этажеркой, под натюрмортом с изображением убитой утки, дыни и томатов. — Знаете, Матвей Степанович Ступанов — это обаятельный человек. Большой учёный. Очень крупный. У него дочь написала прекрасную работу... Леонтий! Как называется людочкина работа?

— «Лимоны на Южном Урале», мамочка!

— Вот именно — лимоны на Урале. И отец два раза бывал у нас, вот здесь. Один раз с работой, другой — с работой, с лимонами и с Людочкой. И тоже обаятельная девушка...

— Мамочка! Она же разведённая! — пожала плечами Зинаида Леонтьевна.

— Ну, какое это имеет отношение к делу, детка? И потом к людям всегда нужно относиться доброжелательно... Так вот, вы понимаете, дорогая Евгения Меркурьевна, у неё затруднения. Такие же, как и у вас: не хватает какой-то справки. Но у вас, слава богу, всё уладилось, а у неё... Наш Леонтий Николаевич — он такой добряк, такой добряк — для чужого человека готов из кожи, а здесь и он не может!

— Дело в том, — пояснил Леонтий Николаевич, — что Людмила Матвеевна не имеет справки с места работы. И справка о высшем образовании у неё не та, которую нужно. Она кончила пединститут, а защищает на кандидата биологических наук. Ну, это куда ни шло, полбеды. А вот справка с места работы! Людмила Матвеевна работает только дома, пишет диссертацию, а, видите ли, нельзя защищать, не состоя ни в какой организации. У нас ведь всё это формально, всё так бездушно! Можно было бы не пренебрегать и заслугами отца. Отец — очень авторитетный товарищ.

— Член партии с тысяча девятьсот двадцать девятого года, — в тон мужу продолжила Александра Александровна.

— С тысяча девятьсот двадцать пятого, мамочка! — уточнил Леонтий Николаевич. — Девятьсот двадцать пятого... Из рабочих...

— Ну вот, тем более...

Евгения Меркурьевна вышла в гостиную.

Она и раньше слышала, что профессора иногда пишут диссертации своим детям, но то, что увидела сейчас, невозможно было представить себе, невозможно было вообразить прежде.

Евгения Меркурьевна ходила из угла в угол гостиной, и у неё было такое ощущение, словно кто-то навсегда лишил её всяких чувств.

— Ах, боже мой, как муторно, как муторно... — говорила она довольно громко, не слыша, однако, своего голоса. — Ну, что же, пожалуй, можно поступить так: войти сейчас в кабинет и накричать на Лосняковичей, обругать их, а потом взять свой чемоданчик и уйти... Уместно и логично.

Только всякий раз, когда Евгения Меркурьевна заранее обдумывала свои поступки и свои слова, у неё обычно исчезало намерение совершить эти поступки и говорить этими словами, а начинали появляться мысли, которые останавливали её. Сейчас она вспомнила инцидент в доме Муськовых и спросила себя: «А изменилось ли там что-нибудь?» Когда Тамара Муськова закрыла лицо рукой, чтобы только не видеть, не слышать рассерженную, грубую Евгению Меркурьевну, — почему она это сделала? Было ли ей только стыдно, или она набиралась сил, чтобы сказать родителям решительное слово? Там была какая-то надежда на молодость и чувство Тамары. А здесь?

Легко представить себе, как это будет, если вот сейчас ворваться в кабинет и учинить там скандал. Самому профессору станет, наверное, немного стыдно, но только немного и ненадолго... Он примется размахивать руками, теревить свою бородку, успокаивать Евгению Меркурьевну, а глаза его сразу наполнятся влагой. И всё это будет не от угрызений совести, а от испуга, от боязни перед дочерью и особенно перед женой. А Зинаида и Александра Александровна, те и вовсе не увидят в этом поступке Евгении Меркурьевны ничего, кроме недопустимого вмешательства в личную жизнь чужого человека, посягательства на их благополучие, и, наверное, объяснят это посягательство низкими, мерзкими побуждениями... Вроде того, что вот ей, Арзамасской, уже никто не напишет диссертацию, так она и злится, сходит с ума от зависти.

Вот и всё. Весь результат её вмешательства, каким он будет.

Но потом снова наступил момент, когда Евгения Меркурьевна решила войти в кабинет и произнести самые злые слова в лицо этим людям. Она решила это сделать после того, как подумала: «Теперь я соучастница нетерпимого дела. Они не должны были при мне так поступать. Значит, они и меня считают такой же, как они сами. Когда я напишу свою книгу, у них не будет сомнений в том, что и я сделала это тем же способом. Оскорбление!»

Евгения Меркурьевна вздрогнула. Она выпрямилась, поправила причёску, сжала пальцами ручку на дверях кабинета, постояла так и... сделала несколько шагов назад.

Села в кресло, руки положила на стол, голову на руки и, всё ещё не спуская взгляда со светлых, должно быть совсем недавно покрытых белилами дверей профессорского кабинета, снова прислушалась к голосу Леонтия Николаевича. Он говорил что-то совсем робко и, кажется, даже обиженно.

«Нет, — подумала Евгения Меркурьевна. — Если я с самого начала не доверилась своему чувству, своему негодованию, то сейчас уже поздно. И почему мне везёт на такие встречи, на столкновения, которые требуют от меня столько сил и нервов? Почему?»

Она не нашла ответа на свой вопрос — должно быть, просто случайность — и решила поступить таким образом: сегодня же спокойно, очень спокойно, без шума, тем более без слёз, она выскажет Леонтию Николаевичу своё мнение. Они поговорят обо всём рассудительно, откровенно, потом Евгения Меркурьевна поблагодарит его за справку, которую он ей написал, и уйдёт в гостиницу, поживёт там, куда ищет третьего свидетеля.

Теперь единственной целью пребывания Евгении Меркурьевны в этом доме был предстоящий разговор. Каждую минуту она думала про себя: «Вот сейчас, вот подходящий случай, вот сию минуту переведём разговор

на тему о честности в научной работе, просто о человеческой порядочности, и тогда... А вот, кажется, сейчас все уйдут из столовой, останется один Леонтий Николаевич — это очень хорошо».

Между тем жизнь многочисленной семьи ничего не подозревавших Лосняковичей шла своим чередом, обыкновенным порядком.

После трудов над диссертацией женщины, повидимому довольные собой, принялись за вышивание, а Леонтий Николаевич сидел в качалке перед открытой дверью балкона, любовался своими гладиолусами и рассказывал что-то о технике окраски тканей в древнем Риме.

Это безмятежное настроение ничем не нарушалось до тех пор, пока кто-то снова не упомянул фамилии Овчаренкова.

Тут все заволновались, а третий или четвёртый по старшинству внучок Лосняковичей, которого домработница кормила в это время манной кашей, сердито протянул:

— У-у-у! — и стукнул ложкой о стол.

Хотя Евгении Меркурьевне вовсе не хотелось принимать участие в каком-то продолжительном разговоре, она невольно спросила у Леонтия Николаевича, кто это такой Овчаренков и почему его так не любят.

Ей отвечали все сразу, громче всех Александра Александровна, которая твердила одно и то же слово:

— Антисоветский тип... Антисоветский! — А потом пояснила: — Не верите? Ей-богу!

— У них кафедра вся такая! — громко перебила Зинаида Леонтьевна. — Вся, вся такая! Сорокина такая, Горлов такой, Козлова такая! Сорокина — морганистка, дрозofil изюмом кормила, за границей в морганистском журнале печаталась, у Горлова брат — авторитет, так он через него затесался, у Козловой муж — так она через мужа. Вот! Это факты! Факты же!

— Вот именно! — подхватил Леонтий Николаевич, сразу забыв о древнем Риме. — Конечно, факты! Всем известные...

— Ну, и что же из этого? — спросила Евгения Меркурьевна. — Что из этого следует? Мне непонятно...

— Как что? — Леонтий Николаевич всплеснул руками. — А вот я вам сейчас объясню, дорогая... Здесь люди все свои, я объясню. Знаете, к чему это приводит Овчаренковых и его братию? Знаете? К чему это ведёт нашу советскую науку? — Он окинул взглядом всех присутствующих в ожидании полного внимания к своим словам, и действительно в комнате воцарилась тишина, в которой Леонтий Николаевич произнёс торжественно: — Это приводит к беспринципности! Да! К бес-прин-цип-ности! Как эти люди себя ведут? Они держат нос по ветру. Они иначе и не могут. У них никакого научного багажа, никакого убеждения!

Евгения Меркурьевна улыбнулась, слегка прикрыла лицо рукой и произнесла тихо:

— Да?

— Что вы, милая моя! Как вы этого не понимаете?! — Леонтий Николаевич сокрушённо покачал головой. — Ай-ай-ай, как вы не понимаете? — Он подвинул качалку почти вплотную к креслу, в котором сидела Евгения Меркурьевна, и заговорил с присущей ему живостью: — Им наука нужна, чтобы подтвердить мнение начальства. Только! И они подтверждают! Всё, что угодно, подтверждают! Посев по стерне? Пожалуйста, они доказывают, что лучше не было и ничего нет! У них же на кафедре была такая комсомолка — ассистент Чиркова... Милая девушка, честная, воспитанница комсомола. Поехала в колхоз и сказала там: «Пашите и сейте как следует, пока не поздно, а по стерне урожая не ждите!» И что вы думаете? Её так проработали, так проработали — ужас что было! А когда осенью действительно по стерне ничего не собрали, эти Сорокины, Овчаренковы — они её поедом съели и из института... — Леонтий Николаевич

помахал пальцами в воздухе. — Только её и видели. А сроки сева? Хотите, я сейчас прочту вам выдержки из работ Сорокиной? Она сначала доказывала только ранние. На следующий год — только поздние! И всё по науке! Ведь это же, Евгения Меркурьевна, дорогая, это же разбой! Это — подсудное дело! Мы человека судим за пуд зерна, если украл, а сколько Сорокина украла у государства?

— К суду! — подтвердила Александра Александровна. — Есть такой закон, чтобы за это к суду? Должен быть!

— А травы? — продолжал Леонтий Николаевич. — Травы! Вчера они были за травы, а сегодня они против, а как будет завтра? И представьте, они, вся эта кафедра, — передовики, они в президиумах сидят, статьи в газетах пишут, учат, они учёные степени зарабатывают. Они в горкомы и в обкомы вхожи, а у меня вот тут папки, и в папках вся их наука, и что ни слово, то конъюнктура, то улика. Серьёзная улика!

— К суду! — подтвердила профессорша. — Леонтий Николаевич, ты береги эти папки, ты их обязательно береги! Вот ещё, дорогая Евгения Меркурьевна, есть такой в институте Спирин. Доцент. Так тот Спирин — нахал, хам ужасный! Говорит, видите ли, что он между Овчаренковым, Сорокиной и Лосняковичами никакой разницы не видит. И знаете, ему верят, многие верят. Как вам это нравится?

— А сам только и знает, что в колхозах лекции читать, — подтвердил Леонтий Николаевич. — Но не в лекциях же истинная наука!

— Молодой? — спросила Евгения Меркурьевна.

— Кто? — не поняла Александра Александровна.

— Да этот доцент? Спирин?

— Гм-м... Ну, так, средних лет, — озадаченно посмотрела профессорша на Евгению Меркурьевну.

— А ведь не правда ли, Леонтий Николаевич, — спросила Евгения Меркурьевна, — не правда ли, это довольно смело с его стороны?.. И тех и других...

— Ах, дорогая, вы всё ищете романтику!

Разговор развивался как раз таким образом, что Евгении Меркурьевне в любую минуту вполне уместно было задать Леонтию Николаевичу некоторые вопросы либо попросту высказать своё собственное мнение.

Но она молчала и молча всматривалась в лица своих собеседников. Леонтий Николаевич, Александра Александровна и Зинаида — все были возмущены, все они искренне негодовали, и это негодование ошеломило Евгению Меркурьевну. «Боже мой! — подумала она. — Что со мной сейчас было бы, если бы три часа тому назад я не видела этих самых людей в кабинете, не видела, как занимают они наукой?! Сейчас я, конечно, была бы потрясена их искренностью, прямо-таки святым негодованием!»

И она произнесла растерянно:

— Как же так?

— Вот так! Вот так! — подхватил Леонтий Николаевич. — Вот именно, дорогая Евгения Меркурьевна! Вот именно! Это не укладывается в здравый смысл. Противно ему!

— Противно... Ужасно противно! — поёжилась всем телом Евгения Меркурьевна. — Для меня это такие далёкие понятия — стерня, сроки сева, травы. Но всё-таки я знаю, что есть правда о стерне, правда о сроках сева, правда о травах... И если кто-то изменил этой не великой, а самой простой, самой обыкновенной житейской правде, значит он изменил людям ради себя... Где-то, в чём-то эта измена несла ему, лично ему, выгоду...

— Пожалуйста! Голубушка, Евгения Меркурьевна! Ради бога! Вы не разбираетесь в этих вопросах? Так я же вам всё могу разъяснить. Популярно. В самом деле, вы, гуманитарии, слишком далеки от жизни, и вот, как вы сейчас, можете только нащупать истину, догадываться о ней чело-

веческим чутьём, а я специалист и, ей-богу, в десять минут нарисую перед вами технику всего этого дела, его существо! Хотите? Вполне научно. Я ведь привык по линии Общества по распространению...

— Объясните! Объясните! — воскликнула Евгения Меркурьевна. — Вы-то знали эту правду? Говорили? Кричали? Почему же слушали не вас, а других, тех, кто поступал неправильно? Вы молчали? Чем же вы возмущаетесь сейчас?

Леонтий Николаевич, замахнувшись обеими руками в воздухе, замер. После некоторой паузы отозвалась Зинаида Леонтьевна.

— Я очень сожалею, что в своё время не пошла на факультет иностранных языков, — вздохнула она. — Такая спокойная, безмятежная специальность... Но я всё-таки решила идти по стопам отца. Помогать ему.

Вслед за дочерью, без обычной своей уверенности, Александра Александровна тоже сказала что-то такое насчёт долга детей перед родителями, а потом и Леонтий Николаевич опустил руки на колени, затем сложил их крест-накрест на пруди и тоже заговорил:

— Это невозможно. Выступать против? Нет, нет, что вы! Я же вам говорил, как поступили с комсомолкой Чирковой? Говорил? Вы помните?

— Говорили... Ну, и где же она сейчас? Работает?

— Работает. У нас выгнали, а в другом институте она же доцент, учёный секретарь! Устроилась неплохо. На Волге. Климат... Но всё-таки они же её выгнали! А что из этого следует? Нет, извините, нигде нет ни одной стенограммы, чтобы было зафиксировано, будто я — за стерновые посеы, будто я — за сверххранние сроки, или только за одни травы, или против всех трав! Нигде! Я не кривил душой. Не зарабатывал на конъюнктуре. Я молчал. На меня смотрели, ой, как смотрели косо, а я, несмотря ни на что, честно молчал! Сняжите, — он вдруг схватил за руку Евгению Меркурьевну, — ведь это всё-таки лучше, чем бить себя в грудь, каждый год проповедуя различные установки? Ведь это лучше? Честнее? Ведь у меня выше процент правды, чем у тех, у Овчаренковых? Выше? Да?

— Нет, скажите вы, — спросила в свою очередь Евгения Меркурьевна, отстранив свою руку, — а каким бы вы процентом удовлетворились?

Леонтий Николаевич задумался. Он думал долго и молчаливо, а потом вдруг встал, придвинул к себе качалку и погрозил пальцем.

— Ну-ну! Не разыгрывайте старика. Нехорошо. — Он достал из бокового кармашка расчёску, на обе стороны поправил свою негустую бороду и, опираясь руками на спинку качалки, сказал: — Всё-таки мы, старшее поколение, кое-что понимаем в жизни. Читаем с кафедр. Учим людей. Пролагаем путь молодым жизням...

«А он действительно, должно быть, ещё имеет кое-какой вид на кафедре, — подумала Евгения Меркурьевна. — Вот так же разглядит перед студентами бородку, выпрямится и произнесёт что-нибудь о высокой науке».

И она сказала с чувством:

— О! Ещё бы!

А Леонтий Николаевич заговорил о системе высшего образования в СССР, перешёл к вопросу о связи науки с производством и дальше — о науке и её долге перед народом. В одном месте Леонтий Николаевич запутался.

— Народ требует от нас, он от нас требует, он требует от науки... — повторял он и никак не мог договорить фразу.

— Подвига... — подсказала Евгения Меркурьевна.

— Вот именно! Конечно, конечно, подвига! — обрадованно подхватил Леонтий Николаевич, а потом внимательно взглянул на Евгению Меркурьевну и сказал тихо: — А я ведь знаю, о чём вы сейчас думаете... Я даже знаю, о чём вы сейчас меня спросите.

И у Евгении Меркурьевны не было сомнений — он действительно знал, что она подводит его к вопросу, ради которого решила провести в этом доме ещё несколько часов... Как раз в этот момент она собиралась спросить его о диссертации Зинаиды Леонтьевны, о том, как называется такая наука.

В гостиную вошёл муж Зинаиды Леонтьевны, человек, присутствие которого она как-то и не замечала все эти дни, да и все Лосняковичи, кажется, тоже не замечали... Он поставил на пол огромный, туго набитый портфель, зевнул, сел на маленький детский диванчик и прислушался к разговору...

А Леонтий Николаевич, увидев зятя, встрепенулся, как будто даже обрадовался, и сказал, показывая на него пальцем:

— Вот он! Кандидат наук! Казалось бы, положение. А на самом деле? Платит алименты за двух прежней жене, да подоходный налог, да заём. И у Зинаиды пятеро! Ведь пятеро — это же не двое, не трое, а пятеро! Я человек пожилой и знаю, что соискание искомой степени другой раз отнимает лучшую половину жизни. А без степени какая у научного работника жизнь? Вот я и должен помочь своей дочери. Обязан... Конечно, мне можно уйти и на пенсию, не работать, а только помогать ей, но я человек пожилой и прекрасно понимаю, что оклад — шесть тысяч, а пенсия — две тысячи. Не в моём возрасте относиться легкомысленно к этим цифрам. Это молодому можно: он ещё успеет наверстать. Профессора Ковалева-Забрадовича жена на лекцию водила под ручку, а я ещё могу. Меня, извините, никто не водит, хожу сам. И я прямо и честно говорю: обязан! Отцовский долг. Дети — наше будущее! А на зятя, какая на него надежда?!

Слова тестя не произвели на мужа Зинаиды Леонтьевны ни малейшего впечатления. Должно быть, он уже привык к таким замечаниям в свой адрес. Эта невзмутимость доставила Евгению Меркурьевне минутное развлечение. «Каков мужчина! — подумала она. — И даже внешности никакой, только растительность на лице, с которой он, кажется, плохо справляется бритвой!»

— У нас к чаю торт, — заговорила Зинаида Леонтьевна. — Если вам понравится, дорогая Евгения Меркурьевна, мы можем дать рецепт. Всё дело в сливках, чтобы были кислые, но не очень...

Однако Леонтий Николаевич уже схватил Евгению Меркурьевну за руку и, нагнувшись к самому её лицу, быстро, быстро говорил:

— Здесь все свои люди. Чужих нет. Ведь так порядочно — молчать и молча заботиться о детях! Ведь нельзя смешивать меня с Овчаренковым? Нельзя же с этим крикуном?

Евгения Меркурьевна подумала, что Боренька Муськов теперь навсегда сохранится в её памяти таким, каким он сидел за столом в расстёгнутой белоснежной рубашке и, очень спокойно улыбаясь, говорил ей, что о Тамаре и тамарином муже ей лучше всего и проще узнать по женской линии... А профессора Лосняковича она запомнит так, как он выглядит сию минуту: с глазами, наполненными старческой влагой, хватающим её за руку...

И она сказала:

— Правда — одна... Она требует, чтобы ей одной верили и ей служили. А ложь, Леонтий Николаевич, многолика. Можно выбирать любую для службы себе: крикливую или молчаливую — всё равно. Какая удобнее.

Когда Евгения Меркурьевна одевалась, все Лосняковичи стояли в прихожей с очень вежливым и отчасти задумчивым выражением на лице; когда же она открыла дверь, Александра Александровна сказала, вздохнув:

— И почему вы так заторопились... И зачем так торопиться...

Ночевала Евгения Меркурьевна в гостинице, в большой комнате. По случаю межобластных соревнований здесь жили физкультурницы, которые сначала делали стойки, бегали на месте и поднимались на руках, а потом стали уговаривать друг друга не волноваться накануне ответственного дня.

Слушая их, можно было подумать, будто в мире нет ничего более важного, чем выиграть бег на сто метров и эстафету четыре по сто у других таких же физкультурниц.

Вздохи и разговоры мешали спать Евгении Меркурьевне, но потом она подумала о том, как было бы хорошо, если бы все люди были вот так же настойчивы, как эти физкультурницы, и так же, как они, не искали бы ничего другого, как только честного, открытого и товарищеского соревнования друг с другом, одного коллектива с другим.

Ровно в половине двенадцатого физкультурницы, все до одной, быстро разделись и легли спать. В неожиданно наступившей тишине Евгения Меркурьевна даже пожалела, что нельзя уже больше прислушаться к их возбуждённым голосам.

Лёжа в кровати, Евгения Меркурьевна думала о многом, но, как это ни странно показалось ей самой, меньше всего о Лосняковичах. Единственный раз она вспомнила о них, когда сравнила свою работу с их семейной диссертацией. Нет, ничего не было общего между ними! Хотя она никогда не была учёной, всё-таки её работа — это творчество, а их диссертация — это поиски оптимального процента правды.

4

Третьего свидетеля Евгении Меркурьевне удалось найти не сразу, но зато им оказался не кто иной, как Константин Владимирович Пухалов.

Костя Пухалов! Когда Евгения Меркурьевна узнала, что он здесь, в этом городе, что он начальник какого-то учреждения, которое имеет дело с металлом, она не могла поверить всему этому.

Настолько далёким было детство, и такое множество перед Евгенией Меркурьевной прошло с тех пор людей, что теперь как-то трудно было себе представить человека, начавшего жизнь под одной крышей с тобой, у которого при этом милом и даже романтическом слове «детство» возникают в памяти те же события, что и у тебя самой, те же улицы и дома, образы тех же людей.

А так именно и было: семьи Арзамасских и Пухаловых жили когда-то в одном доме, почти каждый вечер собирались за одним столом, дети играли в жмурки и рассказывали друг другу страшные истории про индейцев, женщины вышивали и раскладывали пасьянс, мужчины сражались в шахматы или рассматривали свои чертежи.

Почему эти две семьи, в общем довольно разные по своему положению, были так близки между собой, дети, конечно, не интересовались. Так было, и только. Позже они узнали, что довольно известный горный инженер и маркшейдер Арзамасский очень ценил техника Пухалова, они были земляками, и, кажется, в молодости, при обвале какой-то шахты, Пухалов спас инженера. К тому времени, как Женя окончила гимназию, Костя Пухалов был уже студентом-политехником, но института он так и не окончил.

И детьми и позже — гимназистами-старшеклассниками — Женя и Костя были неразлучными друзьями, и в этой дружбе неизменно верховодила девочка, хотя она и была на два года моложе.

В общем он был обаятельным мальчиком, этот Костя Пухалов: огромные голубые глаза, застенчивая улыбка и готовность всегда сделать что-нибудь приятное для своей подружки. С ней он был так откровенен, что она, кажется, знала больше его секретов, чем он сам.

Когда позже, в зрелом возрасте, Евгения Меркурьевна вспоминала Костю — а это случалось обычно, когда почему-либо становилось тяжело на душе,— она думала, что если бы он не был вот так открыт перед ней, если бы в нём сохранялась хоть капелька загадочности, она, наверное, полюбила бы его. Впрочем, она любила его и таким, каким он был, очень любила, только покровительственно, с чувством своего девчоночьего превосходства.

Мать Евгении Меркурьевны тоже находила Костю прелестным мальчиком и предвидела, что из него выйдет идеальный муж и семьянин, но — увы! — в него действительно не так-то просто влюбиться женщине с темпераментом, хотя он и добр и очень недурён собой... «Поэтому я абсолютно спокойна за свою Женечку», — говорила она. И не ошибалась.

Теперь выяснилось, что Костя Пухалов — начальник.

Евгения Меркурьевна никак не могла этого себе представить, тем более, что она ничего не поняла из названия учреждения, в котором он был начальником.

Учреждение же это называлось областной конторой Главвторцветмет, и когда Евгения Меркурьевна позвонила туда по телефону, женский голосок ответил ей, что начальник принимает по личным вопросам по понедельникам и пятницам с четырёх до шести. Евгения Меркурьевна отправилась на поиски Главвторцветмета тотчас, как узнала его адрес,— во вторник, около полудня. Ей и в голову не пришло ждать пятницы.

Главвторцветмет находился в том районе города, который почти полностью перестраивался заново. Одни дома были здесь уже полностью заселены, о чём свидетельствовали детские коляски и прочий домашний скарб на балконах всех этажей, над другими ещё простирались руки подъёмных кранов, третьи постройки только ещё отвоёвывали себе место между рядами старых, приземистых избушек.

Одна картина особенно поразила Евгению Меркурьевну. Громадный пятиэтажный дом, такой чистый и светлый, словно он только что умылся в ожидании встречи с жильцами, смотрел сотнями блестящих окон на все четыре стороны света, а рядом с ним, чудом уцелевшая среди отвалов земли, стояла крохотная, покосившаяся, но обнесённая со всех сторон высоким и плотным забором избушка. На воротах этой избушки висел лист фанеры с крупной надписью чёрной краской: «Не входить! Злая собака!»

Во дворе того дома, в котором находился Главвторцветмет, тоже шло строительство.

Уже был выкопан большой котлован, и экскаватор ещё расширял его. Двор пересекали траншеи для водопроводных труб и фундаментов, но ни труб, ни фундаментов ещё не было, а среди курганов земли, которые слегка дымились под ветром, словно барханы, лежали остовы подъёмных кранов, штабеля кирпича и леса.

Экскаватор черпал землю в десяти шагах от дверей деревянного дома, в который Евгения Меркурьевна намеревалась войти, а бульдозер сдвигал землю прямо к окнам первого этажа, до половины заколоченным досками. Верхний чёрный слой грунта экскаватор грузил в самосвалы, и шофёры самосвалов, разворачиваясь, ударяли задними колёсами о ступени крыльца. Две нижние ступеньки были уже вдавлены внутрь, третья ещё держалась на своём месте, хотя и была расщеплена продольной трещиной. Выждав момент, когда самосвал уступил ей дорогу, Евгения Меркурьевна не без труда забралась на это крыльцо и обернулась, чтобы ещё раз взглянуть на экскаватор, как он уверенно и быстро черпает ковшем землю. Вся машина была чёрной — промасленной и пропылённой, и только отполированные зубья ковша блистали всякий раз, как стрела вздымалась вверх.

Заметив интерес к его машине, экскаваторщик, совсем ещё молодой, в кепке козырьком назад, махнул из кабины рукой, а когда Евгения Меркурьевна кивнула ему, он почему-то развеселился, покачал головой и засмеялся. Должно быть, он подал ей знак, чтобы она не торчала на крыльце, а она приняла это за приветствие. Тут подошёл самосвал и задом спятился на Евгению Меркурьевну. Она поторопилась подняться повыше и там стала рассматривать вывески, висевшие по обе стороны дверей.

Вывески имели совершенно одинаковые пространные надписи, но всё-таки Евгения Меркурьевна уловила в них разницу: на одной было написано «Главторчермет», на другой — «Главторцветмет». Она задумалась: одно это учреждение называется по-разному или два учреждения с одинаковыми названиями? К тому же она не запомнила, какое из этих учреждений назвали ей по телефону...

«Ну ладно! — решила она. — Сама я тут не разберусь. Спрошу у Кости. Он, конечно, знает, в чём тут дело».

Однако недоумение её рассеялось раньше, ещё до встречи с Костей... На первом этаже, в комнате, тесно заставленной письменными столами, где она спросила Константина Владимировича Пухалова, ей сказали, что он наверху — во Вторцветмете, а здесь — Вторчермет и есть свой начальник.

Евгения Меркурьевна поднялась выше и была удивлена почти полной симметрией в расположении письменных столов на первом и на втором этажах. Правда, комната, в которую она вошла, была светлее, чем внизу, здесь было, кажется, тише, а люди — неторопливее. Одним словом, на втором этаже, как ей показалось, было больше порядка.

Кабинет начальника был отгорожен от общей большой комнаты перегородкой, на дверях, обитых темносиней клеёнкой, висела дощечка с надписью: «Пухалов Константин Владимирович», а рядом с этой дверью, за миниатюрным столиком, сидела девушка, видимо, восточного происхождения, очень смуглая, с тонким цыганским профилем и с ожерельем на шее из массивных колец под золото.

Эта девушка сказала Евгении Меркурьевне, что день неприёмный и что Константин Владимирович готовится к докладу на исполкоме.

— Хорошо, — сказала Евгения Меркурьевна. — Я подожду...

Девушка внимательно окинула взглядом настойчивую посетительницу, её особенное внимание привлекла чёрная шляпа со светлым пером, и принялась что-то писать на маленькой бумажке почтового формата, а Евгения Меркурьевна придвинула стул к перегородке и села.

«Не буду докладывать о себе, — подумала она. — Наверное, он скоро выйдет и увидит меня. А если нет — выберу удобный момент и войду сама. Интересно, узнает или не узнает меня Костя?» Она сидела и вспоминала, какой он был всегда славный, какой добрый, искренний и как он обрадуется, неожиданно увидев её перед собой. Впрочем, люди меняются... Может быть, начальственное положение его испортило? Хорошо бы поговорить со служащими и узнать у них, какого они мнения о своём начальнике?

Девушка-секретарь, сидя в полоборота к Евгении Меркурьевне, не очень энергично застучала на машинке. Вглядываясь внимательно в её смуглое лицо, нетрудно было заметить на нём выражение какой-то мысли, которая, вероятно, не имела никакого отношения к тому, что она печатала. Время от времени она усмехалась своими тонкими выразительными губами, усмешка была немного надменной, и всякий раз при этом она слегка запрокидывала свою головку вверх, а её тёмный глаз щурился лукаво и проницательно...

«Оригинальная девушка... — подумала Евгения Меркурьевна. — Вчера у неё было свидание, и она его снова переживает. А может быть, свидание назначено сегодня после работы, и она воображает, каким оно будет?»

Если так, напрасно. Всё сложится совсем наоборот, во всяком случае, совсем не так, как она заранее предрешает. Определённо, свидание ещё только предстоит... Она и домой не будет заходить после работы, поэтому с утра надела своё ожерелье».

Потом внимание Евгении Меркурьевны привлекла женщина за столом, в углу комнаты. Полная, нельзя сказать, чтобы очень интересная, но с таким приятным, очень простым, даже немножко наивным лицом. Наверное, ровесница Евгении Меркурьевны. Если помоложе, так только самую малость. Женщина молча перелистывала бумаги в толстой папке, а потом вдруг вздохнула и сказала:

— Выйти, что ли, замуж... За старого, но не очень. Детей вырастила, что ещё остаётся делать?

«В самом деле,— подумала Евгения Меркурьевна,— что делать одинокой женщине, ещё сравнительно молодой, у которой дети выросли и разлетелись в разные стороны, а она привыкла к семье, кроме семьи у неё никогда не было других интересов? Работа? Но ведь не каждый уходит с головой в работу, и не от каждого работа требует всех его сил, тем более не от каждой женщины...»

Возможно, что в судьбе этой женщины мало общего с судьбой Евгении Меркурьевны... Они незнакомы, а то зайти бы к ней вечером, когда в домашних туфлях, в застёгнутом не на все пуговицы халате она сидит за столом и, не торопясь, пьёт чай из большого семейного чайника и смотрит на стулья, на одном из которых всегда сидел сын, на другом — дочь... Сесть бы с ней рядом и поговорить...

Конечно, замуж, да ещё не за очень старого, она не выйдет, да и сама не думает об этом всерьёз, но говорит о замужестве, наверное, часто, может быть, каждый день не один раз, так что все её сослуживцы уже привыкли к этому, давным-давно обсудили вопрос и теперь уже никто не отвечает ей...

Только один мужчина поднял к ней лицо, помолчал и спросил:

— Отчёт Калачёвской межрайконторы к нам поступал?

Мужчина этот был довольно приметный: в синем костюме в крапинку и в чёрных нарукавниках, в роговых очках, через большие стёкла которых смотрели маленькие, но очень серьёзные глаза. Волосы у него были редкие, тщательно расчёсанные на две стороны. Во всём видно было, что он чувствует себя при исполнении служебных обязанностей...

«М-да...— подумала Евгения Меркурьевна,— строгий, очень строгий товариш. Однако в другой обстановке он, верно, умеет быть другим... Интересно, какая у него жена? Наверное, маленькая, поленькая и, когда особенно хочет нравиться мужу, немножко томная».

Около самых входных дверей сидела совсем молоденькая девушка, почти девочка, в коричневом платье, очень похожем на школьное, только без воротничка... Она старательно заклеивала конверты... Чудные каштановые волосы имела эта девочка, их было очень много, могла бы получиться очень красивая причёска, но девочка была причёсана совсем гладко. Евгения Меркурьевна по достоинству оценила эту милую скромность. А может быть, её ещё мама причёсывает?

Мужчина в роговых очках сказал:

— Нет отчёта... Мария Никифоровна, подготовьте в Калачёвку телеграмму со строгим предупреждением... Снова они подводят Константина Владимировича... Сколько он из-за них крови попортил, Константин Владимирович...

Полная женщина, недавно говорившая о замужестве, тоже стала ругать Калачёвскую контору, потом сказала:

— Вот Гиминская контора! Не было ещё случая, чтобы сводка от них запоздала.

— В Калачёвке у Кузнецова ужасный характер!

— Как придёт, так и ругается с Константином Владимировичем.

— Он же не из-за пустяков ругается... Добивается своего.

Тут возник спор, из-за пустяков или серьёзно ругается Кузнецов из Калачёвской межрайконторы, и в этом споре Евгения Меркурьевна уловила нотки доброжелательного отношения к Константину Владимировичу.

«К нему здесь хорошо относятся», — подумала она.

Это предположение оправдалось ещё раз, когда девушка секретарь в позолоченном ожерелье сказала:

— Тихо! Ведь все знают, что Константин Владимирович готовится к докладу на исполкоме и просил ему не мешать.

И в самом деле, стало так тихо, что из соседней комнаты послышался приглушённый разговор двух мужских голосов и перестук костяшек. Там тоже что-то считали...

Определённо Костю тут любили и уважали. И, ей-богу, не напрасно — он всегда был милым! У Евгении Меркурьевны даже появилось чувство какой-то общности с этими служащими. Много значит, когда вы встречаетесь с незнакомыми людьми и вдруг выясняется, что у вас есть общий знакомый, очень хороший человек, и все говорят о нём с такой душевной улыбкой... Всюду условности между людьми — условлено, что вот это можно, вот этого нельзя. А почему бы Евгении Меркурьевне не встать сейчас и не сказать: «Дорогие товарищи! А знаете ли вы, что мы ещё детьми росли вместе с Константином Владимировичем? Если это вас очень интересует, между нами было что-то вроде детской любви!»

Чего только не придёт в голову, когда сидишь в ожидании приёма... Однако, может быть, войти к Косте без всякого доклада? Или обождать ещё немного? Главтворцветмет. Главное... Вторичное... Цветное... Металлическое... Не так-то всё это просто. Когда она входила в контору, ей казалось, что здесь хотя бы немножко должно пахнуть металлом... Поскольку металл вторичный, она приготовилась услышать запах ржавчины. Это уже особенность производства. От ветеринарных врачей, например, часто попахивает креолином. Но здесь пахло только бумагой и клеем, а люди даже не говорили о металле.

Только один раз из глубины комнаты чей-то тихий голос сказал, что в апреле Тиминская контора заготовила три килограмма меди.

«Странно, — подумала Евгения Меркурьевна, — неужели медь такой редкий металл? Между прочим, у меня в кладовке лежит старая медная кастрюля. Совсем ещё, в общем, целая, только с небольшими дырочками на дне. Кастрюля, наверное, потянет килограмма полтора...

Вдруг Евгения Меркурьевна почувствовала какую-то тревогу за всех этих людей, с которыми, ей казалось, она познакомилась уже довольно близко... Что они делают и зачем?

Кстати, ей-богу, у неё самой очень неплохая специальность, очень порядочная. Вкладываешь в сознание людей что-то, чего в нём раньше не было.

Студент узнал о существовании герундия¹. Пустяки? Но ведь это расширяет возможности его мышления и даже свой родной язык помогает понять глубже, пользоваться им лучше. Не говоря уже о большем, о чём на днях писала «Правда»: иностранный язык — средство, которое позволяет овладеть достижениями мировой науки и техники... Так, кажется. Правильно сказано. На то она и «Правда». От себя Евгения Меркурьевна добавила бы ещё: «и искусства». Ни с кем она не хочет спорить, никому не собирается этого доказывать, но всё-таки ей кажется, что язык в искусстве играет большую роль, чем в технике и даже науке. Ах, искусство, искусство! Скорее бы вернуться к работе! Эти справки совершенно сбили её с толку, загнали в какой-то Второметалл!

¹ Герундий — вид отглагольного существительного в английском языке.

...Тут раздался звонок над головой девушки секретаря, девушка выскочила из-за своего миниатюрного столика и вошла в кабинет к начальнику.

Ещё через минуту она появилась снова, посмотрелась в зеркальце, недоверчиво поглядела на Евгению Меркурьевну и торопливо побежала куда-то из конторы... Слышно было, как её каблучки застучали по лестнице и внизу хлопнула дверь: должно быть, из Вторцветмета она убежала во Вторчермет.

«Всё-таки сейчас я войду к Косте,— подумала Евгения Меркурьевна.— Видно, не дожидаться, когда он сам покажется мне на глаза...»

Костя держал одну руку на телефонной трубке, другой опирался на подлокотник кресла, и его доброе лицо было очень сосредоточенным... В этой позе и с этим выражением на лице он и застыл, увидев Евгению Меркурьевну. Потом встал, вытянул обе руки вперёд и, опрокинув стул, двинулся к ней, громко проговорив, почти закричав:

— Кого я вижу?!

— Сижу и жду, когда начальство появится из своего кабинета, чтобы представиться ему! — Евгения Меркурьевна громко засмеялась, хотя собиралась начать разговор с очень серьёзной миной. Но невозможно было оставаться серьёзной хотя бы в течение одной минуты, глядя на сияющее лицо Кости.

Такие детски-голубые глаза, такая улыбка, такая неподдельная радость и настолько искреннее удивление были на этом лице, что и седина, и одутловатость, и все вообще признаки старости только мелькнули и тут же, на её глазах, исчезли, кажется, навсегда. Евгения Меркурьевна так и не разглядела пожилого начальника областной конторы Главвторцветмета, она видела перед собой милого Костю, с которым были связаны все лучшие воспоминания о детстве, а может быть, и что-то большее — первое тихое, никому и никогда не высказанное чувство девочки. И она чмокнула Константина Владимировича в лоб и тут же опустила на стул, который он ей подставил.

— Дурень ты, дурень, Костя! Ну, разве можно в твоём возрасте, в твоём начальственном положении так улыбаться и тарашить глаза, словно десятилетнему мальчишке?

И не она, а Константин Владимирович прослезился первым и сказал:

— Ах, да всё можно при такой встрече! Честное слово! Всё, всё можно! — Он поднял стул, опрокинутый на пол, сел против Евгении Меркурьевны и упёрся руками в свои выпуклые колени.

— Неужели ты всё такой же, Костя? — спросила она.

— Ну, а каким же мне быть, дорогая? Может, и надо бы сделаться другим, да вот не вышло... «Каким ты был, таким ты и остался...»

— А каким же ты хотел бы сделаться?

— Кто его знает... Трудно сказать, Женечка. Построже, что ли... Поэнергичнее.

— Это зачем же?

— Ну, чтобы немножко туда... — Константин Владимирович несколько раз помахал над головой, каждый раз чуть повыше. — А то очень уж скромно получается... — Он бросил взгляд на большой письменный стол с замысловатым стеклянным прибором, на зелёный сейф в углу, на маленький столик у окна и даже заглянул в окно, из которого был виден двор с отвалами земли. Оттуда доносился приглушённый двумя оконными рамами лязг и грохот экскаватора. — Да разве об этом разговор?! Рассказывай, как живёшь? Как живёшь-то? Бабушка или ещё только молодая мать?

В это время зазвонил телефон. Константин Владимирович вздохнул и сказал:

— Суматоха у нас тут... Суматоха... Содом...— и, нехотя подойдя к столу, снял трубку.—Что? Проект резолюции? Порядок. В констатационной части о задачах Главвторцветмета и Чермета, причём самостоятельно. Учти — са-мо-сто-яте-льно... Разные мы обслуживаем отрасли промышленности, в разных работаем предприятиях... Учти. В постановительной части ударим по Утильсырью. Их дело — тряпки и бумажная макулатура. Они имеют дело с населением, а не с промышленностью. Такая проведена мысль. Зачем же тогда Деев лезет на металлолом? Отоварил комсомольский субботник по металлолому и взял пятьдесят тонн! Я включаю в резолюцию пункт, чтобы дело было упорядочено, функции строго разграничены...

«Боже мой! — вздохнула Евгения Меркурьевна.— Какое странное словообразование: «констатационная», «постановительная». Ну, а если будет не постановление, а решение, тогда будет «решительная» часть? Уму непостижимо!»

Между тем то выражение недовольства, с которым Константин Владимирович подошёл к телефону, теперь исчезло, и он, хоть и торопливо, хоть и поглядывая часто на Евгению Меркурьевну, заговорил о другом предмете:

— Слушай! На Кривом озере на червя берёт? Нет? Кто тебе сказал? Ефимыч? Ну, это человек надёжный, можно поверить... На кобылку? Д-да... Так ведь за ней надо в поле ехать... Около озера трава высокая, втроём за одной кобылкой по этакой траве будем мельтешиться... Нет, заедем сперва в поле. Машину? Беру на себя. Организую... Слушай! Вот ещё что! А где в воскресенье будет рыбачить хозяин? А? Вот бы и утрясти с ним резолюцию! У костерка! За ухой! Точно!.. Вот чудак! Ну, не знаешь, так узнай! Ребёнок ты, что ли? Пошли своего шофёра к его шофёру, и порядок!

Евгения Меркурьевна глядела в окно на экскаватор, у которого через равные промежутки времени ковш, вздымаясь кверху, блестел зубьями на солнце, и думала: «Надо было встретиться с Костей у него дома... Здесь что-то не то... Что-то мешает... Мешает эта непривычная служебная обстановка... Ведь я в жизни своей никогда не пробыла больше часа в каком-нибудь учреждении... И учрежденческие дела — это дела государственные, не моего ума... Вот когда дело касается семьи — не могу не вмешаться, не высказать своего мнения. Сама виновата: у Муськовых и у Лосняковичей была дома и вот после этого решила встретить Костю на работе. И совершенно напрасно! А как он обрадовался, милый Костя! Ах, как он обрадовался!»

Всё-таки я где-то в душе, хоть и не признавалась самой себе, а боялась этой встречи: даже боялась войти в кабинет. Вдруг Костя будет холоден, безразличен... Если бы так случилось, как стало бы тяжело на душе! Наверное, стало бы казаться, что детство было совсем не таким светлым, каким оно сохранилось в памяти, а это так тяжело — расставаться с дорогими воспоминаниями... Нет, как ни говори, а если женщина когда-нибудь любила — хотя бы ещё девочкой, хотя бы ещё совсем наивно, хотя бы после этого у неё была уже другая, настоящая, всесильная любовь, но если она снова почувствует вот такое доброе отношение к себе того самого первого человека — сердце её дрогнет... Честное слово, дрогнет, даже на старости лет!»

— Ты меня извини, Женечка, — сказал Константин Владимирович, повесив трубку.— Пожалуйста, извини! Так на чём мы остановились? Ах, да! Значит, ты ещё не бабушка... А я — увь! — дед... А может, к лучшему... Вот подожди, будешь носить на руках внуочка — почувствуешь, что это такое! Не думай, будто ничего особенного и нового, дескать, нянчила же я сына! Я объяснять не стану... Сама узнаешь...

Евгения Меркурьевна рассказала Константину Владимировичу о своём сыне — уже совсем взрослый и живёт своей семьёй, такой способный,

очень эдакий мальчик, но, должно быть, именно потому, что всё так легко ему даётся, очень непостоянный, немножко легкомысленный и, хотя уже не молод, всё ещё не научился серьёзно относиться к жизни...

Константин Владимирович понял её, она ясно почувствовала, как он хорошо, как правильно понял её, во всём, даже в том, чего она не сказала: она себя обвиняла за воспитание сына, очень тяжко обвиняла.

Он сказал, выслушав её очень внимательно:

— Ну вот, дорогая, когда ты зайдёшь к нам домой и помотришь на моих девочек, мы ещё поговорим о детях... Есть о чём поговорить... Так какими же ты судьбами?..

Евгения Меркурьевна принялась объяснять, какая и зачем ей нужна справка. И тут снова надсадно и настойчиво зазвонил телефон. Константин Владимирович поднялся со стула, но к телефону не подошёл и сказал:

— Подождём... Может, этот звонарь сам бросит трубку.— Телефон продолжал дребезжать, и он махнул рукой.— Это мой тёзка-наоборот звонит. Слышит, подлец, что я здесь двигаюсь, и звонит. Понимаешь, Женечка, у нас такая странная ситуация: здесь наверху Вторцветмет, внизу — Вторчермет... Здесь наверху — кабинет начальника, там внизу — кабинет начальника... И на этом ещё ситуация не кончается. Здесь начальник, как тебе известно,— Константин Владимирович, там начальник — Владимир Константинович... Ишь как наяривает... Вот нас и зовут тёзками-наоборот... Мало того, что зовут,— хотя слить. В один втормет.— Объясняя, Константин Владимирович сжал правую руку в кулак, а большой палец оттопырил в сторону и показывал им то кверху, то книзу... Потом взял трубку. — Ну, что тебе опять? Что? Послал своего шофёра? Порядок... Комиссия? Ликвидационная? Ну и бог с ней, чего её бояться? Она уже год как существует и тоже, как и мы с тобой, есть хочет... Ей не хочется нас ликвидировать и самой ликвидироваться. Дело не в комиссии — в людях. Кто в ней будет, вот вопрос... Понятно... Я говорил с Черныхиным — он мастак. Он в список для голосования внесёт пятерых: Тихонравов, Ладкин, Калманов, Бубликов, ну, и Колосков... Под Колосковым внесёт предложение подвести черту. И порядок — пятерых надо, пятеро выдвинуто... Голосуй потом, сколько хочешь, рассматривай. Всё! Дай ты мне поработать, я тут занят по горло... Знаешь, Женечка,— сказал Константин Владимирович почти тем же тоном, что и в трубку,— сидит там такой бездарный тип,— он снова показал большим пальцем вниз,— такой трус... Ну, в конце концов нас сольют — ну, что за беда? Неужели мы своим руками и голове дела не найдём? И чего раньше времени слюни распускать, не понимаю. Посмотрим ещё... Это всё из-за газеты. Двадцать второго числа того месяца фельетон был. Читала «Как закрывалась контора»? Где-то там, в Прибалтике, Вторчермет и Вторцветмет даже на одном этаже находятся... У нас в области фельетон, конечно, прочитали и вот — как же можно отставать — тоже толкуют о слиянии. Так, значит, ты говоришь, диссертацию затеяла? Стоящее дело, Женечка, честное слово, стоящее...

«Нет, нам, верно, не удастся здесь поговорить так, как хочется... — подумала Евгения Меркурьевна.— Хотелось бы многое-многое рассказать Косте, рассказать ему и о своих встречах с Муськовыми, с Лосняковыми, но здесь, в конторе, этого, видно, не удастся сделать... Такая обида, взяла бы и заревела...»

Должно быть, Константин Владимирович был другого мнения — он нажал кнопку и, когда в кабинет вошла девушка секретарь, велел подать завтрак.

— На двоих,— сказал он.

— Константин Владимирович, дорогой, я же совсем не хочу есть... Я только недавно завтракала,— возразила Евгения Меркурьевна.

— На двоих! — повторил он, и девушка ушла.

Когда женщина в белом передничке принесла поднос, накрытый салфеткой, Константин Владимирович кивнул ей, и она поставила поднос на столик у окна...

Они сели за этот столик, Евгения Меркурьевна осторожно подула на горячий чай и спросила Константина Владимировича:

— А что, Костя, может быть, вас — эти два втормета — действительно следует слить?

Такое удивление Евгения Меркурьевна заметила на лице Кости, когда подняла к нему глаза, что даже засмеялась. А Константин Владимирович сказал:

— Боже мой, Женечка! Да неужели и тебе до этого есть дело?

Евгения Меркурьевна ничего не ответила — не знала, что ответить, — а он снова улыбнулся своей милой улыбкой.

— Ты знаешь, Костя, — сказала она немного погодя, — мне никогда раньше не приходилось бывать в учреждениях так долго... Да ещё в кабинете начальника... Должно быть, это очень трудно, очень сложно руководить учреждением... Трудно и так ответственно... Я потом с тобой о многом, об очень многом хочу поговорить... Но сейчас я смотрю на тебя и думаю, что всё-таки это хорошо, так хорошо, что мы встретились с тобой... Найти бы самые нужные слова, чтобы обо всём вспомнить и обо всём подумать! Мы ведь, наверное, уже никогда больше не встретимся с тобой... Возраст...

— Я тоже очень счастлив, Женечка. — Он пожал ей руку.

В это время дверь кабинета распахнулась, появилась фигура человека в серой гимнастёрке, в сапогах и с кепкой в руке... И уже за его спиной мелькнула головка девушки секретаря.

— Здорово! — сказал этот человек и поздоровался с Константином Владимировичем. Потом, не глядя на Евгению Меркурьевну, и ей сунул большую жёсткую руку. — Деев... Я к тебе без доклада, начальник. Извиняй. Всего на пять минут... Ежели не будешь упрячиться — того меньше...

Евгения Меркурьевна заметила, что Косте неприятен этот человек, и она несколько удивилась, как это Костя попрежнему сохранил на своём лице ту же милую, доброжелательную улыбку.

— Садись, садись, — сказал он. — Хоть ты и с войной ко мне — садись...

Посетитель сел и сказал:

— Ты не улыбайся. Знаю я тебя. Скажи: будешь закрывать все наши лавочки — Вторцветмет, Вторчермет и Утильсырьё? Будешь или не будешь? Вместо трёх контор — одну?

У Деева было массивное лицо с желтоватой, неровной кожей, мохнатые брови и толстые губы, какие Евгения Меркурьевна всегда считала верным признаком доброго характера. Однако же Деев выглядел сейчас совсем не добряком. Он нервно тербил пуговицы на гимнастёрке и в упор глядел на Костю.

— Прикажут — закроем. Не прикажут — не закроем. Такая моя точка зрения... — Константин Владимирович пожал плечами.

— Принципиальная точка зрения... Понятно!

— Ну, что ты от меня хочешь? Не я создавал конторы, почему я должен их сливать? А? Дальше: мы с Владимиром Константиновичем, — Костя снова показал большим пальцем вниз, — мы с ним организации контролирующие. Он работает на чёрную металлургию, учитывает отходы производства на их предприятиях, я сижу на цветной металлургии. У нас с ним мало общего... Ну, а с тобой — совсем ничего. Ты Утильсырьё, ты организация заготовительная, работаешь не с промышленностью, а с населением. Твоё дело — тряпье, бумаги и старые калоши...

— Верно! — подтвердил Деев. — Я Утильсырьё! — Он постучал себя обеими руками в грудь и оглянулся по сторонам, словно для того, чтобы

убедиться, не сомневается ли кто в его словах.— Верно! Но я знаю, что делаю, а что делаешь ты? Кого ты контролируешь? Какие предприятия, когда у нас в области нет цветной металлургии, нет предприятий с отходами цветных металлов?!

— Будут...

— Когда будут?

— В следующем пятилетии. Надо мыслить по-государственному. С перспективой... И потом, почему ты думаешь, что вверху,— Константин Владимирович помахал над головой точно так же, как он уже сделал это сегодня один раз,— что вверху знают хуже нас — одна контора нужна или три?

— Я знаю, почему ты это говоришь.

— Почему?

— Потому что надеешься, что там,— Деев повторил жест Константина Владимировича,— тоже есть такие же, как ты... голубчики.— Он не сразу нашёл это слово, но, когда нашёл, кажется, остался им доволен и сам в первый раз улыбнулся, поглядев на Пухалова.

И Евгения Меркурьевна подумала, что в самом деле это слово как-то всерьёз, а не мимоходом очень подходит к Косте. «А он довольно симпатичный — этот товарищ из Утильсырья... Он добивается своего и знает, чего хочет... Твёрдо знает».

Должно быть, Костя был задет и сказал:

— А ты что же, Деев, хочешь быть начальником большой конторы?

Деев провёл пальцами по всем пуговицам гимнастёрки, помолчал и сказал:

— Тьфу!

Он сказал это тихо, но Евгения Меркурьевна почувствовала, какое скрывает он волнение.

Ей всегда передавалось волнение других людей.

И снова, к удивлению Евгении Меркурьевны, Константин Владимирович не обиделся, а сказал:

— А я вот не хочу... Мне многого не надо... Я знаю своё дело, свой участок работы и не мельтешу... Да и не всё ли равно — увольняют, сокращают, сливают, а служащих сколько было, столько и осталось... Ты формалист. Тебе вывеску надо сменить, и всё...

— Ну, вот что,— сказал Деев, поднимаясь.— Поедем! Нас в исполкоме ждут!

Впервые Евгения Меркурьевна уловила в голосе Кости нотки тревоги, когда он переспросил:

— Кто ждёт? Почему ждут?

— Хотят поговорить с нами со всеми до того, как решать вопрос. Понятно? Выяснить точки зрения...

— Слушай, Деев, — ответил Костя. — С ума ты спятил? У меня посетители... Не видишь разве?

— Ну, вот ещё, Костя, поезжай... — захотела успокоить Пухалова Евгения Меркурьевна. — Ведь это же нужно. Как же так? Я не могу тебя задерживать ни в коем случае! Только напиши мне, пожалуйста, справку, о которой я тебя просила... Это займёт всего несколько минут,— обратилась она уже к Дееву.

— Никуда я не поеду... Не могу... — подтвердил своё решение Константин Владимирович.

Деев подошёл к телефону и положил руку на трубку.

— Звоню в исполком: нахожусь в кабинете Пухалова, он отказывается ехать! Наотрез. Звонить?

— Вот что, Евгения Меркурьевна,— сказал Константин Владимирович,— пойдй, дорогая, к секретарю и продиктуй ей справку... А я пишу...

Когда Евгения Меркурьевна снова вошла в кабинет, Константин Владимирович доедал завтрак, улыбался и говорил Дееву:

— Вот так, знаешь ли... Всё течёт, всё изменяется... Так вот и бывает в жизни... Да...

Евгения Меркурьевна смотрела на Костю и с напряжением думала, кого он ей напоминает сейчас... И вдруг вспомнила...

Такая стилистически своеобразная, но выразительная и типичная для Толстого, очень запоминающаяся фраза: «Окончив газету, вторую чашку кофе и калач с маслом, он встал, стряхнул крошки калача с жилета и, расправив широкую грудь, радостно улыбнулся, не оттого, чтоб у него на душе было что-нибудь особенно приятное,— радостную улыбку вызвало хорошее пищеварение».

Это было сказано о Стиве Облонском, о том, как он завтракал после крупной семейной неприятности... И Константин Владимирович встал и, улыбаясь, смахнул крошки со своего пиджака, подписал Евгении Меркурьевне справку и сказал ей:

— Женечка, ты можешь обождать меня здесь. Я вернусь скоро, наверно, через часок. Мы мигом слетаем. Если хочешь, я велю принести тебе подшивку «Крокодилчиков»?

После их ухода Евгения Меркурьевна молча постояла в кабинете и тоже вышла.

В большой комнате служащие уже знали, кто она и зачем приходила к Константину Владимировичу...

Когда она попрощалась, бухгалтер в роговых очках махнул ей рукой, а молоденькая девушка, которая всё ещё старательно заклеивала конверты, даже привстала по школьной привычке.

Уже на пороге Евгения Меркурьевна подумала:

«Очень трудно разобраться в делах этой конторы. Трудно и так обидно, что прав, должно быть, товарищ из Утильсырья... Он прав, а не Костя. И, кажется, он симпатичный, этот товарищ... Кажется, да... Но почему бы, споря с Константином Владимировичем, ему не спросить всех этих людей, как лучше поступить — иметь одну контору или три? Как лучше для пользы дела? Неужели они не знают?» Потом она вздохнула: ах, какой характер, какой несносный, введливый характер! Это она снова упрекала себя.

Уже и третья ступенька крыльца была окончательно сломана колёсами самосвалов, когда Евгения Меркурьевна вышла на улицу. Ей нелегко было спуститься с крыльца. Котлован на дворе стал заметно шире, и она не обнаружила тропинки, по которой шла сюда. Остановившись в нерешительности рядом с отвалом земли, насыпанным экскаватором, Евгения Меркурьевна тяжело вздохнула и почувствовала усталость.

Покуда она была в конторе, прошёл небольшой дождь: земля стала влажной и ветер не разметывал её больше... Но небо всё ещё оставалось хмурым, а двор в неровном солнечном освещении — пёстрым.

«Ну, вот я имею теперь три справки... Только за ними я приезжала сюда... Приезжала»,— повторила она ещё раз мысленно, хотя правильнее было бы сказать «приехала». Действительно, ведь ничего не нужно было, кроме этих трёх бумажек... Три справки, три встречи, такие несладкие, такие неожиданные встречи. Вот и сейчас что-то случилось со старой дружбой к Косте Пухалову. Обидно за него, обидно, что никому не нужны его милые улыбки.

Она долго ещё стояла рядом с отвалом на краю котлована, пока не вздрогнула от пронзительного свиста.

В кабине экскаватора, заложив два пальца в рот и заглушая грохот машины, свистел чумазый моторист в кепке, надетой попрежнему козырьком назад. Когда Евгения Меркурьевна взглянула на него, он сердито погрозил ей кулаком. Она кивнула и отошла в сторону, а на то место, где

она только что стояла, рука экскаватора тотчас опустила огромную горсть влажной земли...

Евгения Меркурьевна улыбнулась, махнула экскаваторщику и пошла прочь.

Почему-то всю обратную дорогу в поезде ей вспоминался этот случай, как экскаваторщик нетерпеливо и сердито погрозил ей из кабины.

5

Евгения Меркурьевна вернулась домой в субботу утром.

С вокзала она ехала в автобусе, дорога лежала мимо ветеринарного института, и она ждала, когда на перекрёстке Первомайской улицы и Песчаного переулка покажется знакомое здание...

Вот и Песчаный переулок...

Институт помещался в старинном доме с колоннами у главного входа. Над тремя этажами с замысловатыми карнизами и с выступами в простенках между окон сразу же после войны было надстроено ещё два этажа без карнизов и без выступов, с квадратными окнами и с несколькими дверными проёмами.

Против этих проёмов когда-то намеревались сделать балконы, но до сих пор из стен попарно торчали только металлические балки, а больше ничего не было.

Кафедра иностранных языков помещалась в восточном крыле четвёртого этажа, в комнатах с несколькими окнами и одной дверью; летом квадратные окна заливали пол и стены таким ярким светом, что глазам становилось больно, и такая была жара, что распахивались все форточки, дверь в коридор и дверь на улицу тоже открывали. Чтобы кто-нибудь посторонний не шагнул через порог с высоты четвёртого этажа, поперёк этой двери ставили чей-нибудь письменный стол.

Однажды заведующий учебной частью совершенно напрасно сделал замечание заведующему кафедрой что-то насчёт расписания консультаций. Сам заведующий кафедрой промолчал, Евгения Меркурьевна тоже хотела промолчать, потому что дело её не касалось, и всё-таки затеяла спор.

Когда заведующий учебной частью вышел из себя, Евгения Меркурьевна предложила ему подышать свежим воздухом и, слегка отодвинув столик, сказала: «Не хотите ли, Пётр Савельевич, прогуляться на балкон?» Пётр Савельевич сказал: «Безобразие!», немножко побледнел и ушёл, а Евгении Меркурьевне пришлось выслушать нотацию заведующего кафедрой.

Почему-то этот случай вспоминался ей всякий раз, как она видела с улицы металлические балки, попарно торчавшие из стен четвёртого и пятого этажей. И теперь она тоже подумала: «Неужели Пётр Савельевич до сих пор сердится? Надо будет помириться с ним. Обязательно».

Даже нескладное, но такое знакомое здание ветеринарного института кажется сегодня очень приятным... Здесь ты всех знаешь и тебя тоже. Ей захотелось сойти с автобуса, подняться к себе на четвёртый этаж, поругав по пути слишком крутые лестницы, рассказать сослуживцам о поездке — не всё, всё, пожалуй, нет смысла рассказывать, — потом спуститься вниз, в канцелярию... Там обнять свою приятельницу — начальницу отдела кадров — и сунуть ей в нос эту справку, из-за которой пришлось столько волноваться, а потом сказать, что дефект в личном деле Е. М. Арзамаской устранён раз и навсегда.

Но Евгения Меркурьевна остановила себя: надо ехать домой. Она с вещами, хоть и небольшими, к тому же плохо спала в вагоне, и ей следовало отдохнуть, набраться сил. Да по субботам у неё и не бывало занятий в институте.

Дома Евгению Меркурьевну встретила Марфуша — домработница, которая была ей, как близкая родственница.

— Ах, — сказала Марфуша, всплеснув руками, — приехала! И я, как знала, приготовила обед на двоих!

— Милая моя! — Евгения Меркурьевна трижды расцеловала морщинистое лицо Марфуши. — Здравствуй, дорогая!

Сбросив плащ, шляпу, она и сама тоже бросилась в кресло. Вот оно, спокойствие! Наконец-то!

Она закрыла глаза и представила себе, как, не торопясь, пообедает сейчас, съест незатейливый марфушин обед, очень приятный после того, как долго обходишься чужими приготовлениями, как потом она ляжет отдохнуть, а после пяти позвонит сыну и пригласит его зайти вечером, как в ожидании сына сядет за письменный стол и, наверное, забудет обо всём, увлечётся работой, так что его появление будет совсем неожиданным и радостным...

А он, может быть, и не обрадует мать.

Расскажет о своей семье, и она подумает: «Семья молодая, только бы жить да жить, а вот не выходит что-то...» И тут её две комнатки покажутся ей не совсем уютными, и в душе она поворчит на Марфушу за то, что она не сделала ремонта печи в её отсутствие... Настроение пошатнётся.

Тогда она сядет за свою работу и будет мучиться вопросом: как сделать, чтобы работа была современной? Говорят, женщины в её возрасте, никогда прежде не печатавшей ни книг, ни статей, сделать это очень трудно. Но она будет работать и горячо верить, что добьётся своего, а за работой забудутся неприятности.

Вот сколько у неё своих собственных забот, своих небольших радостей, своих огорчений... Так зачем же, спрашивается, ей вмешиваться ещё в чужую жизнь?!

Подавая на стол, Марфуша пыталась завести разговор.

— Повидала своих знакомых, Евгенья Меркувна? — расспрашивала она. — Погостила?

— Ну, конечно, повидала. Погостила.

— Обрадовались они тебе? До слёз?

— Ужасно обрадовались. Некоторые до слёз...

— Хорошо-то как! — вздохнула Марфуша и, кажется, сама смахнула слезинку, поправляя платочек, который у неё почему-то всегда плохо держался на седой голове.

«Действительно, — продолжала размышлять Евгения Меркурьевна, — именно так, вот так, по-марфушиному, и должно было быть... Марфуше и в голову не может прийти, как всё это случилось на самом деле. Проклятый характер! Зачем, ну, зачем было мне вмешиваться в семейные дела Муськовых, ссориться с Лосняковичами, так близко к сердцу принимать встречу с Костей Пухаловым? Встретилась с давними знакомыми, все они хорошо приняли меня, а мне будто кто-то вменил в обязанность доказывать, в чём эти люди правы и в чём не правы... Смешно! Наивно! Дожила до крашенных волос, а вот не даю людям жить спокойно с теми слабостями, которые у них есть, и сама себе без конца порчу жизнь, теряю здоровье. Если бы кто-нибудь знал, сколько я натерпелась за эту поездку?! А сил уже не много, старею... По любому поводу — сердцебиение. Ну, теперь, что бы ни случилось, не буду вмешиваться в чужие дела! Ни за что!»

И как раз в этот момент Марфуша прервала её размышления:

— Вчера, уже к ночи, подружка твоя заходила, жалела, что тебя нет...

— Мария Семёновна? Зачем же она была?

И Марфуша, которая считала, что разумеет в делах Евгении Меркурьевны не меньше, а может быть, и больше, чем она сама, объяснила, что Мария Семёновна жаловалась на учебную часть. Учебная часть сняла часы с английского языка. Тридцать часов.

— Ах, вот как? — возмутилась Евгения Меркурьевна. — Я займусь этим делом сама. Немедленно! — И она схватилась за шляпу.

— Евгенья Меркувна, — сказала Марфуша, — ты, пожалуйста, не кричи, потому что обед.

Евгения Меркурьевна принялась суетиться, собираясь в институт, но Марфуша снова и настойчиво повторила, что никуда она сейчас не пойдёт. Нельзя никуда уходить от обеда. Это всем известно.

— Вот что, Марфуша, — сказала Евгения Меркурьевна, — запомните, пожалуйста, раз и навсегда, что вы не имеете никакого права диктовать мне свои условия. Я для вас лицо неподконтрольное!

Но Марфуша тоже знала себе цену и сказала, что эта несознательная женщина хочет загнать её, старуху, в могилу раньше срока и когда дойдёт своего и заплачет, то будет уже поздно.

Евгения Меркурьевна снова сердито бросила шляпу в кресло и торопливо принялась обедать.

Потом, оставшись в комнате одна, Марфуша вздыхала, слушая, как её хозяйка говорит по телефону из общего коридора:

— Да, да! Это я, Евгения Меркурьевна. Да, приехала! Спасибо, Пётр Савельевич! Всё было хорошо, очень хорошо... Да. Отдохнула. Поправилась. Набралась сил. Вы сейчас сами в этом убедитесь: я иду к вам поговорить насчёт часов, которые вы сняли с английского языка... Это непротистительно: нам даётся возможность как следует обучить людей английскому языку, а вы эту возможность отнимаете у преподавателей. Непротистительно! Знаете, как это называется, Пётр Савельевич? Я пойду в партбюро! Я в обком пойду! Читали, как писала недавно «Правда» о преподавании иностранных языков? Что? Не мои часы? И я не заведующая кафедрой? Это не меняет дела! Не думайте, пожалуйста, что я останусь в этом вопросе безучастной свидетельницей... Зачем же в понедельник, я выхожу сию же минуту! Ждите!



ВАСИЛИЙ КАЗИН

★

ЛИРИЧЕСКИЕ СТИХИ

НА ВЫСТАВКЕ ИНДИЙСКОГО ИСКУССТВА

Я взволнован
Фактом небывалым:
В доме
Близ Кропоткинских ворот
С радугой картин своих
По залам
Индия-красавица идёт.

Индия проходит перед нами
С древности
До нынешних времён.
Русский глаз нерусскими богами,
Их земной натурой изумлён.

Кришна — бог не высшего ли ранга?
Видим его скромным пастухом.
Плеск,
Священное дыханье Ганга
Слышится нам в воздухе самом.

Чудится:
Вот-вот с картин
Слоновым
Рёвом затрубит нам божество,
Что —
 будь в древности,
Будь в веке новом —
Почитается как мастерство.

В строгости портрета мастерского
Вмиг узнал Тагора-старика,
Подарившего народу слово,
Мудростью
Светящее в века.

Тронул душу
Образ старика мне.
Лицами, что наших посмуглей,
Так тепло
Блеснули в краске, в камне
Труженики города, полей.

И вот эта с прудом деревенька
В грудь вплеснула мне
Волну тепла.
Ну-ка, разберёмся хорошенько,
Чем, брат, душу
Индия взяла.

Ну, не чаем же,
Хоть вкус мой чаю
Нашему
Индийский предпочтёт.
В чае Индии души не чаю,
Малость подкачав как патриот.

Да простится, брат,
Мне слабость эта!
Нет, не чая крепостью она
Привязала,
Привлекла поэта,
Индия, великая страна.

И не тем плодом своим,
В котором
С нашим сходства
Вовсе не найдёшь.
Даже и не тем своим простором,
Что с простором родины
Так схож.

И не столько красок красотой,
Сколько тем взяла нас,
Что большой,
Многовековой, трудовой
И миролюбивой такою
Так близка душой.

И на выставку
В московский дом
Все — и те,
Кто чужд искусству сроду,—
Мы идём огромным чередом
С чувством,
Что к индийскому народу
В гости с дружбой
В дом его идём.

ИНДИЙСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА

Солнцем шёлка
Твой стан лучится.
И, прекрасным лицом светла,
Ты, индийская танцовщица,
Бурно в танце
Блестать пошла.

Пылких рук
Летучие змеи.
Босоногий топот.
На миг,
Неожиданный, быстрый,
С шеи
Головы чуть в сторону
Сдвиг.

Вот один ли миг ещё,
Два ли —
И гремит он,
Как дивный миф,
Яркий танец твой,
Всех нас в зале
В древность Индии
Устремив.

Грѳмко славит он Кришну,
Бога.
И мы так захвачены им,
Что, отрѳкшись от бога строго,
Жадно Кришны огнѳм горим.

Дали волю сердцам:
Дивитесь,
Как вас танец
Страстью берѳт.
То не бог
Явил даровитость —
Даровитость явил народ.

НА МОГИЛЕ МАТЕРИ

Сквозь гул Москвы, кипенье городское
К тебе, чей век нуждой был так тяжѳл,
Я в заповедник вечного покоя —
На Пятницкое кладбище пришѳл.

Глядит неброско надписи короткость.
Как бы в твоѳм характере простом
Взяла могила эту скромность, кротость,
Задумавшись, притихнув под крестом.

Кладу я розы пышного наряда.
И словно слышу, мама, голос твой:
— Ну, что так тратишься, сынок? Я рада
Была бы и ромашке полевой.

Но я молчу. Когда бы мог, родная,
И сердце положил бы сверху роз.
Твоих забот все слѳзы вспоминая,
Сам удержаться не могу от слѳз.

Гнетѳт и горе, и недоуменье
Гвоздѳм засело в существо моѳ:
Стою, твоѳе живое продолженье,
Начало потерявшее своѳ.

ДРУГУ

Который день, мой друг,
 Как без возврата
 В последний путь
 С незрячестью слепца
 Ушёл ты вдруг.
 Смотрю я виновато
 В портрет,
 В весёлость твоего лица.

 Прости ты мне,
 Что слово задержалось:
 Сдавила душу мука тяжело.
 Когда бы душу
 Сжала просто жалость,
 Оно скорей
 Прорваться бы могло.

 Да и к тому ж ещё:
 Тяжелодумом,
 Знать, стих-то мой
 Природою рождён.
 Горел я в нетерпении угрюмом:
 Когда на горе
 Отзовется он?

 Но даже будь он
 К скорой мысли годен,
 Не сразу зазвучал бы
 Под пером.
 Стих с реактивным
 Самолётом сходен:
 Сначала мысль приходит,
 Звук потом.

СТИХ ПУШКИНА ЧИТАТЬ НАЧНИ

Когда ты горю тяжелейшему
 Ни в чём исхода не найдёшь,
 Пошли сочувствующих к лешему:
 Ведь не помогут ни на грош.

 Но нестерпимой мукой мучимый,
 Проплакав ночи все и дни,
 Ты лучше с детских лет заученный
 Стих Пушкина читать начни.

 Он с первых же двух строк, он в скорости
 Такого солнца звон прольёт,
 Что горе вдруг не горше горести —
 Ну той, как журавлей отлёт.

 Ещё лишь третью вот, четвертую
 Строку произнесёшь потом,
 Ещё вот стих, что так знаком,
 И не прочтёшь ты целиком,
 А сквозь слезу, с лица не стёртую,
 Сверкнёшь восторга огоньком.



ТИЦИАН ТАБИДЗЕ



СТИХИ РАЗНЫХ ЛЕТ

ПЕТРОГРАД

Ветер с островов курчавит лужи.
Бомбой взорван воровской притон.
Женщины бредут, дрожа от стужи.
Их шатают ночь и самогон.

Жаркий бой. Жестокой схватки звуки.
Мокрый пар шинелей потных. Мгла.
Медный всадник опускает руки.
Мойка лижет мёртвые тела.

Но ответ столетий несомненен,
И исход сраженья предreshён.
Ночь запомнит только имя Л е н и н
И забудет прочее, как сон.

Черпая бортами мрак, века
Топят тень Скитальца-моряка.

Кутаис, в ночь на 25 октября 1917 г.

СВЕТАЕТ

Солнце первыми лучами метит
Склоны гор, очнувшихся от сна.
Из-за тучи светит и не светит
В ней заночевавшая луна.

Сверху Терек набегаёт, воя,
Снизу слышится Арагвы рёв.
Солнце незаметною киркою
Разбивает льдины ледников.

По Казбеку вихрь метёт с вершины,
В пурпуре зари его висок.
Стыд тому, кто пред такой картиной
Смерти бы ещё бояться мог.

Я стою внизу оцепенелый
И себя совсем не узнаю.
Точно вдунул сам Важа Пшавела
Жар Химикаури ¹ в грудь мою.

1927 г.

¹ Герой произведения Важа Пшавела «Соц Ираклия».

КАРМЕНСИТА

Ты налетела хищной птицей,
И я с пути, как видишь, сбит.
Ты женщина или зарница?
О, как твой вид меня страшит!

Не вижу от тебя защиты.
В меня вонзила ты кинжал,
Но ты ведь ангел, Карменсита,
Я б вверить жизнь тебе желал.

И вот я тлею дни и ночи,
Горя на медленном огне.
Найди расправу покороче,
Убей, не дай очнуться мне.

Тревога всё непобедимей,
К минувшему отрезан путь,
И способами никакими
Былого мира не вернуть.

В душе поют рожки без счёта,
Так звук их жалобно-уныл,
Как будто в ней ютится кто-то
И яблоню там посадил.

И так как боли неприкрытой
Не утаить перед людьми,
Пронзи мне сердце, Карменсита,
И на небо меня возьми.

1923 г.

СТИХИ О МУХРАНСКОЙ ДОЛИНЕ

В Мухрани трава зеленей изумруда,
И ласточки в гнёзда вернулись свои,
Форели прорвали решётки запруды,
И обе Арагви смешали струи.

И воздух в горах оглашают обвалы,
И дали теряются в снежной пыли,
И Терека было б на слёзы мне мало,
Когда б от восторга они потекли.

Я Гурамишвили, из сакли грузинской
Лезгинами в детстве захваченный в плен.
Всю жизнь вспоминал я свой край материнский.
Нигде ничего не нашёл я взамен.

К чему мне бумага, чернила и перья?
Само несравненное зрелище гор —
Предчувствие слова, поэмы преддверье,
Создателя письменный лучший прибор.

Напали, ножом полоснули по горлу
В горах, на скрещеньи судеб и стихов,

А там, где скала как бы руку простёрла,
Мерани ¹ пронёсся в мельканьи подков.

И там же, и так же, как спущенный кречет,
Летит над Мухранской долиной мой стих,
И небо предтеч моих увековечит
И землю последователей моих.

1921 г.

* *
*

Лежу в Орпири мальчиком в жару.
Мать заговор мурлычет у кровати
И, если я спасусь и не умру,
Сулит награды бесам лихорадки.

Я — зависть всех детей. Кругом возня.
Мать причитает, не сдаются духи.
С утра соседки наши и родня
Несут подарки кори и краснухе.

Им тащат, заклинанья говоря,
Черешни, вишни, яблоки и сласти.
Витыми палочками имбиря
Меня хотят избавить от напасти.

Замотана платками голова.
Я плаваю под ливнем роз и лилий.
Что это, одеяла кружева
Иль ангела спустившиеся крылья?

Болотный ветер, разносящий хворь,
В кипеньи персиков теряет силу.
Обильной жертвой ублажают корь
За то, что та меня не умертвила.

Всажу, не медля мига, в сердце нож,
Чтобы напев услышать тот же самый,
И сызнава меня охватит дрожь
При тихом, нежном причитаньи мамы.

Не торопи, читатель, погоди.
В те дни, как сердцу моему придётся
От боли сжаться у меня в груди,
Оно само стихами отзовется.

Пустое нетерпенье не предлог,
Чтоб мучить слух словами неживыми,
Как мучит матку без толку телок,
Ей стискивая выдохшее вымя.

1933 г.

Перевод с грузинского Б. Пастернака.

¹ Мифический крылатый конь грузинского эпоса.

ПРАЗДНИК АЛЛАВЕРДЫ

Нате Еачнадзе.

Огромные арбы покрыты ковром.
Здесь буйвол пугается собственной тени.
Кончают бурдюк с кахетинским вином
Герои Важа из нагорных селений.

Нацелившись боком, влюблённый Кавказ
Прокрался тайком к Аллавердской святыне,
Но церковь сияет и смотрит на нас,
Как голубь, привязанный к этой долине.

И вот над Кахетией вспыхнул рассвет,
Недолго он странствовал в море туманном.
«Не гасни, о день мой, сияньем одет,
А если погас, не свети никогда нам!»

На том берегу, приведённая в дол,
Хмельная отара лежит без движенья,
Как будто накрыли для Миндии стол
Кудесники-дэвы на поле сраженья.

Закончив свой танец, кистин-акробат
Застыл у костра в молчаливом экстазе,
И люди толпятся, и песни шумят
Под звуки шарманки и стон мухамбази.

А что ж не споют нам о белом гусе,
О белом кабане не вспомнят доселе?
И новым Леваном любят все,
И песня его умножает веселье.

Здесь жертвенный бык прикольцован к столбу,
Он вырвал бы дзелкву с её корневищем,
А ныне он жалок: клянёт он судьбу,
Испуганный пиром и старым кладбищем.

Седая весталка и нищий юрод
В такое пускаются здесь причитанье,
Что спрыгнул бы сам вседержитель с высот,
Имей он в высотах своё пребыванье.

Народу здесь надобно столько вина,
Сколь может воды в Алазани вместиться,
А сколько он мяса тут съест и пшена,—
Никто на земле сосчитать не решится!

Да будут обильны, Кахетия-мать,
Сосцы твои, полные млечного сока!
И тучи выходят на небо опять,
И ночь, словно буйвол, встаёт одиноко.

Аллаверды — селение в Кахетии.

«Не гасни, о день мой» — народная грузинская песня.

Миндия — герой поэмы Важа Пшавела «Змеед».

Мухамбази — восточная форма стиха.

Леван — кахетинский народный певец.

Дзелква — дерево, отличающееся твёрдостью древесины. Встречается в Закавказье.

Костры с шашлыками горят над рекой,
Слезятся от дыма весёлые лица.
Олень угощает оленя травой,
Вином кахетинец поит кахетинца.

Здесь сам Пиросмани, и кистью его
Набросаны арбы и гости на пире.
Важа восхваляет его мастерство,
И туры рога погоняют шаири.

И «Шашви какаби», и Саят-Нова,
И песни Бесики — для сердца отрада,
И жажда веселья в народе жива,
Когда наступает пора винограда.

1936 г.

МОЯ КНИГА

Заплачет ли дева над горестной книгой моей,
Улыбкой сочувствия встретит ли стих мой? Едва ли!
Скользнув по страницам рассеянным взглядом очей,
Не вспомнит, жестокая, жгучее слово печали!

И в книжном шкафу, в окружении множества книг,
Как я, одинока, забудется книга поэта.
В подругах её — лепестки орхидей и гвоздик,
Она же в пыли безвозвратно погибнет для света.

А может быть, нет? Может быть, неожиданный друг
Почувствует силу красивого скорбного слова,
И сердце его, испытавшее множество мук,
Проникнет в мой стих и поймёт впечатленья другого?

И так же, как я воскрешал для людей города,
Он в сердце моём исцелит наболевшую рану,
И вскрикнут герои, воспетые мной, и тогда,
Ушедший из мира, я спутником вечности стану.

Перевод с грузинского Н. Заболоцкого.

Пиросмани — известный грузинский художник, современник Важа Пшавела
Шаири — форма грузинского стиха.

«Шашви какаби» — народная песенка о скворце.

Саят-Нова — известный поэт-ашуг, слагавший свои песни на грузинском армянском и азербайджанском языках (ум. 1795).

Бесики — известный грузинский поэт (ум. 1791).



КОНСТАНТИН ВАНШЕНКИН

* *
*

Под взглядом многих скорбных глаз,
Усталый, ветром опалённый,
Я шёл, как будто напоказ,
По деревушке отдалённой.

Я на плечах своих волок
Противогаз, винтовку, скатку.
При каждом шаге котелок
Надсадно бился о лопатку.

Я шёл у мира на виду, —
Мир ждал в молчанье напряжённом:
Куда сверну? К кому зайду?
Что сообщу солдатским жёнам?

Пусть на рассвете я продрог,
Ночуя где-нибудь в кювете, —
Что из того! Я был пророк,
Который может всё на свете.

Я знал доподлинно почти,
Кто цел ещё, а с кем иное.
И незнакомые в пути
Уже здоровались со мною.

А возле крайнего плетня,
Где полевых дорог начало,
Там тоже, глядя на меня,
В тревоге женщина стояла.

К ней обратился на ходу
По-деловому, торопливо:
— Так на Егоркино пройду?
— Пройдёте, — вздрогнула. — Счастливо.

Поспешно поблагодарил,
Простился — сроки торопили..
— Ну что? Ну что он говорил? —
Её сейчас же обступили...

БРУНО ЯСЕНСКИЙ

★

ЗАГОВОР РАВНОДУШНЫХ

*Первая часть неоконченного романа**

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Одиннадцатого января 1935 года из Берлина на запад вышли два поезда. Поезд «А» — курьерский «Берлин — Париж» — вышел в одиннадцать тридцать, развивая скорость до восьмидесяти километров в час. Поезд «Б» — простой пассажирский, со средней скоростью в пятьдесят километров — вышел в Кёльн двумя часами позже. В поезде «А», в четырёхместном купе международного вагона, ехал директор Н-ского завода Константин Николаевич Релих. На его советском паспорте имелась французская виза. В поезде «Б», в битком набитом вагоне третьего класса, ехал Эрнст Гейль. У Гейля не было ни заграничного паспорта, ни французской визы, но ехал он тоже в Париж, хотя поезд шёл только в Кёльн, а на билете Эрнста значился как конечная станция Трир.

Одновременно с поездами «А» и «Б» из сотен тысяч других станций, разбросанных по всему земному шару, вышли в этот день тысячи других поездов: одни в том же, другие в противоположном, третьи в ещё иных направлениях. В поездах ехали десятки миллионов людей, с паспортами и без, с билетами и без билетов. Люди ехали за хлебом, за работой, торговать, жениться, разводиться, рожать, хоронить родственников, навещать знакомых, лечиться, отдыхать на курортах, заниматься зимним спортом, шпионажем, дипломатическими переговорами, учёбой, охотой, представлять, взламывать несгораемые шкафы, резать пациентов, развратничать, продуваться в рулетку, произносить речи, щёлкать фотоаппаратами...

В эпоху, когда на пяти шестых земного шара вся человеческая жизнь протекала в узких стойлах нерушимых государственных и сословных границ, нерасторжимого брака, непроветриваемых канцелярий, железнодорожный билет был лотерейным билетом, предоставлявшим покупателю право принимать участие в лотерее счастливых встреч, был паспортом в страну непредвиденных приключений.

Не все пассажиры, отправлявшиеся в путешествие, прибывали на место назначения. Несмотря на то, что «Ракету» Стефенсона от обтекаемого локомотива выпуска 1934 года отделяло расстояние в сто десять лет, поезда попрежнему нередко сталкивались друг с другом и летели под откос. Точная статистика железнодорожных катастроф держалась в секрете, как военная тайна.

Во избежание крушений миллионы людей в зной и стужу, днём и ночью выстаивали по пути с зелёными флажками, переводили стрелки, бегали с маслёнками вдоль поездов, смазывая нагретые буксы, выстуки-

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 5, 6 с. г.

вали на станциях молотками гулкие колёса вагонов, дежурили без сна у телефонных аппаратов в диспетчерской. На каждую сотню населения приходился один железнодорожник.

Весь земной шар, как гигантский хоккейный мяч, был обмотан постромками рельсов. На сотни тысяч километров тянулись они через поля и овраги, продирая густую шерсть лесов и набухая рубцом на незащищённой плечи пустынь. Поэты сравнивали их со щупальцами спрута, зажавшего в своих объятиях землю. Учёные сравнивали их с системой кровеносных сосудов: в конечностях материков, тронутых параличом, она отмирала и корчилась; в других, здоровых, она разветвлялась всё шире, воскращая к жизни мёртвые пустыни Туркестана хлебной кровью Сибири.

На каждый километр рельсов приходилось до полутора тысяч шпал. Поезда двадцатого столетия бежали по трупам лесов, варварски поваленных древним топором дровосека. Люди, выбитые из колеи, любили ложиться на рельсы, под проходящие поезда, доставляя служебные неприятности машинистам.

По бесконечным рельсам днём и ночью бежали вагоны. В вагонах на ходу жили люди. Люди, оторвавшись от своей повседневной жизни, скучали, читали детективные романы, играли в карты, в шахматы, качали на коленях чужих детей. Детвора упрямо наступала им на мозоли и прорывалась к окнам. Вид всегда неподвижного и чопорного мира, вдруг пустившегося вскачь, приводил её в возбуждённый восторг. Взрослые снисходительно улыбались зрительному обману малышей, утешаясь сознанием собственного превосходства. Они были бы немало посрамлены, узнав, что современная релятивистская физика давно осудила их консервативную точку зрения, допуская вслед за детьми, что поезда стоят на месте, а движется окружающий мир. Если же предметы и люди на перроне не покачиваются при каждой внезапной остановке, виновато в этом гравитационное поле, мгновенно поглощающее их кинетическую энергию.

На пассажиров, сидящих в поезде, гравитационное поле действовало по-своему: по мере движения они явно начинали тяготеть друг к другу. Оторвавшись на время от земли, они сразу становились общительнее и отзывчивее. Они пили чай или вино из одной кружки с незнакомыми людьми, делились с ними своими заботами и огорчениями, сочувственно выслушивали бесконечные рассказы спутников, услужливо бегали на станциях опускать в ящик чужие письма, баюкали чужих ребят, плакали над чужим горем и радовались чужой удаче...

Поезда идут на север среди седых слегка лесов. Поезда идут на запад. Поезда идут на юг. Поезда вращают землю, точно белка колесо. Танец начат. Сосны скачут. Люди плачут и поют.

В четырёхместном купе международного вагона сидят Константин Николаевич Реллих и его случайные спутники. Немец, лысый и круглый, неопределённого возраста — стандартный экземпляр распространённой породы «делец». Зовут его господин Хербст, Герман Хербст, и едет он с большой женой в Ментону. Жена, ещё молодая, может быть даже красивая, но ужасающе тонкая и прозрачная, полулежит в углу, закутанная в шаль. Третий спутник — француз: дипломатически-тупое лицо туриста с рекламного плаката «Париж — Лион — Средиземноморье», скорее всего чиновник из французского посольства или консульства в Берлине. Очутившись в купе в обществе женщины, он считает своим мужским долгом погладить её по ноге, искусно просунув руку под плед и задумчиво уставившись в окно. Нога холодна и тонка, как сосулька. Дотронувшись пальцами до выдающейся коленной чашки, он отдёргивает руку. Ощущение такое, будто он погладил скелет. Женщина неподвижна. Её большие голубые глаза, как обожжённая светом фотографическая пластинка, не реагируют больше ни на какое возбуждение.

Француз сердито шелестит «Таном». Это не женщина, это третья стадия туберкулёза! Таких должны перевозить в специальных вагонах для заразных!..

Он обиженно покидает купе и отправляется в ресторан смаковать терпкое рейнское вино.

Господин Хербст суетится и хлопочет, бегаёт за апельсинами, поправляет на жене плед. Господин Хербст чувствует себя виноватым перед соседями по купе, перед женой, перед проводниками, перед всем миром. В молчаливых глазах всех он читает холодный укор: поздновато вы задумали, господин Хербст, вывозить свою жену в Ментону. В оправдание он рассказывает, рассказывает без конца: у кого только он её не лечил, куда только не посылал! Каждый врач советует другое. Теперь последний консилиум остановился на Ментоне. Ментона, наверное, ей поможет.

Релих, утомлённый назойливой болтовнёй немца, выходит в коридор. Но господин Хербст не покидает его и здесь. Он предлагает Релиху сигару и, не смущаясь отказом, навязчиво бубнит, понизив голос, чтобы не слышали в купе: как это всё не во-время, как не во-время! И ведь сейчас как раз ему ни за что нельзя было уезжать! А вот пришлось бросить все дела и уехать.

Он даже немножко рисуется, давая понять, что другой в его положении не пошёл бы на это, а вот он, Герман Хербст, бросил всё и уехал спасать жену.

Дела у него обстоят действительно неважно. С момента отъезда из Берлина вслед за ним уже пришли две телеграммы. После каждой он становится ещё более суетлив, выбегает в коридор, суёт проводнику для отправки новую депешу, возвращается в купе, садится, вскакивает, уходит в уборную и, может быть, там, запершись один, бьётся головой о стенку.

Релих возвращается в купе и достаёт из портфеля книгу. Ему что-то не читается. Прозрачная фрау Хербст слишком ярко напомнила ему собственную жену — Зою.

Год назад он, так же как Герман Хербст, увозил её в Крым, в душном купе международного вагона, суетился и хлопотал, приносил молоко и апельсины. Очевидно, всем женщинам присуще доставлять окружающим максимум беспокойства. Зоя обладала этим свойством в совершенстве. Даже умереть она постаралась не во-время, чтобы расстроить его заграничную командировку. Телеграмму о её смерти он получил в день отъезда. Из соображений элементарного приличия ему следовало отложить поездку и отправиться хоронить жену. Но очередная, на этот раз последняя, выходка Зои перетянула струнку. Он заклеил телеграмму и оставил её на столе. Могло же это известие прийти несколькими часами позже!..

За окном плывут, как плоты, рыжие квадратные поля. На телеграфных проводах сохнет сизое январское небо. Немец убежал в коридор. В купе никого, кроме Релиха и больной госпожи Хербст. Больная закрывает глаза и плотнее кутается в шаль.

Вот так, вот так же год назад ехали они с Зоей. Купе было двухместное, но сидели они точно так: она — полулёжа на диване, он — напротив неё, на стуле. Это было на третий день после её нелепого приезда из Ялты, вызванного каким-то дурацким предчувствием, что ему, Константину, угрожает опасность.

О, она отлично понимала, что теперь ей уже не поправиться! Она сказала ему об этом сама: «Я знаю, что мои дни сочтены. Больше мы, вероятно, не увидимся. Поэтому я очень хотела, чтобы ты проводил меня хотя бы до Москвы. Думаю, раз за пятнадцать лет нам нужно бы поговорить...» Она добавила ещё: «С мёртвыми можно говорить начистоту...»

Разговора у них тогда не получилось.

Теперь её уже нет. Если бы мёртвые могли являться своим близким, как это водится в английских романах, он не отказал бы ей на этот раз в откровенном разговоре. Он сказал бы: «Ты была права, только с мёртвыми можно говорить начистоту. Если хочешь, поговорим. Садись. Я знаю, что духи нематериальны, но раз они могут появляться, они могут и сидеть. Продлим нашу старую беседу...»

Всё было в точности как сейчас: стучали колёса, за стеной, звеня станками, ходил проводник.

«Завернись в плед и ложись. Или ты уже легла? Итак, на чём же мы остановились...»

2

...В накурённом купе третьего класса едет Эрнст Гейль. Поезд подолгу стоит на каждой станции. В купе, распахивая дверцу то справа, то слева, врываются взволнованные люди с чемоданами. Убедившись, что мест нет, они с досадой пятятся назад, оставляя дверь нараспашку. Эрнст, сидящий с краю, каждый раз безропотно приполняется и захлопывает дверь. Роль добровольного портье даже забавляет его. Хоть какое-нибудь занятие!

Путешествие поездом доставляет ему неизменное удовольствие. Нигде так быстро не разговоришься с людьми, как в поезде, в тюрьме и в пивной. Старый агитатор, он разбирается в этом отлично. К сожалению, за последние два года люди в Германии словно проглотили язык. Сколько ни бейся, не вызовешь их на разговор ни в пивной, ни в поезде. Даже в тюрьме предпочитают молчать.

С неослабевающим никогда жадным интересом Эрнст присматривается к случайным молчаливым спутникам. У большинства в руках газета «Фелькишер беобахтер». Странно, эта газета, по заверениям самих продавцов, слабо расходящаяся в розницу и распространяемая больше по подписке, по учреждениям, пользуется удивительным успехом среди пассажиров железных дорог. Нельзя сказать, чтобы они ею зачитывались! Но почти каждый держит её в руках, наготове, как железнодорожный билет.

За окнами, прихрамывая и задыхаясь, бежит Германия. Навстречу транзитным экспрессам она бежит не так. На международных олимпиадах каждой стране лестно блеснуть. Но кто хочет узнать подлинный бег страны, должен изучать его на провинциальных состязаниях. Германия, увиденная из окон простого почтового поезда и из окон экспресса, — это две различные Германии. У лошади, скачущей на дерби, двадцать пар ног; у лошади, бегущей по просёлочной дороге, ног всего четыре.

Пассажиры, кто с интересом, кто тоскливо, а кто просто от нечего делать, смотрят в окно. Их много, двенадцать человек, собранных здесь случайно.

Вот пожилой мужчина, по виду ремесленник, — узкие губы под тенистой застрехой соломенных усов. Судя по рукам, сапожник. Лица часто обманывают, руки не обманывают никогда.

Вот деревенская старуха в чепце размеренно клюёт носом, как игрушечная курица на подставке. Рядом с ней старый крестьянин с фарфоровой трубкой в зубах — щёки гармошкой, лицо обветренное, суровое, глаза пугливые, как зайцы, под осенними кустами бровей.

Вот серый господин неопределённой профессии — учитель игры на скрипке или мелкий уездный чиновник в отставке — бережно поджимает под себя ногами невзрачную корзинку. Этот прикидывается, будто никого не замечает, и украдкой, искоса, из-под опущенных век ощупывает глазами лица соседей: кто-то из них, несомненно, обдумывает сейчас покушение на его корзинку! Но кто? Не этот ли, вертлявый, то и дело захлопывающий за всеми дверью?

Вот на том краю скамейки, у окошка под покачивающимися на вешалке котелком, немолодой общительный субъект в фиолетовых носках и в клетчатом поношенном пиджачке — коммивояжёр фирмы патентованных резиновых изделий. Об этом достовернее паспорта свидетельствует его палка с голой костяной девицей в длинных чулках, нагнувшейся поправить подвязку. Таз и спина девицы, согнутая под прямым углом и образующая ручку, успели изрядно стереться от обхвата пальцев, которыми субъект перебирает непрерывно, будто играет на окарине. Это один из тех агасферов коммивояжа, которые, скитаясь всю жизнь в переполненных вагонах третьего класса, среди брюзжащих старух и пропахших табаком провинциалов, по вечерам где-нибудь в захолустной пивной, в Кобленце или в Кёльне, повествуют юным коллегам по профессии о своих романтических похождениях в слепниге «Летучего гамбургца».

Вот бедно одетая учительница — красное родимое пятно в половинку левой щеки просвечивает сквозь вуалетку. Бедняжка то и дело ёрзает на скамейке, тшкетно отодвигаясь от остроусого трёхэтажного унтера, отпускника и донжуана.

А вот целая семейка. Он — в жилетке, с усиками, подбритыми а ля фюрер, с большой шишкой на затылке и ярко выраженной склонностью к апоплексии, — скупщик скота или, вернее, колбасник: об этом говорят его красные руки, привыкшие к кипятку, и профессиональная привычка вытирать их, за отсутствием фартука, о штаны. Она — худая и востроносая — беспрерывно двигает челюстью. Длинная шея над прямой перекладной плеч. Чёрное боа из перьев висит на ней, как траурный венок на могильном кресте. Рядом — два отпрыска: один лет тринадцати, стриженный бобрником, с оловянными глазами онаниста. Другой, постарше, длинный и краснощёкий, всецело занят жратвой. Жратва покоится в сумке на цоколе у мамы.

Поезд пыхтит и время от времени протяжно взывает от тоски. При каждом его гудке сонная старуха испуганно поднимается на дыбы, унтер вздрагивает, как от выстрела, и гневным взглядом обводит купе, коммивояжёр добродушно чертыхается и в двадцатый раз заводит разговор о железнодорожных порядках, а крестоподобная мамаша на мгновение каменеет, подавившись непрожёванным куском.

Время тянется. Резиновые лица вытягиваются в зевке.

— Что вы скажете про этого Гауптмана? — хлопая ладонью по газете, вскрикивает коммивояжёр. — Взял пятьдесят тысяч долларов и, вместо того чтобы удрать, спокойно дождался, когда его посадят на электрический стул.

Учительница вытирает нос платком. Если ей кого-нибудь жалко, так это госпожу Линдберг: потерять так ребёнка ни за что ни про что!

У колбасника своё, особое мнение: весь этот флемингтонский процесс затеян Америкой в пику Германии. Кто такой Гауптман? Честный немец, фронтовик, старый пулемётчик. Вот чего американцы не могут ему простить!..

Неутомимый «компи» в сотый раз подбрасывает стружки в разговор, но беседа дымит и гаснет. Даже послезавтрашний плебисцит в Сааре не в состоянии её разжечь.

— Когда красные захотели устроить свой митинг, электростанция не дала им света. Сколько их вожаки ни бегали ябедничать к этим господам из Лиги Наций, пришлось им митинговать в темноте!

Унтер любопытствует:

— Не нашлось никого, кто бы набил в темноте морду этому подлецу и изменнику Максу Брауну?

— Что вы! Разве можно! Знаете, какой был бы шум?

— Ну, насчёт шума, они поднимают его и так! Будьте покойны, после плебисцита мы поговорим с этими свиньями другим языком. Мы отправили туда тридцать семь поездов с уроженцами Саара для участия в голосовании. Это что-нибудь да значит: тридцать семь поездов честных немцев!..

3

...В четырёхместном купе международного вагона едет Константин Николаевич Релих. Поезд мчится по подёрнутым дымкой дождя расплывчатым полям. Из фабричных труб, как зубная паста из тюбика, лениво выползает дым. В купе тишина. Фрау Хербст на противоположном диване кашляет и подносит к губам платок. Впрочем, фрау Хербст — просто псевдоним Зои: госпожа Осень...

«Ну что же, раз ты решила меня навестить, давай поговорим. На чём мы остановились?..»

Ты спрашивала меня тогда, почему, будучи людьми совершенно друг другу чужими, мы продолжаем считать себя мужем и женой. Я старался тебя уверить, что это говорит твоё раздражение. Если за пятнадцать лет, истекших с того времени, как мы поженились, нам удалось прожить вместе не больше пяти или шести, виновата в этом эпоха. Когда людей бросает годами в разные стороны, это должно в конце концов создать между ними известное отчуждение... Я говорил всё это, чтобы тебя успокоить, и ты, мне кажется, это понимала. Да, ты была права: только с мёртвыми можно говорить начистоту. На самом деле, если мы так долго оставались мужем и женой, то, скорее всего, именно потому, что большую часть этого времени прожили раздельно.

Посуди сама. На фронте мы сошлись случайно, как сходились люди в те годы — в чаду героической романтики. У меня тогда был конь и легендарная бурка. Я выделялся среди других командиров, и в армии меня за это не любили. Говорили, что я чересчур жесток и слишком много расстреливаю. Другие предпочитали миндальничать и митинговать. Ты была тогда молоденькой экзальтированной провинциалкой. Ветер событий, ворвавшийся в твой родной городишко, казался тебе мешаниной из прочитанных исторических романов. В этом антураже я не мог тебе не понравиться. Ты поглядела на меня, не моргая, и сказала, что я похож на восходящего маршала Великой французской революции. Это было не так уж плохо сказано! Не брось ты тогда этой фразы, я наверняка не обратил бы на тебя внимания. То, что почувствовала во мне ты, вероятно, чувствовали и другие. Они постарались объединёнными усилиями, чтобы маршал не взошёл, и это удалось им вполне...

Я не предполагал ни на минуту, что наше случайное любовное приключение может оказаться «романом с продолжением», но ты стала таскаться за мной по фронтам. Твоя беззаветная преданность умиляла меня. Потеряв тебя тогда, во время отступления, я всё же не очень горевал.

После демобилизации, когда я обосновался в Москве, у меня было немало мимолётных любовных увлечений, и нельзя сказать, чтобы я особенно по тебе скучал или пытался тебя разыскивать. Ты сама разыскала меня. Было это, насколько помнится, как раз в то время, когда я остался на бобах, один. Постановлением ЦК мне всучили какой-то разваленный заводик. Мне предписывалось восстановить эту развалину и методами «морального» воздействия и убеждения заставить работать кучку лентяев, давно отвыкших от всякой элементарной дисциплины. Я не очень торопился приступать к этой работе.

Тогда нагрянула ты. Ты разыскала меня и явилась ко мне на квартиру со своим чемоданчиком и со своим экзальтированным обожанием. Ты попала в хорошую минуту. Я чувствовал себя в это время дьявольски оди-

ноким, окружённым неприязню товарищей. Ты одна соглашалась, что меня обидели незаслуженно, что я не создан для будничного крохоборства. Для тебя я был прежним «восходящим маршалом», попавшим в опалу. Будь это иначе, вряд ли я сделал бы тебя своей женой...

Отношения наши, помнится, разладились довольно быстро и основательно. У меня за это время было несколько жён, ты об этом узнала, и переписка между нами прервалась сама собой.

Когда после очередных неприятностей меня перебросили на другую работу — было это, кажется, в начале двадцать шестого года, — ты неожиданно заявила ко мне в Алма-Ату. Ты прочла в газете о моей работе и решила, что в тяжёлую минуту твоё место рядом со мной. У тебя был удивительный нюх. Ты предлагала мне свою любовь тогда, когда я в этом больше всего нуждался. Последняя моя жена зарекомендовала себя, как редчайшая стерва, и отбила у меня вконец вкус к женщинам. Твоя беззаветная преданность, выдержавшая испытание временем, в этой обстановке не могла меня не умилить. Я дал себе слово покончить с бабьими историями и стать примерным семьянином.

Ты в это время работала уже в Москве и, чтобы меня навестить, взяла месячный отпуск. Подразумевалось, что ты бросишь московскую работу и переедешь ко мне. Но в течение этого месяца мы почувствовали оба, что отношения у нас так и не склеятся. Ты сказала мне в первый же вечер, что я стал похож на рыбу, которой приделали ноги и заставили ходить по суше. Я засмеялся и сосрился, что крупная рыба и на суше может откусить палец. Острота тебе не понравилась, я заметил это сразу.

Ты присматривалась ко мне целый месяц. Ты умела смотреть подолгу, не моргая. Некогда это мне у тебя нравилось. Теперь это стало меня раздражать. Когда отпуск твой пришёл к концу, ты заторопилась в Москву. Разговора о том, что ты бросишь Москву, между нами больше не было. Я воспринял твой отъезд как нечто естественное. Уезжая, ты сказала мне на перроне, что я стал какой-то чудной, непохожий на себя и очень уж смиренный. Я, пожав плечами, ответил, что, видимо, никогда не сумею тебе угодить. И хотя никто из нас не произнёс слова о разрыве, обоим нам было ясно: совместной жизни у нас не выйдет.

Известие о том, что ты забеременела и у тебя будет ребёнок, прозвучало в этой обстановке неожиданно и нелепо, как ненужное осложнение. Когда родилась Инка, мы обменялись с тобой сухими приветственными телеграммами. Появление ребёнка способствовало тому, что разрыв наш так и остался неоформленным. Никто из нас, ни ты, ни я, не сказал решительного слова. Если бы меня в это время спросили, женат я или нет, я, право, затруднился бы внятно ответить.

Потом ты начала хворать. Больным женщинам свойственно желание иметь свой угол и иллюзию семейного очага. Ничего обидного в этом нет. Говорят, больных кошек тоже тянет на нагретое место. Когда тебе пришлось уйти с работы по болезни и ты без предупреждения заявила с Инкой ко мне на строительство, вид у меня — ты, наверное, заметила — был довольно озадаченный. Из простой любезности я не показал своего удивления, но обоим нам в первую минуту было очень неловко...

Почему мы всё-таки стали жить вместе? Вероятно потому, что, вопреки ожиданиям, я привязался к ребёнку. Если бы не твой характер, возможно, у нас получилось бы даже что-то вроде нормальной семьи. Но болезнь выработала в тебе неприсущую раньше мнительность. По существу, конечно, ты права: мы были людьми, друг другу совершенно чужими; ты не понимала, чем я жнеу, и мучительно пыталась в этом разобратсья. Одна твоя привычка смотреть на меня минутами, не моргая, способна была вывести меня из себя. И всё же за эти два года (или два с половиной?) на строительстве и затем на новом заводе мы прожили относительно мирно.

«Некто», появившийся у нас однажды вечером, почему-то «не понравился тебе с первого взгляда». Вечером после его визита у нас с тобой вышел крупный разговор. Началось с каких-то пустяков. В результате ты наговорила мне кучу грубостей. В этот вечер я впервые убедился, что ты видишь и подмечаешь вещи, которые раньше не укладывались в кругозор твоего понимания. Это неожиданное открытие поразило меня весьма неприятно... Ночью у тебя горлом пошла кровь. Врачи долго не могли остановить.

И в эту ночь и впоследствии я не раз задумывался над тем, не подслушала ли ты мой разговор с гостем. Но ведь дома, у меня в кабинете, мы не говорили с ним ни о чём предосудительном. Но вела ты себя в эти дни так, словно догадывалась, что со мной происходит нечто неладное, и всеми силами старалась это «нечто» предотвратить. Твоя обострённая интуиция, несомненный продукт прогрессирующей болезни, — могу тебе сейчас сказать об этом откровенно — доставила мне немало неприятных минут.

Когда ты оправилась от припадка, несмотря на настояния врачей, ты наотрез отказалась ехать лечиться, как будто боялась оставить меня одного. Ты стала относиться ко мне с не свойственной тебе в последние годы нежностью — это было хуже любых домашних ссор. Кажется, в декабре тебе стало совсем плохо. Помнишь? Стоило огромного труда выпроводить тебя наконец в Ялту. По правде, я был искренне рад, что врачи находят твоё состояние тяжёлым и велели тебе оставаться на юге не меньше года.

Ты вернулась совершенно неожиданно в начале марта. Это было как раз в день похороп жертв крупной аварии с «Ф-12». Самолёт, на освоении которого усиленно настаивала Москва, при пробном испытании загорелся в воздухе и упал на щитковые дома посёлка. Погибли пилот, бортмеханик и четверо рабочих. Операция эта, если тебе интересно, — с мёртвыми можно говорить начистоту — проведена была по решительному настоянию моего вечернего гостя: всеми силами воспрепятствовать серийному освоению новой модели. Город в этот день был в трауре. Несмотря на слякоть, похоронный кортеж провожала на кладбище многотысячная колонна рабочих. Мне пришлось говорить надгробную речь. Комиссия не дала ещё своего заключения о причинах катастрофы. Чувствовал я себя очень неуверенно и речь произнёс плохую.

Вернувшись домой, я застал тебя. Ты убежала из санатория и приехала, толкаемая предчувствием, что мне угрожает опасность. Я отмахнулся от твоей опеки довольно раздражённо и грубо. Ты смотрела на меня испуганными большими глазами — от всего лица остались одни глаза.

На следующий день ты не поднялась с постели. Пришлось опять вызывать врачей. Врачи называли твой приезд в такую погоду безумием и советовали немедленно отправить тебя обратно на юг. Всё это было чертовски не вовремя. Нельзя же было отправить тебя одну, а провожать тебя в Крым у меня не было в эту минуту никакой возможности. Дело разрешилось компромиссом: меня вызвали в наркомат. Я решил, что довезу тебя до Москвы, а оттуда отправлю с сиделкой.

Все эти три дня, дома и потом в поезде, ты не говорила почти ничего, но не спускала с меня глаз. В дороге ты вдруг спросила, не могу ли я хлопотать в Москве, чтобы меня перевели на другой завод. Вопрос был до того неожиданный, что я ответил не сразу. И пробурчал, что, мне кажется, ты начинаешь терять рассудок.

Вечером, за несколько часов до Москвы, ты наконец заговорила. Ты сказала: «Видимся мы, очевидно, в последний раз. Долго я уже не протяну. Нельзя ли нам раз в жизни поговорить друг с другом начистоту?»

Разговора у нас не получилось.

В Москве, когда тронулся севастопольский поезд, увозя тебя и сиделку, — можешь мне верить — я вздохнул с подлинным облегчением. Я ска-

зал себе: «Женщин, когда они начинают болеть, следовало бы вывозить на безлюдный остров: они становятся невыносимыми...»

— Разрешите вас потревожить...

Релих вздрагивает и открывает глаза.

Господин Герман Хербст снимает с сетки чемодан и ищет что-то, беспорядочно разгребая вещи.

Смешно, как у него дрожат руки. Неужели он действительно так принимает к сердцу болезнь своей жены?

Релих потягивается и зевает. Поужинать, что ли? Он выходит в коридор и наталкивается на господина Хербста. Этот толстяк имеет странное свойство быть одновременно повсюду! Можно подумать, что он страдает животом.

— Вам нездоровится? — с деланным участием спрашивает Релих.

Господин Хербст потрясает перед его носом пачкой телеграмм.

— Я уже наполовину разорён! И всё оттого, что я выехал в такую минуту! Я чувствовал, что мне нельзя уезжать!.. Ах, если она об этом узнает, это её убьёт!

— А вы ей скажите, — спокойно советует Релих.

Немец смотрит на него с испугом.

— Что вы... — бормочет он, пятась в купе.

4

...В маленькой пивнушке, в городе Кёльне, сидит Эрнст Гейль. Поезд в Трир уходит только через два часа. На соломенных усах сапожника пивная пена серебрится, как седина.

— Ещё по кружечке?

К концу дороги они всё же немножко разговорились и, сойдя с поезда, забрели сюда закрепить мимолётное знакомство. Старик попался упорный. Даже здесь каждое слово приходится тащить из него клещами.

Да, он сапожник. Как живётся? Помаленьку. Иным живётся похуже. Ну, а всё-таки? Да так, ничего. Вообще, вредно давать волю языку. Поменьше говори, побольше слушай.

Эрнст возражает, смеясь: слушать тоже вредно! Один его знакомый попал в концлагерь только за то, что слушал по радио кое-какие другие станции, кроме берлинской.

Старик тревожно озирается по сторонам и укоризненно качает головой.

— Язык у тебя плохо подвешен!

— Ещё по кружечке?

За третьей кружкой выясняется, что семья у сапожника немаленькая — шесть человек. Средняя дочь сидит в тюрьме. Не за политику, нет! За то, что жила с евреем. Водили по городу с дощечкой: «Я — поганая тварь и изменница...» Всё было. Половина клиентов с тех пор не отдаёт ему больше ботинок в починку — бойкот. А впрочем, как-нибудь протянем. Война не за горами...

— А если война, разве легче?

Старик поднимается из-за стола. Он тут засиделся, а семья ждёт. Нет, ни одной кружки больше! Всего хорошего! Спасибо за угощение.

Эрнст провожает глазами его сутулую спину.

Крепкий старикан! Бойся проболтаться. Лишняя кружка — лишнее слово. А поговорить, видно, хочется, ой, хочется!

Эрнст выходит на улицу. Он пережидает дождь под тенистыми аркадами торгового дома Иоганн-Мария-Фарина, созерцая парад бутылочек, флаконов и пузырьков. Только здесь он вспоминает, что Кёльн — родина одеколона.

Он выходит на площадь и останавливается в восхищении перед грандиозным стрельчатым зданием, вылепленным из каменных сосулук. Две

остроконечные башни, как обледенелые исполинские ели, остриём упёрлись в небо. Если под рождество убрать эти башни, как ёлки, и зажечь на верхушке электрические звёзды, дети по ту сторону Рейна от восторга захлопают в ладоши. Как Геббельс до этого ещё не додумался!

Щёлканье затвора фотоаппарата заставляет его обернуться. Костлявая мисс, вынимая кассету, дарит его благодарной улыбкой. Оказывается, эта дура, пока он глазел, успела его снять на фоне собора. Охотнее всего он съездил бы её по физиономии и отобрал кассету, но он отлично понимает неосуществимость столь законного желания. Будем надеяться, этот снимок не выйдет за пределы домашнего альбома!..

В испорченном настроении Эрнст отправляется на вокзал. Через двадцать минут уходит его поезд в Трир.

В Трире после долгих блужданий он отыскивает квартиру товарища, адрес которого заучил наизусть ещё в Берлине.

Небольшой бритоголовый человек в подтяжках, без куртки, поднимается из-за стола. Эрнст затворяет за собой дверь и произносит условленную фразу. Хозяин смотрит на него в молчании, подозрительно и недружелюбно.

«Чёрт побери! Неужели я спутал адрес? Хорошая история!»

Но нет! Хозяин, выдержав паузу, произносит ответную фразу. Эрнст на радостях забывает, что именно следует ответить. Впрочем, это уж победы, теперь он дома.

— Погодите,— говорит он, улыбаясь.— Сию минуту!

Как это могло выскочить у него из головы? Лучше всего было записать, но записывать не полагается.

Хозяин подозрительно щурит глаза.

— Что вы сказали?

Вот он и вспомнил! Ещё с минуту длится условный церемониал. Эрнст облегчённо вздыхает. Кажется, на этот раз он выдержал испытание по мнемотехнике. Лицо хозяина расплывается в улыбке. Он подходит к гостю, хлопает его по плечу и, дружески сжимая его руку до боли в пальцах, тянет к столу.

— Садись, старина! Попьёшь с нами кофе. Без сахара, не обессудь. Шестую неделю сижу без работы.

Эрнст почтительно здоровается с хозяйкой. Да ведь это совсем ещё молодые люди! С порога он принял их было за пожилую чету. Нельзя сказать, чтобы вид у них был особенно цветущий!

Эрнст садится за стол и подвигает кофейник.

— Кофе, должен тебя предупредить, собственного производства,— смущённо оправдывается хозяин.— В Берлине, наверно, такого не пьют. Насчёт закуски, как видишь, тоже жидковато. Хлеб. Масла не потребляем.

— Погоди, с какой стати я буду вас объедать? Покажи-ка мне, где тут поблизости колбасная. Схожу, принесу колбасы или чего-нибудь такого. Поужинаем в складчину.

При слове «колбаса» тает даже неприветливая хозяйка.

— Зачем же вам беспокоиться самому? Руди сбегает.

Руди, вихрастый восьмилетний мальчуган, уже соскочил с табуретки и спешно запикивает за щёку недожёванный хлеб. Поза его выражает полную готовность.

Эрнст достаёт из кармана три марки и протягивает их мальчишке.

— Вот, сбегай, принеси колбасы.

— На все деньги? — недоверчиво спрашивает Руди.

— На все. Подсчитай, сколько нас? Четверо.

Руди уже нет в комнате.

— Смотри, не откуси по дороге, понюхай! — кричит вдогонку мать.— Такой негодяй! За чем его ни пошлешь, половину по дороге слопает!..

Вскоре появляется Руди, торжественно потрясая в воздухе бумерангом колбасы.

— Иди сюда,— подзывает его мать.— Дохни! Ну вот, несёт от тебя чесноком! Наверное, сожрал довесок!

Руди божится, что не брал в рот даже вот столечко.

Все усаживаются за стол. Хозяйка режет половину колбасы на мелкие кусочки и первому подвигает гостю. Руди она выделяет на тарелку считанные шесть кусков.

— Не жри одну колбасу! Ешь с хлебом!

Эрнст, беседуя с хозяином, замечает, что тарелка перед Руди пуста. Мальчуган сидит, как зачарованный, не спуская глаз с колбасы.

Эрнст отрезает себе толстый ломтик и, закусывая сухим хлебом, незаметно суёт колбасу под столom мальчишке. Тот не сразу замечает, в чём дело. Поняв, он не заставляет себя уговаривать. Эрнст украдкой наблюдает, как малыш, завернув под столom колбасу в мякиш, скорбно подносит её ко рту, будто жуёт один хлеб. Следующий кусок колбасы, отправленный Эрнстом под стол, исчезает из его пальцев мгновенно.

Заговорившись с хозяином, Эрнст вздрагивает от прикосновения нетерпеливой руки, дёргающей его за штанину. Колбаса на блюде стремительно уменьшилась. Эрнсту неловко перед хозяйкой. Она сочтёт его обжорой, слопавшим самолично добрую половину угощения. Но делать нечего! Очередной ломтик колбасы плавно исчезает под столom.

Ужин окончен. Хозяин вызывается показать гостю город. Поезд к границе идёт ранёхонько утром, всё равно Эрнсту придётся переночевать.

Весело болтая, они выходят на улицу. Хозяин жадно затягивается папиросой, кажется, готов её вдохнуть вместе с мундштуком.

— Вот неделя, как бросил курить. Не на что. А отвыкнуть трудно. Иной раз отдал бы краюху хлеба за самую дрянную папироску... Хочешь посмотреть дом Карла Маркса?

Эрнст живо соглашается. Быть в Трире и не видеть дома, где родился Маркс!

— Только проходить надо быстро, не останавливаясь. И особенно не присматриваться. Следят. Если хочешь видеть получше, пройдемся по противоположному тротуару.

По дороге Иоганн — так зовут товарища — говорит, не закрывая рта. Видно, намолчался невмоготу. Больше всего его, конечно, волнует послезавтрашний плебисцит в Сааре. Есть ли надежда на победу Народного фронта или хотя бы на раздел Саара? Не думает ли товарищ, что католики в последнюю минуту предадут и будут голосовать за Гитлера?

Эрнст отвечает уклончиво: как бы ни мала была надежда, нужно бороться до конца.

Иоганн оглядывается по сторонам. Убедившись, что прохожих поблизости нет, он достаёт из кармана аккуратно сложенную листовку и протягивает её Эрнсту.

— А вот с этим ты знаком? У нас многих это сбивает с толку. По моему, это явная фальшивка.

Эрнст развёртывает прокламацию, отпечатанную на тоненькой бумажке по всем правилам подпольного искусства:

«Товарищи, немецкие коммунисты, старые борцы за подлинные коммунистические идеи! Если хотите мне помочь, голосуйте 13 января за Германию! Боритесь вместе со мной за свободную Германию! Национал-социализм — лишь этап на пути к нашим конечным целям!

Макс Браун, Пффордт и их друзья не имеют ничего общего с коммунизмом и марксизмом.

Своей пропагандой они предадут вас, германские пролетарии, продают вас французским капиталистам. Я бросаю вам лозунг: голосуйте за Германию! Победа Германии — предпосылка вашей дальнейшей борьбы.

За Советы! Каждый подлинный коммунист 13 января должен голосовать за Германию!

Рот фронт! Эрнст Тельман»¹.

Эрнст мнёт в пальцах листовку. Брови его сдвинуты.

— Откуда у тебя эта пакость?

— Привёз товарищ из Саарбрюккена. Там, говорят, такие разбираются повсюду.

— И что же, вы не поняли сразу, что это гнуснейшая фальшивка?

— Я же тебе сказал. И всем говорю: ясно — фальшивка!

— А кое-кто всё-таки верит?

— Из партийных товарищей, конечно, никто не верит. Но из сочувствующих...

— Значит, плохо ведёте разъяснительную работу, только и всего!

Иоганн хочет что-то возразить, но при виде встречаемых прохожих замолкает. Некоторое время оба идут молча.

— Вот ещё направо, за угол. По левую руку будет дом Карла Маркса, — шёпотом предупреждает Иоганн.

Имя это он произносит, каждый раз понижая голос и оглядываясь, но непременно полностью, иногда даже с оттенком фамильярности: «дом товарища Карла Маркса». Сразу видно, трирские коммунисты немало гордятся честью, которая выпала на их долю. После революции Трир будет переименован в Маркштадт, а быть членом маркштадтского совета — это не то же самое, что любого другого!

— Вот он! Смотри, налево! Доски на нём нет, «наци» сорвали. Но у нас, в Трире, всё равно каждый ребёнок знает... Пойдём, я тебя проведу на набережную Мозеля. Это было любимое место его прогулок.

По дороге каждый раз, когда поблизости не видно прохожих, Иоганн принимается повествовать о местных, трирских, делах. По сжатым репликам Эрнста, по всему его сдержанному поведению Иоганн чувствует нюхом: этот не из простых эмигрантов! Это кто-нибудь из центра! Если даже не цекист, то, во всяком случае, около этого. Когда ещё подвернётся okazия поговорить с таким с глазу на глаз?

Больше всего Иоганн боится, чтобы товарищ из центра не принял его жалоб за малодушное хныканье. Поэтому он даже немножко форсит, отзываясь весьма пренебрежительно о своих и товарищей насущных невзгодах:

— Конечно, живётся у нас тут неважно... Но это ничего, перетерпим. Война не за горами!

— Что?.. — Эту фразу Эрнст сегодня уже где-то слышал. — Что ты хочешь этим сказать?

— Война неизбежна. Думаешь, мы в провинции этого не понимаем? Ну, а стоит Советскому Союзу набить морду Гитлеру — всё здесь полетит вверх тормашками. Будь покое, люди только этого и ждут...

— Вот как! Оказывается, это у вас распространённое мнение! Я слышал его уже сегодня от одного товарища в Кёльне. Значит, поскольку мы сами пока что не в состоянии справиться с «наци», надо ждать, пока их победит Советский Союз? Так, что ли?

5

...В вагон-ресторане экспресса «Берлин — Париж» ярко горит электричество. Плотно задвинуты шторы. Радио играет под сурдинку какой-то игриво-заунывный мотив, где тоскливая жалоба одинокой гавайской гитары бьётся, затоптанная каблуками целой оравы саксофонов. Чинно

¹ Подлинный текст фашистской фальшивки, распространявшейся в Сааре накануне плебисцита.

гремят тарелки, и тонко звенят бокалы, прислоняясь к холодному стеклу бутылок.

Ужин закончен, но возвращаться в купе Релиху неохота. Он заказывает сыр, приятно пахнувший лошадиным навозом, подливает в бокал ещё немножко вина и, откинувшись на спинку стула, разворачивает вчерашнюю парижскую газету. Он погружается, как в нарзанную ванну, в игристую волну последних новостей и сплетен.

Он узнаёт, что Дуглас Фербенкс развёлся с Мэри Пикфорд. Что Гауптман вчера ночью пытался бежать из флемингтонской тюрьмы. Что Бестер Китон неотразим в «Королеве Елисейских полей», фильме, демонстрируемом с неослабевающим успехом в кинотеатре «Мариво». Что семьдесят пять процентов наших страданий являются следствием запора — так утверждают медицинские авторитеты. Что бывший испанский король Альфонс XIII возбудил перед папой ходатайство о разводе, а бывшая испанская королева не будет присутствовать на свадьбе своей дочери Беатрисы с принцем Торлония. Что на последнем послеполуденном приёме у графини Коссе-Бриссак госпожа Раймонд Патенотр была в чёрном шерстяном платье от Шанель, очень простом и изящном под великолепной накидкой до пояса из чернубурой лисы, а госпожа Жан Боннардель очаровывала всех своим классическим «тайер» из коринфского бархата от Люсьена Лелонг, своим палантином из голубых песков и изысканной фетровой шапочкой от Шанель. Что касается самой графини Коссе-Бриссак, то она была в платье из чёрной тафты от Шанель, юбка по шиколотку, пояс и декольте, отделанные узором из страз, — очаровательный обычай, требующий от хозяйки дома, чтобы она принимала гостей в длинном платье, бесконечно женственном и создающем атмосферу изысканной интимности...

«1935! Не кажется ли вам эта цифра обыденной и в то же время загадочной? Она обыденна, поскольку это всего лишь новая дата. Она загадочна, потому что для каждого из нас в ней кроется тревожащая нас тайна. 1935 — это новый год, это будущее, это неизвестность. Оглянитесь назад: сколько несчастий, тревожнейших и развешанных надежд всего лишь на протяжении одного года!.. Махатма Йоги, великий пророк современности, прямой потомок одной из древнейших сект Индии, этой колыбели астрологии, проткнёт перед вами завесу будущего! Чудесная безошибочность его предсказаний, его поразительная интуиция снискали ему обожание многотысячных толп. Перед его высоким авторитетом, перед его бескорыстием и благородством преклоняются астрологи всего мира, ибо Махатма Йоги посвятил всю свою жизнь благу человечества... На простом листке бумаги напишите разборчиво и собственноручно вашу фамилию, имя, адрес, день и год рождения, приложите, если вам угодно, три франка на почтовые и другие расходы и отправьте сегодня же пророку Махатма Йоги. Вы получите от него даром ваш полный гороскоп. Не медлите ни одного дня! Кто знает? Завтра может быть уже поздно!..»

Релих откладывает газету.

«А что, если в самом деле послать этому Махатме три франка?..»

6

...В городе Трире, в тесной комнатухе, спит Эрнст Гейль. Кровать у хозяина одна. Эрнсту постелили на полу, рядом с сеником мальчишки. Иоганн насильно всучил ему свою подушку.

В комнате тишина. Свет уличного фонаря тускло мерцает на полу.

Иоганн не спит. Товарищ из центра сказал ему сегодня, что разговорами о неизбежности войны он, Иоганн, помогает «наци». Так и сказал: «Какой же ты коммунист, если твои желания на руку врагам Советского Союза?» Иоганн спросил: «Возможно ли, чтобы Советский Союз и его

Красная Армия не победили Гитлера? Невозможно! А раз так, то почему же коммунист не имеет права желать, чтобы это произошло поскорее? Неужто даже помечтать об этом нельзя?» Вот именно, неужто нельзя и помечтать! Товарищ из центра говорит: «Сбросить Гитлера своими силами и протянуть руку Советскому Союзу — вот мечта, достойная коммуниста!» Что же, это, конечно, верно. Но как? Вот работаешь, жилы из себя вытягиваешь, а потом тебе говорят: ты работал на Гитлера!..

Ночью Эрнст просыпается от холода и, поджав ноги, пробует укутаться одеялом.

— Спишь? Нет? — слышит он у самого уха чей-то настойчивый шёпот.

Эрнст приподнимается на локте, шупает впотьмах рукой: Руди.

— Не сплю. А что? — Он старается говорить шёпотом. В комнате слышно размеренное дыхание хозяев.

Руди подползает ещё ближе, к самому уху.

— Там, на шкафу, — шепчет он скороговоркой, — в бумажке, лежит сахар. Восемь кусков! Мамка прячет. Даже отцу не даёт. Хочешь, я тебе достану?

— Не хочу. Зачем же мне ночью сахар?

Минута молчания.

— А я достану два куска: один тебе, другой себе.

— А мама завтра увидит, что ей скажешь? — ехидно спрашивает

Эрнст.

— Скажу, для тебя брал.

— Думаешь, поверят?

Парень секунду соображает.

— Нет, не поверят.

— Вот видишь! И отлупят. Что у тебя, спина казённая?

— Всё равно за что-нибудь отлупят.

В реплике парня столько отчаянного стоицизма, что Эрнст не знает сам, как ему быть.

— Знаешь что, — шепчет он Руди. — Ты мамино сахара лучше не трогай. Раз она прячет — значит так надо. А я тебе завтра дам двадцать пфеннигов. Кунишь себе конфет.

— Дашь? — недоверчиво справляется Руди.

— Обязательно.

Руди уползает к себе, но через минуту возвращается обратно.

— Ты завтра ранёхонько уедешь, я спать буду. А мамке дашь, она мне не передаст. Дай лучше сейчас.

— Ну вот, сейчас надо доставать пиджак? Всех разбудим.

— А я тебе подам его тихонько.

— Ладно, давай, что же с тобой делать!

Эрнст разыскивает в кармане двадцать пфеннигов и вручает их мальчишке.

— У тебя всегда столько денег? — шёпотом осведомляется Руди.

— Нет. Денег у меня не много. Часто совсем не бывает. Сейчас вот наскрёб на дорогу.

— А ты далеко едешь?

— Далек.

— В Люксембург?

— Дальше.

— А хватит у тебя денег?

— Хватит.

— А сюда ещё приедешь?

— Обязательно приеду. А теперь давай спать!

Руди послушно уползает на свой тюфяк.

Где-то вдали, на вокзале, аукаются паробозы...

...Берлинский экспресс подходит к Гар-де-л'Эст¹. Бледное январское утро. За окнами порошит снег, лёгкий, воздушный, словно ветер сдунул целое поле одуванчиков. В вагон весёлой оравой врываются носильщики.

— С первым снегом!

Оказывается, в Париже сегодня первый снег.

Релих вручает молодому плечистому парню свой увесистый чемодан и пробирается за ним следом. Под звуки электрических звонков и поцелуев он пересекает перрон. Его одного, кажется, не встречает здесь никто. Вернее, его встречают лишь три неизменных старых парижанина, которые первыми приветствуют каждого приезжего: аперитив «Дюбоннэ», шоколад «Менье» и эмалевая краска «Риполин».

Серые угрюмые гостиницы окружили площадь, как сонный сонм швейцаров в ожидании традиционных чаевых. Релих бросает шсфёру адрес гостиницы на левом берегу Сены и, откинувшись на спинку сиденья, развёртывает захваченные на вокзале свежие газеты.

Он раскрывает «Юманите». Скользя глазами по первой странице, он узнаёт, что голодные походы безработных департамента Сены, несмотря на многократные попытки полиции преградить им путь в столицу, упорно продвигаются вперёд и сегодня достигнут застав Парижа. Утром, в десять часов, у застав безработные города Парижа организованно встретят своих братьев по классу. Запомните расписание! Голодный поход с востока: встреча у заставы Венсен. Голодный поход с юга: встреча у заставы Итали. Голодный поход с севера: встреча у заставы Шапель. Голодный поход с запада: встреча у заставы Версальской, Майо и Сен-Клу.

Релих раздражённо складывает «Юманите» и раскрывает «Пти Паризьен». Посмотрим лучше, что говорит Махатма Йоги и в каком платье очаровывала вчера всех маркиза Коссе-Бриссак.

...Поезда идут на запад. Поезда идут на юг...

С Лионского вокзала уходит поезд в Марсель. На ступеньках вагона третьего класса, окружённый толпой журналистов и фоторепортёров, стоит пожилой человек с длинным носом, в надвинутой на лоб поношенной коричневой шляпе. Бывший каторжник, Бенжамен Ульмо, двадцать шесть лет пробывший в заточении в Кайенне, в том числе пятнадцать лет в абсолютном одиночестве на знаменитом Дьявольском острове, после шестимесячного пребывания во Франции возвращается добровольно в Гвиану.

— Скажите, пожалуйста, вы покидаете Францию, чтобы больше в неё не вернуться. А между тем в течение двадцати шести лет вашего пребывания в Кайенне вы, вероятно, не раз мечтали о возвращении на родину. Что же вас разочаровало здесь до такой степени, что вы с лёгким сердцем решили отказаться от всех благ современной цивилизации? — почтительно спрашивает репортёр.

Журналисты шелестят блокнотами. Мнение у них на этот счёт определённое: этот старый дурак рехнулся от одиночества на своём Дьявольском острове и вообразил себя праведником, призванным поучать человечество. Но публика любит такие несуразные истории.

Бенжамен Ульмо улыбнулся.

— Прежде чем сесть на скамью подсудимых, я был матросом. Я оставил корабль, когда скорость его не превышала восемнадцати узлов. Сегодняшние корабли несколько больше по объёму и делают двадцать шесть узлов в час. Много ли нужно изобретательности, чтобы раздуть размеры и увеличить скорость? Вы настолько потеряли чувство ценности

¹ Восточный вокзал в Париже.

вещей, что не отдаёте себе отчёта, до чего однообразна и глупа ваша страсть делать всё крупнее, быстрее, а не лучше...

Он на мгновение задумывается и продолжает, смежив глаза, точно человек, привыкший диктовать стенографистке:

— То, что поражает человека, спавшего двадцать лет и не имевшего соприкосновения с вашей цивилизацией, это даже не столько моральный упадок, сколько беспредельная тупость этого поколения, глубоко уверенного в своём превосходстве...

Верещит свисток к отправлению. Журналисты прячут самопишущие ручки.

Бенжамен Ульмо поднимается на ступеньку вагона и, ещё раз оборачиваясь к людям, которые осаждали его в течение последних двух дней, говорит почти вдохновенно:

— Я уезжаю спокойным. События близки. Вам предоставлена короткая отсрочка. Если вы образумитесь до войны, вы ещё сможете её избегнуть...

Поезд трогается. Щёлкают лейки. В окне вагона мелькает заплаканное лицо Мадлены Пуарье, мистической невесты Ульмо. Эга пожилая женщина, двадцать шесть лет дожидавшаяся возвращения жениха, во второй и последний раз провожает его в Марсель.

Журналисты, пересмеиваясь, отправляются в ближайшие «быстро»¹. После таких бредней для восстановления пищеварения нет ничего лучше, как рюмка «Чинцано»...

8

...В то время, как Релих располагается в гостинице и принимает ванну, Эрнст Гейль всё ещё трясётся в поезде где-то неподалёку от люксембургской границы. Голые деревья, завидев поезд, уныло ковывают прочь. Сутулые домки, крытые черепицей, уползают за ними вслед неуклюжими красными черепахами. По стёклам вагона мутными ручейками струится дождь.

На противоположной скамейке, в углу, сидит Иоганн. Оба делают вид, будто друг с другом не знакомы. Иоганна многие здесь знают, провожать к границе чужих людей ему приходится нередко — нужно соблюдать максимальную осторожность.

На неизвестной маленькой станции Иоганн выходит. Переждав, сходит и Эрнст. Разыскивает глазами Иоганна: куда же он делся? Заглядывает в зал ожидания, в уборную — нет! Возвращается на перрон. Иоганна и след простыл.

Эрнст морщится под влиянием смутного неприятного предчувствия. Да нет, не может быть! Он озирается ещё раз. Станционные чиповники смотрят на него с насмешливым любопытством. Неужели ловушка?

Он быстро покидает станцию. В первую минуту он хочет углубиться в аллею, ведущую прямо, но затем сворачивает влево, по направлению хода поезда. Граница, по всем данным, должна быть в этой стороне. Не оглядываясь, он прибавляет шаг.

Аллея сворачивает вправо. Если это ловушка, тогда здесь, у поворота, — самое удобное место. Не сбавляя шага, Эрнст приближается к повороту. Он умышленно держится левого края дороги, поближе к деревьям. Холодные капли дождя, попадая за воротник, стекают по коже спины.

За поворотом — никого. В глубине аллеи, на расстоянии каких-нибудь ста шагов, Эрнст замечает медленно удаляющуюся спину Иоганна. Он вздыхает с облегчением. Всё тем же ровным шагом он идёт следом за Иоганном.

¹ Небольшое кафе.

Иоганн шагает, не оглядываясь. Пройдя километра два, он останавливается и поправляет шнурок у ботиночка. Эрнст не уверен, подходить ему или нет. Понимая остановку Иоганна как приглашение поравняться с ним, он продолжает свой путь, нагоняет Иоганна и проходит мимо. Минуту спустя Иоганн настигает его.

— Где это ты так долго пропадал? Я хотел уже за тобой возвращаться!

— А ты разве сказал мне, в каком направлении идти? Я с равным успехом мог пойти прямо,— виновато ворчит Эрнст. Ему неприятно, что он заподозрил товарища в предательстве. — Закурим? — говорит он дружелюбно, стараясь хоть чем-нибудь загладить свою вину перед Иоганном.

Они закуривают под дождём. Первая папироса натошак кажется особенно вкусной. Дальше они идут рядом, не соблюдая особых предосторожностей.

— Почему мы дожидались рассвета? Не лучше ли было пройти границу ночью? — после долгого молчания спрашивает Эрнст.

— Ночью опаснее всего. Сейчас самое подходящее время. Начинается грузовое движение. Да и люди из окрестных деревень идут на ту сторону на базар. Тут ведь паспорта им не надо. Самое большее — разовый пропуск. С ними легче всего пройти.

— Далеко ещё?

— Нет, ещё с полкилометра. Вот за этим пригорком будет видно.

За пригорком дорога спускается к речушке и сворачивает на небольшой каменный мост.

— Вот это и есть граница,— говорит Иоганн.— По ту сторону уже Люксембург. Теперь пойдём врозь. Ты иди вперёд. Шагай спокойно, не оглядываясь. Пропуск держи наготове. Мост проходи предпочтительно, когда по нему будут идти грузовики. Пограничная стража займётся ими и твоего пропуска особенно обнюхивать не будет. Спросят откуда — название деревни помнишь. Главное, иди с таким видом, будто ходишь тут каждый день. Пройдёшь мост — поднимайся в гору, а придёшь в местечко, подожди меня у первого кафе.

Эрнст молча кивает головой.

Около моста и на самом мосту ждёт уже несколько грузовых машин. Стража пропускает их по одиночке, проверяя бумаги и груз. Эрнст сует пограничнику свой пропуск и хочет пройти дальше.

— Подожди!

— Да некогда мне!

Пограничник придерживает его за рукав.

— Подожди, говорю!

Отпустив грузовик, он принимается рассматривать эрнстову бумажку.

— Перестали узнавать знакомых, господин сержант?

Вереница ожидающих грузовиков растёт с минуты на минуту.

Сержант молча возвращает пропуск.

Эрнсту стоит большого усилия пройти по мосту медленно, не ускоряя шага.

— Эй, ты!

Он идёт, не оглядываясь. «Меня окликают или не меня?..»

Карабкаясь в гору, храпит грузовик.

«Нет, очевидно, не меня».

У входа в местечко Эрнста нагоняет Иоганн. В кафе на углу они выпивают у прилавка по стакану горячего кофе со сдобными булками, закуривают и отправляются дальше.

— А теперь куда?

— Теперь на вокзал. Скоро отходит твой поезд.

Следуя указанию Иоганна, Эрнст берёт билет до города Люксембурга.

— Там сойдёшь, пообедаешь и возьмёшь билет на вечерний поезд до французской границы.

— Выпьем по кружечке? — предлагает Эрнст.

-- Теперь можно. Благо и пивная рядом.

— Оказывается, всё это не так уж сложно, вроде как загородная прогулка, — шутит Эрнст, чокаясь с Иоганном кружкой.

— Да, в ту сторону ничего. Обратно посложнее. Проверяют.

Оба пьют, облокотившись на стойку.

Скоро придётся прощаться. «Надо бы парню помочь, — думает Эрнст. — С голодудохнут». Но денег у него в обрез. Если не хватит в дороге, может случиться глупая неприятность.

Тут он вспоминает про часы. Настоящие серебряные часы — подарок Луизы. Последние годы для безопасности он хранил их у товарища, у того самого, в Вильмерсдорфе, где пришлось переночевать последнюю ночь. Тот и уговорил Эрнста взять часы с собой в дорогу: всё-таки с часами солиднее.

Эрнст ловит себя на том, что отдавать луизины часы ему немножко жалко. Столько лет он их берёт... Ему стыдно перед самим собой за эту подспудную скупость.

— Вот что, Иоганн, — говорит он, беря товарища за локоть. — Ты сам жрёшь или не жрёшь — это твоё дело. Будем надеяться, не издохнешь. А вот мальчишка твой растёт, а кормить тебе его печем. На одном твоём кофе не очень вырастет. Денег у меня нет, но вот тут одна штукавина, продай. Что-нибудь за неё дадут... — Он суёт Иоганну часы.

— Ты это что, за дорогу мне или как? — краснея, говорит Иоганн.

— Създал бы я тебя по морде за такие разговоры, да в пивной неудобно! Свой парень, рабочий, а ломается, как барышня из благородного семейства. Если я через неделю приеду к тебе без пфеннига в кармане и останусь на месяц, ты что, выгонишь меня или хлебом со мной не поделишься?

— Вот сказал! Это — другое дело.

— Какое другое дело? Клади в карман, и чтобы разговора у нас об этом больше не было! Пошли, а то поезд мой уйдёт.

У входа на вокзал они долго трясут друг другу руки.

— Ты на меня того... за вчерашний разговор не обижайся, — говорит Эрнст. — Я правду говорю. Работаете вы тут неплохо. Судя по твоим рассказам, и ребята у вас хорошие. Не давайте сбивать себя с толку! Каждому хотелось бы поскорее. Думаешь, мне не хотелось бы? Ещё как! А ты не поддавайся. Разбери, что к чему... Ну, когда-нибудь, может, ещё увидимся!

...К вечеру снег принимается порошить опять. В отсвете пунцовых, синих и оранжевых рекламных огней он кажется разноцветным конфетти, сбрасываемым с аэропланов на вечерний Монмартр по случаю квартального праздника.

Релих идёт серединой бульвара Клиши, под весёлый рёв пианол и гулкие удары барабана, среди пёстрых балаганов, выстроенных по обе стороны, как карточные домики. С протяжным визгом взлетают и падают качели, вращается карусель, порхают по кругу подвешенные на тросах двухместные авиетки, скрипя под тяжестью целующихся пар. От поцелуя на такой карусели, должно быть, вдвойне кружится голова. Вращаются огромные диски поставленных ребром рулеток, рябя в глазах целым спектром радуги. Рискните одним су и можете выиграть кило пилёного сахара в упаковке или фаянсовую куклу.

У балаганного тира, где, подвешенные на рафии, кружатся глиняные трубки и маятниками качаются разноцветные шарики, сухо щёлкают механические ружья. В балагане рядом — свадьба у фотографа. Длинная скамья полна кукол: молодая, молодой, тёща, тесть, шафера — все в натуральную величину. Испытание на силу и ловкость: турм тряпичным мячом попасть так, чтобы кукла опрокинулась вверх тормашками. Больше всего достаётся тёще, которая то и дело летит вверх ногами, показывая, ко всеобщему веселью, длинные фланелевые панталоны.

Релих останавливается у тира, изображающего двор тюрьмы. Миниатюрный смертник стоит на коленях, положив голову на плаху, и ждёт удара топором, который занёс над его шеей усатый палач. Стоит вам попасть из ружья в крохотное тюремное оконце, как мгновенно раздастся звонок, топор палача упадёт вниз и голова казнённого отскочит в корзину. Занятие для любителей!

Рядом сосредоточенная группка рыболовов выуживает бутылки шампанского. Кто в течение минуты, до сигнального звонка, сумеет закинуть на горлышко бутылки небольшое деревянное кольцо, подвешенное на конце лески, тот уносит с собой подмышкой выуженную бутылку.

Всё это, вероятно, очень забавно и увлекательно, если одновременно держать рукой за талию хорошенькую девушку и целоваться с ней взад-вперед после каждого проигрыша, как это делает большинство этих оживлённых мужчин в кепках и шляпах, своими медяками заставляющих вращаться, звенеть, греметь и пиликать весь этот балаганный городок, воздвигнутый на улице большого столичного города. Но если бродишь по нему один, всё представляется тебе не очень смешным и даже немножко тоскливым — виски гудят от механической музыки, и тебе начинает казаться, что лотерейный диск вместе с рафинадом и фаянсовыми куклами кружится у тебя в голове.

Релих покидает шумливую середину бульвара и переходит на тротуар.

Запах напудренных женщин приводит его в лёгкое возбуждение. У каждых ворот, у каждой витрины, на каждом углу целуются пары. Можно подумать, что этим парижанам действительно больше нечего делать!

На площади Клиши он заходит в кафе и, отыскав свободный столик в углу, заказывает рюмку «дюбоннэ». И здесь полно прижимающихся пар. Матово выбритые щёки мужчин изранены отпечатками маленьких накрашенных губ. Релих не успевает оглядеться, как уже к его столику присаживается женщина. Крохотная шляпка, очень красный рот, очень белая шея, длинные ноги, туго обтянутые паутиной шёлковых чулок.

— Вы не заняты?

Мгновение он колеблется. Если кто-либо из советской колонии увидит его здесь, в этом обществе...

Женщина смотрит на него выжидающе. У неё большие чёрные глаза южанки и белки цвета слоновой кости.

Нет, он не занят. Что она хочет заказать?

Она заказывает рюмку «порто». Она раскрывает сумку, внимательно проверяет в зеркальце своё лицо, слегка подправляет карандашом губы и стирает мизинцем крупинку пудры возле левой ноздри. Она распаивает манто и показывает свои плечи. Релиху не приходится разочаровываться в выборе.

Они говорят о последних постановках сезона. Вернее, говорит она. Он здорово забыл французский и предпочитает отвечать короткими, простыми фразами.

Собирается ли он сегодня куда-нибудь?

При мысли, что ему предстоит показаться с ней в театре или в мюзик-холле, Релиха охватывает беспокойство. Правда, внешностью и одеждой она как будто ничем не отличается от всех этих дам, которых он наблю-

дал сегодня на Больших бульварах. Вообще, этих «курочек», как ласкательно называют их парижане, с первого взгляда не различишь. Но у старых жителей Парижа, вероятно, глаз намётан.

Нет, к сожалению, он не сможет отправиться сегодня никуда. В половине одиннадцатого у него деловое свидание.

Очень хорошо складывается, поскольку с двенадцати она тоже занята.

Если он хочет сейчас?

Да, он хочет сейчас.

Он расплачивается, и они выходят.

10

...Небо над Местром горит красным заревом домен. По грязной улице от вокзала шлёпает Эрнст Гейль. Он успел за эти полдня исколесить поперёк всё Великое Люксембургское герцогство, пообедать в городе Люксембурге сэндвичем с сыром.

Отсюда уже рукой подать до французской границы.

В бистро «Под незабудкой» весело ржёт гармонь, и гармонист в синем беретике, передёргивая плечами, отстукивает каблук такт залихватского фокстрота. Впрочем, танцевать здесь всё равно негде. Весь зал заставлен столиками. Даже тощие официантки и те еле протискиваются меж стульев.

Эрнст заказывает у прилавка четвертинку красного и, улучив момент, спрашивает у хозяина, здесь ли Джиованни. Хозяин молча пошлет рюмки, не поднимая глаз, будто не расслышал. Эрнст хочет повторить свой вопрос.

— Садись за столик. Когда Джиованни придёт, я его пришлю, — нетерпеливо бросает хозяин.

За столик так за столик! Свободных столиков, правда, нет, но вот за тем, за которым сидят двое рабочих-итальянцев, есть ещё одно свободное место. Эрнст заказывает ещё четвертинку красного: надо немножко согреться.

Итальянцы спорят о чём-то, стуча в азарте кулаками по столу. Красное вино Эрнста расплескивается по клеёнке. Младший из итальянцев хватает Эрнста за локоть: ради бога, пусть товарищ не обижается, они малость поволновались!

— Мамзель! Четвертинку красного! Я плачу!

Пока мамзель протискивается с новым стаканчиком на блюде, к столу присаживается третий итальянец. Он здоровается с земляками и протягивает руку Эрнсту:

— Джиованни.

Официантка бежит ещё за одним стаканом красного.

Джиованни наклоняется к Эрнсту.

— Собирай манатки и подожди меня у выхода!

Эрнст оставляет указанную на блюдечке сумму денег и, помахав рукой соседям, протискивается к выходу.

На дворе льёт дождь. Под брезентовым навесом он не так ощутим. Вскоре в дверях быстро появляется Джиованни.

— Пошли!

Они поднимают воротники и погружаются в дождь.

— Здесь часто бывают облавы, — поясняет на ходу Джиованни. — Если у тебя нет бумаг, засиживаться тут не следует.

На углу они садятся в переполненный автобус. Автобус летит, кряхтя и покачиваясь на ухабах. После получасовой пляски он останавливается. Люди гурьбой вываливаются наружу. Эрнст чувствует, что кто-то сзади изо всех сил напирает на него плечом. Он оглядывается разгневанный.

Это Джиованни! Они пропихиваются в давке через какую-то калитку с турникетом и, шлёпая по грязи, спускаются вниз.

— Вот ты и во Франции! — говорит Джиованни. — Грязь и тут и там одинаковая.

Неподалёку видны огни железнодорожной станции.

— Мне сюда, на станцию? — спрашивает Эрнст.

— На станцию, да не на эту. Очень уж ты быстро хочешь добраться! Здесь полно жандармов. Придётся тебе отмахать пешком семь километров.

— Итти прямо?

— Не совсем. Я тебя провожу.

— Зачем тебе шлёпать по такой погоде четырнадцать километров?

— Ничего! Моё дело — посадить тебя на поезд, а там дальше — как знаешь.

Дождь хлещет всюду. Не видать ни зги. Чтобы не потерять друг друга, они идут под руку, стараясь шагать в ногу: раз-два, раз-два, левой... левой...

После доброго часа ходьбы дождь немного утихает.

— Теперь уже рукой подать.

Местечко не спит. Тут и там петухамп кричат патефоны.

Не доходя до станции, Джиованни останавливается.

— Подожди здесь. Я схожу один, проверю. Давай деньги на билет. Тебе вертеться на станции незачем. Когда подойдёт поезд, иди и садись...

Вскоре он возвращается с билетом.

— Всё в порядке. Жандармов не видать.

— В буфет не зайдём?

— Нет, тебе не стоит тут особенно показываться.

— Выходит, надо нам уже прощаться, а мы и познакомиться-то как следует не успели.

— Ничего. На обратном пути познакомимся.

— Давно здесь работаешь?

— Год.

— А раньше где?

— В Париже, у Томсон-Хаустон. Потом, после высылки, — в Бельгии, на шахтах.

— Тоже выслали?

— Выслали.

— А здесь как? Строго или легче?

— Высылают почём зря. Эмигрантов всегда хватает.

— А тебя куда же могут выслать? Во Францию тебе нельзя, в Италию нельзя, в Германию — и подавно...

— А им какое дело!

— Ну, допустим, тебя вышлют. Куда же ты денешься?

— Попробую ещё разок в Марсель. Там всегда можно устроиться на какую-нибудь посудину кочегаром. Доеду до Китая, проберусь в китайскую Красную армию. Мне так думается, там дела начнутся раньше... Тебе пора! Будь другом, опусти-ка это письмецо в Париже, на вокзале. Скорее дойдёт.

— Зазнобу в Париже оставил?

— Так, девушка одна. Переписываемся.

— Может, зайти, передать от тебя привет?

— Прыткий ты больно! Нужна тебе подружка — ищи сам. Я тебе не адресный стол... Давай, сам отправлю.

— С ума сошёл! Что, я у тебя невесту отбивать собираюсь?

— Знаем мы вас, приятелей!

— Не дури! Давай отправлю. Что ты, в самом деле!

— Ладно, отправь. Только ходить не надо.

— Что же ты, брат, невесте своей так не доверяешь?

В отсвете огонька папирасы смуглое красивое лицо парня кажется хмурым и угрюмым.

— А что я, маленький? Думаешь, верю, что она год меня дожидается? Француженок я не видал?.. Не знаю, и ладно!

— Чудак ты, парень! Давай руку, а то поезд мой идёт. Спасибо, что проводил. Хотел я тебе за услугу отплатить услугой. Не хочешь — не надо. Прощай! Рот фронт!

Поезд гудит и трогается с места. В купе пусто. Тускло горит электричество. Глухо бормочут колёса:

«Nach Paris... Nach Paris...»¹.

Вот и Франция. Всё сошло отлично. Завтра утром — Париж. Попробуем поспать. Глаза сами слипаются от усталости. Последняя разбормочивая мысль проскальзывает уже сквозь сон: Иоганн по-итальянски — Джiovанни! Открытие это кажется Эрнсту почему-то очень важным, но он не успевает его додумать. Он уже спит.

Просыпается от чьего-то прикосновения. Проводник спрашивает билет. Эрнст роется в бумажнике и протягивает кусочек картона с напечатанным на нём волшебным словом «Париж». Милейший кусок картона, способный заменить и паспорт и визу! Эрнст ощупывает его пальцами почти с нежностью и суёт в карман. Рука натывается на жёсткий конверт. Что это такое? Ах, да! Это бумаги Эберхардта! Он даже не успел их как следует просмотреть. Всё-таки он умно поступил, спрятав их в уборной полицей-президиума! Товарищ, который вызвался сходить за ними утром, нашёл их в полной сохранности.

Эрнст достаёт из кармана пакет. Небольшая пачка исписанных карандашом листков. При этом освещении ничего не разберёшь. Отложим до завтра. Разорванный конверт с надписью: «Эрнсту». Да, это он читал. Ещё один конверт, заклеенный: «Маргарите Вальденау. Париж...» Придётся её разыскать.

По нелепой ассоциации ему припоминается Джiovанни: «Ладно, от правь, только ходить не надо... Знаем мы вас, приятелей!»

Эрнст улыбается почти сквозь сон: вот чудак!

Он суёт бумагу и письмо обратно в карман, завёртывается в пальто и мгновенно засыпает. Ему снится Маргрет, которая оказывается невестой вовсе не Роберта, а Джiovанни. Он хочет уже извиниться и уйти, но кто кладёт ему руку на плечо.

— Эй, мосье, слезайте, приехали — Париж!..

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Окошнные стёкла снова начинают звенеть. Сперва неразборчиво, как зубы, затем всё громче, пока нарастающий звон не переходит в пронзительную трель флексотона. Тогда на камне робко откликаются чашки. У каждой из них свой особый тембр, начиная с высокого, кончая самым низким. Если закрыть глаза, можно подумав, что рядом, за стеной, цирковой виртуоз-эксцентрик мечет на стол, как талеры, звонкие кружки металла и кружки вибрируют, вызывая замысловатые мелодии.

Так начинается утро. Воробьиной капеллой там, на дворе, в соседнем Люксембургском саду. Концертом стёкол и чашек здесь, в маленькой гостинице, сотрясаемой слоновой поступью автобусов.

Маргрет лежит ещё добрую минуту, плотнее зажмурив глаза, прислушиваясь к утренней переключке вещей. Затем одеяло тяжёлой птицей сле-

¹ «В Париж...» (нем.).

тает на пол. За одеялом вдогонку летит пижама. Босые ноги, шаря по полу, сами отыскивают туфли, косматые и мягкие, как лапы медведя. Голая, она стоит посреди комнаты, вскинув высоко руки и отбросив назад волосы крутым движением головы. Затем уходит по шею в пёстрый мохнатый халат. Створки халата запахиваются, как ставни. В комнате сразу становится как будто темнее.

В голубой резиновой шапочке, облегающей голову, как шлем, заколов халат у самого подбородка, Маргрет выскальзывает в коридор. Тихонько напевая, она направляется в ванную. Она слышит, как дверь напротив её комнаты отворится и так и остаётся открытой. Опять этот надоедливый англичанин караулил, когда она выйдет, чтобы проводить её глазами до конца коридора! Смешной субъект! Никогда не попытался даже заговорить с нею. И всегда преследует её взглядом своих покорных собачьих глаз.

Заперев дверь ванной на задвижку, она сбрасывает халат и пускает душ. Холодные брызги обдают её с головы до ног. Она зябко сутулится, вздрагивая от прикосновения холодных струек воды. Затем, набравшись храбрости, подставляет им спину, зажав меж колен сплетённые руки. Резиновый шлем, ниспадающий на уши, узкие, чуть обозначенные бёдра делают её похожей на изнеженного мальчишку. Она откидывает голову и подставляет жидким ледяным лучам лицо и груди. Струйки воды, пробежав между ними, широкой дельтой омывают плоскогорье живота и стекают вниз по судорожно сжатым ногам.

Мановение руки — и ливень замирает на лету. Она проводит ладонью по телу, словно выжимая из него последние капельки воды. Нога нашупывает мягкий мех туфли. Тело, ещё поблёскивающее слезинками дождя, исчезает в мохнатой обёртке халата.

Маргрет пускается в обратный путь по коридору. Конечно, так она и знала! Англичанин караулит на пороге своей комнаты. Его собачий взгляд, полный мольбы и восхищения, провожает Маргрет до дверей. Она охотно показала бы англичанину язык, но не стоит связываться.

Пройдя к себе, она стаскивает резиновую шапочку и расчёсывает перед зеркалом волосы, каштановые с золотистым отливом. Сколько их ни расчёсывай, в конце концов они всё равно улягутся по-своему!

С минуту она изучает в зеркале своё лицо. Ещё девочкой она любила подолгу смотреться в зеркало. Окружающие видели в этом проявление преждевременного кокетства. На самом деле это было скорее удивление. Удивление тем, что именно в её лице поражает так встречных мужчин, заставляя их оборачиваться на улице. Этот высокий, очень белый лоб? Но ведь это скорее лоб мужчины, чем девушки, не говоря уже о том, что он явно непропорционален. Этот прямой нос? Или, может быть, глаза? В школе говорили всегда, что глаза у неё коровьи: большие, продолговатые, цвета морской воды, с длинными чёрными ресницами, завёрнутыми, как крыша у пагоды. Или брови, такие странные, асимметричные, уходящие куда-то вверх, отчего выражение глаз кажется всегда не то вопросительным, не то удивлённым.

Нет, она не считала себя красивой. Разве можно было сравнить её красоту с красотой её подруг? Но на них-то как раз никто из мужчин в её присутствии не обращал никакого внимания. Очевидно, мужчины ничего не понимают в женской красоте, как они ничего не смыслят в женской одежде.

Чувствовать себя предметом общего восхищения было приятно и в то же время чуточку страшновато. Страшновато, поскольку в этом незаслуженном, как ей казалось, восхищении было что-то тревожное, непрочное, как коллективный гипноз. Однажды все одновременно заметят, что она вовсе не хороша. И случится это непременно, как в сказке, в тот самый день, когда она полюбит кого-нибудь и захочет показаться ему красивой...

С годами ощущение это стёрлось. Мало-помалу она привыкла смотреть на себя глазами окружающих. Лишь изредка, по утрам, внезапно остановившись перед зеркалом, она долго всматривалась в своё лицо, словно видела его впервые. Брови её поднимались тогда ещё выше, и во взгляде вопрошательных глаз читалось удивление и испуг.

Она отходит от зеркала, сбрасывает халат и начинает одеваться. Закончив утренний туалет, она прибирает комнату, меняет воду в вазах для цветов, завтракает бутылкой кефира и хрустящими подковками. Сегодня — воскресенье, никаких особых дел в городе с утра у неё нет, и ей лень спускаться вниз, в кафе, только затем, чтобы выпить горячего кофе.

Напевая, она бродит по комнате, переставляет то то, то это, рвёт ненужные записки и бросает их в «саламандру»¹, складывает разбросанные на столе и на камине газеты. Взгляд её падает на жирный заголовок: «Виолетт Нозьер в тюрьме Агено».

Виолетт Нозьер? Ах, да! Это та, которая отравила отца и пыталась убить мать! Как много шума наделал в прошлом году этот процесс! Восемнадцатилетняя девушка, дочь машиниста дороги «Париж—Лион—Средиземноморье», втайне от родителей занимавшаяся проституцией, как выяснилось на следствии, содержала на эти деньги своего «друга», Жана Дабен, студента-юриста, сына почтенных буржуа, которому папаша слишком мало давал на карманные расходы. Заболев сифилисом и заботясь о том, чтобы не заразились родители, она уговорила их принимать ежедневно ради профилактики какие-то патентованные порошки. На самом деле в порошках она давала им яд, небольшими дозами, в течение месяцев, надеясь таким путём тихо и незаметно отправить на тот свет и папу и маму. Желудки у стариков оказались лужёными. Хворать оба хворали, но умирать не торопились. Тогда Виолетт, потеряв терпение, отмерила отцу такую дозу, которая живо свалила его с ног. Мать, принявшая дозу поменьше, выжила, хотя не то дочь, не то её любовник пытались для вящей уверенности прикончить её вручную и, уходя, на всякий случай открыли в квартире газ.

Виолетт Нозьер была приговорена к пожизненному тюремному заключению. Студентик, оплативший свои долги деньгами, похищенными Виолетт, к ответственности не привлекался.

В течение добрых двух месяцев все парижские газеты посвящали Виолетт Нозьер целые столбцы и полосы. И вот теперь — эпилог. Небольшая статейка на пятой странице: «Виолетт Нозьер в тюрьме Агено». Эта женская тюрьма для пожизненно заключённых пользовалась довольно мрачной славой.

Маргрет стоя пробегает глазами статейку. Сухой репортёрский отчёт:

«Автобусы въехали во двор. Закрылись тяжёлые тюремные ворота. Заключённых выстроили парами и, пересчитав, передали под расписку четырём монахиням. В стене, замыкающей первый двор, открылась калитка, через которую всех их провезли во внутренний двор тюрьмы. В канцелярии им приказали сдать всё, что у них имеется при себе: деньги, драгоценности, часы. Виолетт оставила здесь вместе с сумочкой, зеркальцем и губной помадой также своё имя и фамилию. За этой дверью нет больше Виолетт Нозьер, есть заключённая номер такой-то.

У входа в зарешеченную баню им выдали тюремное бельё, иголку и нитку. На каждой штучке белья их заставили пришить вместо монограммы квадратик с собственным номером. В бане их выстроили, как солдат, в два ряда. Поворот назад! Три шага вперёд! По команде «Раздеваться!» они сбросили платье и бельё и вошли в кабины. Те, которые замешкались и вошли последними, были записаны к наказанию. Мылись и вытирались по команде.

¹ Железная эмалированная комнатная печка, приставляемая к камину.

Выйдя обратно, они не застали больше ни своего платья, ни белья. Они не увидят его больше никогда. Отныне и до смерти они будут одеваться по здешней, тюремной, моде, не меняющейся веками.

Длинная полотняная рубашка почти по щиколотку. Грубая нижняя юбка, стянутая в талии. Коричневая юбка из дерюги, достающая до земли. Если юбку расправить и поставить на пол, она будет стоять, как картонная. Просторная кофта с чужого плеча. Фартук. Клетчатый платок. Деревянные сандалии и грубые бумажные чулки. Всё это поштопано и заплатано сверху донизу. Новое обмундирование получают только заключённые, отличившиеся примерным поведением. На правом рукаве — квадрат с номером, заменяющим кличку. На голове — белый чепец, всегда надвинутый на лоб, с тесёмками, завязанными под подбородком...

Одетых по форме, их повели в кабинет директора, где в присутствии матери-надзирательницы они выслушали краткий перечень правил поведения, обязательных в тюрьме Агено. Первое и основное: абсолютное молчаливое повиновение тюремному персоналу. Второе: абсолютная тишина. Ни слова — ни за работой, ни в перерывах, ни в дортуаре. Ни одного звука, ни одного жеста. Список наказаний за нарушение порядка: лишение прогулки, заключение в одиночку, карцер и смиренная рубашка. Более мягкие наказания — по усмотрению матери-надзирательницы. Мать-надзирательница может перевести провинившуюся на хлеб и воду, может заставить её стоять на коленях, выполнять добавочные работы, носить на груди дощечку с унижительными надписями, шутовской колпак, платье из мешковины.

Так как заключённые прибыли под вечер, после речи директора их отвели в трапезную. Хоровая молитва. Удар колотушки сестры-надзирательницы: занять места за обеденным столом! Второй удар: взять в руку железную ложку! Третий удар: кушать! Во время ужина одна из заключённых читала с кафедры священное писание.

В семь часов вечера их отвели в дортуар — четыре ряда клеток, по две в ряд. Перед тем, как войти в клетку, заключённые подвергаются обыску. Двери клеток хлопнули за ними автоматически. Раздалась команда: «Заключённые, снимите фартуки!» — «Сложите!» — «Снимите платки!» — «Сложите!» — «Снимите кофты!» — «Сложите!..»

На коленях, в одной рубашке, они хором повторяли за надзирательницей слова молитвы.

Всю ночь до утра в дортуаре горел свет...

Так будет завтра, и через год, и через десять лет, всегда. Пройдут годы, она разучится говорить, а если захочет кричать, чтобы услышать свой голос, на неё наденут смиренную рубашку, и крик её всё равно не вырвется из колодца этих глухих тюремных стен...»

Маргрет ёжится: нет, лучше уж умереть на эшафоте!

В комнату стучат. Кто это может быть? В такое раннее время?..

— Войдите!

При виде человека, вошедшего в комнату, она вскрикивает и подаётся назад. Бутылка из-под кефира секунду покачивается, словно раздумывая, затем падает и разбивается на мелкие осколки. Маргрет растерянно опускается на корточки и, шаря руками по полу, снизу вверх широко раскрытыми глазами смотрит на вошедшего человека.

На пороге стоит Эрнст.

2

— Извините, я вас, кажется, напугал, — говорит Эрнст, склоняя голову, — может быть, мне уйти?

Она быстро поднимается с пола, растерянной рукой поправляет волосы:

— Нет, нет! Просто вы вошли так неожиданно...

— Неожиданно или некстати?

— Что вы! Как вы можете! Я так рада! Я никак не рассчитывала встретиться с вами здесь, в Париже.

— Я привёз вам привет от Роберта.

Она вздрагивает и краснеет. Глаза смотрят вопросительно, с невыразимой тревогой.

— Вы его видели?

— Нет, к сожалению, не успел с ним повидаться. Я видел его отца.

Она проводит рукой по щеке. Пробует улыбнуться.

— Ну и что он? Как он?..

Эрнст смотрит на неё в молчании, испытующе: чего она так смутилась?

Улыбка на её лице переходит в гримасу испуга. Глаза делаются всё шире и шире.

— Говорите же! Не мучайте меня! Ведь я всё знаю! — кричит она в каком-то внезапном исступлении.

— Раз знаете, зачем же меня спрашиваете?

— Нет, я, конечно, не знаю. Я просто предполагаю худшее... Зачем вы пришли? Вы пришли надо мной издеваться?

— Успокойтесь. Так мы ни до чего не договоримся. Я пришёл передать вам от него письмо. Вот оно! Только, пожалуйста, возьмите себя в руки и постарайтесь прочесть спокойно.

Она лихорадочно рвёт конверт. Начинает читать: несколько листков, написанных крупным почерком. Лицо её во время чтения то проясняется, то гаснет. Пробежав писем до конца, она принимается читать сначала.

— Я ничего не понимаю! Он пишет, что год сидел в Дахау. А статья? Он ничего про неё не упоминает! Он её писал или не он?

— Насколько я могу понять, писал её не он. Но подписал, очевидно, он.

— Что это значит: писал не он, но подписал он? Разве это не одно и то же?

— Юридически — да. Субъективно — не совсем.

— Вы хотите сказать, что от него эту подпись вынудили силой?

— Очень возможно.

— Истязаниями?

— Скорее всего.

— И после того, как он это сделал, его выпустили?

— Нет, после того, как он это сделал, его отправили в Дахау. Возможно, он захотел взять свою подпись обратно.

— А потом всё же выпустили?

Эрнст кивает головой.

— Через год.

— Что он сейчас делает?

— А разве он вам об этом не написал?

— Нет, он пишет только, что никогда больше я с ним не увижусь.

— Да, вы с ним никогда больше не увидите, — тихо повторяет Эрнст. — Его уже нет. Он покончил с собой месяц тому назад.

Она приседает на край кушетки, прикусив пальцы, чтобы не закричать.

Эрнст вертит в руках кепку.

— Это вы его убили! — говорит она вдруг, поднимаясь во весь рост. Теперь она кажется Эрнсту ещё выше и тоще. — Вы и ваши друзья! Вы не могли простить ему минутного малодушия. Вы создали вокруг него пустоту и своим холодным презрением довели его до самоубийства.

— Не говорите глупостей. Ни я, ни мои товарищи даже не знали о его выходе из лагеря.

Он вспоминает первую записку Роберта, оставленную у Шеффера. Да, это не совсем так. Он, Эрнст, конечно, знал. Её обвинение сейчас, после собственной раздражённой реплики, задевает его вдвойне болезненно. Разве он сам подсознательно не упрекал себя в том, что своим молчанием он в какой-то степени ускорил смерть Роберта? Впрочем, всё это глупости! Ясно, кто его убил!

Последнюю фразу он говорит вслух, отвечая одновременно своим мыслям и Маргрет:

— Ясно, кто его убил!

— Он покончил с собой сразу после выхода из лагеря? — глухо спрашивает Маргрет.

— Нет, но довольно скоро.

— Разве нельзя было в течение этого времени повлиять на него, поддержать его морально?

Голос её звучит сурово, негодуяюще, как голос обвинителя. Глупее всего то, что Эрнст действительно чувствует себя обвиняемым, обязанным отвечать и защищаться. От сознания нелепости этой внезапной перемены ролей в нём нарастает раздражение.

— Если верить тому, что сказал мне его отец, вряд ли постороннее воздействие могло здесь что-либо изменить.

— Что в этом понимает отец? Не прячьтесь за спину его отца! Постороннее воздействие ничего изменить не могло, но в а ш е могло наверняка. Вы знаете великолепно, что значило для Роберта одно ваше слово.

— Тут имелись предпосылки, которых никакое моё слово не в состоянии было устранить.

— Это ещё что за загадка?

— Я думаю, вам не стоит настаивать на её расшифровке.

— Наоборот, я настаиваю! Вы обязаны мне сказать всё!

— Здесь имелись предпосылки физического порядка.

— Что это значит? Я не понимаю. Выражайтесь яснее!

— Мне кажется, я выражаюсь достаточно ясно. Надо полагать, вы читаете антифашистскую прессу.

— Я не понимаю ваших загадочных намёков. Вы просто вилаете! Говорите прямо! Я хочу знать!

— Хорошо. Раз вы настаиваете, пожалуйста. Его кастрировали... Это вам понятно или прикажете разъяснить?

Она закрывает лицо руками.

Он отворачивается. Крутит в пальцах пуговицу от пиджака. Оторванная пуговица падает на пол. Он нагибается, чтобы её поднять, но пуговица покатила под кушетку. Он поворачивает голову. Маргрет стоит, опершись спиной о камин. По её лицу бегут крупные неторопливые слёзы.

— Извините меня, — говорит она, протягивая ему руку. — Я не имела права так с вами разговаривать. Если можете простить меня, простите. Я очень измучилась...

Он придерживает в своей большой руке её тонкую холодную руку.

— Больше мужества, Маргрет! — говорит он мягко. — Не надо плакать, надо бороться! Я знаю, что вам тяжело. Я приду в другой раз. Мне надо с вами поговорить.

— Нет, не уходите. Посидите здесь. Мне не хочется оставаться одной. Я рада, что наконец вас увидела. Только я немножко помолчу, хорошо?

Она слизывает языком слёзы, повисшие в уголках губ. Идёт к окну, прислоняется к оконной раме и долго смотрит на улицу. Плечи её неподвижны.

Стёкла окон принимаются звенеть. Откликаются чашки на камине. Потом звон замирает. Потом раздаётся опять. Через размеренные промежутки времени. Вот сейчас начнётся снова. Сколько автобусов уже прошло?

Эрнст, облокотившись на камин, покачивает носком осколок разбитой бутылки. Голос Маргрет заставляет его встрепенуться.

— Вы хотели со мной говорить, Эрнст? Я вас слушаю.

— Я хотел, чтобы вы рассказали мне, как всё это случилось там, в Базеле. Кое-что для меня не совсем ясно. Если вам тяжело рассказывать об этом сейчас, я могу зайти потом.

— Вы давно в Париже?

— Месяц.

— И вы зашли ко мне только сегодня?

— Вы понимаете, что я приехал сюда по другим делам...

— Да, я понимаю.

Она уходит за ширму и холодной всдой обмывает под краном лицо. Потом возвращается, подходит к столу. Достает из ящика папиросу, берёт сама и протягивает Эрнсту.

— Садитесь, вы всё стоите. Я соберусь немножко с мыслями и расскажу по порядку...

Она начинает рассказывать. Сперва спокойно, сидя и облокотившись на стол. Затем, волнуясь всё больше и больше, встаёт, расхаживает по комнате, время от времени останавливается, перебивая рассказ длинными паузами.

Когда они виделись в последний раз с Эрнстом? В тридцать третьем, сейчас же после прихода Гитлера? Ну, так вот... Доехали они тогда благополучно. Роберт очень быстро стал поправляться и ещё в санатории принялся за работу. Работал запоем, спускался вниз только к обеду и ужину. Вечерами читал ей написанные за день отрывки. Это была необыкновенная книга! Не книга, скорее страстная обличительная речь! Сухие факты и документы, озарённые ненавистью и возмущением, звучали в этом контексте, как эпитафии из дантова «Ада». Это невозможно передать! Его едкий сарказм, его врождённый талант памфлетиста впервые прозвучали здесь во весь голос. Перед галереей убийственных портретов современных деятелей Третьей империи фантазмагорни Гойи могли показаться сновидениями невинного ребёнка. Все те, кому Роберт читал отдельные отрывки и главы, выходили от него, как ошарашенные, жали ему руки и умоляли об одном: скорее, скорее предать это гласности!

Роберту не хотелось публиковать эту вещь в отрывках. Для того, чтобы её закончить, ему не хватало материала. Они с Маргрет выехали в Париж. Роберт собрал здесь то, что ему было нужно. Беседовал с сотнями эмигрантов. Затем заканчивать книгу вернулся обратно в Базель.

В Париже целый ряд издателей предлагал ему свои услуги. Здесь же Роберт познакомился с представителем крупного американского агентства, предложившего Роберту выпустить его книгу одновременно на семи языках и обеспечить ей рекламу во всей мировой прессе. Условия, которые предлагало это агентство, были почти баснословны. Роберта соблазнили не условия, а перспектива, что его обвинительная речь прозвучит на весь мир. Он подписал предварительное соглашение, предоставляющее агентству исключительное право издания книги на всех языках. Представителя агентства звали Ионатан Дриш. Он торопил Роберта скорее кончать книгу и договорился с ним, что приедет за рукописью в Базель ровно через месяц.

Он действительно явился в условленное время. Книга была вчерне закончена. На отделку её требовалось ещё каких-нибудь две недели. Ионатан Дриш уговорил Роберта устроить читку для представителей печати и влиятельных деятелей антифашистского фронта на квартире у одного видного американского либерала, занимавшего целую виллу в окрестностях Базеля. Вечером того же дня Ионатан Дриш заехал за Робертом на автомобиле. Маргрет чувствовала себя не совсем здоровой и осталась дома.

Когда наступило утро и Роберт не вернулся, она, разузнав о местоположении виллы американского либерала, отправилась туда на машине. Она застала добродушного пожилого человечка, который выслушал её с нескрываемым удивлением. Никакого господина Ионатана Дриша он в жизни не знавал, ни о какой читке у него на квартире никогда не было и не могло быть речи. Кстати, он ни в зуб не пошмаёт по-немецки.

Тогда Маргрет кинулась в полицию, в редакции газет. Ей удалось выяснить только одно: что некий господин Ионатан Дриш действительно два дня тому назад прибыл в Базель из Парижа и вчера вечером отбыл в неизвестном направлении.

Вернувшись в гостиницу, она убедилась, что из письменного стола исчезли все черновики Роберта, равно как и все документы, хранившиеся в железной шкатулке.

В полиции к исчезновению робертовых бумаг отнеслись весьма скептически. Молодой полицейский инспектор заявил Маргрет, что в базельских гостиницах за последние годы не было ни одного случая кражи. Совершенно невероятно, чтобы кто-либо ни с того ни с сего похитился на какие-то бумаги. Не говорит ли это скорее за то, что господина Эберхардта никто не похищал, а уехал он по доброй воле, захватив свои рукописи? Конечно, он поступил пелояльно, не предупредив об этом мадам, но что же делать, такие вещи среди иностранцев случаются довольно часто: вот на прошлой неделе...

Она обозвала инспектора германским агентом и потребовала свидания с директором полиции. Ей удалось пробиться лишь к старшему инспектору. Тот учтиво выслушал её и сообщил напоследок, что её показания в корне расходятся с показаниями заведующего гостиницей и портье. Оба они слышали вчера вечером в холле разговор господина Эберхардта с незнакомым субъектом, заехавшим за ним на машине. Речь шла вовсе не о поездке в окрестности, а о поездке в Германию. Господин Эберхардт спрашивал у своего знакомого, как быть с паспортом. Тот заверил его, что всё улажено — на границе никто их не задержит.

Старший инспектор не видел повода, почему он должен не доверять показаниям двух честных швейцарских граждан, а полагаться на фантастические рассказы иностранной дамы. К тому же, знаете, эти ваши немецкие дела, чёрт в них ногу сломит! Вчера поссорились, сегодня помирились...

Газеты на основе сбивчивых сведений, полученных ими в полиции, поднимать шум пока что воздержались. Временно, о, конечно, только временно! Как только выяснится существо дела, они немедленно мобилизуют общественное мнение против возможности подобных бесчинств. «Но поскольку дело пока неясно... Вы же понимаете... Зайдите через три дня, мы соберём к этому времени самые точные справки...»

Через три дня в редакции ей показали номер берлинской газеты с заявлением Эберхардта. «Видите, в какое дело вы хотели нас запутать! Хорошо бы мы выглядели, если бы вас послушались в первый день и ударили в набат! Вся мировая печать подняла бы нас на смех. Слава богу, у нас есть кое-какой нюх на эти дела!»

Она кричала со слезами, что всё это подлая фальшивка, состряпанная именно для того, чтобы предотвратить кампанию протеста за границей. Ей ответили скептическими улыбками и пожатием плеч. В конце концов кто она? Она же не жена господина Эберхардта. Насколько помнится, у неё другая фамилия. А мужчины... знаете, приехал, пошутил, а потом собрал манатки и дал драпу... Такова жизнь!

В гостинице и на улице эмигранты перестали с Маргрет раскланиваться. Куда она ни обращалась, всюду натыкалась на непреодолимую стену презрительного равнодушия. «Почему бы вам, фрейлейн фон Вальденау,

тоже не вернуться? Ваш отец, говорят, занимает в Германии весьма видное положение...»

Она переехала в Париж. Приём, который она встретила здесь, был не лучше. В заявлении Эберхардта поносился ряд видных деятелей немецкой эмиграции. Люди эти не имели никакого основания доверять его бывшей жене или любовнице. Её происхождение и истерическая настойчивость, с какой она старалась уверить каждого встречного в невинности Роберта, насторожили против неё всех. «Люди, которых похищают, фрейлейн Вальденау, не публикуют потом таких заявлений. Напишите лучше об этом детективный роман...»

От частого повторения версии о похищении Роберта она сама перестала в неё верить. Она повторяла её по инерции.

Она пробовала работать в разных антифашистских комитетах. Её сторонились. Отшивали отовсюду любезно, но решительно. Она отдала почти все свои деньги в фонд антифашистского движения. Даже этим она не снискала ничего доверия.

Наконец своей настойчивостью и упорством она добилась того, что к ней стали относиться терпимо. О, никакой серьёзной работы ей не поручали никогда! До сих пор она сталкивается с тем, что люди, разговаривавшие между собой, в её присутствии внезапно замолкают. Но теперь по крайней мере ей разрешают работать. Она работает в антифашистской лиге. Собирает деньги, выполняет всякие мелкие поручения... Впрочем, это уже не имеет отношения к тому вопросу, который интересовал Эрнста.

Никаких сведений о Роберте она за всё это время не получала. Вот теперь — письмо... Первое и последнее...

Эрнст сидит молча, сгорбившись, подперев голову руками. Да, так приблизительно ему описывал это дело, со слов Роберта, старик Эберхардт. Очевидно, так оно и было. Подозревать старика нет никаких оснований.

Он вытаскивает из кармана пачку листов, исписанных рукой Роберта, и протягивает их Маргрет.

— Вот всё, что передал мне старик Эберхардт. Из письма Роберта ко мне видно, что он волнуется за свои черновики. Он явно надеется, что черновики эти остались у вас. Впечатление такое, будто после выхода из Дахау он пытался внести в отдельные главы своей книги «Царь Питекантроп Последний» кое-какие изменения и коррективы. Посмотрите, вряд ли что-нибудь из этого удастся использовать. Разрозненные отрывки, пометки, печальные фразы... У вас ничего не осталось? Никаких набросков?

— Нет. Они забрали всё. Даже его старые письма ко мне.

— А вы не смогли бы восстановить по памяти хотя бы план этой вещи, дать краткое изложение использованного в ней материала?

— Боюсь, что не сумею. О содержании документов, которые имел в своём распоряжении Роберт, я уже извещала здешних товарищей. Но те отнеслись довольно недоверчиво. Они сказали мне, что нельзя выступать с такого рода сенсационными разоблачениями, не имея на руках никаких вещественных доказательств. Кое-какие материалы относительно поджога рейхстага уже частично опубликованы по другим источникам. А воссоздать самый дух книги, комплекс её идей, дать представление о неопровержимой убедительности её аргументации — этого я, конечно, сделать не смогу.

Эрнст массирует пальцами подбородок. Это у него признак озабоченности и раздумья.

— Что же, раз сделать ничего нельзя, надо спасать хотя бы то, что можно. Надо спасти старика Эберхардта. Если его не вывезти из Германии, он там окончательно спятит с ума. Всё письмо Роберта ко мне переполнено заклинаниями помочь старику. По словам Роберта, у отца имеют-

ся чрезвычайно ценные научные работы, которые он не в состоянии ни закончить, ни опубликовать. Травят его на каждом шагу. Повышибали отовсюду как марксиста... Как вам это нравится? Эберхардт-старший — марксист!.. Словом, если не помочь ему выбраться за границу, песенка его спета. Да, впрочем, вот вам письмо, прочтите сами.

— Чем же я могу помочь? — говорит с горечью Маргрет после паузы, возвращая Эрнсту письмо. — Я абсолютно бессильна. Попытаться поднять кампанию через нашу антифашистскую лигу? Но тогда гестапо будет это связывать с делом Роберта и не выпустит старика наверное.

— Нет, это надо сделать без большого шума. Иначе они там старика затюкают. Много ему не надо. Я видел его после смерти Роберта — это уже почти развалина... Надо вам попробовать написать Эйнштейну. Эйнштейн старика знает и, говорят, очень высоко ценит. Он сможет пустить в ход солидные иностранные научные организации. Скажем, вызвать старика на какой-нибудь международный конгресс. Поднажать, чтобы ему выдали паспорт. Старик особой опасности для «наци» не представляет. Во избежание международных протестов могут его и выпустить.

— Не думаю. Будут опасаться, как бы он не раструбил за границей про то, что сделали с его сыном.

— У вас есть другой путь?

— Нет.

— Значит, надо испробовать этот.

— Хорошо, я напишу. А вы не думаете, что печальная слава Роберта в наших антифашистских кругах может повредить и отцу? Левые учёные, не знающие старика лично, услышав фамилию Эберхардт, вряд ли проявят в этом деле особое рвение.

— Роберта в ближайшее время мы реабилитируем... насколько это будет возможно.

— Хорошо, я напишу сегодня же.

— Написать мало, Эйнштейн может вам не ответить. Попробуйте атаковать его сразу с нескольких сторон. Лучше всего через кого-либо из видных французских учёных: Ланжевен, Минэр, разве я знаю? Обратитесь к Ромен Роллану, попросите его написать. Если изложите подробно всё дело, он не откажет. Попытайтесь использовать все возможные пути.

— Можете быть покойны, я сделаю больше, чем будет в моих силах.

— Вот приблизительно всё, — говорит Эрнст, поднимаясь.

— Эрнст!

— Да?

— Вы едете обратно в Германию?

— Как придётся.

Маргрет густо краснеет:

— Вы тоже мне не доверяете?

— Почему не доверяю?

— Разве мне нельзя сказать прямо: да, я еду в Германию.

— Я еду туда, дорогая Маргрет, куда меня посылают. Скажут: в Германию — поеду в Германию, скажут: в Китай — значит, в Китай.

— Зачем такие уклончивые ответы? Я знаю, вы едете в Германию. Возьмите меня с собой, Эрнст.

— Это ещё зачем?

— Я хочу работать в подполье. О, я мечтаю об этом давно! Помогите мне, Эрнст! Помните, Роберт тогда, перед отъездом в Швейцарию, просил вас со мной дружить? Будьте моим другом, хоть немножечко! Возьмите меня в Германию! Если вы не хотите сделать это для меня, сделайте для Роберта! Я пробовала проситься здесь, но я поняла, что это бесполезно. Мне не верят. Вы один знаете меня лучше всех и не имеете ни оснований, ни права меня подозревать. Вы один можете мне в этом помочь. Возьмите меня в Германию!

Эрнст пожимает плечами.

— Как вы себе это представляете? Как я могу взять вас в Германию? Что у меня, фабрика паспортов?

— Я знаю, это трудно: я беспартийная. Но ведь если вы дадите мне рекомендацию, меня примут в партию там, на месте. — Она смотрит на него с мольбой.

— И что вы собираетесь там делать? — спрашивает он с улыбкой.

— Всё, что мне скажут! Хоть воззвания клеить по заборам! Не улыбайтесь, я буду с готовностью делать самую чёрную работу. Разве там мало работы?

— Детские разговоры, дорогая Маргрет. Поглядите на себя. Ну, какая из вас подпольщица? Что вы можете делать в Германии на нелегальном положении? Ничего не можете делать. На фабрике работать не можете — слепой увидит, что вы никакая не работница. Опыта не то что подпольной, а вообще партийной, массовой работы у вас нет никакого. Воззваний мы в последнее время расклеиваем возможно меньше, так что маляров нам не надо. Ну, какая от вас польза?

— Неужели уж от меня нигде никакой пользы? — В глазах её блестят слёзы.

— Нет, почему же! Я только говорю, что на нелегальном положении вы никакой пользы принести нам не можете.

— А где я могу её принести?

— Хотите послушаться моего совета?

— Конечно, хочу.

— Поезжайте в Германию легально.

— То есть как это?

— Очень просто. Помиритесь с отцом.

— Что-о-о?! И это вы мне говорите?!

— Ну вот! Не надо сразу краснеть и возмущаться. Я вижу, вы готовы меня отколотить. Я же не советую вам помириться с отцом всерьёз. Я говорю: сделайте это для вида. Это для вас самый простой способ легализовать себя в Германии. А вот на легальном положении вы могли бы нам быть очень и очень полезны.

— Нет, это невозможно! Вы хотите, чтобы от меня отвернулись даже те немногие люди, которые мне хоть сколько-нибудь верят!

— Если вы свою революционную работу ставите в зависимость от того, что кто-то от вас отвернётся или повернётся...

— После всего того, что было, если бы я даже помирилась с отцом, они будут наблюдать за каждым моим шагом и не поверят ни одному моему слову. Я буду жить, как в тюрьме, под постоянным надзором. Никакой пользы в таких условиях я принести вам не смогу. Если бы я никогда не убегала с Робертом и не работала полтора года в эмиграции, в антифашистском движении, тогда бы я могла рассчитывать, что обману их и вотрюсь к ним в доверие.

— Тогда это было бы совсем легко. Теперь это значительно труднее, только и всего. Но ведь вы сами говорите, что готовы взяться за любую работу, не только за ту, что полегче.

— Вы требуете от меня жертвы совершенно бесцельной.

— Прежде всего, я ничего от вас не требую. Это вы требуете от меня совета, и я вам его даю. Если вы хотите действительно работать для революционного движения, то слово «жертва» придётся вам выкинуть из лексикона.

Она отворачивается к окну. Водит в молчапии пальцем по стеклу. Брови её сдвинуты. Эрнст не спеша набивает трубку. Пусть девушка подумает. Это всегда полезно.

— Допустим, я пошла бы на это... на примирение с семьёй... — Последние слова она выговаривает с заметным трудом. — Как вы себе представляете мою работу?

— Как я себе представляю? Примерно так: вы приезжаете домой, как блудная овца. Вы соскучились по семье, по Берлину, по Германии. Эмиграция вас разочаровала. К тому же у вас никогда не было особо сильных революционных убеждений. Вы просто любили Роберта и поэтому пошли за ним...

— Это что, ваше мнение обо мне или моя предполагаемая роль?

— Ну, что вы! Если бы я был о вас такого дурного мнения, разве я стал бы с вами говорить о серьёзной работе?.. Итак, с момента бегства Роберта ваша связь с революционным движением фактически оборвалась. Дело с Робертом для вас не совсем ясно. Но факт остаётся фактом: его печатное заявление уверило вас в том, что и он разочаровался в своих старых убеждениях. Некоторое время вы шли с антифашистами ещё по инерции. Остальное довершила эмиграция. В среде эмиграции вы чувствовали себя всегда чужеродным телом. Вот, так сказать, психологические предпосылки вашего решения вернуться в Германию. Всё это будет звучать довольно правдоподобно.

— Я в этом не уверена.

— Конечно, вначале к вам будут присматриваться, не без этого. Держите себя по возможности естественно. Не проявляйте телячьего восторга по поводу гитлеровского режима. Такое слишком ретивое обращение могло бы им показаться подозрительным. Не щадите критических замечаний, но, понятно, соблюдайте пропорцию: положительное должно превалировать. Если к тому же вам удалось бы устроиться на работу к отцу, может быть, в его личном секретариате, вы стали бы для нас неоценимым источником информации. И тогда насчёт поручений будьте покойны! За поручениями дело не станет... Какие у вас были раньше отношения с отцом? Очень прохладные?

— Средние. После отъезда, конечно, никаких.

— Напишите ему лирическое письмо. Старые люди по отношению к блудным дочерям бывают сентиментальны.

— О, что касается его, то он пойдёт на примирение со мной с величайшей готовностью. Вы понимаете сами, я здорово компрометирую его по службе. Он много бы дал, чтобы ликвидировать этот семейный скандалчик. Не дальше как вчера я получила по пневматической почте записку от его знакомого, находящегося проездом в Париже. Этот господин просит у меня свидания для разговора по поручению моего отца. За последний год это третий по счёту парламентар. Вчерашнюю записку я порвала и выкинула, как и предыдущие.

— Жаль, было бы очень кстати. Обошлось бы даже без лирического письма.

— Погодите, я её, кажется, бросила в печку.

Она приседает на пол и, приоткрыв дверцу «саламандры», выгребает из неё кучу рваных бумажек. Голубые клочки «пневматика» просвечивают там вперемешку с клочьями обёртки от мыла и скомканными вырезками из газет.

— Это изрядная каналья! — говорит она, собирая клочья голубой записки. — Не отец. Впрочем, отец, конечно, тоже. Но я говорю про этого, про Фришофа. Авантюрист каких мало. Организовывал вместе с Гиммлером охранные отряды. Теперь, кажется, работает в гестапо. Я не преминула вчера же известить о его прибытии наших товарищей. Ясно, он приехал сюда не с визитом ко мне. Это так, при случае, маленькое одолжение Бернгарду фон Вальденау. У Фришофа есть тут, несомненно, свои тёмные дела. Я дала нашим ребятам его адрес. Они хотят снять этого господина при выходе из гостиницы и поместить его портрет в «Юманите»,

снабдив краткой политической биографией. Всё это под сочным заголовком: «Палачи германского народа безнаказанно бродят среди нас!» Вот собралась, кажется, все кусочки. Погодите, сейчас сложим... Помочь вам, или разберёте сами?

— Нет, тут кое-чего не хватает.

— Давайте, я вам сейчас расшифрую: «Многоуважаемая фрейлейн Маргарита! Я беру на себя смелость убедительно просить вас уделить мне, если вы найдёте возможным, несколько минут для личного разговора...» Видите, какой галантный подлец! «...Ваш уважаемый отец накануне моего отъезда из Берлина просил передать вам лично несколько слов. Зная ваше доброе сердце...» Вот мерзавец! «...я надеюсь, что вы поможете мне выполнить желание глубоко несчастного старого человека, который не просит вас ни о чём, кроме того, чтобы вы меня выслушали. Разговор наш не будет носить решительно никакого политического характера...» Вот это место лучше всего! «...тем самым, встреча со мной ни в какой мере не задевает ваших личных убеждений...» Как вам это нравится? «...Если всё же вы не сочтёте возможным принять меня, мы можем встретиться где-нибудь на нейтральной почве, по вашему выбору и усмотрению. О нашей беседе, каков бы ни был её исход, — могу вас в этом торжественно заверить — не узнает никогда никто ни из ваших, ни из моих друзей...» Ловко, а? «...Моё уважение к вашему достопочтенному отцу является в этом достаточной гарантией. То, что мне хочется вам сообщить, я уверен, не может не представлять для вас интереса, поскольку касается в равной степени как вашей семьи, так и г-на Р. Э.» Видите, какая каналья? Хочет меня взять на удочку моих отношений с Робертом!.. А дальше тут адрес и всякие выражения глубочайшего почтения.

Эрнст в раздумье попыхивает трубкой.

— Вы хорошо знаете этого господина Фришофа?

— Как вам сказать? Он бывал частым гостем в семье Вальденау. Нечто вроде друга дома. Некоторое время пробовал за мной ухаживать. Вы его не знаете совсем?

— Лично, к счастью, не знаю. Но слышал о нём немало. Это очень крупная рыба. Вот кто может в три счёта выпустить старого Эберхардта!

— Что же, по-вашему, мне надо сделать?

— Надо ему ответить. Условиться с ним где-нибудь в кафе. Встречаться с этими господами с глазу на глаз не стоит. В разговоре выразить своё согласие вернуться в Германию.

— Как мне написать эту записку? Посоветуйте.

— Есть у вас тут под рукой пневматик? И пишущая машинка есть? Великолепно. От руки писать не надо. Садитесь, я вам продиктую. Готово?

— Да.

— «Уважаемый господин Фришоф! Завтра в десять часов утра буду...» Ну, где?

— В кафе де-ля-Пэ.

— «...буду в кафе де-ля-Пэ. Там сможем переговорить». Точка, всё. Поставьте число. Подписи не надо... Кстати, насчёт Роберта, что бы ни сообщил вам этот господин Фришоф, принимайте всё за чистую монету. Если он сообщит вам о смерти Роберта, не показывайте вида, что знаете об этом из другого источника. Если он об этом не заикнётся и попытается вас шантажировать — скажем, покажет вам письмо, в котором Роберт вызывает вас в Германию, — дайте ему понять, что между вами и Робертом давно всё кончено и перспектива встречи с ним ни в какой мере не влияет на ваше решение. Скорее наоборот, она вам неприятна.

— Я, право, не знаю, сумею ли я настолько владеть собой, чтобы разыграть всю эту комедию. Боюсь, вы переоцениваете мои силы.

— Это зависит только от степени вашей ненависти. Если вы ненавидите их по-настоящему, вы сумеете обмануть их отлично.

Она проводит ладонью по щеке, словно хочет стереть с неё краску возбуждения. Минуту она и Эрнст смотрят друг на друга.

— Эрнст! — говорит она, глядя ему в глаза. — Я сделаю всё, что вы велите. Но вот я приеду туда... я смогу с вами встретиться? Получать от вас инструкции? Время от времени?

— Это будет очень трудно, Маргрет.

— Но вы меня свяжете с кем-нибудь из товарищей?

— Пока в этом нет никакой надобности.

— Как «нет надобности»? А когда же будет надобность?

— Когда вы обоснуетесь и начнёте хорошо работать.

— Одна? Совсем одна?

— Обосноваться вы должны, конечно, одна. Никто из нас не может вам в этом помочь.

— Вы мне просто не доверяете. Как тогда, когда мы уезжали с Робертом. Вы тогда тоже отказались назвать мне какой-либо адрес.

— Я не имею основания сомневаться в вашей искренности. Но этого мало, Маргрет. Надо ещё доказать, что вы умеете работать. Каждый адрес — это человеческая жизнь. Как же вы хотите, чтобы мы жизнь наших товарищей отдавали в неопытные руки?

— Хорошо. Дайте мне какое-нибудь конкретное поручение. Дайте мне возможность завоевать ваше доверие.

— Вот вам первое поручение: отправка за границу старика Эберхардта. Выполните его — тогда посмотрим.

— А если я не смогу этого добиться, вы оставите меня там одну? Ведь я-то вас разыскать не сумею!

— Это нетрудное поручение, Маргрет. Если вы не сумеете выполнить даже его, это будет доказывать, что вы не сумели как следует обосноваться, не сумели использовать все возможности. Значит, с поручениями посложнее вы не справитесь и подавно.

— Вы очень жестоки, Эрнст!

— Я уверен, что вы справитесь.

— А если я справлюсь, тогда вы со мной свяжетесь?

— Тогда — другое дело.

— А если вы уедете? Вас же могут послать в другой город, за границу. Как же тогда? Ведь я сама никогда не смогу нащупать связи с вашими товарищами. Вы это понимаете? Мне ведь никто не поверит!

— Не бойтесь. Одну мы вас не оставим.

— Ну, на всякий случай, Эрнст! Хоть чьё-нибудь имя, хоть название пивной! Чтобы я чувствовала, что, если понадобится, на худой конец, я могу к кому-то обратиться.

— Нет, Маргрет, вы требуете от меня невозможного.

Она сжимает виски ладонями.

— Значит, я должна идти туда одна. Совершенно одна. Жить в одной клетке с дикими зверями, которые растерзали Роберта. Ходить, как они, на четырёх лапах. Окружённая презрением товарищей. Лишённая доверия и друзей и врагов...

— Я вас не уговариваю, Маргрет. Вы сами хотели работать в подполье. Это трудно. Очень трудно. Вы сначала обдумайте.

Она встряхивает головой.

— Эрнст, у меня к вам одна просьба. Не откажите мне в ней! Я хочу, чтобы вы присутствовали при моём разговоре с Фришофом. За соседним столиком, уткнувшись в газету. Хорошо?

— А зачем это нужно? Если вы боитесь, что я вам не доверяю, — это глупость.

— Мне будет легче говорить, если я буду знать, что вы меня слышите.

— Надо быть самостоятельной, Маргрет. Я при всех ваших разговорах присутствовать не смогу.

— Вы бы мне потом сделали указания: так ли я говорила? Правильный ли я взяла тон?..

— Вы это почувствуете великолепно сами.

— Вы отказываете мне даже в этом, в таком пустяке?

— Тот, кто хочет выучиться плавать, Маргрет, никогда не должен начинать плавать с пузырями.

Он поднимается с кресла.

— Вы уже уходите?

— Да, мне пора.

— Но вы ещё зайдёте ко мне? Завтра?

— Вряд ли. Боюсь, что не успею.

— Значит, я с вами больше не увижусь?

— Это будет зависеть от вас. В Париже, надо полагать, я буду не скоро... Всего хорошего! Не торопитесь, подумайте. Если раздумаете, не забудьте написать Эйнштейну насчёт старика Эберхардта.

— Вы же знаете, что я поеду!

Он улыбается ей от двери и сгибает в локте правую руку для ротфронтовского приветствия. Хлопнула дверь. Слышны его шаги по коридору.

— Эрнст!

Шаги остановились. Он возвращается.

— Вы меня звали?

— Да, мне немного страшно. Это ничего. Знаете, до вашего прихода я тут читала одну статейку. Вот эту. Прочтите последнюю фразу.

Он удивлённо берёт из её рук газету, пробегает глазами отмеченное место: «...Пройдут годы, она разучится говорить, а если захочет кричать, чтобы услышать свой голос, на неё наденут смирительную рубашку, и крик её всё равно не вырвется из колодца этих глухих тюремных стен...»

Он ищет глазами заголовок: «Виолет Нозьер в тюрьме Агено».

— Что это такое?

— Ничего. Я просто хотела, чтобы вы на минуту вернулись. Теперь уже можете идти... Помните, когда мы с вами прощались в тот раз, Роберт настаивал, чтобы мы перешли на «ты». Вы об этом забыли?

— Помню. Давайте... Давай будем говорить друг другу «ты».

— Хорошо, Эрнст. Ну, иди, ты торопиться. Я думаю, тебе не придётся за меня краснеть...

3

Когда двумя часами позже она выходит из своей комнаты одетая для улицы и поворачивает ключ в замке, двери англичанина попрежнему открыты. Неужели у этого дурака нет другого занятия?

Не глядя, она проходит мимо.

«Да здравствует парижанка! Вот лозунг дня и вот политическая программа нового иллюстрированного журнала «Париж». Вы найдёте в нём: «Ночь в Сингапуре», «Почти королева», «Девственность 35», «Салон № 4», «Любовь по-американски». Нашумевший отдел: «Любовь через призму книг». Оригинальный конкурс идеально сложенных читательниц. Сто смелых фото! Цена номера 5 франков».

Маргрет переходит улицу. Нагие деревья Люксембургского сада обступают её, как старые знакомые. Она идёт одна серединой пустынной аллеи. «Прости, любезный мой город Париж, расстаться я должен с тобой». Откуда это? Ах, да, это Гейне! А как же дальше? «Я покидаю счастливый тебя, с весёлою душою...» Нет, этого она не могла бы сказать про себя! Наоборот, на душе у неё совсем не весело. На язык просятся

скорее слова печали и траура: «Болеет немецкое сердце моё, его одолела истоста...» А впрочем, не будем сентиментальны.

Под голой каменной нимфой, прильнув друг к другу, стоят мужчина и девушка. Маргрет ускоряет шаг. Со стороны бульвара Сен-Мишель до неё долетают звуки гармоники и чей-то картавый назидательный голос, разучивающий популярную песенку. У решётки сада вокруг гармониста и певца столпилась группа людей с нотами в руках и послушно, хором, репетирует припев: «Потому что любовь, любовь — это вроде как боль зубов. Она не шутит, придёт и скрутит, согнёт, как пруттик,— и ты готов!»

Маргрет машинально поворачивает к сенату. Проходя мимо бассейна, она слышит вдруг за своей спиной умоляющий мужской голос, беспомощно коверкающий французские слова:

— Мадемуазель, вы так спешите... Я не могу за вас успеть.

Она оборачивается. Это англичанин из гостиницы.

— Что вам надо? — спрашивает она гневно.

— Смотреть на вас, — говорит он с видом провинившегося школьника. — И чтобы вы на меня не сердились...

Его неподдельное смущение настолько забавно, что она не может не улыбнуться. Видно, он сам совершенно подавлен своей смелостью.

— Слушайте, мистер, как вас там звать? — говорит она уже ласковее, по-английски.

— Калми.

— Слушайте, мистер Калми. Разрешите дать вам совет. Я говорю с вами потому, что, мне кажется, вы не пошляк. Но вы обращаетесь не по адресу. Из вашего знакомства со мной ничего не выйдет. Если вы будете приставать ко мне, вы ничего не добьётесь, кроме неприятностей.

— У вас есть друг?..

— Если вам так понятнее, — да, у меня есть друг. И знакомиться мне с вами неинтересно. Ничего в этом обидного нет. Не теряйте зря времени и найдите себе поскорее девушку по вкусу. В Париже большой выбор. Горевать вам долго не придётся — я всё равно на днях уезжаю. Не отвлекайте меня последних дней. Хорошо? А сейчас, пожалуйста, оставьте меня в покое. Мне хочется побыть одной. Вы, кажется, достаточно воспитанны, чтобы не навязывать своего общества женщине, когда она этого не желает. До свидания, мистер Калми.

На этот раз он действительно отстал. «Смешной малый! Столько дней не мог решиться, наконец собрался с духом, и вдруг такой конфуз. Очень сожалею, но помочь ничем не могу».

Один бок улицы дю Бак образует решётка Люксембургского сада. Через решётку, как сквозь обнажённые рёбра улицы, долетает хриплое дыхание автомобилей.

«...Потому что любовь, любовь — это вроде как боль зубов...»

Узкая извилистая улочка выводит Маргрет на бульвар Сен-Жермен. При виде почтового отделения Маргрет вспоминает, что у неё в сумке лежит голубой пневматик, адресованный господину Фришофу. Если она пройдёт сейчас мимо, не достанет из сумки и не опустит в щель голубое письмо, в её жизни ничего не изменится. Она попрежнему останется жить в «любезном городе Париже», и никто никогда не узнает, что она собиралась его покинуть. Стоит только продолжить путь и перестать об этом думать. Она ещё свободна. Ничего пока не случилось...

Она видит перед собой грустные, чуточку насмешливые глаза Эрнста, затейливую, распыляющую струйку табачного дыма.

«Но ведь не обязательно же сделать это вот сию минуту! Можно и завтра. Разве это убежит?»

Она машинально раскрывает сумку, достаёт оттуда голубое письмо и, не думая, бросает его в щель пневматической трубы. Ощущение такое,

будто это она сама бросилась сейчас головой вниз в безвоздушную, бездонную яму. На секунду Маргрет закрывает глаза и прислоняется к стене, чтобы не упасть. У неё кружится голова.

— Мадемуазель, вам нездоровится? Разрешите предложить такси?

Смуглый элегантный молодой человек — египтянин или аргентинец, — приподняв серую фетровую шляпу, смотрит на Маргрет с неподдельным участием.

— Нет, спасибо. Я совсем здорова.

Она стремительно поворачивает за угол и, ускоряя шаг, спускается к Понт-Неф. Крохотный буксирчик тащит по Сене выводок гружёных барж. Каменный мост пролетает над ним, как парабола снаряда, выпущенного с левого берега в Тюльери.

Перейдя мост, Маргрет останавливается на минуту, чтобы пропустить паводок автомобилей. Ждать приходится слишком долго. Она сворачивает вправо, на площадь Карусель. Серая подкова Лувра закрывает горизонт с востока — величавый каменный тупик. Маргрет поворачивает назад, в широкую просеку Тюльери. Арка на площади Карусель кажется уменьшенной проекцией Триумфальной арки, возвышающейся там, на другом краю горизонта.

Маргрет идёт аллеей Тюльерийского парка. Мимо увядших клумб, мимо скамеек, заселённых нянками и детворой, мимо влюблённых пар, которым пяток обнажённых деревьев кажется непроницаемой чашей.

«Прощай, о лёгкий французский народ, мои весёлые братья. Влечёт меня вдаль дурацкая боль, но скоро вернусь опять я...» Нет, оттуда, куда она едет, не возвращаются!

Площадь Согласия разверзается у её ног, как озеро, покрытое коркой асфальта. В глазах мелькают лоснящиеся тюленьи спины автомобилей. Побить одной! Полчаса побить одной! Она спускается в гостеприимно распахнутую пасть станции метро, поглощённая мечтой о тихих, безлюдных улочках Верхнего Монмартра.

На станции Коленкур переполненный лифт поднимает её со дна глубокого каменного колодца на обочину Монмартрского холма. Пустынной улочкой, круто карабкающейся вверх, она почти вбегает на вершину и останавливается, задыхаясь, у подножия костёла Сакре-Кер.

Ей давно ненавистен этот белый бутафорский костёл, предательски надетый на макушку Парижа, как дурацкий колпак на голову еретика, приговорённого к сожжению. Она видит в нём всегда символ опасности, угрожающей этому свободолюбивому городу со стороны тёмных торжествующих сил средневековья. Но сейчас ей не хочется об этом думать. Повернувшись к костёлу спиной, она останавливается у самого края обрыва, откуда Ниагарой ступенек низвергаются вниз, на лежащий у подножия город, белые водопады лестниц.

Облокотившись на перила, она наклоняется над распростёртой у ног рельефной картой Парижа. Ей кажется, она впервые понимает, почему так крепко полюбила именно этот город — своеобразную мозаику десятка не похожих друг на друга городов, связанных воедино подземными коридорами метро.

Вот он, затерянный где-то посредине, город Больших бульваров, всегда напоминающий ей Вену. Вот раскинулся вокруг площади Биржи шумливый Торговый город — слепок Гамбурга и лондонского Сити. Вот дальше, к востоку, мрачный Менильмонтан со своим лабиринтом косо вздыбленных улочек — портовый город, оторванный от моря и задыхающийся в каменной давке домов. Вот разделённые друг от друга десятками километров разноликих улиц и площадей два города, летом одинаково утопающих в зелени: город Мёртвых — Пер-Лашез, на востоке, и город Богатых — Насси, на западе, где особняки разбросаны среди деревьев, как комфортабельные родовые гробницы. Вот Гар-де-л'Эст —

город; дремлющих каналов и всегда неподвижных барж. Вот под ногами тихий провинциальный Верхний Монмартр. И ещё, и ещё — всех не перечить — от запущенного пустыря холма Шомон до старательно разграфлённого и выстриженного Марсова поля, откуда вытягивает в небо свою непомерно длинную шею криволапая Эйфелева башня — помесь таксы с жирафом.

Маргрет долго стоит, перегнувшись через балюстраду, вода глазами, как пальцем, по выпуклой карте Парижа. Гулкий медный звук заставляет её вздрогнуть. Это колокол Сакре-Кер.

С каких пор она здесь стоит? Видимо, времени осталось в обрез. А ей хочется побывать всюду. Пройтись по бульвару Орнано. Постоять на углу площади Итали. Заглянуть на улицу Веселья. Забежать в парк Монсури.

Она торопливо спускается вниз по уступам белой широкой лестницы. Под её ногами мелькают ступеньки. Сколько их?

Острое ощущение неповторимости всего, что она сейчас видит, становится почти болезненным. Так, вероятно, спускаются в последний раз по лестнице жильцы дома, предназначенного на снос, пытаясь унести на подошвах неповторимое прикосновение каждой знакомой стёртой ступеньки. Или люди, покидающие дом, чтобы отправиться в клинику на тяжёлую операцию, исход которой никогда не известен.

Она бежит вниз, но ступенькам не видно конца, и ей кажется, будто она висит попрежнему где-то на полпути, между вершиной и подножием. На Сакре-Кер, размеренно отсчитывая такт, гудит одинокий колокол: через каждые четыре ступеньки — один удар колокола. «Прости, о лёгкий французский народ, мои весёлые братья. Влечёт меня вдалёк дурацкая боль, не скоро вернусь опять я...»

4

Вечером поезд метро высаживает её на станции Монпарнас. Маргрет поднимается на тротуар через просторный люк, выходящий на террасу кафе «Ротонда». Люди появляются из люка и исчезают в нём, как театральные привидения. Уже горят вечерние огни. На тротуаре, под брезентовым тентом, вокруг ажурных железных печурок, начищённых по горло пылающими угольками, зябко толпятся одноногие столики и четвероногие летние кресла. Обычай отапливать улицу при помощи двух железных печек звучит, как добродушная насмешка над зимой.

Мимо магазина Феликса Потена, щедро раскинувшего на каменном прилавке тротуара свои гастрономические чудеса, мимо кофеен и ресторанчиков Маргрет шагает по направлению аллеи Обсерватории. В зале «Бюлье» сегодня вечером должен состояться грандиозный митинг в ознаменование двух годовщин: всеобщей забастовки 12 февраля 1934 года и Венского восстания.

За стёклами освещённых витрин мимо Маргрет плывут целые кладбища мольбертов, леса кистей, белые квадраты незапятнанных краской холстов — окна в мир, ещё закрытые ставнями.

На углу бульвара Пор-Руаяль и аллеи Обсерватории густая толпа медленно просачивается в зал «Бюлье», сжимаемая синими шпалерами полицейских. Несмотря на такое скопище народа, всё происходит удивительно тихо и чинно. Недаром утренняя «Юманите» предупреждала участников сегодняшних митингов держать себя дисциплинированно и не поддаваться на полицейские провокации. По аллее и бульвару взад и вперёд стайками снуют жандармы на своих неизменных велосипедах. Где-то неподалёку слышен цокот лошадиных копыт. Вероятно, в соседних улочках, не на виду, на всякий случай припрятаны наряды национальной гвардии.

Через битком набитый зал, способный вместить тысяч пять людей, Маргрет протискивается к стене, где осталось ещё несколько свободных стульев. Судя по количеству народа, ожидающего на улице, добрая половина не сможет попасть на митинг и скоро запрудит аллею. Столкновения с полицией, как всегда в таких случаях, почти неизбежны.

Митинг открывает Франшон. Он предлагает собравшимся почтить вставанием память борцов антифашистского фронта, павших в славный день 9 февраля и в последующих стычках.

Весь зал с грохотом поднимается на ноги.

Франшон зачитывает список:

— «Венсан Перез, 31 год, металлист; Луи Лешен, 20 лет, член Генеральной конфедерации труда; Морис Бюро, 27 лет; Эрнст Шарбах, 30 лет, — убиты 9 февраля в Париже; Альбер Пердро, 35 лет, бетонщик, — убит «патриотической молодёжью» в Шавиль; Марк Тайе, 38 лет, металлист, — убит 12 февраля на баррикадах в Булонь-сюр-Сен; Венсан Морис, 35 лет, — убит в Малакоф; Эжен Буден, 37 лет, плотник; Вотеро, 22 года, письмоносец, — убит 12 февраля в Марселе...

Зал стоит неподвижно, затаив дыхание. С каждой новой фамилией пальцы рук крепче сжимаются в кулаки.

— ...Серано — убит 12 февраля в Алжире; Люсьен Риве, шофёр такси, — убит 20 февраля штрейкбрехером; Анри Виллемен, 19 лет, бетонщик, — убит 26 февраля в Менильмонтан; Морис Ив, 30 лет, — убит 3 марта в тюрьме Сантэ; Жозеф Фронтен, 57 лет, горняк, — убит 11 апреля королевскими молодчиками в Энен-Льетар; Роже Скотиратти, 16 лет...

Глухой рокот в зале.

— ...убит 9 мая полицейским комиссаром Пошоном в Ливри-Гарган; Жан Лами, 20 лет, лудильщик, — убит «патриотической молодёжью» в Монтаржи...

Кажется, не будет конца этому траурному списку. Лица стоящих навтыжку людей неподвижны и суровы. Резко очерченные подбородки. Сощуренные ненавистью глаза. Где-то в конце зала раздался и стих пронзительный женский плач. Вероятно, жена кого-нибудь из убитых. Ни одна голова не повернулась в её сторону.

— ...Руссель, 40 лет, — убит прикладом «гард мобиль» в Тулузе; Жюсток, 36 лет, — убит прикладом в Лионе; Габриэль Бесс, 35 лет, — убит в Лионе штрейкбрехерами и полицией...

— Вста-авай!... — раздаётся вдруг у стены чей-то звонкий, певучий голос. Тишина давит на барабанные перепонки.

— Проклятьем заклеимённый!... — не то вскрикивают, не то запевают несколько разрозненных голосов.

И вдруг весь зал раздражается «Интернационалом». Ливень голосов. Сухие полураскрытые губы с облегчением ловят слова, крупные и тяжёлые, как капли. Зал гудит. Сотрясаемые раскатами песни, звенят стёкла. Каждому кажется, что это звенит у него в ушах.

Когда наконец наступает молчание, слово берёт Франшон.

Он говорит об исторической схватке 9 февраля, когда парижский пролетариат в течение пяти часов оставался хозяином улицы. О мужественном ответе парижского народа, вздыбившего в этот день на пути наступающего фашизма непреодолимую преграду из баррикад. О единении всех прогрессивных сил страны против меченосцев реакции, вдохновляемых безнаказанными бесчинствами своих германских братьев в фашизме. О героических попытках венских шуцбундовцев загородить своими трупами дорогу фашизму в Австрии. О зверских расправах во всех тех странах, где пролетариат в союзе с мелкобуржуазными слоями города и деревни не сумел во-время отразить нашествие врага. О драконовском приговоре венгерского фашистского правосудия Матиасу Ракоши. Он говорит о едином Народном фронте всех трудящихся и мыслящих французов,

о который, как о бетонную плотину, разобьются неистовые волны реакции.

Его провожают оглушительным взрывом рукоплесканий. Наконец водворяется тишина. Но вот с улицы в зал входят Торез и Леон Блюм, и аплодисменты вспыхивают вновь.

Социалистический депутат Лонге сообщает с трибуны о том, что комиссия иностранных дел Палаты депутатов послала венгерскому правительству протест против приговора Ракоши.

Бородатый человек в очках — представитель Лиги защиты прав человека и гражданина — пространно говорит о культуре, об угрожающем ей новом Средневековье и о простом человеке с молотом, призванном стать отныне на страже тысячелетних завоеваний человеческого ума.

Слово представляется Леону Блюму. Он поднимается на трибуну, поправляет пенсне, близорукими глазами обводит зал.

— Граждане!..

— Товарищи! — хором поправляют его из зала.

— Граждане!..

— Товарищи!.. — гремит, как непослушное эхо, зал. — Говори: товарищи!

Шум нарастает, заглушая слова оратора.

Блюм пробует переждать. Затем оборачивается к Торезу и жестом просит его успокоить собрание. Торез поднимает руку. В зале залегает тишина.

Блюм произносит блестяще построенную защитительную речь в пользу слова «гражданин», рождённого Великой Французской революцией и получившего вторичное право гражданства из рук Парижской Коммуны. Закруглённые риторические периоды, преисполненные изящества и благородного пафоса, плавно падают в зал. Маргрет забывает на минуту, что она на митинге в здании, оцепленном полицией. Трибуна превратилась в кафедру Сорбонны, с которой тонкий лингвист очаровывает слушателей экскурсами в прошлое, полными остроумия и эрудиции.

В нескольких рядах раздаются аплодисменты.

Новый ораторский оборот — и речь в защиту слова «гражданин» превращается в защитительную речь в пользу идеи Народного фронта. Теперь уже аплодирует почти половина зала. Блюм говорит о необходимости единения всех рабочих, без различия партий, во имя защиты свободы и демократии.

Ему кричат из зала: «Почему реформистские профсоюзы саботируют соглашение с унитариями?»

Он нервно поправляет пенсне. Чувствуется, он привык, чтобы его слушали, не перебивая, и эти реплики аудитории, дезорганизирующие правильно построенную речь, мешают ему развернуть начатую мысль по всем правилам риторического искусства. Однако он отвечает: к сожалению, он не в курсе всего хода переговоров между СЖТ и СЖТЮ¹. Но он полагает, если партии социалистов и коммунистов сумели перед лицом врага найти общий язык и создать орган, взаимно увязывающий их действия, осуществление профсоюзного единства тем более желательно и необходимо. Он лично не только уверен в благополучном исходе переговоров, но и всей душой жаждет их скорейшего успешного завершения.

Его провожают дружные аплодисменты всего зала.

Встаёт Франшон и сообщает, что слово имеет представитель Германской коммунистической партии, только что прибывший из фашистской Германии.

Как будто по залу прошёл электрический ток. Все лица поворачиваются к президиуму. Где? Который?

¹ Реформистское и левое объединения профсоюзов.

И вдруг на трибуне, неизвестно откуда, вырастает человек. Чёрные непроницаемые очки, просторный гасконский берет, скрывающий волосы. В сочетании с чёрными очками и синим беретом лицо кажется бледным и изнурённым. Товарищ из Германии! Хотя до границы всего несколько часов езды, это звучит почти как призрак с того света!

Весь зал встаёт в одном стихийном порыве. Грохот аплодисментов, внезапный, как обвал. Воздух звенит «Интернационалом».

Маргрет не может петь. Горло её душит спазма. Тело дрожит, как в лихорадке. Хочется прислониться лбом к стене и заплакать. Она стоит, выпрямившись, и беззвучными губами повторяет слова песни.

Новый электрический разряд аплодисментов.

Тем временем вокруг трибуны уже незаметно очутились несколько дюжих парней в беретах, с красными звёздочками в петлице. Это импровизированная охрана для немецкого товарища на случай вторжения полиции. Маргрет улыбается сквозь слёзы. О, эти не подпустят к нему никого на расстояние трёх шагов!

Немецкий товарищ начинает говорить. Он говорит по-французски, с лёгким акцентом, мягко закругляя слова.

Он говорит о стране, превращённой в застенок, о диких, кровавых расправах, которыми гитлеровская клика пытается сломить сопротивление лучших людей Германии. О словах, которые пахнут человечиною: Дахау, Ораниянбаум... И все понимают: траурный список жертв фашизма здесь, на французской земле, оглашённый сегодня Фроншоном, — это лишь одна страница, вырванная из тома страшного обвинительного заключения.

Он говорит о нищете германского народа, вызванной гонкой вооружений, о разнузданной пропаганде новой, скорейшей войны, о десятках тысяч баллонов удушливых газов, производимых каждые сутки красильной, фармацевтической и парфюмерной промышленностью современной Германии. В зале напряжённая тишина. Приглушённо ворчат вентиляторы. И всем кажется вдруг, что это пролетают уже над сонным Парижем эскадрильи германских бомбардировщиков.

Он говорит о торжестве глупости и тупоумия, о плановом истреблении всех, кто способен мыслить и творить, о детях, черепа которых с колбыбели сдвлены стальным шлемом, как некогда ступни китайянок, заключённые в старозаветные колодки. Он говорит о щупальцах фашистской инквизиции, запущенных в окрестные страны, чтобы подкупом, террором и изменой заглушить сопротивление демократических масс и подготовить почву для вооружённого вторжения, о многочисленных агентах Гитлера, шныряющих по Европе. Он зачитывает короткий, неполный список агентов гестапо, орудующих под ложными фамилиями здесь, в Париже, и Маргрет вздрагивает, услышав фамилию англичанина Калми, под которой скрывается германский шпион Ганс Мейер.

Он говорит о бесчинствах коммивояжёров господина Гесса, совершаемых ими безнаказанно на территории демократических стран...

— Я хочу вам рассказать, для примера, историю молодого антифашистского учёного-эмигранта, доктора Роберта Эберхардта, похищенного в Швейцарии агентами гестапо и замученного в лагере Дахау...

Старый рабочий Пьер Бориак в восемнадцатом ряду нагибается и поднимает с пола кепку. Что с этой мадемуазель, которая сидит с ним рядом? Ни с того ни с сего она вскочила с места и уронила его кепку. Теперь сидит красная. Теперь опять бледнеет. Засунула пальцы в рот, будто боится закричать. Вот-вот опять вскочит.

— Мадемуазель, сидите спокойно, не мешайте слушать.

Но Маргрет не слышит. Эрнст! Да это же Эрнст! Она сдерживает себя силой, чтобы не закричать. Как она могла не узнать его сразу по го-

лосу? Это потому, что он говорит по-французски. И потом, она не слышала его никогда выступающим на митинге.

Ей кажется, что сквозь чёрные очки она ясно различает серые, чуть насмешливые глаза и сквозь берет — светлые волосы, зачёсанные назад. Знакомое, дорогое лицо!

Он всё ещё говорит о Роберте. О его книге, никогда не увидевшей свет. О нашествии питекантропов. О заговоре равнодушных.

Маргрет напряжённо слушает. Она не замечает, что присутствующие в зале немецкие эмигранты, ещё вчера относившиеся к ней со скрытой брезгливостью и нескрываемым недоверием, теперь смотрят в её сторону с тёплой виноватой улыбкой. Она не видит ничего, кроме лица Эрнста, для неё одной чётко проступающего сквозь чёрные очки.

Он говорит о бедственном положении трудового народа в Германии, о положении рабочих, о положении крестьян, мелких служащих, мелких торговцев, интеллигенции. Слова его давят. Невыносимым грузом ложатся на плечи. И когда слушатели, низко понурив головы, кажутся подавленными его страшным повествованием, он бросает им, как спасательный круг, короткое мужественное «но»...

Но рабочий класс Германии не сломить никакими репрессиями! Он борется, он организуется, он становится всё сплочённее, объединяя вокруг себя все здоровые, творческие силы страны.

Но движение за единый фронт — подлинный могильщик фашизма — растёт и крепнет во всех уцелевших демократических странах!

Фашистская язва исчезнет с лица земли в тот день, когда будет разбит заговор равнодушных, когда тысячи людей перестанут оказывать поддержку палачам одним фактом своего нейтралитета. Ни одного мыслящего трудового человека вне антифашистского фронта!..

В зале стоит уже не грохот, а неистовый рёв аплодисментов. Немецкий товарищ исчез с трибуны так же стремительно, как на ней появился. Парни в беретах исчезли куда-то тоже.

Маргрет хочет броситься вон из зала, нагнать Эрнста у запасного выхода, обменяться с ним хоть парой слов. Но она понимает: сделать этого нельзя.

На трибуну поднимается Торез.

Маргрет пришла на сегодняшний митинг специально, чтобы его послушать, но сейчас она не в состоянии слышать что-либо, кроме гула в висках. Она смотрит на сосредоточенные лица соседей. Для них всех выпавший только что человек — «немецкий товарищ». Она одна здесь знает его подлинное имя. Она выпрямляется, гордая сознанием того, что ей впервые доверена большая партийная тайна. Никто из присутствующих не догадывается, что «немецкий товарищ» сказал ей сегодня утром, у неё на квартире: «Роберта в ближайшее время мы реабилитируем...»

«Немецкий товарищ» выполнил своё обещание. А она? А что, разве она не выполнила своего? Разве она не отправила письма Фришофу? Да, отправила, но с какими колебаниями. Сейчас ей стыдно за весь сегодняшний день, исполненный малодушных метаний и чувства собственной обречённости. Сейчас она ощущает себя здесь уже не эмигранткой, работницей антифашистской лиги, а представительницей партии, от имени которой говорил только что Эрнст.

Да, она счастливее многих сидящих в этом зале. Она едет в логово врага не как заложница, нет, — как боец, выполняющий почётное задание славной Коммунистической партии Германии. Если когда-нибудь ей придётся сюда вернуться, её будут звать уже не мадемуазель Маргарита, её будут звать «немецкий товарищ».

И когда зал в третий раз раздражается «Интернационалом», она поднимается и поёт вместе со всеми, но поёт уже по-немецки.

Утро на улице Бельвиль начинается криком газетчика, ворвавшегося в ещё сонные переулки со свежим номером «Юманите», шумом открываемых ажурных ставен, грохотом ручных тележек, которые чинно выстраиваются вдоль тротуара.

На громыхающих тележках въезжают в Бельвиль огороды, опростанные от земли, пахучие гряды сельдерея, петрушки, свёклы, простоволосых, кудрявых и гофрированных салатов. В это время года, правда, они довольно дороги. Но зато приправьте их слегка уксусом и горчицей, поставьте к ним пол-литра красного, и самый худой кусок самого дрянного мяса покажется вам вкуснее отборного жеребьячьего бифштекса.

На громыхающих тележках въезжает в Бельвиль скот. Никакого намёка на то, что ещё вчера всё это бляело, хрюкало, прыгало, размахивало хвостом, называлось «Нанет» или «Коко» и поворачивало голову на звук собственного имени. Теперь это называется: огузок, вырезка, сшибок, край, завиток, гольё... Когда человек работает, как вол, ему не до вегетарианства. Ему нужен добрый кусок воловьего мяса.

На громыхающих тележках въезжает в Бельвиль море. Оно не так-то уж далеко, но мало кто из бельвильцев, за исключением разве бывших матросов, видел его иначе, как в кино. Зато каждый день они могут любоваться его изнанкой. Правда, лангусты забредают сюда редко, но всякая рыбёшка прёт поутру целыми косяками. Это дешевле мяса, и экономный господин бог не зря приказал верующим питаться рыбкой не реже раза в неделю. Жителям Бельвиля, чтобы связать концы с концами, приходится многократно перевыполнять этот божий завет. Если вам надоел мерлан и опротивела камбала, вы можете утешить себя супом из морских моллюсков и закусить его отварными морскими звёздами.

Утром, уходя на работу, мужчины вдыхают смешанный запах огородов, бойни и моря. Они торопятся и, самое большее, позволяют себе выпить у прилавка со случайно встретившимся товарищем по четвертинке красного и заглянуть на ходу в свежий номер «Юма́» — так сокращённо и ласкательно зовут они свою газету.

— Читал, Гаскон? Эти свиньи англичане выслали нашего Кашёна.

— Можешь быть покоен, Этьен, Кэ-д'Орсэй не пошлёт им по этому поводу ноты протеста.

На улице, в метро, у обитого цинком прилавка кафе только и разговоров, что о профсоюзном единстве. Переговоры явно затягиваются. Будет ли достигнуто наконец полное соглашение между обоими объединениями профсоюзов? Собственно говоря, тут, в Бельвиле, в низах, или, как принято здесь говорить, «в базе», оно достигнуто уже давно, год тому назад, 9 февраля. Но вожаки медлят, и многие конфедераты склонны уже без раздражения выслушивать колкости унитаров на предмет раскольнической работы реформистских бонз. И всё же после последней воскресной демонстрации на площади Республики всем ясно: единый фронт пролетариата уже существует. Сколько бы ни затянулись переговоры профсоюзных вождей, расторгнуть стихийно воссоздавшееся единство они не в состоянии. Но тем живее и взволнованнее законное нетерпение бельвильцев.

Последние фразы политических споров замирают в раскрытой глотке метро.

Продавцы, оставляя на минуту свои тележки, заходят промочить горло в ближайшее бистро. Последняя статья Тореза об интересах мелких лавочников разбирается по косточкам с наибольшим азартом именно здесь.

— Верьте моему слову, мосье Альбер! Каждый человек хочет ежедневно кушать свой бифштекс. Если я не заработаю его сам, никакое

правительство — будь оно самое левое из левых — не поднесёт мне его на сковороде. С кем я торгую? Кто у меня покупает моих улиток? Может быть, богачи с Елисейских полей? Может быть, я состою компаньоном у Прюнье? Может быть, эти господа приезжают к вам и распивают у вас шампанское? Нет, я стою здесь каждый день перед вашим бистро, и я их что-то у вас не видел. Мы с вами, мосье Альбер, кормим рабочих, и они кормят нас. Тот, кто урезывает заработок наших клиентов, вынимает его из нашего с вами кошелька. Правильно говорю?

Эрнст идёт по улице Бельвиль по направлению к бульвару. Мимо открытых настежь зеленных, мимо мясных лавок с золотой лошадиной мордой, гордо вздыбленной над тротуаром, мимо тележек с овощами и морской снедью, окружённых уже в этот час толпой хозяйюшек с клеёнчатыми сумками. Как отточенные ножи в руках базарного фокусника, мелькают в воздухе серебряные рыбы, падая плашмя на медную чашу весов. Как зелёные волосы русалки, торчат из сумок, среди морских ежей и креветок, длинные космы сельдерея...

На углу бульвара большое скопище людей. Под хриплые вздохи гармоника низкий приятный мужской голос полуговорит, полупоёт, подстёгиваемый жеманными взвизгами гитары:

«Мосье де-ля-Рок получил урок, бедный, весь истёк злостью, когда зол и лют, на парижский люд замахнулся шут тростью. Но на мостовой встретил нас с тобой, а нас много сот тысяч. Мы без лишних слов можем высесть вновь его цепных «крестовиков». Если попробуют начать, споёмте хором им опять...»

И вдруг, послушное приглашению певца, всё сборище хором подхватывает, скандируя, неожиданный, почти маршевый припев.

Эрнст присматривается с интересом ко всё возрастающей кучке женщин и мужчин, усердно, по нотам, разучивающих песенку. Неподальку маячит равнодушная спина полицейского в куцей пелеринке — условное геометрическое изображение власти: синий равнобедренный треугольник на тонких ошипанных ножках.

«...Мосье Тетанже позабыл уже...»

Эрнст идёт по бульвару, напевая вслух запомнившийся припев: «Фашистам пройти не позволим!..» В Берлине прохожие смотрели бы на него, как на сумасшедшего, не говоря уже о том, что первый попавшийся шупо или «наци», разобрав слова, велел бы ему поднять руки вверх и следовать вовсе не в том направлении, куда ему надо. Здесь никто не обращает на него внимания. Песенка, видимо, достаточно популярна. Встречная девушка дарит его дружеской улыбкой и подхватывает вполголоса: «Смотрите, быть худу! Парижскому люду нельзя наступать на мозоли!..»

Он идёт дальше, напевая. Давно он не чувствовал себя так легко и радостно. В этом квартале хочется пожать руку каждому встречному и встречной. Товарищи! И какие товарищи!

Мысль о том, что завтра ему придётся распрощаться с Бельвилем и Парижем, может быть, навсегда, уехать обратно в Германию, застаёт его врасплох. Эрнст старается её отогнать. Она отступает и возвращается в другом облачении. Теперь её нельзя уже отогнать, теперь её имя Маргрет.

Правильно ли он поступил, уговорив Маргрет вернуться в Германию? Зачем он это сделал? Чувство жалости к Маргрет настигает его внезапно, как удар ножом в спину. Какой вздор! Она же сама хотела работать! Он указал ей участок, на котором она сможет быть полезна, — только и всего. Если человек искренне желает работать, почему же его не использовать?

Ему кажется сейчас, что он незаслуженно обидел Маргрет, обошёлся с ней чересчур сухо и сурово. Почему он отказался повидаться с ней ещё

раз? Он великолепно мог выкроить время, у него сегодня вовсе не так уж много дел.

Ему не хочется признаться перед самим собой: он отказался от встречи с Маргрет именно потому, что ему самому хотелось этой встречи. Во время их разговора были минуты, когда — дай он волю этим дурацким нервам — он готов был корчиться от невыразимой жалости к ней, ну, простой человеческой, мягкотелой жалости. Были минуты, когда ему хотелось погладить Маргрет по волосам, стереть пальцами застывшие в уголках её глаз слёзы. Ему во-время припомнился Дживанни. Хорош приятель, который, приехав к невесте замученного друга, обнаруживает в себе такого рода чувства! Потому-то Эрнст и обошёлся с ней, пожалуй, суровее и жёстче, чем этого требовали обстоятельства.

Но при чём тут она? Чем же она виновата? Тем, что позвала его обратно, когда он уже уходил, и напомнила про сцену их последнего прощания... Разве она не покраснела, когда спрашивала у него: «Вы об этом забыли?» Впрочем, возможно, она сказала это без всякого умысла. Во всяком случае, эта жалость к ней не стоит выеденного яйца! Что он, по сути дела, знает об этой девице? В Германии он держался по отношению к ней всегда настороже и был тысячу раз прав. А сейчас? Разве сейчас у него нет больше, чем когда-либо, оснований не доверять ей? Что он о ней знает? То, что она рассказала сама о себе?

Нет, положим, это не совсем так! Прежде, чем её повидать, он собрал о ней, о её жизни и работе в эмиграции, довольно всесторонние сведения. Потому-то он и зашёл к Маргрет только накануне отъезда. По правде, она не сказала ему ничего такого, чего он не знал бы из других источников.

И всё же надо было воспользоваться её просьбой и согласиться присутствовать при её разговоре с Фришофом. Из дурацких личных соображений он упустил случай проверить её лишний раз. Чёрт их знает, какие у неё с Фришофом были раньше отношения и о чём будут разговаривать эти старые знакомые! Впрочем, не комедия ли всё это? Не звала ли она его, Эрнста, в кафе только затем, чтобы показать его Фришофу? Так или иначе, он поступил совершенно правильно, уклонившись от этой встречи.

Но тут он вспоминает про германского шпиона Ганса Мейера, проживающего, как он об этом узнал только вчера, в той же гостинице, что и Маргрет. Эрнст останавливается в нерешительности. Не должен ли он предостеречь об этом Маргрет? Конечно, должен! Это его прямая обязанность. Заходить к Маргрет в гостиницу было бы неблагоприятно. Проще всего постараться встретить её по дороге из кафе де-ля-Пэ. Сейчас половина одиннадцатого. Если поторопиться...

Не раздумывая, он спускается на ближайшую станцию метро.

Выходя на площади Оперы, он не знает ещё в точности, как именно ему следует поступить. В кафе он, конечно, не зайдёт. Он подождёт Маргрет у выхода, пойдёт за ней следом и нагонит её по дороге. Глупее всего, если он опоздает. Уже без четверти одиннадцать!

Рассталкивая пассажиров, он взбегаёт наверх. Табун автомобилей загораживает ему дорогу. Он протискивается между машинами, рискуя каждую минуту быть задавленным, и достигает угла улицы де-ля-Пэ. По всем данным, это где-то здесь. Автомобили расступаются, открывая перед ним дорогу. Поток пешеходов выносит Эрнста прямо к дверям большого фешенебельного кафе и почти сталкивает его с Маргрет, выходящей оттуда в сопровождении высокого, даже долговязого, мужчины, одетого в элегантное зимнее пальто с воротником из кенгуру. Длинная серая машина плавно подкатывает к тротуару.

Эрнсту некуда деться. Стоит ему сделать шаг — и он загородит Маргрет и господину Фришофу дорогу к машине. Сзади на него напирают

прохожие. Он делает резкий полуоборот, толкает дверь и входит в кафе. Через стёкла турникета он видит, как господин Фришоф подсаживает Маргрет в машину. Маргрет протягивает ему руку. Фришоф сгибается пополам и запечатлевает на её пальцах почтительный поцелуй. Затем отступает на тротуар и захлопывает за Маргрет дверцу машины. Автомобиль уехал. Господин Фришоф возвращается в кафе.

Эрнст стремительно направляется к свободному столику у витрины, заказывает кофе и «Журнал де Деба».

Господин Фришоф спокойно возвращается к своему столику и подносит к губам чашку. Эрнст созерцает его из-за газеты. Безукоризненно выбритое лицо с прямым, выдающимся, как клюв, носом. Лысеющая голова — редкие, считанные волосы старательно расчёсаны на пробор. Пучки морщинок в углах чёрных внимательных глаз. На вид ему лет сорок, но может быть, и меньше. Большой чувственный рот, спереди два золотых зуба — отличная примета. Вид у господина Фришофа скорее задумчивый и озадаченный. Особого самодовольства незаметно. Должно быть, Маргрет недостаточно умело справилась со своей ролью и навела собеседника на размышления. Так или иначе, поскольку она уехала на его машине, ясно — примирение состоялось. Молодчина Маргрет! Если она и не сумела с места окопачить этого пройдоху, во всяком случае, она сделала в основном то, что от неё требовалось.

Господин Фришоф проводит пальцем по верхней губе. Видимо, здесь ещё не так давно красовались усики. Сбрил перед поездкой за границу?

Но тут Эрнст внезапно отводит глаза от господина Фришофа. Всё его внимание привлекают двое только что вошедших мужчин, с порога озирающих зал. Вот так забавная встреча! Да это же тот самый советский товарищ, в облачении которого Эрнсту удалось выскользнуть месяц тому назад в Берлине из гостиницы. Проскочить, как называется, меж пальцев гестапо! Если бы даже Эрнст не запомнил так хорошо его лицо, то, во всяком случае, его пальто и шляпа знакомы ему отлично.

Интереснее всего, что и второй мужчина, в великолепном пальто из серого драпа с широкими лацканами, кажется Эрнсту знакомым. Не может быть сомнений, Эрнст видал его не раз в обществе подозрительных фигур, теснейшим образом связанных с полицией. Насколько помнится, это какой-то ренегат, русский, — кажется, невозвращенец. Но каким образом советский товарищ мог очутиться в его компании? Хотя нет! Видимо, они вошли вместе совершенно случайно. Советский товарищ садится за столик один.

Зато тот, другой, подсаживается прямо к столику Фришофа. Вот как! Это пахнет каким-то конспиративным свиданием! Эрнст напрягает слух, но эти господа говорят слишком тихо, до него долетают лишь невразумительные обрывки фраз.

Фришоф зовёт гарсона. Расплачивается. О-о! Советский товарищ расплачивается тоже. А ведь он только что пришёл!

Фришоф с собеседником выходят. Несколько секунд спустя поднимается и выходит советский товарищ. Что такое?

Эрнст выходит следом за ними. Серая машина, отвёзшая Маргрет, снова подкатывает к тротуару. Господин Фришоф говорит что-то шофёру. Машина уезжает. Фришоф в сопровождении русского медленно направляется к стоянке такси. Советский товарищ следует за ними на расстоянии нескольких шагов. Фришоф с русским садятся в такси. Ворчит мотор, но машина не трогается, ждут кого-то третьего. Так оно и есть! Советский товарищ подходит к такси и открывает дверцу. В эту минуту он оглядывается и видит Эрнста.

Эрнст прячется за спину объёмистой мадам, но уже поздно, тот его узнал! Застыл на секунду с ногой на ступеньке такси. Затем быстро исчез внутри машины, резко захлопнув за собой дверцу. Такси трогается

с места. Эрнст явственно видит чьё-то лицо, прильнувшее к заднему окошку автомобиля. Потом такси исчезает в широком потоке машин.

Эрнст медленной походкой идёт по улице де-ля-Пэ. Он взволнован. Кто это может быть? Шпион с советским паспортом? Приехал из СССР?.. Впрочем, ведь это можно установить. Проверить, кто из советских граждан, проживающих сейчас в Париже, останавливался месяц тому назад в Берлине, в таком-то отеле.

Час спустя на левом берегу Сены Эрнст заходит в небольшое кафе, заказывает стакан какао, просит перо и бумагу. На четвертушке бумаги с фирмой заведения он пишет в углу: «Совершенно секретно!..» — и дальше, посередине листка, мелким ровным почерком: «Секретарю коммунистической ячейки Полномочного представительства СССР в Париже, улица Гренель».

Только к вечеру Эрнсту удаётся разыскать верного французского товарища, которому он вручает письмо с просьбой передать по адресу. Письмо чрезвычайно важное и должно попасть прямо в руки того, кому оно адресовано! Товарищ Жан обещает. Завтра же оно будет передано по назначению. На прощание Эрнст и Жан крепкожимают друг другу руки. Товарищ Жан торопится. Сегодня вечером у него три митинга.

В зале «Матюрен-Моро» митинг уже в разгаре. Товарища Жана пропускают немедленно после очередного оратора. Он произносит пламенную речь о профсоюзном единстве и, провожаемый аплодисментами, мчится в «Гранж-о-Бель». Он проходит в президиум, обдумывая по дороге своё очередное выступление. Надо хоть набросать тезисы. В эти жаркие дни никогда не успеваешь как следует подготовиться!

Он вынимает карандаш, достаёт из кармана какой-то конверт — каждый день столько писем! — и на обратной стороне набрасывает несколько тезисов. Его вызывают на трибуну. Он говорит с подъёмом. Развив очередной тезис, он загибает бумажку. К концу выступления в руке у него свёрнутая бумажная трубочка. Он рвёт её машинально в клочья и бросает в пепельницу. Провожаемый аплодисментами, он спешит в «Бель вилюз».

Ночью уборщица вытряхивает пепельницы в мусорные вёдра. На рассвете мусор подбирают автомобили муниципального хозяйства.

На следующий день товарищ Жан, вспомнив про обещание, данное товарищу из Германии, долго перетряхивает карманы. Письма в кармане нет. Где же он мог его потерять?

Расстроенный, он пускается на поиски немецкого товарища. Он попросит у него извинения, узнает, какого рода было это злосчастное письмо, и — если это дело поправимое — предпримет всё, что будет в его силах.

В соответствующей инстанции он узнаёт с искренним огорчением, что немецкий товарищ сегодня на рассвете отбыл в Германию...

Конец первой части.

Москва, 1937 г.

(На этом обрывается рукопись романа Бруно Ясенского «Заговор равнодушных»)



РАСУЛ ГАМЗАТОВ

★

ГРУЗИНСКИМ ДЕВУШКАМ

Могу поклясться именем поэта,
Что на манер восточный не хитрю,
Ведь я сейчас,
 прошу учесть вас это,
Не за столом грузинским говорю.

Известен всем того стола обычай:
Поднявший гост
 имеет все права
На то, чтобы слегка преувеличить,
Лишь подбирай пообразней слова.

Но я в стихах так действовать не в силах.
О девушки грузинские,
 не лгу,
Что вас, очаровательных и милых,
Я позабыть в разлуке не могу.

Зачем у вас так много «цинандали»
Мужчины пьют?
 Их не пойму вовек;
Меня лишь ваши очи опьяняли,
А за столом я стойкий человек.

Ей-богу, не шучу я.
 В самом деле,
Завидно мне, что вновь одной из вас
Счастливец на проспекте Руставели
Свидание назначил в этот час.

Хоть дикарём меня вы назовите,
Хоть пожелайте сверзиться с горы,
Но я бы вас,
 уж вы меня простите,
Не выпускал из дома без чадры.

Припомнив стародавние обиды,
Вы нынче отомстили мне сполна
За то, что вас аварские мюриды
В седые увозили времена.

Как вы со мной жестоко поступили:
Без боя,
 обаянием одним,
Мгновенно сердце бедное пленили
И сделали заложником своим.

Но, чтобы мне не лопнуть от досады
И не лишиться разума совсем,
Одену вас я в горские наряды,
Назначив героинями поэм.

В ущельях познакомлю с родниками,
Ведя тропинкой,
 что узка, как нить,
И будете вы жить под облаками
И в дымных саклях замуж выходить.

В поэмах тех
 узнают вас грузины,
Но верю: не обидятся в душе
И не найдут достаточной причины,
Чтоб обвинить аварца в грабеже.

Пусть продолжают думать на досуге,
Что на заре глубокой старины
Им были за особые заслуги
Чудесные создания даны.

Искрятся звёзды над вершиной горной.
О девушки грузинские,
 не лгу,
Я пленник ваш,
 я ваш слуга покорный,
Живущий на каспийском берегу.

Мне ваши косы видятся тугие,
Мне ваши речи нежные слышны.
Но всё, что я сказал вам,
 дорогие,
Держите в тайне от моей жены!

Перевод с аварского Я. Козловского.



БЕРНАРД ШОУ

★

ОДНОАКТНАЯ ПЬЕСА И ОТРЫВКИ ИЗ РАДИОРЕЧИ

26 июля сего года исполняется сто лет со дня рождения Бернарда Шоу. По призыву Всемирного Совета Мира передовая общественность всех стран отмечает эту дату.

Юбилей Шоу несколько выделяется среди других торжеств подобного рода, ибо Шоу наш современник, умерший всего лишь шесть лет тому назад. Начав литературную деятельность в восьмидесятих годах прошлого века, он на протяжении почти семидесяти лет, вплоть до самой кончины, посвящал своё драматургическое и публицистическое творчество наиболее острым социально-политическим и этическим проблемам. Произведения Шоу и сейчас злободневны в самом лучшем смысле этого слова.

Писатель-гражданин, он посвятил свой талант служению великому делу социалистического преобразования общества. Характеризуя его деятельность, орган Коммунистической партии Великобритании «Дейли уоркер» писал в связи с кончиной Шоу: «Бернард Шоу жил и умер социалистом. Все свои долгие годы он работал, чтобы донести идеи социализма до английского народа и до народов всего мира. Он называл себя коммунистом. Он с энтузиазмом поддерживал русскую революцию с самого её начала. Он оставался другом Советского государства до последних дней своей жизни».

Произведения Бернарда Шоу широко известны в нашей стране. Его пьесы ставятся в театрах и систематически переиздаются. Однако на русском языке ещё нет полного собрания художественных и публицистических произведений писателя. Ниже редакция публикует впервые русский перевод небольшой одноактной пьесы Шоу.

«О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории» принадлежит к серии пьес-памфлетов о первой мировой войне, которые были напечатаны Шоу в 1919 году. Пьеса эта была написана в 1916 году. Шоу создал это произведение в свойственной ему острой парадоксальной манере. Эта небольшая сатирическая комедия Шоу посвящена в основном теме буржуазного патриотизма. Когда в годы первой мировой войны английская пропаганда изображала дело так, будто бы союзники воюют против Германии, преследуя освободительные, антиимпериалистические цели, Шоу указывал в своих статьях, что английские ленд-лорды ничем не лучше прусских юнкеров. В своей комедии Шоу подчёркивал, что империалистическая Англия, претендовавшая на роль свободного и демократического государства, держала в угнетении другие народы, в частности родину Шоу — Ирландию. Конечно, Шоу только шутил, когда утверждал, будто написал эту пьесу в качестве пропагандистского произведения с целью привлечения ирландских солдат в армию. Достаточно только вспомнить основной тезис вербовщика О'Флаэрти, чтобы убедиться в этом. Он призывает ирландцев вступить в английскую армию, чтобы избавиться от тягот жизни у себя дома. По условиям военного времени Шоу не мог яснее выразить свою мысль, но ирландцы понимали всю иронию писателя, когда он якобы призывал их вступить в армию, чтобы защищать интересы их угнетателей. Пьеса Шоу имеет ясно выраженную сатирическую направленность против милитаризма и национального угнетения.

Публикуемая одновременно речь Бернарда Шоу была произнесена им по радио после его поездки в СССР, где писатель отпраздновал своё 75-летие. Читателю надо вспомнить, что это было время первой пятилетки, когда почти вся буржуазная пресса во враждебном тоне писала о социалистическом строительстве в СССР, предвещая провал «русскому эксперименту». В многочисленных речах, статьях и интервью Шоу, на основании личных впечатлений, вынесенных от пребывания в СССР, опровергал клевету буржуазных журналистов и их злобные «пророчества». Из поездки в нашу страну Шоу вынес убеждение, что СССР обогнал в своём социальном развитии страны капитализма, как раз в это время переживавшие тяжелейшие последствия мирового экономического кризиса 1929—1932 годов.

О'ФЛАЭРТИ, КАВАЛЕР ОРДЕНА ВИКТОРИИ

Ирландский помещичий дом, окружённый парком. Погожий летний день; лето 1915 года. Аллея ведёт к выкрашенной белой краской террасе. Сбоку дверь террасы, на фасаде — окно. Терраса выходит на восток, дверь находится на её северной стороне. У южной стены дерево, на котором поёт дрозд. Под окном садовая скамья, по бокам её два железных стула.

Издалека доносятся четыре последних такта «Боже, храни короля», затем троекратное «ура». Потом оркестр начинает играть «Путь далёкий до Типперери», звуки удаляются и замирают.

Рядовой О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории, усталой походкой проходит по аллее к дому и валится на скамью. Дрозд с тревожным криком улетает. Слышен стук копыт.

Голос джентльмена. Тим! Эй, Тим! *(Слышно, как кто-то слезает с лошади.)*

Голос работника. Слушаю, ваша честь!

Голос джентльмена. Отведите лошадь в конюшню.

Голос работника. Слушаю, ваша честь! Но-о, пошла! Пошла! *(Лошадь уводят.)*

Сияя энтузиазмом, входит генерал сэр Пирс Медигэн, пожилой баронет в хаки. О'Флаэрти вскакивает и вытягивается.

Сэр Пирс. Не нужно, О'Флаэрти, оставьте. Вы сейчас не на службе. И помните, что, хоть я генерал и сорок лет в армии, ваш маленький крест ставит вас в списке славы выше меня.

О'Флаэрти *(становясь вольно)*. Благодарю вас, сэр Пирс, но я не хочу, чтобы кто-нибудь подумал, будто мой баронет позволяет простому солдату вроде меня сидеть в его присутствии без разрешения.

Сэр Пирс. Но ведь вы не простой солдат, О'Флаэрти, вы солдат необыкновенный, и я горжусь тем, что сегодня вы мой гость.

О'Флаэрти. Понимаю, сэр. Вам приходится многое прощать таким, как я, потому что вы занимаетесь вербовкой. Важные господажимают мне руку и говорят, что гордятся знакомством со мной. Совсем как король, когда прищипливал мне крест. И провалился мне на этом месте, сэр, королева мне сказала: «Я слышала, что вы родились в поместье генерала Медигэна. И генерал рассказывал, что вы всегда были украшением вашей деревни». «Эх, мэм, — говорю я ей, — знал бы генерал, сколько кроликов я переловил в его лесах, и сколько форелей выудил в его ручьях, и сколько коров я у него выдоил, он бы за браконьерство украсил мной окружающую тюрьму».

Сэр Пирс *(смеясь)*. На здоровье, мой милый. Ну *(он заставляет О'Флаэрти снова сесть)*, садитесь и отдыхайте — вы ведь в отпуску. *(Он садится на один из стульев — на тот, который стоит у глухой стены террасы.)*

О'Флаэрти. Отпуск? Я бы дал пять шиллингов, чтобы сейчас очутиться в окопах и спокойно отдохнуть. Я и не знал, что такое тяжёлая работа, пока не занялся вербовкой... Весь день на ногах, без концажимаешь руки, произносишь речи, ещё того хуже — слушаешь речи и в нужный момент кричишь «ура» королю и отечеству, салютуешь флагу, пока рука не отвалится. Потом слушаешь, как оркестр играет «Боже, храни короля» и «Типперери», и изо всех сил стараешься при этом выжать слезу — ведь так рисуют на картинках! Я уж даже сон потерял. Честное слово, сэр Пирс, я в первый раз услышал эту «Типперери», только приехав из Фландрии. Но она мне так осточертела, что, когда какой-то мальчуган однажды вечером на улице отсалютовал мне и начал её насвистывать, я съездил беднягу по уху, да простит меня господа!

Сэр Пирс (*стараясь успокоить его*). Я понимаю, я понимаю. Я знаю по опыту, как это может надоесть. Сколько раз я сам уставал, как собака, от парадов. Но ведь, с другой стороны, получаешь и какое-то удовлетворение. Ведь это всё-таки наш король и наше собственное отечество, не так ли?

О'Флаэрти. Конечно, сэр, это ваше отечество, раз у вас здесь поместье. А у меня тут ни кола ни двора. Ну, а король — храни его господь!.. — моя мать спустила бы с меня шкуру, если бы я попробовал признать другого короля, кроме Парнелла ¹.

Сэр Пирс (*встаёт в негодовании*). Ваша мать!.. Что вы болтаете, О'Флаэрти?! Такая преданная королю женщина! Чрезвычайно преданная. Когда кто-нибудь из членов королевской семьи болен, она при каждой встрече спрашивается у меня о его здоровье, как будто речь идёт о вас, о её единственном сыне.

О'Флаэрти. Она, конечно, мне мать, и я ничего дурного о ней сказать не хочу. Но святая правда, сэр, что большей смутьянки, чем моя мать, не найти до самого перекрёстка Моунастербойс. Она всегда стояла за фениев ² и заставляла бедного невинного ребёнка, то есть меня, каждое утро и вечер читать молитвы святому Патрику ³, чтобы он очистил Ирландию от англичан, как когда-то от змей. Может, вас, сэр Пирс, удивляет, что я вам это рассказываю?

Сэр Пирс (*возбуждённо ходит взад и вперёд*). Удивляет! Нет, я не удивлён. О'Флаэрти, я потрясён! (*Оборачивается к нему*.) Вы... вы шутите?

О'Флаэрти. Если бы вас растила моя мать, сэр, вы бы знали, что с ней шутки плохи. Я сказал вам правду. Я бы вам ничего не сказал, если бы знал, как мне быть, когда сюда явится моя матушка повидаться со своим прославленным сынком, — ведь она уверена, что я воевал против англичан.

Сэр Пирс. Я не ослышался? Вы решились на такую чудовищную ложь? Вы сказали ей, что сражаетесь на стороне немцев?

О'Флаэрти. Я говорил ей только правду, и ничего, кроме правды. Я ей сказал, что иду сражаться за французов и русских. А кому придёт в голову, что французы и русские на стороне англичан? Вот как обстояло дело, сэр. Бедная старуха расцеловала меня и целый день распевала своим скрипучим голосом: «Французы плывут, оранжисты ⁴ бегут, и все тут, — говорит Шэн Вэн Вахт ⁵».

Сэр Пирс (*садится, ослабев от волнения*). Я бы этому никогда не поверил! Никогда! Что же, по-вашему, случится, когда она узнает?

О'Флаэрти. Она не должна знать этого. Она изобьёт меня до полусмерти, несмотря на мой рост и заслуги. А потом — ведь я её люблю и не хочу разбивать ей сердце. Вы, пожалуй, не поверите, что я могу любить мать, которая била меня с тех пор, как я научился ходить, и до тех пор, пока я не научился бегать быстрее её. Но я её люблю и не стыжусь этого. Кроме того, я ей обязан своим крестом.

Сэр Пирс. Вашей матери? Почему?

О'Флаэрти. Потому что она приучила меня бояться бегства больше, чем драки. В детстве я был робким, и когда другие ребята меня били,

¹ Парнелл (1846—1891) — ирландский буржуазный националист, лидер сторонников гомруля, то есть движения за автономию Ирландии. (*Примеч. перев.*)

² Фенин — члены тайного ирландского общества, боровшегося за независимость Ирландии. (*Примеч. перев.*)

³ Святой, считавшийся покровителем Ирландии. (*Примеч. перев.*)

⁴ Оранжисты — члены ирландской ультрапротестантской партии. (*Примеч. перев.*)

⁵ Шэн Вэн Вахт — «Бедная старуха» (ирл.) — аллегорическое название Ирландии. (*Примеч. перев.*)

я ревел и убегал. Но каждый раз она задавала мне трёпку, чтобы я не позорил имя О'Флаэрти, и скоро я готов был драться хоть с чёртом, только бы она не узнала, что я испугался. Так я понял, что драться легче, чем кажется, что другие боятся меня так же, как я их, и, если продержаться немного дольше, они струсят и отступят. Вот почему я стал таким храбрым. Знаете, сэр Пирс, если бы немецкую армию вырастила моя мать, кайзер сегодня обедал бы в парадной столовой Бэкингемского дворца, а король Георг чистил бы ему сапоги в чулане.

Сэр Пирс. Мне это не нравится, О'Флаэрти. Невозможно дольше обманывать вашу мать. Это безнравственно.

О'Флаэрти. Невозможно, сэр? Плохо вы знаете, на что способен любящий сын! Разве вы не видели, как я умею врать?

Сэр Пирс. Конечно, занимаясь вербовкой, человек иногда увлекается. Я сам порою переступаю границы истины. В конце концов это делается ради короля и отечества. Но — простите меня, О'Флаэрти, — я всё-таки полагаю, что ваш рассказ о том, как вы в одиночку сражались с кайзером и двенадцатью великанами из прусской гвардии, мог бы только выиграть, если бы вы поменьше сгущали краски. Не поймите меня неправильно, я не прошу вас отказаться от него. Этот рассказ, несомненно, пользуется успехом. Но истина есть истина. Не кажется ли вам, что вербовка не пострадает, если вы уменьшите число гвардейцев до шести?

О'Флаэрти. Просто у вас нет той привычки к вранью, сэр, как у меня. Я хорошо напрактиковался ещё дома, спасая свою шкуру, когда я был молод и легкомыслен, и щадя чувства моей матушки, когда я подрос и начал их понимать. За всю жизнь я говорил моей мамаше правду не чаще двух раз в год. Неужели вы захотите, чтобы теперь, когда она ищет тихой и спокойной старости, я пошёл против собственной матери и перестал врать?

Сэр Пирс (*ощущая укоры совести*). Разумеется, это ваше личное дело, О'Флаэрти. Но, может быть, вам всё-таки стоило бы поговорить с отцом Куинленом?

О'Флаэрти. Поговорить с отцом Куинленом, как же! А вы знаете, что сказал мне отец Куинлен как раз сегодня утром?

Сэр Пирс. А, так вы его уже видели. Что же он сказал?

О'Флаэрти. Он сказал: «Ты ведь знаешь, что твой долг — долг христианина и доброго сына святой церкви — любить своих врагов». «Я знаю, что мой долг — долг солдата — убивать их», — говорю я. «Правильно, Динни», — говорит он, — правильно. Но, когда ты их убьёшь, ты можешь потом сделать доброе дело и выразить свою любовь к ним, — говорит он, — и поэтому твой долг — заказать мессу за души тех сотен немцев, которых ты, как сам говоришь, убил, — говорит он, — потому что многие из них были баварцами и хорошими католиками, — говорит». «С какой стати я должен платить за мессу по бошам? — говорю я. — Пусть за неё платят английский король, — говорю, — это его война, а не моя!»

Сэр Пирс (*горячо*). Это война всех честных людей и истинных патриотов, О'Флаэрти. Ваша мать, я знаю, согласится со мной. В конце концов она разумная и рассудительная женщина, она сможет разобраться, кто прав и кто виноват в этой войне. Почему бы вам не объяснить ей, из-за чего ведётся эта война?

О'Флаэрти. Ха! А почём я знаю, сэр, из-за чего она?

Сэр Пирс (*встаёт и возмущённо останавливается перед ним*). Что?! О'Флаэрти, вы понимаете, что вы говорите? У вас на груди орден Виктории. Его вы получили за то, что убили бог знает сколько немцев, и вы уверяете меня, что не знаете, зачем вы их убивали?

О'Флаэрти. Прошу прощения, сэр Пирс, этого я не говорил. Я очень хорошо знаю, зачем я их убивал. Я их убивал, потому что боялся, что иначе они убьют меня.

Сэр Пирс (*сдаётся и снова садится*). Да-да, конечно. Но разве вам неизвестны причины войны? Судьбы, решаемые ею? Важность — можно даже сказать, и я скажу! — святость прав, за которые мы сражаемся? Разве вы не читаете газет?

О'Флаэрти. Читаю, когда они мне попадают. Ведь по окопам газетчики не бегают. Но я всё-таки читал, сэр Пирс, что мы не разобьём бошей, пока не сделаем Орейшио Боттомли¹ лордом-наместником Англии. Это правда, сэр?

Сэр Пирс. Чепуха, мой милый! В Англии не бывает лордов-наместников. Наш лорд-наместник — король. Всё решает патриотизм. Или патриотизм для вас ничего не значит?

О'Флаэрти. Не то, что для вас, сэр. Для вас это Англия и английский король. Для меня и для таких, как я, быть патриотом — значит звать англичан так, как английские газеты обзывают бошей. А какую пользу принёс патриотизм Ирландии? Из-за него я остался тёмным человеком, а он вполне удовлетворял мою мать, и она думала, что мне его тоже будет достаточно. Из-за него Ирландия бедна: вместо того чтобы заниматься своим делом, мы считали себя истинными патриотами, если ругали англичан, которые не богаче нас самих и, может быть, ничем не хуже нас. Боши, которых я убивал, были образованнее меня; какая мне польза от того, что я их убил? Какая от этого польза кому-нибудь?

Сэр Пирс (*обиженный, натянуто*). Мне жаль, что испытания этой войны, величайшей войны в истории, не научили вас ничему другому, О'Флаэрти.

О'Флаэрти (*с достоинством*). Я бы не назвал её великой войной, сэр. Она, конечно, большая, но это не одно и то же. Новая церковь отца Куинлена — большая церковь. Старая часовня и в сравнение с ней не идёт. Но моя мать говорит, что в старой часовне было больше веры. И на войне я понял, что она, пожалуй, права.

Сэр Пирс (*оскорблённо фыркает*). Пф-ф!

О'Флаэрти (*почтительно, но упрямо*). И война научила меня ещё кое-чему, сэр, — с вашего разрешения, это касается вас и меня.

Сэр Пирс (*всё ещё обиженно*). Надеюсь, что в этом нет ничего оскорбительного для меня, О'Флаэрти.

О'Флаэрти. Благодаря войне я и разговариваю сейчас с вами прямо и открыто, сэр, так, как с вами никогда не говорили ваши арендаторы. Я впервые проявляю к вам настоящее уважение, сэр. Может быть, вы предпочли бы, чтобы я лицемерил и врал вам, как все здешние ребята, которые предпочитают слушать о моей драке с кайзером, — а ведь я его никогда и в глаза не видел, — чем выслушать от меня правду. Но я не могу обманывать вас, как прежде, даже если вам и покажется, что я дерзок и загордился оттого, что получил крест.

Сэр Пирс (*тронутый*). Ну, что вы, О'Флаэрти, ну, что вы!

О'Флаэрти. А по правде говоря, зачем мне этот крест? Разве только, что он даёт мне маленькую пенсию. Вы думаете, я не знаю, что сотни людей, ничуть не уступавшие мне в храбрости, получали за неё в награду только брань сержанта и упрёки за ошибки тех, что командовали ими? Я научился гораздо большему, чем вы думаете, сэр. Ведь откуда знать такому джентльмену, как вы, каким тёмным, самодовольным оболтусом я был, когда отправился бродить по белу свету? Какой смысл врать, лицемерить и притворяться, раз приходит час, когда твоего товарища убивают в окопе рядом с тобой, а ты даже не обернёшься, чтобы посмотреть на него, разве что споткнёшься о его труп, да и тогда только спросишь, како-

¹ Орейшио Боттомли — член английского парламента, финансовый делец, неоднократно терпел банкротство. В начале первой мировой войны — патриотический оратор и владелец нескольких газет. (*Примеч. перев.*)

го чёрта санитары не уберут его с дороги? Зачем мне читать газеты, где мне лгут и говорят красивые слова те, у кого хватило хитрости остаться дома и послать меня воевать вместо себя? Не говорите солдатам, таким, как я, что это война справедливая. Нет, это несправедливая война. И вся вода, которую освятил отец Куинлен, не очистила бы её. Так-то, сэр! Теперь вы знаете, что думает О'Флаэрти, кавалер ордена Виктории, и знаете больше, чем те, которым известно только, что он сделал.

Сэр Пирс (*уклоняясь от возражения, ласково*). Ну, как бы то ни было, вы проявили храбрость и мужество.

О'Флаэрти. Бог лучше нас с вами знает, так ли это, генерал. Надеюсь, что он не покарает меня за них слишком строго.

Сэр Пирс (*сочувственно*). Я понимаю, мы все порой предаёмся серьёзным размышлениям, особенно когда несколько переутомлены. Боюсь, что я замучил вас этой вербовкой. Но на сегодня, пожалуй, достаточно, а завтра воскресенье. Да и у меня больше нет сил. (*Он смотрит на часы.*) Пора пить чай. Что могло задержать вашу матушку?

О'Флаэрти. Старушка, наверно, страшно горда, что будет пить чай за одним столом с вами, сэр, а не на кухне. Она, должно быть, разделилась, как могла, а по дороге останавливается у каждой двери, чтобы похвастать, куда она идёт, и весь приход лопаётся от зависти и досады. Но, конечно, ей не следовало бы заставлять вас ждать, сэр.

Сэр Пирс. Ничего, ничего. В такой день ей всё прощается! Как жаль, что моя жена в Лондоне: она была бы так рада повидать вашу матушку.

О'Флаэрти. Я знаю, сэр. Она всегда была другом бедных. Её милость, храни её господь, и понятия не имела, какие у нас чёрные души. Мы казались ей просто забавными. Ведь она англичанка, сэр. В этом всё и дело. Она смотрела на нас, как я на сенегальцев, когда в первый раз их увидел. Почему-то мне казалось, что они не могут быть такими же лжецами, ворами, сплетниками и пьяницами, как все мы, христиане. О, её милость и не догадывалась, что происходит за её спиной, — да откуда ей было догадаться? Когда я был ещё совсем малышом, она дала мне как-то пенни — первый пенни в моей жизни! В тот вечер я сам решил попросить господина обратить её в истинную веру. Ведь я всегда молился по приказанию матери о том, чтобы и вы, сэр, обратились...

Сэр Пирс (*возмущённо*). Ваша мать заставляла вас молиться об этом?..

О'Флаэрти. Ну конечно. Не могла же она после того, как выкормила вашего сына грудью, а мою сестрёнку Энни — соской, допустить, чтобы такой джентльмен, как вы, попал в ад. Вот так-то, сэр. Она обворовывала и обманывала вас и призывала благословение неба на вашу голову, когда продавала вам ваших же трёх гусей, сэр, тех самых, которых утащила лиса в тот день, когда их кончили откармливать, сэр. И всё это время, сэр, вы были для нас, как её собственная плоть и кровь. Сколько раз она говорила, что ещё увидит вас добрым католиком. Она уверяла, что вы ещё поведёте победоносную армию против англичан и надеетесь золотое ожерелье, которое Малахия¹ отнял у гордого завоевателя. Моя мать — романтичная женщина, сэр, что и говорить.

Сэр Пирс (*в смятении*). Право, я не могу вам поверить, О'Флаэрти. Я всегда считал вашу мать честнейшей женщиной!

О'Флаэрти. Вы правы, сэр, честнее её не найти.

Сэр Пирс. По-вашему, красть моих гусей честно?

О'Флаэрти. Она их не крала, сэр. Это я их крад.

Сэр Пирс. А? А вы какого чёрта их крали?

¹ Малахия — ирландский епископ, подчинивший в XII веке ирландскую церковь римскому папе, за что был причислен к лику святых. (*Примеч. перев.*)

О'Флаэрти. Они были нам нужны, сэр. Сколько раз мы продавали своих гусей, чтобы внести арендную плату, потому что вам были нужны деньги! Так почему бы нам было и не продать ваших гусей, когда деньги понадобились нам?

Сэр Пирс. Чёрт возьми!

О'Флаэрти (*мягко*). Ведь вы же, сэр, старались выжать из нас всё, что могли. А мы старались выжать, что могли, из вас, да простит нам всем господь.

Сэр Пирс. Я вижу, О'Флаэрти, что война несколько вывела вас из душевного равновесия.

О'Флаэрти. Я просто начал думать, сэр, а я к этому не привык. Так вот и англичане. Раньше им и в голову не приходило быть патриотами, а как началась война, на них нашёл такой патриотизм, что они с не привычки бегают, как испуганные цыплята, и болтают всякую чепуху. Но с божьей помощью они забудут о нём, когда война кончится. Они уже, кажется, устали от него.

Сэр Пирс. Нет, нет! Мы все испытываем удивительный подъём. Нет, мир уже не сможет стать прежним, О'Флаэрти. Этого не может быть после такой войны.

О'Флаэрти. Так все говорят, сэр. А я что-то не замечаю большой перемены. Только испуг и волнение, а когда они улягутся, всё вернётся к прежней чертовщине и пойдёт, как раньше. Это как вши. Потом всё отмоется.

Сэр Пирс (*решительно поднявшись, становится позади скамьи*). Короче говоря, О'Флаэрти, я отказываюсь помогать вам обманывать вашу мать. Я решительно не одобряю эти антианглийские настроения, особенно в такой момент, как теперь. Даже если политические симпатии вашей матери таковы, как вы говорите, мне кажется, её благодарность к Гладстону¹ должна была бы излечить её от таких нелояльных предрассудков.

О'Флаэрти (*через плечо*). Она говорит, что Гладстон был ирландцем, сэр. А то зачем бы ему было возиться с Ирландией?

Сэр Пирс. Какая чепуха! Она и мистера Асквита² считает ирландцем?

О'Флаэрти. Она не признаёт, что гомруль — дело его рук. Она говорит, что его заставил Рэдмонт³. Она говорит, что это ей сказали вы, сэр.

Сэр Пирс (*признавая своё поражение*). Во всяком случае, я не думал, что она меня поймёт так превратно. (*Он переходит к тому концу скамьи, где сидит О'Флаэрти, и становится рядом с ним.*) Я серьёзно поговорю с ней, когда она придёт. Я не собираюсь терпеть её фантазии.

О'Флаэрти. Толку не будет, сэр. Она говорит, что все английские генералы — ирландцы. Она говорит, что все английские поэты и великие люди были ирландцами. Она говорит, что англичане не умели читать своих собственных книг, пока мы их этому не научили. Она говорит, что мы потерянное колено израилюво и избранный господом народ. Она говорит, что богиня Венера — та, которая родилась из морской пены, — вышла из воды в Килленибей у Брейхед. Она говорит, что семь церквей построил Моисей, а Лазарь был погребён в Гласневине.

¹ Гладстон (1809—1898) — английский либеральный политический деятель, выступавший за предоставление Ирландии автономии. (*Примеч. перев.*)

² Асквит (1852—1928) — премьер-министр Англии в 1914 году, когда был утверждён законопроект о гомруле (из-за войны был введён в действие лишь в 1921 году). (*Примеч. перев.*)

³ Рэдмонт (1856—1918) — ирландский политический деятель, сторонник Парнелла, лидер ирландских националистов в парламенте. (*Примеч. перев.*)

Сэр Пирс. Чушь! Откуда она взяла, что в Гласневине? Вы её когда-нибудь об этом спрашивали?

О'Флаэрти. Да, сэр, а как же!

Сэр Пирс. Ну, и что же она ответила?

О'Флаэрти. Она спросила меня, откуда я знаю, что не там, и дала мне затрешину.

Сэр Пирс. Но неужели вы ни разу не спрашивали её мнения о каком-нибудь знаменитом англичанине?

О'Флаэрти. Единственный, которого я мог вспомнить, был Шекспир, сэр, а она говорит, что он родился в Корке.

Сэр Пирс (*обессилев*). Сдаюсь! (*Тяжело опускается на ближайший стул*.) Эта женщина... ну, оставим это.

О'Флаэрти (*сочувственно*). Да, сэр, она упрямая и настойчивая. Она как англичане. Они думают, что с ними никто не сравнится. Немцы тоже, хотя они все образованные и должны были бы понимать больше. Мир никогда не успокоится, пока из человечества не вышибут такой патриотизм.

Сэр Пирс. Однако мы...

О'Флаэрти. Тише, сэр, ради бога, вот она!

Генерал векакивает. Появляется миссис О'Флаэрти. Она подходит к ним. На ней старомодный крестьянский костюм: чёрный шёлковый чепчик с тiarой оборок и чёрная накидка. Она одета очень чисто и тщательно.

О'Флаэрти (*смущённо поднимается*). Добрый вечер, матушка!

Миссис О'Флаэрти (*строго*). Придержи язык и поучись, как вести себя, пока я буду приветствовать его честь. (*Обращается к сэру Пирсу дружески*.) Как поживаете, ваша честь? Как поживает её милость? И все барышни? Уж как мы рады, что ваша честь возвратилась в добром здравии!

Сэр Пирс (*с предельной, хотя и деланной ласковостью*). Благодарю вас, миссис О'Флаэрти. Как видите, ваш сын вернулся живым и здоровым. Я полагаю, вы очень гордитесь им.

Миссис О'Флаэрти. Что и говорить, ваша честь. Он храбрый парень, а как же иначе: рос в поместье вашей чести и всегда у него перед глазами был ваш пример — пример лучшего солдата Ирландии. Поцелуй свою старую мать, Динни, милый. (*О'Флаэрти с глупым видом целует её*.) Дорогой мой, родной сыночек! Погляди только на свой красивый новый мундир — он весь в пятнах. Сразу видно, что ты ел яичницу ипил портер. (*Она вынимает носовой платок и, поплевав на него, трёт лацкан мундира*.) Ты всегда был неряхой. Ну, вот. Теперь незаметно. Пачкай не пачкай — на хаки следов почти не остаётся, не то что на прежнем красном мундире. (*Сэру Пирсу*.) А привратник мне сказал, что её милость в Лондоне и что мисс Агнес выходит замуж за молодого знатного господина. Ах, ваша честь, это вы можете гордиться своими детьми! Такая новость огорчит многих и многих достойных молодых джентльменов в округе. А у нас думали, что она выйдет за молодого Лоулеса...

Сэр Пирс. Что? За этого... этого... этого дуба!

Миссис О'Флаэрти (*в восторге*). Ваша честь всегда подыщет нужное слово! Вот уж дуб так дуб, ваша честь. И подумать только, сколько раз я говорила, что мисс Агнес будет моей госпожой, как раньше её матушка! Помнишь, Динни?

Сэр Пирс. Ну, миссис О'Флаэрти, я полагаю, что вам есть о чём поговорить с Деннисом наедине. Я пойду распорядиться, чтобы подавали чай.

Миссис О'Флаэрти. Зачем вашей чести утруждать себя? Мы с сыночком можем поговорить и на заднем дворе.

Сэр Пирс. Зачем же? Меня это нисколько не затруднит. А он уж слишком вырос теперь, чтобы уводить его на задний двор. Он заработал себе место в первом ряду, а? (*Уходит в дом.*)

Миссис О'Флаэрти. Конечно, ваша честь, господь да благословит вашу милость. (*Когда генерал удаляется, она грозно поворачивается к сыну, меняясь с той присущей ирландцам лёгкостью, которая изумляет и шокирует менее гибкие нации, и восклицает.*) Как ты смел, завравшийся щенок, напеть мне, что будешь драться с англичанами? Ты думал, я дура и не сумею разобраться, в чём дело? Когда все газеты пишут, что ты пожимал руку английскому корслю в Бэкингемском дворце?

О'Флаэрти. Я ему руки не пожимал. Это он мне пожал руку. Не мог же я оскорбить вежливого человека в его собственном доме, на глазах его жены, да ещё когда у меня в кармане были его деньги?

Миссис О'Флаэрти. И ты коснулся руки тирана, багровой от крови Ирландии...

О'Флаэрти. Ха! Перестань болтать чепуху, матушка. Не такой уж он тиран, храни его господь,— ты вдвое хуже. Его рука была чище моей, на которой, быть может, кровь его родственников.

Миссис О'Флаэрти. Ты так говоришь с собственной матерью, стервец?

О'Флаэрти (*упрямо*). Да, если ты болтаешь чепуху. Каково человеку, с которым носились короли и королевы, которому пожимала руку знать во всех столицах мира, вернуться домой и выслушивать упрёки и оскорбления от собственной матери? Я буду драться, за кого хочу, и пожимать руки всем королям, каким захочу. А если тебе твой сын не по нраву, поищи себе другого. Поняла?

Миссис О'Флаэрти. Это тебя бельгийцы научили такому бесстыдству.

О'Флаэрти. Бельгийцы — хороший народ. И французам следовало бы вести себя с ними повежливее, не говоря уже о том, что их чуть было не придушили боши.

Миссис О'Флаэрти. Хорошие, как же! Хорошие! Явились сюда, когда пострадали, потому что мы католическая страна, а сами стали ходить в протестантскую церковь, потому что это им обходится дешевле. А некоторые даже и вовсе в церковь не ходят. И это, по-твоему, хорошие люди!

О'Флаэрти. Ты, конечно, в политике разбираешься лучше всех! Ну, что ты знаешь о бельгийцах, о чужих странах, да и о том мире, в котором ты живёшь, храни тебя господь?!

Миссис О'Флаэрти. Уж, конечно, побольше тебя. Разве не я тебя родила?

О'Флаэрти. Ну и что же из этого? Но ведь ты не можешь знать того, чего никогда не видела. А я, твой сын, шесть месяцев перекапывал Европейский континент, меня трижды засыпал европейской землёй разорвавшийся снаряд. Ясно, что я знаю больше! Я понимаю, что надо делать. У меня есть свои основания, чтобы участвовать в этом великом столкновении. Мне было бы стыдно отсиживаться дома, когда все сражаются!

Миссис О'Флаэрти. Если уж тебе так хотелось сражаться, почему ты не пошёл в немецкую армию?

О'Флаэрти. Потому что там платят только пенс в день.

Миссис О'Флаэрти. Ну и что же? А разве нет французской армии?

О'Флаэрти. Там платят только полпенса в день.

Миссис О'Флаэрти (*сильно обескураженная*). Силы небесные! Ну и сквалыги они, Динни!

О'Флаэрти (*саркастично*). Может быть, ты хочешь, чтобы я поступил в турецкую армию? И поклонялся язычнику Магомету, который су-

нул себе в ухо зерно, а когда на приманку прилетел голубь, притворился, что это — небесное откровение? Я пошёл туда, где мог заработать тебе побольше денег. И вот как ты меня за это благодаришь!

Миссис О'Флаэрти. Побольше заработать, как же! Ты знаешь, что проделали со мной эти мошенники? Они пришли ко мне и спрашивают: «Ваш сын много ест?» «Много,— говорю я,— на него и десяти шиллингов в неделю не хватало». Я ведь думала, чем больше я скажу, тем больше я буду получать. «В таком случае,— говорят они,— мы будем вычитать у вас десять шиллингов в неделю,— говорят они,— ведь вы теперь экономите десять шиллингов, потому что вашего сына кормит король». «Вот как? — говорю я.— Значит, будь у меня шесть сыновей, вы бы стали вычитать у меня по три фунта в неделю, и вышло бы ещё, что я вам должна платить, а не вы мне?» «Это не рассуждение, а фарс», — говорят они.

О'Флаэрти. Что, что?

Миссис О'Флаэрти. «Фарс» — вот какое слово они сказали. Я им говорю: «Так это, значит, вы имеете в виду фарисеев, сэр? Ну и можете держать при себе ваши грязные деньги, которые ваш король жалеет для бедной старой вдовы. Притеснять бедняков — смертный грех, господь смилостивится, и англичане получают возмездие». И я захлопнула дверь перед их носом.

О'Флаэрти (*в ярости*). Значит, у тебя вычитали десять шиллингов на моё содержание?

Миссис О'Флаэрти (*успокаивая его*). Нет, милый, только полкроны. Я с этим примирилась, потому что я получаю ещё надбавку по старости, а ведь им известно, что мне только шестьдесят два года. Так что я, во всяком случае, получаю лишних полкроны в неделю.

О'Флаэрти. Станный способ вести дела. Если бы они прямо говорили, сколько будут платить, никто бы не обижался. Но если есть двадцать способов сказать правду и только один способ обмануть, правительство его обязательно отыщет. Правительство не может не обманывать.

Из дома выходит Тереза Дрисколл, горничная.

Тереза. Идите в гостиную пить чай, миссис О'Флаэрти.

Миссис О'Флаэрти. Приготовь мне потом на кухне чаю покрепче, милочка. У меня живот пучит от этого жиденького господского чая, если его чем-нибудь не запить.

Она уходит в гостиную, оставляя молодых людей вдвоём.

О'Флаэрти. Ты ли это, Тэсси? Как поживаешь?

Тереза. Неплохо, спасибо. А как ты?

О'Флаэрти. Слава богу, хорошо. (*Он достаёт золотую цепочку.*) Посмотри, что я привёз тебе, Тэсси.

Тереза (*отшатываясь*). Я боюсь дотронуться до неё, Денни. Ты её снял с мертвеца?

О'Флаэрти. Нет, с живого. И он был мне ещё благодарен, что остался в живых и будет теперь вести спокойную и приятную жизнь в плену, пока я сражаюсь, рискуя погибнуть!

Тереза (*беря цепочку*). Как ты думаешь, Денни, это — настоящее золото?

О'Флаэрти. Во всяком случае, настоящее немецкое золото.

Тереза. Но ведь немецкое серебро не настоящее, Денни.

О'Флаэрти (*помрачнев*). Это лучшее, что бош мог мне дать.

Тереза. А можно, я покажу её ювелиру, когда будет ярмарка?

О'Флаэрти (*угрюмо*). Показывай хоть чёрту.

Тереза. Чего ты злишься? Просто я хочу знать. Какой дурой я бы выглядела, если бы стала щеголять медной цепочкой!

О'Флаэрти. По-моему, ты могла бы сказать спасибо.

Тереза. Да? А по-моему, ты мог бы сказать мне не только «ты ли это?». Даже с почтальоном так не здороваются.

О'Флаэрти (*его лицо проясняется*). Ах, вот в чём дело! Ну-ка, чтобы не оставалось медного привкуса! (*Крепко обнимает и целует её.*)

Тереза, не теряя своего ирландского достоинства, оценивает поцелуй, как знаток — вино, и садится на скамью рядом с О'Флаэрти.

Тереза (*когда он обнимает её за талию*). Слава богу, что здесь нас не увидит священник.

О'Флаэрти. Во Франции на священников никто не обращает внимания, девочка.

Тереза. А как была одета королева, Денни, когда она разговаривала с тобой во дворце?

О'Флаэрти. На ней был чепец безо всяких завязок, а на груди — вышивка. И талия у неё была, где полагается, а не там, где у других дам. В ушах у неё сверкали маленькие брошки, а вообще драгоценностей на ней было гораздо меньше, чем на миссис Сюлливан, закладчице из Дрампога. А волосы она зачёсывает на лоб чёлочкой. Брови у неё ирландские. И она не знала, что мне сказать, бедняжка! А я не знал, что сказать ей, храни меня господь!

Тереза. Ты будешь получать за крест пенсию, Денни?

О'Флаэрти. Шесть пенсов три фартинга в день.

Тереза. Не так уж много.

О'Флаэрти. Остальное я получаю славой.

Тереза. А если тебя ранят, ты будешь получать пенсию как инвалид?

О'Флаэрти. Да, с божьего соизволения.

Тереза. Ты ведь опять уедешь, правда, Денни?

О'Флаэрти. Что поделаешь! Я получу пулю, как дезертир, если не поеду, и может быть, получу пулю от бошей, если поеду. Так что — куда ни кинь, всё клин.

Миссис О'Флаэрти (*из дому*). Тэсси, Тэсси, милочка!

Тереза (*освобождаясь из его объятий и вставая*). Я должна подавать чай. Денни, а пенсию ты будешь получать всё равно, ранят тебя или не ранят?

Миссис О'Флаэрти. Иди же, деточка!

Тереза (*раздражённо*). Да иду же! (*Она пытается улыбнуться. О'Флаэрти — улыбка получается не очень убедительной — и убегает в дом.*)

О'Флаэрти (*один*). Если у меня и будет пенсия, чёрта с два ты получишь из неё хоть грош.

Миссис О'Флаэрти (*выходя с террасы*). Стыдно мешать девушке работать, Динни. У неё из-за тебя могут быть неприятности.

О'Флаэрти. Какое мне дело, будут у неё неприятности или нет! Мне жаль парня, который устроит ей неприятности. Ему же будет хуже.

Миссис О'Флаэрти. Что ты говоришь? Ты с ней поссорился? А ведь она состоятельная девушка — у неё десять фунтов!

О'Флаэрти. Пусть её фунты при ней и остаются. Я до неё и пальцем не дотронусь, будь у неё хоть миллион.

Миссис О'Флаэрти. Постыдился бы, Динни! Ведь она приличная честная девушка, и к тому же из Дрисколлов.

О'Флаэрти. Ну и что же? Она думает только о том, чтобы я поскорее уехал да чтобы меня ранили, — тогда она сможет транжирить мою пенсию, чёрт бы её подрал!

Миссис О'Флаэрти. Что это на тебя нашло, дитя моё?

О'Флаэрти. Знание и мудрость — через боль, страх и страдание. Меня дурачили и ездили на мне всю мою жизнь. А я-то думал, что эта жадная дрянь — ангел. Нет, уж если я и женюсь, то только на французженке.

Миссис О'Флаэрти (*в ярости*). Не посмеешь! Попробуй только повторить это!

О'Флаэрти. Посмею. Да, в общем, я уже был на двух женат.

Миссис О'Флаэрти. Восславим господу! Что ты натворил, пако-стник?

О'Флаэрти. Одна из них так стряпает, что во всей Ирландии не сыщешь. Сам сэр Пирс пальчики бы облизал! Говорю тебе, я женюсь на французженке и заведу себе во Франции ферму, огромную, со всю Европу. И каждая грядка будет у меня больше десяти ваших лоскутных полей!

Миссис О'Флаэрти. Ах, так! Тогда ищи себе и французскую мать, ты мне больше не сын!

О'Флаэрти. Я бы прекрасно обошёлся без тебя, если бы не моя сыновья любовь к тебе. Ты же просто тёмная деревенская старуха, как бы красиво ты ни болтала об Ирландии,— ведь ты ничего не видела, кроме своей деревни.

Миссис О'Флаэрти (*в крайнем расстройстве, шатаясь, подходит к скамье*). Динни, дорогой, почему ты так со мной говоришь? Что с тобой случилось?

О'Флаэрти (*угрюмо*). Что случилось со всеми, хотел бы я знать? Что случилось с тобой, которую я так уважал и так боялся? Что случилось с сэром Пирсом, которого я считал великим полководцем, а теперь вижу, что от него для армии толку, как от старой курицы? Что случилось с Тэсси, по которой я сходил с ума год назад, а теперь не женился бы на ней, будь у неё хоть вся Ирландия в приданое? Вокруг меня рухнет мир, а ты спрашиваешь, что со мной случилось!

Миссис О'Флаэрти (*вопит от горя*). О-о-о-о! Мой сын отвернулся от меня! Что мне делать? Что мне делать? О-о!

Сэр Пирс (*выбегая из дому*). В чём дело? Почему такой шум?

О'Флаэрти. Ха! Придержи-ка язык, мать! Разве ты не видишь его честь?

Миссис О'Флаэрти. О сэр, он меня погубил, я погибла! Поговорите с Динни, сэр! Он разбил моё сердце! Он хочет породнить меня с французженкой и уехать... Он хочет стать иностранцем, бросить свою мать. Он хочет предать своё отечество! Он сошёл с ума от рёва пушек, от того, что убивал немцев, а немцы убивали его, чтоб им пусто было! Мой сын бросает меня, отвернулся от меня! Кто позаботится обо мне в старости? А я для него столько сделала! О-о-о-о!

О'Флаэрти. Замолчи, говорю тебе! Кто тебя бросает? Я хочу взять тебя с собой. Ну, довольна?

Миссис О'Флаэрти. Увезти меня в чужую страну, к язычникам, к неверным, к дикарям! Когда я ни словечка по-ихнему не понимаю, а они — по-моему!

О'Флаэрти. И очень хорошо! Может быть, они подумают, что ты говоришь дело.

Миссис О'Флаэрти. И чтобы я умерла не в Ирландии, да? И чтобы ангелы не сумели найти меня, когда они придут за мной?

О'Флаэрти. А ты хочешь, чтобы я жил в Ирландии, где меня дурачили и держали в невежестве? И чтобы я умер здесь, где меня сам дьявол задаром не возьмёт, не говоря уж об ангелах? Хочешь — поезжай со мной, хочешь — оставайся. Можешь жить по-старому — по-своему, или по-новому — по-моему. Но я не останусь здесь, среди всех этих бездельников, которые сидят сложа руки и бросаются строить забор, когда

скот уже в поле. А сэр Орейшио Планкетт¹ всё это время надрывается, пытаюсь втолковать им, что они могли бы обрабатывать землю не хуже французов и бельгийцев.

Сэр Пирс. Знаете ли, он прав, миссис О'Флаэрти, в этом он совершенно прав.

Миссис О'Флаэрти. Ну, сэр, да пошлёт господь, чтобы война затянулась подольше и чтобы я умерла прежде, чем лишусь моей пенсии.

О'Флаэрти. Ты только об этом и думаешь. Мы, мужчины, из-за этих пенсий с тех пор, как началась война, чёрт бы подрал того, кто начал её, для женщин стали просто дойными коровами!

Тереза (*сходит с террасы и подходит к генералу и миссис О'Флаэрти*). Ханна прислала меня сказать вам, сэр, что чай перестоятся, а кекс засохнет, если вы сейчас же не сядете за стол.

Миссис О'Флаэрти (*снова взрывается*). О Тэсси, милочка, что ты сказала Динни? Что ты сказала Динни? О-о-о!

Сэр Пирс (*теряя терпение*). Не стоит обсуждать этого здесь! Теперь начнёт Тэсси!

О'Флаэрти. Правильно, сэр! Гоните их!

Тереза. Я ему не сказала ни слова. Он...

Сэр Пирс. Замолчите! Идите в дом и накрывайте на стол.

Тереза. Ваша честь, я же говорю, я ему ни слова не сказала! Он подарил мне красивую золотую цепочку. Вот она, ваша честь. Я правду говорю.

Сэр Пирс. Что это такое, О'Флаэрти? Вы ограбили какого-то несчастного офицера?

О'Флаэрти. Нет, сэр, я украл её с его же согласия.

Миссис О'Флаэрти. Скажите ему, ваша честь, что его мать имеет на неё больше права. Зачем такой молоденькой девчонке носить на шее золотую цепочку?

Тереза (*ядовито*). Во всяком случае, у меня для неё есть шея, а не сморщенная кочерыжка.

При этом неудачном замечании миссис О'Флаэрти срывается со своего места, и разражается ужасающая словесная буря. Уговоры и требования генерала, протесты и угрозы О'Флаэрти только увеличивают шум. Скоро они уже кричат изо всех сил.

Миссис О'Флаэрти (*соло*). Наглая тёлка! Как ты смеешь говорить мне это? (*Тереза в бешенстве возражает, вмешиваются мужчины, и соло переходит в квартет фортиссимо.*) Вот я тебе надаю оплеух, тогда ты научишься хорошим манерам! Постыдилась бы! Умей разбираться, с кем разговариваешь! Прости меня господь, не знаю, о чём он думал, когда тебя сотворил! Попробуй-ка снова строить глазки моему сыну! Не было ещё О'Флаэрти, который унизился бы до того, чтобы водиться с грязными Дрисколлами! Если ты будешь шляться около моего дома, я тебя разукрашу синяками, запомни это!

Тереза. Это ты обо мне так говоришь, грязная свинья, паршивая старая лгунья? Я не стану пачкаться и называть тебя, как ты заслуживаешь, и рассказывать сэру Пирсу, о чём весь город знает! Ты и твои О'Флаэрти! Смеешь сравнивать себя с Дрисколлами, которые даже на ярмарке с вами никогда не вступали в разговор! Держи при себе своего скареда, урода сына! Смилуйся, господи, над дурой, которая за него пойдёт! Фига вам, миссис О'Флаэрти, чтоб вам кошка морду расцарапала!

Сэр Пирс. Тише! Тэсси, разве вы не слышали, что я вам приказал итти в дом? Миссис О'Флаэрти! (*Громче.*) Миссис О'Флаэрти! Будьте добры выслушать меня! (*В ярости.*) Вы слышите, что я с вами разгова-

¹ Орейшио Планкетт — ирландский политический деятель. В начале XX века возглавлял созданный им ирландский департамент земледелия. (*Примеч. перев.*)

риваю?! Вы люди или звери? Немедленно прекратите этот шум! Вы слышите?! (*Вопит.*) Вы собираетесь выполнять мои приказания или нет?! Отвратительно! Неслыханно! Вот что значит быть с вами слишком любезным! О'Флаэрти, гоните их в дом! Убирайтесь ко всем чертям!

О'Ф л а э р т и (*женщинам*). Хватит, хватит. Легче, легче! Придерживай язык, мать, или пожалеешь! (*Терезе.*) Разве прилично молодой девушке так выражаться? (*В отчаянии.*) Да заткнитесь вы, ради бога! Вы что, не уважаете ни себя, ни сэра Пирса? (*Властно.*) Прекратите! Слышите? Прекратите! Дьявол в вас вселился, что ли? Марш в дом, сию же минуту! И можете выцарапывать друг другу глаза на кухне! Марш!

О'Флаэрти и генерал хватают женщин и вталкивают их в дом. Те продолжают бешено ругаться. Сэр Пирс в ярости захлопывает за ними дверь. Немедленно наступает блаженная тишина летнего дня. Мужчины, задыхаясь, садятся и долго молчат. Сэр Пирс сидит на стуле, О'Флаэрти — на скамье. Слышится мелодичная песня дрозда. О'Флаэрти прислушивается и, подняв голову, смотрит на птицу. Его измученное лицо освещает улыбка. Сэр Пирс с глубоким вздохом достаёт трубку и начинает её набивать.

О'Ф л а э р т и (*лирично*). Трудно угодить человеку, сэр! Подумать только, что всего месяц назад я мирно проводил время на фронте, а кругом царил тишина — только птички пели, корова мычала в отдалении, а в небе расплывались облачка от взрывов шрапнели да посвистывали снаряды. Разве что кого-нибудь из наших заденет, и он вскрикнет. И вы не поверите, сэр, — я жаловался на шум и мечтал о домашнем покое! Ну, эти две дали мне хороший урок. Сегодня утром, сэр, когда я рассказывал ребятам, что стремлюсь вернуться назад, чтобы постоять за короля и отечество вместе с остальными, я врал, как вам было хорошо известно, сэр. Но теперь я смогу повторить это с чистой совестью. Одни любят тревоги войны, другие — домашнюю жизнь. Я попробовал и того и другого, сэр, и теперь я за военные тревоги — ведь я всегда был мирным человеком.

С э р П и р с. Строго между нами, О'Флаэрти, как между двумя солдатами (*О'Флаэрти отдаёт честь, но не встаёт*), смогли бы мы, по вашему мнению, набрать армию без воинской повинности, если бы домашняя жизнь в самом деле была такой счастливой, как считают некоторые?

О'Ф л а э р т и. Между нами, сэр Пирс, я думаю, что чем меньше мы будем говорить об этом до конца войны, тем лучше.

Он подмигивает генералу. Генерал чиркает спичкой. Поёт дрозд. Смеётся сойка.

Разговор замирает.

Перевод с английского И. Гуровой

ОТВЕТ ПРОСТАКАМ *

Здорово, Америка! Здорово, мои друзья в Америке! Как у вас дела, старые простаки, целый месяц твердившие друг другу, что я заврался насчёт России? Ну-с, если последние сообщения о ваших делах верны, то вряд ли вы сможете теперь так говорить. Теперь уже Россия над нами смеётся. Она нас превратила в дураков, пристыдила, выставила на посмешище, оставила в хвосте и чуть что не сбила с ног. Мы читали ей лекции с высоты нашего цивилизованного превосходства, а сейчас мы принимаем героические меры для того, чтобы скрыть нашу краску смущения от России.

* Отрывки из речи Б. Шоу о его поездке в СССР, переданной по радио в Америку, частично опубликованной в органе английской независимой рабочей партии «Форвард» 30 апреля 1932 года.

Мы её бранили за безбожье, а сейчас солнце сияет над Россией, как над страной, к которой господь благоволит; на нас же тяжко обрушился его гнев, и мы не знаем, куда обратиться за помощью или поощрением.

Мы гордились нашим мастерством в крупных делах и тем, что они имеют под собой солидную основу благодаря нашему знанию человеческой природы, а сейчас мы банкроты.

Ваш президент, который прославился тем, что кормил голодающие миллионы в опустошённой войне Европе, не может сейчас прокормить в мирное время собственный народ.

Крики отчаяния наших финансистов отдались эхом во всём мире и вызвали поголовное изъятие вкладов из английского банка и фазорили его. Дефицит нашего бюджета составляет 350 миллионов долларов; ваш дефицит составляет 500 миллионов долларов. Наши дельцы не могут найти работы трём миллионам рабочих, а ваши выбросили на улицу вдвое больше людей.

Наши государственные деятели по обе стороны океана не могут сделать ничего другого, как разбивать головы безработным или откупаться от них пособиями и обращением к благотворительности. Наше сельское хозяйство разорено, и наша промышленность разваливается под тяжестью своей собственной производительности, потому что мы не додумались, как распределить наши богатства и как производить их.

Перед лицом всей экономической некомпетентности, политической беспомощности и финансовой несостоятельности Россия гордится своим бюджетным активом в 750 миллионов долларов. Её население занято до последнего мужчины и женщины, её научно поставленное сельское хозяйство удваивает и утраивает свои урожаи. Она блистает своими работающими полным ходом, растущими фабриками, своими способными правителями, своей атмосферой надежд и обеспеченности даже для бедняков — атмосферой, которой не знала ещё ни одна цивилизованная страна.

Когда я был молодым человеком, на меня сильно повлиял один американец, по имени Генри Джордж, который открыл мне глаза, и я почувствовал необходимость следовать его указаниям. И вот я познакомился с учением германского еврея Карла Маркса, который ещё шире открыл мне глаза, и мне стало совершенно ясным, что наша капиталистическая система должна закончиться банкротством цивилизации и что прожить с этой системой мы сможем уже недолго, и то ценой страшных бедствий и деградирующей нищеты ^{9/10} человечества.

Четырнадцать лет спустя русский, по фамилии Ульянов, больше известный под именем Ленина, последовал моему примеру и прочитал Маркса. В 1914 году наши империалисты втянули нас в войну. Вы пытались воздержаться от участия в этой войне, но вас принудили к ней. Благодаря вам эта война, вместо того чтобы сделать то, чего хотели империалисты, уничтожила три империи, превратила Европу из королевского континента в республиканский, и единственное европейское государство, которое было больше Соединённых Штатов, стало федерацией коммунистических республик.

Это не совсем то, чего вы ожидали, не так ли? Вашу молодёжь отправляли на бойню не для того, чтобы она приветствовала Карла Маркса и повторяла его лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

Однако именно это и произошло. Это изумительное, новое в мире государство, Союз Советских Социалистических Республик, или вкратце СССР, и есть то, что вы получили за ваш заём свободы и кровь, пролитую вашей молодёжью. Это не то, что вы намеревались получить, но, повидимому, это то, что господь намеревался вам послать. Так или иначе, вы это получили, и сейчас вы должны использовать это наилучшим образом...

Теперь позвольте мне дать несколько советов для путешественников на случай, если вы присоединитесь к американцам, толпами устремляющимся в Россию, и захотите сами проверить, так ли всё это обстоит на деле. Если вы квалифицированный рабочий, особенно машиностроительной промышленности, и если у вас подходящий возраст и хороший характер (они, в России, очень разборчивы насчёт характера), то у вас не будет особенных затруднений. Они будут лишь рады принять вас. Пролетарии всех стран там желанные гости, если они действительно могут помочь русскому строительству. Но даже если вы не умеете работать и представляете собой только бесполезную леди или джентльмена с большим количеством денег, то они благосклонно позволят вам истратить сколько вы захотите денег и обставят вас комфортом. Только если вы скупы и будете тратить меньше десяти рублей в день, то они заставят вас доплачивать разницу. Нет смысла пытаться тратить меньше этого минимума.

Они не будут относиться к вам с уважением, ибо эти русские не проявляют благоговения даже к американской леди. Я должен сознаться вам, что их чувства в отношении вас будут смесью жалости к вам, как к беглецу от ужасов американского капитализма, колоссального презрения к вашей политической глупости, выражающейся в том, что вы не создали коммунизма в вашей собственной несчастной стране.

Но они будут вполне дружелюбны и окажут вам помощь совершенно так же, как заблудившейся голодной обезьяне, и если вы будете любезны с ними, то они заключат вас в свои объятия и по малейшему поводу будут рассказывать вам историю своей жизни. Они настолько свободны от всех ваших забот и беспокойств по поводу всяких дел, детей, ренты и налогов, что могут себе позволить быть ласковыми с вами, и они настолько горды своими коммунистическими учреждениями, что они чрезвычайно охотно будут их вам показывать.

Но вы должны быть осторожны. Вы должны полагать, что человеческая природа в России такова же, как в Америке. Мой друг генерал Дауэс, ваш посланник в Англии, недавно говорил со мной относительно человеческой природы — о том, что её нельзя изменять так, как изменяют учреждения. И вот перед тем, как вам отправиться в Россию, неплохо было бы вам изучить человеческую природу.

Самое простое средство для этого — послать к ближайшему стекольщику за куском замазки. Замазка совершенно подобна человеческой природе. Вы не можете её изменить, кем бы вы ни были. Вы не можете её есть, вы не можете в ней возвращать яблоки, вы не можете ею штопать одежду; но вы можете её тискать и мять и придавать ей любую форму, и когда форма придана, то она так крепко затвердеет, что вам будет казаться, что ей никогда нельзя будет придать никакой другой формы.

Ну, так вот, русская замазка подобна американской. Пожалуй, только американская крепче держит и затвердевает труднее. Советское правительство сделало чрезвычайно тщательно русскую замазку, придав ей форму, совершенно отличную от американской, и она крепко затвердела, и получилось нечто совершенно другое. У этого создания рот почти такой же, подбородок, уши и глаза мало чем отличаются, но внутренности работают не по-американски. В особенности поразительно отличается сознание, так что достижения, которые являются гордостью и славой Америки, русскому кажутся гнусным хвостовством...

Вы, однако, не должны ожидать там рая. Россия — слишком большое пространство для любого правительства, чтобы можно было за четырнадцать лет освободиться от всей нищеты, невежества и грязи, оставленных царизмом. Россия занимает 8 миллионов квадратных миль и вдвое больше, чем Соединённые Штаты. Боюсь, что там ещё много нищеты, невежества и грязи, которые нам так хорошо известны дома. Но там повсюду царит надежда, потому что все бедствия отступают перед ростом комму-

низма, в то время как у нас эти бедствия увеличиваются перед последней отчаянной борьбой нашего обанкротившегося капитализма.

Капитализм пытается отворотить свою неизбежную судьбу путём снижения зарплаты, повышения тарифов, обращением ко всем скрытым элементам одичания и жадности, которые его должны поддержать в хищнической войне, маскирующейся патриотизмом.

Но вы поедете в Россию не для того, чтобы высматривать там бедствия, которые вы можете увидеть у себя. Некоторые из вас поедут потому, что в той великой буре, которая разразилась над нами, тонет ваш собственный корабль. Из больших кораблей остался только русский, который не тонет и который не посылает сигналов бедствия.

Но большинство из вас, надеюсь, поедет туда с твёрдой уверенностью в том, что беда наша заключается не в нищете, объясняющейся естественными причинами, а в простом тупоумии, скверном управлении и ленивом пренебрежении общественными интересами в пользу эгоизма частных интересов и вульгарного честолюбия. Вы, наверное, слышали, что русские положили этому конец, и вам захочется узнать, как они это сделали. Ибо, по-вашему, то, что могут сделать русские, можете сделать и вы.

Вы можете думать, что вы можете это сделать, но это не так. В настоящий момент вы похожи на старого узника Бастилии, который пилит решётку своего окошка часовой пружиной с таким напряжением, что он не замечает, что дверь уже давно широко открыта. Ну-с, вы, пожалуй, всё будете продолжать пилить в Америке, пока вы не помрёте, но я надеюсь, что ваши сыновья будут умнее вас и не позволят ни одному русскому обогнать их в великом состязании цивилизации.

На этом прощайте до следующего раза, и желаю вам всяческого счастья!

1932 г.



ЭМИЛЬ ЛЮДВИГ

★

РЕМБРАНДТ

Пятнадцатого июля 1956 года всё культурное человечество отмечает триста пятьдесят лет со дня рождения одного из величайших художников-реалистов мира — Рембрандта Харменса ван Рейна. В нашей стране любят, ценят и хорошо знают Рембрандта. В музеях СССР хранятся прекраснейшие произведения гениального мастера: «Блудный сын», «Даная», «Давид и Иоанафан», «Святое семейство», «Эсфирь, Аман и Ассур», «Флора», многочисленные портреты.

Искусство Рембрандта дорого и близко людям всех эпох и всех стран, потому что оно правдиво и неповторимо раскрывает главное в человеке — его духовный мир, его характер. В какие бы уголки жизни ни заглядывал гениальный художник, он всегда оставался верным правде жизни, её высокой поэзии. Его мастерство живописца необыкновенно и своеобразно. Сложнейшие и разнообразные контрасты светотени, которыми художник владеет в совершенстве, особый «рембрандтовский» мерцающий свет, изумительное богатство цвета, создающего форму, — вот средства, которыми пользовался Рембрандт, чтобы передать тончайшие оттенки человеческих чувств и страстей.

Картины Рембрандта исполнены горячей любви к людям и оптимистической веры в них. Потому-то они так удивительно волнующи и прекрасны.

Рассказывая о человеке, о его внутреннем мире, Рембрандт раскрыл и самого себя в многочисленных автопортретах, по которым можно проследить всю историю его жизни и творчества.

Сын лейденского мельника, Рембрандт уже в молодости завоёвывает себе славу и признание в столице Нидерландов. Он женится на горячо любимой им Саскии ван Эйленбург. В эти годы, когда счастье и слава улыбаются ему и жизнь бьёт ключом, бурная радость и ликование любви изливаются в его озарённых золотистым светом полотнах «Автопортрет с Саскией на коленях», «Даная».

Но счастье его недолговечно. Вскоре от него отвернутся заказчики и меценаты, ибо он не может отказаться от непримиримой правды в своём искусстве. Отвергнута его картина «Ночной дозор», в которой вместо торжественного парадного портрета гильдии стрелков художник изображает живую уличную сцену. Умирает Саския. Рембрандт убит горем и разорён... Но в годы своей трагической старости художник ещё глубже постигает душу человека. Среди мрака и тишины, составляющих обычную атмосферу его поздних полотен («Блудный сын», «Святое семейство» и многочисленные портреты), сдержанный и глубокий свет вырывает своими лучами из тьмы деталь одежды, человеческое лицо, и в этих старческих, часто некрасивых лицах, озарённых чудодейственным рембрандтовским светом, мы читаем повесть целой жизни.

Рембрандт умер в глубокой нищете и одиночестве, всеми забытый. Лишь много десятилетий спустя его искусство было оценено по заслугам.

Великий художник оставил очень скупое литературное наследие. Зато его живопись и графика так много говорят о нём самом, что в литературе не раз делались попытки воспроизвести переживания и мысли великого художника. Одно из таких биографических произведений, обогащённых художественным домыслом, принадлежит немецкому писателю-эссеисту Эмилю Людвигу. Главу из его «Рембрандта», ещё не выходявшего в русском переводе, мы печатаем ниже.

ЗАВОЕВАНИЯ

На утреннем солнце сверкает гавань, огромная, разбросанная. Какое множество мачт пронзает лёгкий серо-голубой туман, какое множество судов! Тёмные, громадные, гружёные и нагружающиеся, они заглоняют собой море. Воды почти не видно — так велика собравшаяся в бухте армада. Верно, со всего света пришли они? Молодой художник, вчера только прибывший сюда, стоит в изумлении на набережной. Лето в самом разгаре, нагретый воздух мерцает, подъезжающие подводки обдают людей облаком пыли, из которого вырываются резкие крики, а запахи, свежие и зловонные, сливаются с пылью и шумом.

«Как всё здесь открыто и свободно! — размышляет художник. — Крепости не заслоняют далее, как на моей родине, нигде нет холмов. Если смотреть в сторону суши, видны только невысокие земляные насыпи. Как уверенно чувствует себя этот мировой город! Вон те громадные здания — это, как видно, хлебные амбары. А что это за строения, на которых развеивается флаг Норвегии? Большие суда с фигурами на носу, вон там, в доке, должно быть, принадлежат Ост-Индской компании. Они, кажется, жёлтые? Эти три парня в тюрбанах и с кинжалами, наверно, персы — во всяком случае, что-то восточное. Как презрительно глядят они на полуголых негров, которые таскают мимо них лес! Коричневые спины грузчиков блестят, как зеркало.

Ну, а во дворец Компании входи кто хочешь, двери открыты настежь — эти важные господа впускают к себе всех».

И он входит в сумрачный зал, где выставлены коллекции, и его тёмные, не знавшие ещё такой красоты глаза впиваются сквозь стёкла в то, чего они до сих пор ещё никогда не видели: в парчу и ковры, в кораллы и жемчуга, в кружева и муслин, в меха, китайский фарфор, японские лаки, виды Батавии и Молуккских островов, шелка, перья цапли и страуса, яшму, ляпис-лазурь и все драгоценные камни Азии. Художника охватывает дрожь.

Выйдя на шумную набережную, весь ещё полный красками и сверканием, он бродит по узким аллеям и раскалённым улицам, бредёт вдоль каналов, по которым скользят лодки, и выходит туда, где теснятся паромы, пришедшие вчера из Гааги, из Дельфта, из Роттердама. Он останавливается перед большим домом с остроконечной башней. Дом не нравился ему. А ведь именно он наполняет кипучей жизнью гавань и весь город. Это амстердамская биржа. Здесь пять частей света заключают торговые сделки. Рембрандт с любопытством и вместе с тем с каким-то гнетущим чувством следит за движениями флюгера на башне.

Люди толпами входят и выходят из здания биржи, на ступенях теснятся какие-то мрачные личности с горящими глазами. Быть может, он ещё в школе слышал эти строки:

Христианин ты, турок иль еврей,
Доступен всем вам этот храм,
А может, дом соблазна? Все торгуют там,
К нему прикован взор Европы всей.

Когда художник входит внутрь, его оглушают назойливые выкрики торговцев, звучащие на всех языках; европейцы, одетые в чёрное и серое, перемешаны с какими-то фантастическими фигурами, облачёнными в пёстрые, красочные одеяния. Они из Новой Голландии, из Нового Амстердама, то есть из Америки. Теперь половина помещения принадлежит новой Вест-Индской компании. Надрываются маклера, выкрикивая, как поднимаются в цене их акции, — о, они уже выше четырёхсот! А когда молодой человек поближе присматривается к окружающим, то замечает, что здесь не одни только купцы. Он видит среди них и врачей и художников. Кто

торгует тюльпанами, кто спекулирует торфяными залежами или плотинами; все и вся — в движении, все и вся наперебой, любыми способами, любыми путями гонятся за счастьем.

«Да и я тоже,— думает художник, покидая шумное, гудящее, как улей, здание.— Я буду писать их. Я напишу их всех, а когда заработаю достаточно денег, накуплю дорогих тканей, драгоценностей, поселюсь в собственном доме и буду писать только то, что мне хочется. Здесь время несётся вскачь, и кто дерзнёт потребовать у него награду, рано или поздно получит её... Рубенс! Если в каких-нибудь ста милях отсюда счастье привалило Рубенсу — ведь он тоже не рыцарем родился, а теперь царствует в своём замке, как король,— то почему бы оно не выпало и мне? А ведь он никогда не унижался до роли придворного льстеца, даже тогда, когда его звала королева Франции... И если есть на Севере мастер, не уступающий в красоте своих творений южанам и всё же такой естественный, то это именно он! Теперь ему должно быть за пятьдесят, а женился на юной девушке... Во всём ему удача — оттого что он всего требует! Да, счастье можно добыть и без милости короля или церкви. Амстердам богат, а мне двадцать пять лет...»

Рембрандт занялся поисками квартиры, где он мог бы жить и рисовать. Вскоре он поселился у одного художника — Гендрика Эйленбурга, в доме на Бреестрат, что возле шлюза Святого Антония. Предчувствовал ли он, что этот выбор — его судьба? Молодым, непосредственным, жизне-радостным входит он в этот дом, сговаривается насчёт цены, располагается как можно удобнее, с какой-то жадностью начинает новую жизнь — и не знает, что в этом доме вскоре расцветёт недолгое его счастье, а потом придут сюда страдания и ещё очень многое войдёт в его жизнь. И так будет целых сорок лет.

Эйленбург, не столько художник, сколько торговец предметами искусства,— человек ловкий. Вскоре он берёт на себя продажу гравюр своего постояльца, занимает у него деньги. Отношения у них хорошие, хотя это совершенно разные по своей натуре люди. На одной и той же страничке альбома для стихов изящным почерком художника Рембрандт пишет:

Тот, у кого совесть есть,
Ценит выше счастья честь.

А торговец пишет ниже:

Золотой серединой
держится мир.

Эти изречения уже говорят об их будущем, но пока ещё никто не знает его, кроме провидения.

Вскоре в художнике пробуждается врождённая любовь к теплу семейного очага — ведь по природе своей Рембрандт совсем не бродяга, хотя и не бюргер; так как жены, о которой он, может быть, и мечтает, у него нет, художник выписывает к себе сестру. И вот в его ближайшем окружении появляется наконец женщина. По своему обыкновению Рембрандт сейчас же делает её моделью. И эта девушка, воспитанная в семье мельника, с непринуждённостью и изяществом носит нарядные платья и драгоценные камни. Она красива, хотя и похожа на брата. У Рембрандта, конечно, нет её золотистых волос и бархатных глаз, а чувственные линии его подбородка и рта смягчены у сестры детски-наивным выражением лица. Повидимому, нрав у неё более спокойный и безмятежный, чем у него. Пурпурный плащ, украшенный золотыми шнурами, в котором художник изобразил её на многих картинах, она носит с той естественной грацией, которая часто свойственна деревенским девушкам.

Но вскоре появляются заказы, и моделей становится даже больше, чем хотелось бы, к тому же они менее приятны. Он входит в моду, теперь к нему идут купцы и судовладельцы, учёные и священники, офицеры и зодчие; они заказывают портреты молодому лейденскому художнику и хорошо платят ему. Почему именно ему? Они находят, что он делает их более интересными, чем они есть.

Правда, модные жёсткие шляпы, в которых бюргеры непременно хотят видеть себя изображёнными на портрете, тугие брыжки вокруг шеи, а у женщин монашеские чепчики на безобразно зачёсанных назад волосах — всё это как будто нарочно создано для того, чтобы бесить художника. Но он сдерживает себя, стремясь достигнуть славы и богатства, и лишь изредка отваживается придать какой-нибудь супружеской чете естественную позу; а если он порой пишет головы бюргеров правдивее, чем это делают другие, то тем самым как бы нарушает безмолвный уговор; не всегда он позволяет себе такую роскошь.

И всё же он многому учится. Здесь нужен ясный, спокойный свет, здесь нельзя мудрить и искать — за свои деньги заказчики требуют чётких контуров, прямого взгляда. Но и в таких тесных рамках гений его поднимается до высокого совершенства, и если в этих портретах редко проглядывает самое ценное, что составляет силу рембрандтовского таланта, то, тем не менее, они были большой школой для его мастерства. За каких-нибудь три года художник написал столько портретов, что почти на каждую неделю приходится один, и так как он стал теперь модным художником, то получает удивительную плату — до трёхсот гульденов за портрет.

В особенности нашумел в городе большой групповой портрет. Его заказал Рембрандту доктор Тульп, первый в городе врач, знаменитый как хирург и как бургомистр; он задумал подарить этот портрет дому гильдии врачей. Там уже висели две картины более старых художников на ту же тему — «Лекция по анатомии». Рембрандту пришла в голову новая идея: он сосредоточил взгляды семи слушателей доктора Тульпа на одной точке — на трупе, который им демонстрируется. И хотя каждый нашёл свой портрет схожим, у Рембрандта они живут не сами по себе, а сливаясь в одно волнующее целое. Картина была совершенно не похожа на те, что писались прежде.

Даже сам господин штатгальтер, принц Вильгельм Оранский, заказал Рембрандту для своего дворца серию картин, изображающих «страсти господни»; выполнены они были очень театрально, но большей частью холодно: чувствовался заказ. Так Рембрандт, двадцатишестилетний сын мельника, неустанно работающий у своего мольберта, живописец, которому создают репутацию бюргеры и принцы, приходит к тому пункту, где ему угрожает опасность расти не вглубь, авширь. Он достигает бюргерской славы.

И тут судьба посылает ему путеводную звезду.

Однажды, через год после приезда, в мастерскую Рембрандта входит Эйленбург и рассказывает, что из Фрисландии в Амстердам приехала его кузина, юная и красивая девушка, между прочим и богатая, — она сирота, одна из наследниц большого состояния. Её отец был бургомистром и политическим деятелем, братья и зятья — адвокаты и офицеры, это знатная семья с Севера. Девушку зовут Саския.

«Саския?» — мысленно повторяет Рембрандт и как бы играет этим именем, произнося его на разные лады. Впрочем, он слушал вполуха, в своей обычной рассеянной манере, повернувшись спиной к окну и глядя куда-то вдаль — ведь то, чего он не видит, мало занимает его.

Несколько дней спустя дверь отворяется, и Эйленбург вводит девушку: её интересуют модные в Амстердаме картины и ещё больше — художник. Глядя на изображения всех этих господ в красивых брыжжах и спокойных женщин в перчатках с крагами, она искоса переводит взгляд на живопис-

ца, который стоит в запачканной блузе, обтирает об неё разноцветные пальцы и подаёт гостье липкую от красок руку. Девушка разочарована: в её воображении он был изящным, необыкновенным, а перед ней стоял просто рабочий, труженик.

А ему понравилось это капризное существо, маленькая белокурая фрисландка с весёлыми глазами и нежным телом. Вся она в кружевах, в жемчугах — ни дать ни взять маленькая принцесса. Неуклюже приглашает он сесть это хрупкое и нежное создание и тащит к ней свои картины. Да это переодетая фея, а он — волшебник в чужой личине. Художник пожирает её взглядами. Когда он вдруг рассмеялся, она подняла на него глаза и впервые почувствовала его душу.

Молча, ухмыляясь, сидит кузен, торговец картинами. Чтобы доставить своему приятелю хороший заказ, а может быть, с ещё неясным намерением сосватать ему невесту, он говорит Саскии, чтобы она разрешила Рембрандту нарисовать себя.

Портрет получается красивым и заурядным, он раскрывает сословие, но не душу девушки. Воротник и драгоценные камни отбрасывают отблеск на бледное, чуть-чуть смущённое лицо. Художник скучает; тщательно вырисовывая кружева, петлю за петлей, он думает о совершенно других вещах: вот если бы открыть золотистые волосы маленькой феи, освободить руки и шею от этого пуританского платья, надеть на неё что-нибудь лёгкое, яркое — вот тогда всё заиграло бы! Вот это была бы картина! Тут ему приходит в голову, что он никогда ещё не рисовал девушки, если не считать сестры, и что ему наконец хотелось бы полюбить именно такую девушку, как эта: задорную и вместе с тем непосредственную, не похожую на учёных лейденских женщин, которые только и знают, что занимаются пением, рисованием, латынью или стараются пленить учёных обезьян напыщенными речами.

Вскоре она тоже начинает питать к нему симпатию: он так деликатен с ней; она чувствует, что он способен привязаться к домашнему очагу, что из его мастерской переброшены нити жизни в жилые комнаты, как она могла наблюдать. Если иногда девушка пугается неистового желанья, горящего в его взгляде, пугается вулканических сил, которые бушуют в нём, то этот страх лишь влечёт её к нему. И когда наконец художник, переходя от смущения к страстной настойчивости, просит её стать его женой, она даёт своё согласие.

Опекун приходит в ярость. Сыну мельника — вот кому достанется эта богатая, знатная девушка! Ведь ему нужны только деньги, да и молод он ещё; к тому же — деревенщина!

Разумеется, её богатство тоже сыграло роль в планах Рембрандта, ведь живёт он среди шумной торговой суеты, среди всевозможных искушений и вожделений, его соблазняют ещё новые для него дары славы и золото. Любить Саскию, писать Саскию, завоевать свободу для своего искусства! Впереди ему видится широкий простор жизни, труд, радость — долой унылые мысли, долой заказы, рисовать только то, что живёт в твоей душе!.. Отказать ему в этом только потому, что он беден и ниже её по общественному положению? Как? Разве он не зарабатывает кучу денег, разве он не честный человек?

Саския ищет поддержки у сестры и зятя, людей справедливых, у которых она гостит. Они уже прожужжали уши опекуну: разве третья сестра не живёт в счастливом браке с художником, разве его не называют фрисландским орлом? А Рембрандту даже сам бургомистр, доктор Тульп, заказал свой портрет. А Пелликорны, а Биллербеки и сколько ещё других! Ведь Рембрандт — не бездельник, он знает латынь, был в академии!

А Рембрандт впал в мрачное раздумье, прорвалась наружу вся его неистовая страстность (всегда составлявшая только половину характера). Когда Саския уехала на Север и он снова очутился в одиночестве,

в своей студии, когда все его мечты и желания развеялись, он излил свой гнев, своё негодование на полотне, и темой его стало похищение женщины. Вот он, отважный бог в образе быка, похищает Европу, а вот, превратившись в мрачного Плутона, увозит дикую Прозерпину, которая исцарапала ему лицо, пока чёрные огненные кони мчали её в колеснице. Так он выражает своё смятение в образах. Между тем в Фрисландии идут на уступки, и девушка возвращается следующим летом в Амстердам. Она входит в студию, она улыбается, они обмениваются кольцами.

В этот день мрачный Рембрандт становится Рембрандтом Счастливым. Девять лет он будет таким, пока рядом с ним Саския.

Что делает настоящий художник, став женихом? На третий день он берёт серебряный карандаш и рисует свою невесту. Она вдруг преобразается. Исчезли напряжение, церемонность, нет ни кружев, ни драгоценных камней, это уже не богатая наследница, не знатная дама. Перед нами прелестная девочка; из мира юности она мечтательно смотрит в окутанное светлой дымкой будущее, спокойно повисает в её руке цветок, который он дал ей, а широкополая шляпа как бы парит над золотистыми косами. Когда он кончает, она подходит к нему, кладёт ему руку на плечо, они вместе рассматривают портрет, думают вслух. Потом он, как бы для того, чтобы по всей форме обеспечить себе обладание ею, подписывает внизу: «Этот портрет моей невесты, двадцати одного года, сделанный на третий день после нашего обручения: 8 июня 1633 года». А она, смеясь, говорит, что это неверно, что до двадцати одного не хватает двух недель.

Уже год, как они обручены, она не всегда бывает в городе, но когда она с ним, когда он может её ласкать и баловать, он вместе с тем и рисует её. Художник написал Саскию ещё раз в торжественном убранстве, как в прошлом году, но в руке она держит теперь нежный цветок розмарина, цветок любви. Как быстро меняются черты лица! Да, под жгучим дыханием любви Рембрандта, его воли, воли к обладанию, люди быстро расцветают, раскрываются, словно под тропическим солнцем, и так же быстро увядают. Саския становится первой жертвой Рембрандта.

Когда он рисует её в том же году, в темно-голубом бархате и затканном золотом шарфе, она уже кажется женщиной, полной страсти, её пытливые глаза выражают знание и желание, её алый рот хочет насладиться всем. И к тому же времени относятся фантастическое изображение Саскии, где он пишет её как Флору, с обнажённой грудью, развевающимися длинными волосами, в широком красном платье-плаще, пышной и свободной.

Закончив последний заказ, Рембрандт остаётся наедине; он, как бывало прежде, смотрит в зеркало, но теперь он стоит, вглядываясь в себя, перед большим дорогим зеркалом. Теперь он хочет быть светским человеком, теперь ему не пристало носить простую, без украшений, одежду. На автопортретах того времени мы видим цепи и щиты, на которых играют светлые блики. Он тщательно завит, нарядно одет, кончики усов смотрят вверх, голова повернута через плечо, и в этом повороте — вызов жизни.

В таком настроении он едет в Фрисландию, в дом, где живут те, которые в прошлом году ответили на его просьбу отказом. Теперь он, победитель, является за своей невестой. Пастор прихода св. Анны записывает в церковную книгу, что он сочетал браком «художника Рембрандта, ван Рейна из Амстердама с Саскией ван Эйленбург, дочерью покойного бургомистра леуварденского».

Знойный летний день. Их приветствует сверкающий солнцем мир.

Перевод с немецкого Р. Розенталя.



ПУБЛИЦИСТИКА

АЛЕКСАНДР КАЗАНЦЕВ

★

РАБОЧИЕ ПОЛЕЙ

Поезд шёл из Сибири. Колёса вагонов вторые сутки отсчитывали секунды, минуты, часы. Суетливый пассажир рассказывал о целине. Из соседнего купе заглянул, да так и остался стоять, недоверчиво прислушиваясь, офицер с Дальнего Востока. На нижней полке женщина с ребёнком вздыхала, качая головой. Толстый «командировочный» не пошёл в вагон-ресторан.

А суетливый пассажир всё рассказывал: на целине землянки, грязь, низкий заработок... В новых домах между щитами такие щели, что люди к койкам примерзают!.. Казахи и на порог не пускают. Ежели и получишь зарплату, так не истратишь. Продуктов не продают... Из совхозов бегут.

Парень на верхней полке не выдержал и соскочил. Это был тракторист Князев, ехавший в отпуск с целины.

— Сам видел?

— Нет...

Оказываются, рассказчику передавали с чьих-то слов.

— Бегут же с целины, верно ж, бегут,— оправдывался он.

— Кто бежит? — горячился Князев.— Накипь сбегает! Тот, кого там и не нужно. Сами бы их выгнали. Про заработки говоришь? А я вот 950 трудодней выработал. За каждый трудодень получил по восьми рублей и ещё натуроплатой не меньше того, Зачем же вы лжёте, людей обманываете, пугаете? Эх, обыватель!..

Князев ехал в Ногинск, где ждала его невеста. Уже с молодой женой зашёл он в своё Ногинское училище механизации № 20, встретился с директором Павлом Павловичем Кузьмичёвым, которого бывшие его ученики и вдалеке, уехав из училища, всё ещё считают своим руководителем...

ХОРОШИЕ РЕБЯТА

В Ногинске я встречался с Павлом Павловичем Кузьмичёвым. Он рассказал мне о многих своих воспитанниках, дал прочитать их письма. Вот письмо от Евгения и Лидий Лыховых,— они поженились с его «благословения» перед отъездом на целину.

Лыховы добрались до Каратюбинской МТС, проехав на машине двести с лишним километров.

«Что же представляет собой местность, в которую мы приехали? — пишут молодожёны. — Это, во-первых, бескрайние степи, ничем не занятые, полупесчаные, подуглистые, почти лишённые растительности. Здесь встретить деревцо, хотя бы маленькое,— уже событие, даже трава очень скудная, колючая, и это сейчас, весной, а что будет летом, под знойными лучами здешнего солнца? Очень много здесь верблюдов. Местное население, казахи, занимаются в основном животноводством — овцеводством и табунным коневодством, никакими зерновыми и вообще полевыми работами, связанными с обработкой почвы, никогда не занимались. О картофеле, например, они вообще ничего не знают. А нам-то каково с непривычки без картошки?.. Правда, нужно сказать, что колхозы очень богатые, многие — миллионеры.

В местных колодцах вода солёная, за «хорошей» (пресной, но очень мутной) приходится далеко ходить.

Продукты здесь очень дешёвые: яйца, например, стоят пять рублей десятков, баранина — семь-восемь рублей за килограмм, но казахи такой добрый народ, что предпочитают лучше так дать, чем взять деньги за продукты, — это у них обычай не позволяет. Наши товарищи, которые живут или жили временно у казахов, пользовались именно таким безвозмездным питанием. Вот мы с Лидой тоже живём у хозяев-казахов, занимаем отдельную комнату, даже вход отдельный. Кажется, что никакого отношения к ним не имеем, но всё же они считают своим долгом приносить нам каждый день молоко, а о деньгах и разговаривать не хотят, не взять же молоко — значит их обидеть. Так и приходится пользоваться ихними добрыми услугами...

Из молодых механизаторов, окончивших Ногинское училище, в Каратюбинской МТС создали бригаду.

«...Мы требовали только этого, — пишут своему бывшему директору комсомольцы Тараканов, Семёнов и Устюгов, до поступления в училище демобилизованные из армии. — Ожидаем новые тракторы, тогда пойдёт дело веселее, но я сам лично ничего не теряю, — продолжает один из них, — в мастерских я прошёл большую практику по ремонту двигателей и сборке сельскохозяйственных машин, полученные мной знания в школе механизаторов мне очень пригодились, за что я должен благодарить своих преподавателей».

— Хорошие ребята, — говорит о них Павел Павлович.

Хорошие ребята!

За месяц до съезда я видел таких ребят на величественных и тихих кремлёвских площадях. Это были внуки современников Ленина, носивших папахи с красными лентами. У девчат и парней, запрокидывающих головы, чтобы рассмотреть золотые купола, не было ни папах, ни лент. Но на каждой груди под распахнутой шубой — два значка: комсомольский и ещё один, какого никто не видел прежде, — значок целинника.

Это они два года назад, в лютую сибирскую стужу, прибыв на заброшенные в снегах станции, сгружали с песней тракторы и машины. Это они принесли в лиловое марево ковыльных степей запад юности, рождённый гордой традицией молодёжи, построившей Комсомольск, традицией, которой во исполнение надежд партии ещё греметь и греметь славой в нашей стране. Это они — братья и сёстры тех, кто пойдёт завтра строить плотины и домны Приангарья, тех, кого призывает Никита Сергеевич Хрущёв в своей речи, обращённой к молодёжи, ехать на восток. Это они за два года вспахали простор, равный трети всех засеваемых под зерновые советских полей.

Чтобы понять, на что мы способны, надо осмыслить это, осмыслить сделанное!

Триста с лишним тысяч молодых людей, в своём большинстве не выдавших, как растёт пшеница, ездивших только в трамваях и троллейбусах, сели на незнакомые машины и подняли свыше 30 миллионов гектаров целины.

До того в нашей стране ежегодно запахивалось под зерновые примерно 100 миллионов гектаров. Трудилось на этой земле около десятка миллионов колхозников.

Неужели каждый из этих юнцов один проделал работу, которой в других районах страны заняты десятки человек? Как это может быть? В чём здесь дело? Каковы же возможности, заложенные в нашем народе? Чего в состоянии он достигнуть?

Сто тысяч этих юнцов поехали на целину, окончив училища механизаторов.

А остальные двести тысяч? Это были и хлеборобы с юга, унаследовавшие дедовский опыт земледельцев, и горожане с заводов, мечтавшие «делать хлеб» в открытых зелёных цехах так же, как делали они машины или ситцы, приходя по гудку на работу, ощущая ялечом соседа по станку.

Настоял на своей поездке и проходчик Московского метростроя Павел Николаевич Монастырёв. Пожалуй, мало кто из трёхсот тысяч комсомольцев отважился, подобно ему, сразу увезти с собой все «якоря для новой пристани» — жену и троих детей. Но он не мог иначе: он ехал «навечно».

Монастырёв не был ни трактористом, ни комбайнером. В армии занимался телефонными аппаратами — тонкая работа, неплохая подготовка для овладения такой тяжёлой машиной, как трактор. Но ещё больше помог будущему трактористу его трёхлетний шофёрский стаж. К тому же он прочитал о тракторе всё, что можно было

прочитать, к предстоящей работе готовился, как к жизненному экзамену. Монастырёва выбрали секретарём комсомольского бюро, а его прицепщика — секретарём партийной организации. И сразу по-новому почувствовали друзья, какая ответственность легла на них. Наверное, поэтому в первую ночь, когда Монастырёв вывел в поле свой трактор, он поставил рекорд Ключевской МТС.

Новое, ещё неизведанное чувство овладело им.

Тысячи молодых людей познали в те дни это новое чувство — чувство вожделения... Как знакомо оно любому шофёру, паровозному машинисту, лётчику. Отнимите у них руль или штурвал — их охватит тоска, тоска по движению, по привычному расчёту, по послушной машине.

Трактористом овладевает не только ощущение непрерывного движения, но и сознание его сверхбогатырской силы, меняющей облик степей. И без этой обретенной силы, без непрерывного движения не будет уже у него чего-то главного, придающего жизни особый смысл, вкус, полноту.

Одного лишь боялся Монастырёв: не отказал бы трактор... Не знал он его повадок. Как бы не пришлось «загорать» на сухой травке в ожидании помощи?

Сколько неумелых трактористов-колхозников «загорали» так в самую страдную пору, потому что они не знали трактора. садясь за руль лишь в сезонные дни, а всё остальное время были заняты своими крестьянскими делами. В одной только Российской Федерации в 1953 году в разгар летне-осенних полевых работ простаивало не менее четверти всего тракторного парка. Не будь этих простоев, можно было бы дополнительно засеять и собрать урожай на площади, равной половине поднятой ныне целины, — на 15 миллионах гектаров.

И всё же в тот год государственные машинно-тракторные станции, владея всеми средствами механической обработки земли, выполняли львиную долю полевых работ — 80—90 процентов. И в то же время эти государственные предприятия не имели в достаточном числе постоянных рабочих. По существу они отдавали «напрокат» в неумелые руки ценнейшие машины.

Сентябрьский Пленум положил этому несоответствию конец. В сельском хозяйстве должен был возникнуть могучий отряд рабочего класса.

ШКОЛА СЕЛЬСКИХ ПРОФЕССИИ

Чрезвычайно важно было зачислить на постоянную работу в МТС вчерашних колхозников. Но мало — просто зачислить их. Требовалось добиться, чтобы изменилась вся их психология. Новые рабочие должны были почувствовать, что они находятся на государственном предприятии, что они обязаны подчиняться трудовой дисциплине, такой же, как на заводе. Они должны были вырасти в специалистов своего дела, знатоков машин, овладеть индустриальной культурой труда, впитать в себя традиции рабочего класса.

Два последних года были годами создания в нашей стране нового отряда рабочего класса. Немалую роль в этом деле сыграли училища механизации.

Сто тысяч комсомольцев приехали на целину, окончив училища механизации, принося с собой на поля знание машин и фабричную дисциплину.

Сорок тысяч целинников, привычных к заводским условиям, проработав первое лето на целине, поступили там в такие же училища, чтобы по-рабочему овладеть новой профессией.

— Главное было в том, чтобы по-новому подготовить новых рабочих полей, — говорил мне Генрих Иосифович Зеленко, начальник Главного управления трудовых резервов при Совете Министров СССР.

Он рассказывал, что прежде колхозников лишь обучали управлять машиной, знакомили с её устройством по плакатам. Временный тракторист не мог быть и не был хозяином машины. Он чувствовал себя гостем в кабине и оказывался беспомощным при неполадках. Новый рабочий полей должен в сезонное время водить трактор, зная его в совершенстве, а в зимнее время — ремонтировать его, быть слесарем, механиком, то есть уже полностью индустриальным рабочим, работающим в мастерских. Обучить

его всему этому — значит привить ему культуру индустриального труда, заводскую дисциплину, традиции рабочего класса.

...В часы раздумья над глубокими процессами, меняющими лицо нашей страны, мне захотелось поглубже заглянуть в жизнь школы, которая готовит это новое рабочее поколение для сельского хозяйства.

И я снова поехал в Ногинское училище.

В старинном каменном здании, когда-то принадлежавшем одной из подмосковных мануфактур, не было привычных для школ широких и светлых коридоров. При нас переносили одну из перегородок, чтобы за счёт коридора расширить классную комнату.

Здесь, в училище, главное — это помещения для практических занятий. В классе не парты, а ряды столов, а по стенам, в шкафах, — части изучаемых машин. Во время урока они перекочёвывают на столы, будущий механизатор держит в руках эти стальные детали, думая о том, что скоро придётся и самому снимать или ставить их на трактор в чистом поле.

Секретаря комсомольской организации училища Аню Бондареву я застал в просторном зале, где разместились три комбайна. Вместе с другими девушками она собирала один из них — последняя работа выпускников училища, на прощание готовящих машины для новой смены, которая на первых же занятиях снова разберёт их «по косточкам».

Через месяц Аня поедет на целинные земли. Исполняется её мечта. Эта мечта привела девушку, окончившую ФЗО, крутильщицу с текстильной фабрики, в училище механизации. Той же мечтой загорелась и Люда Суслова. Семья её в Ногинске. Мать в ужасе от решения дочери. Люда не стала учиться в десятом классе, она хотела сразу поехать на целину; её не взяли, ведь она школьница, ещё ничего не умела. И Люда поступила в училище механизации.

Миловидная, немного смущённая, стоит она передо мной, пряча решительные огоньки в тёмных глазах. Да, теперь она будет вместе с теми, кто, взволнованный призывом партии и романтикой освоения неведомых земель, поехал на восток. Ведь она из того миллиона юношей и девушек, которые выразили желание ехать на целину.

Миллион! Большая часть молодых людей осталась ждать очереди. Но недолго им ждать. Скоро уедут они на новые стройки, в преобразённые шестой пятилеткой края, в числе новых 400—500 тысяч энтузиастов, о которых говорилось в Обращении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров СССР.

Среди оканчивающих Ногинское училище механизации есть молодые люди и с десятиклассным образованием. Некоторые из них обучаются здесь и одновременно учатся заочно на факультете механизации сельскохозяйственного института.

Многие поступают в училище, возвратившись из армии. Так пришёл сюда демобилизованный Дмитрий Козлов. Говоря о нём, директор училища замечает, что здесь учатся «целыми династиями»: сыновья, братья, сёстры... Вот у Козлова сестра, тоже учившаяся здесь, теперь уже помощник бригадира тракторной бригады.

Козлова я встретил в мастерских Ногинской МТС, где он проходил последнюю практику. Я уже знал, что этот бывший армеец считался лучшим учеником.

У Дмитрия сейчас одна забота: дадут ли ему уже этой весной трактор? Главный инженер Ногинской МТС М. Гольдер, которому я рассказал о волнении молодого механизатора, улыбнулся: трактор для Козлова непременно будет.

— С нетерпением ждём выпускников училища. Мы сами направляли туда ребят из нашей МТС. Отбирали самых способных. На мой взгляд, — продолжает главный инженер, — приём в училища механизации нужно проводить преимущественно через машинно-тракторные станции.

Директор училища П. Кузьмичёв и заместитель начальника Московского областного управления трудовых резервов В. Закутелин согласились с главным инженером — набор учащихся в училища механизации должен проводиться не так, как сейчас (в большой степени самотёчным порядком), а в основном через МТС.

Нельзя не признать правильности их доводов. В этом случае в МТС или совхозы придут (вернутся!) люди, уже отобранные, обеспеченные жильём, которые не уйдут через короткое время, останутся на постоянную работу здесь, где их ждали, как родных. Одновременно это заставит задуматься нерадивых механизаторов, заставит их понять,

что пора становиться подлинными рабочими, самим учиться, полнее ощутить дисциплину и ответственность.

В мастерских МТС воспитанники Ногинского училища механизации проходят последнюю практику: ремонтируют тракторы. С горечью некоторые из ребят говорят, что не всё здесь так, как их учили.

— Чему же, — спрашиваю, — вас учили? Что в жизни не так?

— Да вот, — говорит Люда Сулова, старательно зачищая гайку на комбайне, — на МТС гайки зубилами отворачивают. А нас учили только ключами.

— А как будете делать там, на целине?

Девушка немного смущается, потом упрямо поджимает губы.

— По-своему... По-нашему буду, — твёрдо говорит она.

Вспоминаю недавнюю свою встречу с другой девушкой, уже работающей на освоении новых земель, с секретарём комсомольской организации Кульминского совхоза Чкаловской области Гликерией Даниловой.

Она тепло отзывалась о молодых механизаторах из училищ. Для целинников такие училища нечто обязательное, само собой разумеющееся, без чего и жить дальше нельзя. В Кульминский совхоз приехали ребята из Акбуланского училища, из Чебеньковского. А из совхоза посылали учиться в Бугуруслан и другие города.

Фамильные традиции, романтика труда, любовь к природе и стремление к технике — вот что влечёт молодёжь в училища механизации. Многие из этих рабочих нового типа будут обладать средним и даже специальным образованием. Общая культура и зрелость сознания диктуют специфику их обучения.

Я заинтересовался дисциплиной в Ногинском училище, хотел сравнить её со школьной, которая доставляет сейчас педагогам столько забот. Оказывается, этот вопрос даже не встаёт там так, как в общеобразовательной школе. Те же самые подростки, которые в 7-м и 8-м классах повергали в отчаяние своих классных руководителей и директоров, в училище механизации становятся как бы совсем другими. Что это? Облагораживающее влияние труда, среды, цели?

— Конечно, да, — соглашается Павел Павлович Кузьмичёв. — Но не надо думать, что всё было бы благополучно, если бы мы не боролись за дисциплину, отказались бы от ежедневной линейки, от рапортов... если бы наш преподаватель физкультуры не считал свою работу самой главной в училище..

А почему бы учителям школ не заглянуть в училища, где готовят рабочих? Ведь педагогам необходимо обменяться опытом, найти путь, по которому можно и нужно повести среднюю школу, чтобы решить столь наболевший вопрос об отношении к труду, о дисциплине.

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАБОЧИЙ?

Разумеется, в училищах механизации более зрелый народ, чем в обычных школах. В известной мере это определяет и дисциплину и подход к учащимся. Сюда попадают и вчерашние солдаты и сорокалетние практики, недавние колхозники, вспомогательные рабочие.

Казалось бы, можно было ограничиться чтением им лекций по устройству разных машин. Однако практика показала совсем другой путь.

В Швейцарии, где неплохо поставлено обучение рабочим профессиям, основным лицом, отвечающим за обучение, считается мастер. Он возглавляет группу учащихся. Любопытно, что мастеру предоставлено право в течение шести месяцев отказаться от неспособного ученика. Но если кто-либо из его воспитанников окажется на производстве непригодным, этот молодой рабочий имеет право судом взыскать с мастера убытки, связанные с недобросовестным обучением.

В наших училищах механизации, как и в ремесленных, главная фигура — тоже мастер.

Я рассказал о Швейцарии мастеру Ануфрисву. Он задумался, прикинул в уме, кого из своих учеников мог в своё время «отвести» и кто бы из них мог «подать на него в суд».

— Конечно,— сказал Ануфриев,— есть какие и послабее, неспособнее. Но выго-
нять, пожалуй, никого бы не следовало. Должно быть, «естественный отбор» ещё до
училища произошёл.

— А в суд не подадут? — посмеялся я.

Задумался: «Вряд ли». И стал рассказывать, как работают его бывшие ученики.
Ануфриев не теряет связи со своими питомцами, следит за их производственной
судьбой, каждый паренёк стал ему родным за тот год, который пробыл на его попе-
чении.

Я поинтересовался, с чего, собственно, начинается в училище обучение.

Прежде чем учащиеся начнут слушать уроки других педагогов, которые познако-
мят их с устройством механизмов, с основами агробиологии и прочими предметами,
мастер сразу же сажает их на трактор, на другие машины и учит практическим навы-
кам. Потом весь год они под его присмотром будут разбирать и собирать эти же
машины, ремонтировать их, регулировать. Каждый должен наизусть знать любую
деталь, как боец винтовку.

Ещё недавно в училищах механизации срок обучения был шестимесячный. Гото-
вили они или трактористов или комбайнеров. Мне называли имена ребят, которые, по-
лучив здесь одну специальность, поступали в другое училище, чтобы приобрести вторую
профессию, скажем, комбайнеру стать ещё и трактористом. И это неспроста.

Вся практическая работа на комбайне фактически укладывается дней в двадцать—
двадцать пять. Если добавить подготовку машины к сезону уборки, то в общей слож-
ности комбайнер будет занят в году по своей специальности один месяц! Остальное
время он не может применить свою специальность, и его можно использовать лишь на
подсобной работе.

Возьмём теперь тракториста. Если он не будет знать других сельскохозяйственных
машин и не овладеет специальностью слесаря, то зимой, когда стоят тракторы, тоже
окажется не у дел.

Поэтому сейчас все училища механизации в основном перешли на годичный срок
обучения. Они выпускают механизаторов широкого профиля, владеющих трактором и
зерновым комбайном, сеялками, картофельным комбайном, квадратно-гнездовыми са-
жалками и прочими машинами.

В Ногинском училище мне показали огромное помещение, построенное, кстати
сказать, самими учащимися. Здесь представлены почти все сельскохозяйственные ма-
шины, которые встречаются на полях. Я невольно вспомнил залы Политехнического
музея и Тимирязевской академии. Ребят из этого училища ничем не удивишь в совхозе
или МТС.

Но, увы, не все училища в таком положении, часто они могут лишь завидовать под-
московным. А между тем без машин нельзя обучить будущих командиров машин. Сред-
ства, которые следует выделить для этого, окупятся сторицей лучшим использованием
техники на полях.

Мы в зале, где разобраны по узлам тракторы различных марок. Но почему все они
выкрашены в неожиданно светлые тона?

— Если б вы знали, сколько было споров! — улыбается Павел Павлович. — Это
наш удавшийся опыт,— добавляет он.— Так будем и впредь красить.

Психологическое действие проведенного в училище опыта оказалось примечатель-
ным. Светлая, радующая глаз окраска привычно грязной машины дисциплинирует
механизаторов, прививает основные элементы культуры труда, которые они вскоре
понесут в сельскохозяйственное производство.

Культура индустриального труда. Как же воспринимают её учащиеся? Бывают ли
на заводах? Работают ли в цехах?

К сожалению, завтрашние командиры машин непосредственно в заводской атмо-
сфере не работают. И в то же время даже экскурсионное посещение завода топливной
аппаратуры тракторного дизеля, где люди, собирая точно обработанные детали, ходят
в белых халатах, производит на учащихся огромное впечатление.

Но если уж говорить об индустриальной культуре, которая должна войти в плоть
и кровь сельских механизаторов, то надо предусмотреть прохождение практики, и обя-

зательно в цехах передовых заводов. Новая для села культура труда повлечёт за собой лучшее использование техники, резкое повышение производительности труда.

И вот, когда люди владеют культурой труда и полны энтузиазма, мы видим, какие они могут сделать чудеса.

Примером служит освоение целинных земель.

Конечно, славный подвиг молодёжи, работавшей в поле, как на заводе, стал возможен прежде всего благодаря вниманию и заботе партии и правительства. На целину было направлено всё необходимое, и в первую очередь могучая техника, которая сразу сделала целинные районы более оснащёнными механизмами, чем остальные районы страны, позволила провести по основным полевым работам комплексную механизацию труда.

Целинники работали на полях не лопатами, не мотыгами, не косами или серпами, а сидя на машинах, когда каждый стоит десятков невооружённых людей.

Достаточно вспомнить, что на целину было направлено свыше 200 тысяч тракторов в пятнадцатисильном исчислении. И в большей части это были самые мощные тракторы «С-80».

Этим богатырям было где разгуляться в степи. Молодые трактористы выезжали на них в начале смены, прокладывая борозду за горизонт и к концу смены едва успевали вернуться, ведя по степи всё ту же первую борозду!

На примере использования передовой техники на целине видно, какое могучее оружие получает у нас отряд рабочего класса на сельских полях. Именно об этом мечтал Владимир Ильич Ленин, намечая социалистические преобразования в деревне.

ИСКАТЬ СМЕЛЕЕ

Наше сельское хозяйство насыщено могучей техникой. Машинно-тракторные станции, владея всеми основными средствами сельскохозяйственного производства, располагают более чем десятью миллионами машин и орудий, в том числе для некоторых отраслей хозяйства, механизированных впервые в мире.

Можно восхищаться этим, можно понять, как изменились производственные отношения в деревне из-за того, что все эти машины принадлежат государству. Но продолжим наше раздумье...

Конструкторы создали мощные плуги, многокорпусные, производительные, способные вздымать почву с метровой глубины, перемещать её верхний, средний и нижний слои, плуги, захватывающие по ширине целую улицу.

В былые времена форма рабочей части плуга считалась священной, она выработывалась тысячелетним опытом, воспроизведение её было искусством, её копировали из поколения в поколение.

В наши дни, когда существует созданная академиком Горячкиным земледельческая механика, когда форма плуга диктуется требованиями науки о плодородии, плуг стал «орудием науки».

Но почему только науки о плодородии?

В любой отрасли техники, имеющей дело с какими-либо материалами, существует наука, изучающая эти материалы. Так, в машиностроении режимы резания на станках устанавливаются на основании изученных свойств металла. Известно, что инициатива новаторов произвела за последние годы подлинную революцию в этой области. В прошлом году, на совещании работников промышленности в Кремле, я слышал о скоростях резания в 3800 метров в минуту. Это превышает всё, когда-либо виденное в технике. Станкостроители теперь вынуждены равняться при создании новых станков на эти баснословные скорости.

В земледелии почва — материал, который приходится обрабатывать во время пахоты, — до сих пор изучалась преимущественно со стороны её плодородия. Почва как материал, поддающийся обработке, резанию, исследована пока ещё очень слабо.

Мы обрабатываем землю с такими же скоростями, как и сотни лет назад. Прежде плуг тянула лошадь, за плугом шёл пахарь. Вот чем определялась скорость пахоты! Применительно к этим условиям и выработывалась в течение тысячелетий форма рабочей поверхности плужных корпусов.

Ныне положение в сельскохозяйственной технике коренным образом изменилось. Пахарю не нужно ходить за плугом. Трактор может двигаться куда быстрее лошади. Но разве можно пойти на это при современных конструкциях плугов? Земля из прокладываемой борозды будет отлетать в сторону, ложиться не в соседнюю борозду, а куда придёт. В технологии обработки земли должна произойти такая же революция, как и в технологии обработки металлов. Земледельческую технику надо рассчитывать на большие скорости. Пахота, а также и последующие полевые работы должны стать скоростными процессами. Тракторы могут это обеспечить, такие тракторы можно создать. Дело за плугами, за другими орудиями и машинами.

Главной из этих машин, конечно, считается комбайн. Это вседелающая на поле машина, которую сравнивают со степным кораблём: есть на комбайне и палуба, и капитанский мостик, и штурвал, и «гребное колесо»; он и косит, и молотит, и очищает, и провеивает. Только на передвижение по полю этой фабрики зерна расходуется до 40 процентов топлива, идущего на уборку урожая.

К конструкции комбайна предъявлялось немало претензий. В документах ЦК КПСС и Совета Министров СССР в 1955 году она получила нелестную оценку. Можно было бы, конечно, пожелать всяческой удачи конструкторам, старательно устраняющим дефекты существующей машины, но мне кажется, что дело не в этом.

Любые количественные изменения в какой-то момент должны перейти в иное качество. Требование это подсказывается самой жизнью. Такая машина, как комбайн, может убирать в поле только спелое зерно, а так как зерно поспевает на всех полях, обслуживаемых МТС, почти одновременно, то комбайн нужен одновременно повсюду. Комбайнеры самоотверженно работают и днём и ночью, пользуются электрическим светом фар, но всё равно не могут поспеть за природой. К концу уборки зерно начинает осыпаться, резко возрастают потери. К тому же комбайн, сжиная хлеб, молотя его и очищая зерно на ходу, всё же не даёт пока такой степени очистки, которая позволила бы отвезти зерно сразу на элеватор. Зерно приходится дополнительно очищать на немеханизированных или кустарно механизированных токах. На эту работу тратится по всей стране месяц труда десяти миллионов человек! В два раза больше, чем на пахоту, сев и уборку, вместе взятые.

Мне уже приходилось писать, что значительно выгоднее было бы очищать зерно не на ходу комбайна и потом на примитивных токах, а создать при элеваторах фабрики очистки зерна, подобные тем, которые существуют, скажем, при мукомольных комбинатах. Мы знаем, что это преимущество централизованной очистки стремятся использовать на той же целине, создавая при элеваторах очистительные пункты.

На XX партийном съезде убедительно прозвучали слова о выгодах раздельной уборки урожая. Хлеб можно скашивать, когда он ещё не вполне созрел, он «дойдёт» в валках. Потом комбайн, оборудованный специальным подборщиком, подберёт колосья, из которых не осыпается зерно, и обмолотит их. При этом можно собрать по два-три лишних центнера с гектара.

Для такого метода уборки урожая громоздкие комбайны используют не от хорошей жизни, а за неимением специально созданных для этого машин. А машины здесь нужны качественно совсем иные и прежде всего быстрые. Переноса очистительные операции, а возможно и обмолот, на стационарные, централизованные пункты, можно добиться подлинно скоростных методов уборки. Вот чем прежде всего, по-моему, нужно заняться конструкторам сельскохозяйственных машин, вот в чём хочется пожелать им удачи.

Говоря о скоростной уборочной машине, хочется вспомнить, что первый в мире комбайн, созданный в России ещё в прошлом веке просвещённым агрономом Андреем Романовичем Власенко, был скоростной и лёгкой машиной. Он вовсе не срезал хлеб, он обмолачивал его на корню, оставляя в поле солому, которую можно снять уже не в страдную пору. Отличительной его особенностью были короткий срок уборки и малые потери зерна.

Впоследствии идея Власенко была забыта, и наши советские конструкторы пошли по линии подражания американскому комбайну, который обмолачивает тут же срезанный хлеб, а потому более тяжёл и тихоходен. А ведь напрасно!

История техники знает, что инженерная мысль нередко возвращается к заброшенной идее уже на новом, достигнутом техникой уровне. Очень интересно было высказанное в послевоенное время предложение авиационных инженеров: обмолачивать хлеб на корню с помощью вибрации колоса. Созданная ими опытная машина очень быстро обмолачивала зерно, пусть не только благодаря «вибрации», как задумали изобретатели, но всё же обмолачивала! Ведь если довести эту работу до конца, мы сможем получить для сельских полей быстроходную уборочную машину, которая со скоростью автомобиля объедет поля, соберёт с них, как и машина Власенко, только зерно, оставив косилкам и прессам-подборщикам солому. Идея инженеров Румянцева, Залушнова, Кондрашова и других их соратников должна быть поддержана — страна нуждается в задуманной ими уборочной машине.

Мне кажется, что путь, по которому шли мы до сих пор, насыщая сельское хозяйство громоздкими комбайнами, затягивающими уборку, требующими дополнительной обработки зерна и, что главное, вызывающими потерю чуть ли не миллиарда пудов зерна в год, — это путь не единственно верный. Жизнь требует создания быстроходной уборочной машины и комплекса подвижных и стационарных машин для последующей обработки зерна.

И ещё одно соображение.

К сожалению, нам приходится часто встречаться с тем, что конструкторы, создатели новой техники, порой ещё находятся в плену конструкций прошлого. Чем иным можно объяснить, что новые сельскохозяйственные машины проектируются в расчёте на работу их живых помощников?

Возьмём тот же комбайн. Почему на запятках этой, в идее своей автоматизированной, машины стоят, задыхаясь от пыли, две девушки и вилами разравнивают солому в копнителе? Неужели нельзя было придумать для этого особое приспособление?

Почему на новой картофелесажалке мы видим прицепившихся сзади двух человек? Почему на рассадопосадочной машине сидят четыре женщины, почему на новом прессе-подборщике, который призван произвести революцию в сеноуборке, вместо рычагов, прошивающих иглой пакеты спрессованного сена, должны в машинном темпе работать две женщины?

Знаменательно, что на XX съезде партии — и в выступлениях и в Директивах шестого пятилетнего плана — особое внимание обращено на производство навесных сельскохозяйственных машин и орудий. Эти машины и орудия, навешенные на трактор, не нуждаются в прицепщиках, ими управляет тот же тракторист.

Представьте себе, какая армия освободится на полях, если отказаться от всех живых помощников машин на плугах, на сеялках, культиваторах, косилках, комбайнах. А ведь это возможно! Возможно, если выполнить указания съезда о навесных машинах и орудиях, если предложить конструкторам новых машин отказаться от использования людей, применяя вместо них все современные средства автоматизации. Ныне проводники заменяют электровacuумную технику, казавшуюся неудобной для полевых машин, позволяют использовать в поле даже фотоэлемент.

Машины для сельских полей до сих пор у нас создаются единообразными для всех районов нашей обширной страны. Пора перейти к созданию машин для определённых зон, машин, удобных для климатических и прочих условий зоны. Ведь для южных просторов нужны совсем иные машины, чем для пересечённой местности севера или таёжных районов. Именно такое задание было поставлено сентябрьским Пленумом ЦК нашей партии. В мае 1956 года уже утверждена система таких машин. Дело теперь за машиностроителями.

Пришла пора, когда для вооружения нашего сельского хозяйства должны быть использованы все достижения современной техники.

МНОГОЕ ИМ ПО ПЛЕЧУ

Замена ручного труда машинами, индустриальные методы механизированного труда в сельском хозяйстве и, наконец, отказ от живых помощников машин — это колоссальные ресурсы повышения производительности труда.

Двадцатый съезд партии подчеркнул возможность и необходимость мирного сосуществования, мирного соревнования социалистического и капиталистического лагерей. В этом несложном соревновании решающим показателем будет производительность труда. Нам не следует закрывать глаза на то, что мы во многих областях уступаем в производительности труда некоторым капиталистическим странам, и в первую очередь оплоту капитализма — США.

Соревнование — это значит борьба, конечно, борьба мирная, суть которой не в том, кто кого сломит, а в том, чьи возможности окажутся большими.

У капиталистического строя передовая техника и интенсивная эксплуатация трудящихся. На стороне социалистического строя тоже передовая техника, которая в иных случаях отстаёт, в других — перегоняет капиталистическую, но которая может во всём её превосходить, и главное — социалистическое, творческое отношение к труду каждого рабочего. Потенциально победа на нашей стороне, но победа не приходит сама, её завоевывают. И завоевать её нужно у сильного противника.

Размышляя сегодня о сельском хозяйстве, полезно вспомнить место в отчётном докладе ЦК XX съезду партии, где говорится об американском сельском хозяйстве.

В Америке продолжается процесс разорения фермеров, вытеснения их из сельского хозяйства. За последние годы (1940—1954) около миллиона трёхсот тысяч фермеров в США разорились, потеряли землю и вместе с семьями устремились в города. Помимо хищнических приёмов, которые применяются крупными сельскохозяйственными монополиями, этот процесс обусловлен тем, что на капиталистических предприятиях производительность труда более высокая, чем в фермерских хозяйствах.

Конечно, у нас не может быть процесса, подобного американскому. Наше население, занятое сельским хозяйством, занятое колхозным производством, в котором каждый из колхозников — равноправный хозяин, сейчас больше, чем в Америке, и отнюдь не должно сокращаться. Однако производительность труда в нашем сельском хозяйстве завтра не уступит той же Америке, но это не поведёт к уходу людей из деревни, а откроет перед ними совершенно новые перспективы, немислимые в американских условиях.

Каковы тут возможности, мы можем снова убедиться на примере целины. Предоставленную целинникам передовую технику удалось так успешно использовать потому, что на целину пришёл отряд вооружённых знаниями и общей культурой рабочих, молодых, стойких, увлечённых романтикой нового труда.

На каждого целинника пришлось 100 гектаров поднятой целины. Но ведь треть всех работающих на целине была занята не земледелием, а строительством. И вовсе не следует думать, что использование техники во всех местах на целине было наилучшим. Известно, что в некоторых МТС в районе целины простои тракторов достигали 120 тысяч тракторо-дней.

В то же время лучшие трактористы-комсомольцы показали очень высокую выработку. Так, в том же Кульминском совхозе Чкаловской области, о котором рассказывала секретарь его комсомольской организации Гликерия Данилова, тракторист Раудин вспахал 830 гектаров, Седов — 1 123, а Даультеков — 1 400 гектаров. Наш знакомый Монастырёв совсем в другом месте, на Алтае, выработал 1 100 гектаров (в мягкой пахоте). Участник совещания в Кремле Алексей Жерноклеев, из Ново-Орского района Чкаловской области, принял обязательство выработать на тракторе 1 700 гектаров в мягкой пахоте.

Постарайтесь представить себе, что значат эти цифры. Если бы все трактористы давали выработку около тысячи гектаров мягкой пахоты, что в среднем составит 500 действительных гектаров, то для обработки 30 миллионов гектаров целинных и залежных земель понадобилось бы лишь 60 тысяч трактористов! Конечно, это только грубое сопоставление, многого не учитывающее, но красноречивое.

Молодёжь учится, она всё лучше овладевает огромной, предоставленной в её распоряжение техникой. И чем дальше, тем меньше будет требоваться трактористов для целины, да и не только для целины.

Я разговаривал по этому поводу с двумя руководителями машинно-тракторных станций — степной на целине и рядовой в Московской области.

Директор целинной МТС, инженер, окончивший Свердловский политехнический институт, Марк Юрьевич Вёрткин сказал, что у него на МТС и збыто к трактористов, он мог бы 50 трактористов отправить в другой район.

Почему они стали «лишними»? Механизаторы выросли. Они могут добиваться большей выработки. На практике приходится сдерживать их производительность. По мнению директора МТС, при работе в одну смену наиболее выгодно иметь на десять тракторов двенадцать трактористов; сейчас их больше, чем надо.

О том же по существу с трибуны совещания целинников в Кремле сказал комсомолец Анатолий Малышев. Он требовал уменьшения числа трактористов, приходящихся на трактор, гарантировал повышение выработки.

В том же самом заинтересован и главный инженер Ногинской МТС Московской области М. Гольдер. Пополнение, идущее из училища механизации, с которым он «кровенно» связан, делает его хозяином положения. МТС уже не зависит от «старых трактористов», которые, недостаточно владея трактором, не поборов в себе всех пережитков психологии крестьянина, считали себя незаменимыми. Новое пополнение позволяет не только заменить плохих механизаторов, но и высвободить рабочую силу, одновременно поднимая и дисциплину, и культуру труда, и выработку, и заработок.

Правы были и те молодые целинники, которые ставили вопрос о том, что к ним на целину теперь надо посылать минимум рабочей силы, и неправы те директора совхозов, которые идут по линии наименьшего сопротивления и требуют дополнительно сотни людей. Ведь приезд новых рабочих в уже созданные на целине совхозы потребовал бы огромных вложений, чтобы обеспечить их жильём и всем необходимым.

Как ни поражают высокие результаты работы первого отряда молодёжи на целине, они всё же меньше того, что в состоянии сделать новосёлы в ближайшем будущем. Об условиях, необходимых для этого, и хочется поговорить.

В первую очередь — о совмещении профессий. В сельском хозяйстве, при сменяющихся сезонных работах, требуются рабочие каждый раз новых специальностей. Значит, самым выгодным будет, когда одни и те же люди в разное время станут выполнять работу различных профессий.

Жизнь заставила училища механизации готовить механизаторов широкого профиля. Но и этого недостаточно. Рабочий совхоза или машинно-тракторной станции на целине должен быть не только знатоком всех сельскохозяйственных машин, но ещё и строителем, притом в равной степени и плотником, и бетонщиком, и каменщиком.

Очевидно, наиболее правильным было бы обучать молодых рабочих последовательно в училищах механизации и в училищах строительного профиля.

Комсомольцы первыми проявляют инициативу. Так, бывшие воспитанники детского дома, приехавшие в Кульминский совхоз Чкаловской области, окончили два ремесленных училища и каждый имеет по пяти-шести профессий. Они стали незаменимыми людьми для совхоза. Заработок их высок в любое время года. Многие механизаторы того же совхоза учатся на курсах каменщиков и штукатуров.

Когда-то мне пришлось участвовать в споре: каким будет рабочий при коммунистическом обществе? Будет ли это предельно узкий специалист, управляющий одной машиной, владеющий одной только специфической операцией технологического процесса?

Ещё тогда я всей душой был согласен с теми, кто страстно отрицал это Рабочий коммунистического общества будет человеком широкой культуры, как общей, так и производственной.

Такого рабочего мы увидим на заводе-автомате, наблюдающего за работой сложнейшего комплекса механизмов, где будет и электроника, и ультразвук, и литьё, и резание металла, и шлифовка, и заглядывание внутрь деталей рентгеном, и контроль с по-

мощью радиоактивных элементов. Рабочий всё это будет знать, всем этим будет управлять, умея налаживать механизмы, в случае надобности исправлять их.

Уже в наше время в сельском хозяйстве происходит процесс расширения и углубления производственной культуры, и прежде всего на целине, где наиболее совершенная техника и формы организации труда ближе всего к будущему.

Каково же это будущее? Какими сельскохозяйственными машинами будут пользоваться тогда люди, как будет организован их труд? Можем ли мы сегодня заглянуть в завтрашний день, представить себе его в каких-то деталях?

БУДУЩЕЕ — ЭТО МЕЧТА, ПРОЕКТ, ПЛАН

Помните, Чернышевский в снах Веры Павловны силой предвидения переносил нас в преображённую пустыню. Когда-то, задумавшись о будущем сельского хозяйства, я представил себе такую «пустыню».

...Насколько видит глаз, распростёрлись спеющие нивы. И лёгкой рябью на пологих скатах холмов проходит ветер по золотому мюрю.

Рядом с теплолюбивым хлопком растёт пшеница, один колос которой перетягивает на весах много прежних колосков.

Как он вырос в знойном месте, где уже четыре месяца не было дождей? Мы наклоняемся и у самой земли замечаем прибор, по форме напоминающий гриб. Он определяет влажность почвы. Идущие от него провода приведут нас к цилиндрическому белому зданию с плоской крышей.

В центре круглого зала подковообразный пульт с рычажками и кнопками. Отсюда можно окинуть взглядом все многочисленные приборы и сигнальные лампочки, размещённые на щите вдоль стен.

Сюда, к сердцу всего хозяйства, тянутся провода с полей, где растут хлопок и рис, кунжут и пшеница, клевер и арахис, сахарная свёкла и несравненные арбузы и дыни.

Сидящий в вертящемся кресле агроном — диспетчер полей — видит, какова влажность почвы в любом месте. Но ему не нужно посылать поливальщиков или дождевальные установки на участки, где растения, как донесли приборы, «захотели пить». Отклоняется стрелка, показывающая высыхание земли, и тотчас щёлкают за щитом контакторы, зажигается голубая лампочка, сигнализируя, что по подземным артериям к угрожаемому месту идёт вода.

Да, вода приходит к растениям не в виде искусственного дождя, она не разливается по поверхности из поливных борозд. Едва почувствуют растения жажду, их насытит «подземный дождь».

Ещё весной во всех направлениях прошли по полям за трактором подземные снаряды — стальные кроты, проложили в глубине почвы трубы-норы. По этим трубам хлынет теперь вода, впитываясь через стенки в почву, приходя прямо к жаждущим корням, не испаряясь с поверхности, как прежде, не размывая верхний слой земли.

Увеличилась влажность почвы до нормы — и защёлкали снова контакторы за щитом, выключилась водная магистраль. Насосы гонят воду уже на другие участки, чтобы и там насытить почву невидимым «подземным дождём».

Если зайти за щит, можно увидеть много знакомых приборов, которые управляют «полями», а в наше время управляли на расстоянии автоматически действующими электростанциями.

Встаёт с кресла агроном. Он идёт вдоль щита, окидывая взглядом циферблаты, и будто шагает он по всем подведомственным ему полям, до которых несколько часов езды.

Вот он нажимает кнопку микрофона и, не повышая голоса, приказывает звену вертолётчиков вылететь на участок 73, квадрат 9.

Вертикально в воздух поднимаются вертолёты и летят к указанному квадрату, чтобы посеять над ним удобрения. А диспетчер уже занят другим. Его внимание привлечено сведениями о росте сорных трав. Если бы это было на пшеничном поле, он послал бы туда самолёты, чтобы они окропили поле «живой росой», побуждающей рост злаков и губельной для сорняков. Но сведения поступили с поля, где растёт сахарная свёкла. Тут не поможет живая роса.

Снова звучит голос командира.

На свекловичное поле выезжает самоходный автоматический культиватор, чтобы прополоть сорняки. Его «чувствующие» лапы не повредят ботвы и срежут под корень все сорняки.

Нетороплив, спокоен диспетчер, но у него горячая пора: ведь на некоторых участках началась страда, машины убирают урожай.

На центральном месте шита, рядом с часами, мы видим график уборочных работ. Течёт время, и переползает по графику световой зайчик. А рядом зажигаются цифры и надписи, «докладывающие» о выполнении графика. Один только взгляд — и диспетчер убеждается в том, что всё благополучно.

Но вернёмся на пшеничное поле. Вот они, хлеба будущего! О них мечтал когда-то академик Вильямс, говоря: «Земля будет работать на социализм. Невиданные урожаи в мире способна собирать страна Советов, и я верю, что недалёк тот час, когда 100 центнеров с гектара будет средним урожаем моей родины».

От полосы леса на горизонте по золотому пшеничному морю движется какая-то машина. Похоже, что это плывёт маленький катерок. Он то поднимается на гребень волны, то исчезает, чтобы появиться снова.

Он приближается с необычайной быстротой.

Но это вовсе не катерок!

Высоко поднята изогнутая решётчатая конструкция непонятного назначения, позади неё — катящийся на собственных колёсах прицепной бункер, откуда зерно на ходу в одно мгновение пересыпается в кузов поравнявшегося с уборочной машиной грузовика. За сферическим стеклом в кабине мы видим девушку в белом фланелевом костюме. Она управляет машиной, подминающей под себя колосья, которые снова поднимаются позади машины, но уже без зерна.

Это обмолот на корню, обмолот без срезания соломы. Он позволяет проводить уборку с огромной скоростью, сводя на нет потери.

Транспорт не перевозит сейчас соломы, он только доставляет обмолоченное зерно прямо на элеватор, где оно будет и очищено и высушено, если это нужно.

А как же солома?

Она не забыта в графике у диспетчера, где расписана работа машин по часам и минутам.

Перебросят автомашины последнее обмолоченное зерно на элеватор — и выйдут на поля самоходные косилки. Ляжет на землю скошенная солома, а идущий следом пресс-подборщик тут же спрессует её в жёлтые тюки. Их доставят к соломорезкам, к кормозаготовительным или строительным машинам.

А сейчас... с лёгким стрекотом пронесётся мимо нас уборочная машина будущего, приземистая, обтекаемая, как сигара.

Издали виднеется лишь поднятая над бункером параболическая решётка. Будь она сделана из стекла, она напомнила бы нам рефлектор прожектора.

Это и есть рефлектор-антенна, принимающая пучок электромагнитных волн, несущих без проводов электрическую энергию, которую использует наша машина. Напомним, что возможность такой передачи доказывали теоретически ещё в наше время сперва член-корреспондент Академии наук Украинской ССР Тетельбаум, а потом и действительный член Академии наук Армянской ССР профессор Иосифьян. Исключительно интересны и обещающи были первые опыты. Оказывается, вполне возможно передать энергию на расстояние до пяти километров, используя 90 процентов (!) передающей мощности.

Маленький «катерок» с решётчатой башенкой уже скрылся из виду. Приборы, конечно, доложили об этом диспетчеру.

На полях коммунизма в орошаемых районах самым обычным делом будут два-три урожая в год. Ведь здесь так рано приходит весна, так поздно наступает осень. И здесь так быстро справляются машины со своим делом.

Едва снят урожай — начинается пахота. Она проводится теперь не каждый год. Последний раз здесь пахали несколько лет назад.

Половина соседнего с пшеничным поля уже распахана. Могучий многокорпусный плуг прошёл здесь. Как аккуратно проложена борозда! Верно, опытный тракторист вёл электрический трактор, шум которого мы уже слышим. Трактор приближается к нам, вползает на холм, из-за которого поднялась его решётчатая башенка-антенна. Теперь видна уже и кабина, в стекле которой отражается солнце. Трактор не идёт, он почти мчится, грохочут его гусеницы. Неужели можно пахать с такой скоростью? Не вхолостую ли он идёт, оставив плуг? Нет, плуг навешен на трактор, и земля вскипает сзади него.

Почти поравнялась с нами огромная машина на гусеницах, но всё ещё не разглядишь за стеклом кабины лица тракториста.

Трактор с шумом проехал мимо. Кабина пуста.

Конечно, пуста. Зачем сидеть там человеку, если перед трактором установлен «фотоглаз», направленный на борозду? Отклонись трактор хоть чуточку в сторону, фотоэлемент уже не «увидит» чёрной земли. В цепи его появится электрический ток, который послужит сигналом для включения моторчиков, и они выправят ход трактора, не давая сбиваться с пути, заставляя его точно идти вдоль борозды. В конце поля эти же моторчики заставят трактор сделать полный разворот и снова выехать на борозду.

И трактор сам, без участия людей, пашет поле, двигаясь по нему, как автоматический челнок. За его работой следит сельский инженер на передающей энергии подстанции.

Кто этот сельский инженер?

Пахарь. Правда, у него «соха сама по полю ходит», но если разобраться, то она ходит вовсе не сама, а выполняя его волю.

Конечно, у «крестьянина» высшее техническое образование, он превосходно знает и токи высокой частоты, и автоматику, и телемеханику, и всё же, как хотите, это «пахарь». Но пахарь, вооружённый техникой коммунизма. Производительность его труда в тысячи и тысячи раз выше, чем у его прадеда, шедшего, сгорбив спину, за сохой.

Точно так же и у девушки, сидящей в искусственно охлаждённой застеклённой кабине нового комбайна, эффективность труда неизмеримо выше, чем у её прабабки, работавшей с серпом или цепом в руках. И эта высокая производительность труда, новые его условия, творческое и радостное отношение к нему — вот что будет способствовать торжеству светлой мечты человечества, торжеству коммунизма.

В СТРАНЕ ЛЮДЕЙ НОВОЙ СИЛЫ

Раздумье в дни XX съезда неизбежно привело нас к мыслям о коммунизме. К нему ведёт широкая, устремлённая в гору дорога, открывшаяся нам после съезда.

Мысленно глядя на эту дорогу, вдумываясь в Директивы шестой пятилетки, хочется уловить то главное, что отличает её план от пятилеток, уже выполненных.

Отличительная черта новой пятилетки, пожалуй, не только во всё возрастающем количественном росте всех отраслей промышленности. Особенность её — в качественном изменении нашей техники, в новом, лучшем использовании уже существующей.

Ни в одной из прежних пятилеток не встречалось таких отраслей техники, как атомные электростанции. В новой пятилетке при общей мощности в 2,5 миллиона киловатт они будут вырабатывать в год электроэнергию в десять раз больше, чем вся Россия во времена царизма. Никогда прежде люди не слышали о «думающих», счётно-аналитических машинах, которые не только решают дифференциальные и интегральные уравнения и до сих пор бывшие неразрешимыми математические задачи, но и делают переводы с двадцати иностранных языков, печатают переведённый текст. Эти машины в состоянии даже играть в шахматы и — что особенно важно и будет использовано в новой пятилетке — управлять автоматизированным производством.

Большая доля прироста продукции — по различным отраслям промышленности от 12 до 86 процентов — в новой пятилетке будет получена не за счёт увеличения техники, а путём лучшего её использования.

Этот процесс качественного изменения произойдёт и уже происходит, как мы видели, и в сельском хозяйстве.

Если сейчас примерно два миллиона механизаторов в МТС справляются больше чем на девять десятых с основными земледельческими работами, то всё большее внедрение комплексной механизации и повсеместное оснащение сельского хозяйства высшей техникой приведёт ко всё большему высвобождению из сельского хозяйства рабочих рук.

Была пора, когда в тридцатых годах партия призывала колхозников помочь развитию промышленности, прийти в город, на заводы и фабрики.

В самое недавнее время, да и теперь ещё, мы остро ощущаем недостаток рабочей силы в колхозах, откуда много людей ушло на заводы и фабрики в чрезмерно растущие города.

Что же должно произойти в предстоящие годы шестой пятилетки, когда вновь возникший отряд рабочего класса на селе с помощью возрастающей техники достигнет ещё большей выработки, чем сейчас на целине? Всё меньше понадобится подсобных рабочих рук в сельском хозяйстве. Культура индустриального труда и традиции рабочего класса изменят облик деревни. Рабочими в деревне захочет стать больше людей, чем понадобится для вождения сельскохозяйственных машин и их ремонта, для обслуживания ферм, для строительства на селе.

Значит, будет новый приток людей на заводы, в города?

Конечно, в какой-то степени это будет так, но целесообразно ли на всё будущее время держать равнение на рост городов и на уменьшение сельского населения?

Никита Сергеевич Хрущёв в отчётном докладе ЦК XX съезду партии поставил вопрос о нецелесообразности дальнейшего роста городов, о желательности рассредоточения населения крупных центров за счёт строительства в непосредственной близости к ним небольших благоустроенных городков, куда перевести некоторые предприятия.

Известно, что заводы и фабрики наиболее выгодно строить там, где есть сырьё и рабочая сила.

Ясно, что достижения сельскохозяйственной техники, рост культуры труда сельского рабочего класса в самом недалёком будущем освободят от участия в сельскохозяйственных работах известную часть нынешнего сельского населения. Нет никакой нужды привлекать всех этих людей в города, отрывать от насиженных мест. Почему бы не строить заводы и фабрики, в первую очередь те, которые получают сырьё от сельского хозяйства, с рассредоточенными цехами, расположенными в сельских местностях, со сборочными или выпускающими цехами в районных центрах? Практика рассредоточенных цехов хорошо известна в мировой технике.

Почему бы не пойти этим заманчивым путём в будущей нашей деревне? Построенные в разных деревнях заводские цехи должны быть связаны хорошими дорогами, столь необходимыми нам и теперь. Ведь это поставило бы по крайней мере часть рабочего класса промышленности в те же благоприятные условия, в которых уже находится вновь народившийся рабочий класс сельского хозяйства!

Именно таким можно увидеть будущее наших сельских районов, прославленных своим раздольем, ширью, красотой русской природы.



Т Р И Б У Н А П И С А Т Е Л Я

Вл. ЛИДИН

★

ПУТЬ КНИГИ

Недavno, беседуя в Братиславе со словацкими писателями и рассказывая о тиражах многих наших книг, я назвал примерную цифру в сто тысяч экземпляров; конечно, я мог бы назвать и миллионные тиражи и не сделал этого лишь потому, что непосвящённому человеку это могло бы показаться преувеличением.

В советском книгоиздательском деле произошла за последние годы своего рода культурная революция. Тиражи книг поражают даже нас, привыкших к огромным масштабам. Мы наблюдаем могучее проникновение книги повсюду и широчайший всеобщий интерес к литературе. И всё же в книгопечатании приходится сейчас встречаться с рядом нерешённых проблем, а иногда и с инерцией прямой отсталости, с которой, естественно, никак нельзя мириться.

Существуют непререкаемые законы книжного набора, основанные на элементарных правилах геометрических пропорций. Ширину набора и его соотношение с полями принято строить по принципу «золотого сечения». Массовость тиражей, необходимость при этом экономить бумагу вынуждают поступиться классическими правилами набора книги. Но даже при миллионных тиражах, при изменении привычных основ производства следует думать о том, чтобы не только сохранить, но и улучшить качество выпускаемых книг: они должны быть сделаны хорошо, красиво и прочно.

Начнём с бумаги. Я не специалист в области бумажного производства, но я привык иметь дело с книгой, скажем, как рядовой, но требовательный читатель. Как и у многих сотен тысяч советских людей, у меня есть своя библиотека. Стоят на моих книжных полках и книги, выпущенные в XVIII веке, и книги, изданные в XIX веке, и книги, изданные в тридцатых годах в Советской стране. Приходится с горечью иногда констатировать, что многие книги, выпущенные у нас в 1925—1935 годах, выглядят внешне значительно лучше, чем некоторые издания¹ последнего времени. В книгах, напечатанных в ту пору, когда наша бумажная промышленность была значительно слабее, менее технически оснащена, не найдёшь разницы в отбелке одного и того же сорта бумаги, какую наблюдаем мы ныне. В самом деле, возьмём современную книгу, отпечатанную на бумаге далеко не худшего сорта, и поглядим на её обрез. Мы увидим целый спектр оттенков от голубого до розового, как будто бумага производилась не на одной и той же фабрике, не одними и теми же техническими приёмами, не одними и теми же людьми. С моей точки зрения, читателя, это брак; с точки зрения производственника, это брак; с точки зрения директора издательства и художника, оформлявшего книгу, это брак. Однако брак этот узаконен, и производственники чуть ли

не со стоном печатают на этой по окраске похожей на конфетти бумаге, пожимая, что прахом идут все их усилия выпустить добротную книгу.

Представим себе образно, что такое же положение было бы, скажем, в обувной промышленности, когда чёрная обувь выпускалась бы, из-за неравномерной окраски кожи, всех оттенков — от рыжего до бурого. Можно быть уверенным, что Министерство лёгкой промышленности в пух разнесло бы таких обувщиков. Почему же мы терпим это при наших огромных технических возможностях, при новых машинах, при усовершенствованных способах производства в бумажной промышленности? Ни одна объективная причина не может служить оправданием выпуска брака, да ещё для такой культурной цели, как книга. Бумага, идущая на печатание книг, должна выпускаться определённого стандарта, определённой установленной отбелки, а не как получится.

Наши издательства прилагают огромные усилия к тому, чтобы хорошо оформить книгу. Мне приходится бывать на заседаниях художественного совета Гослитиздата. Члены этого совета — лучшие художники-графики нашей страны, превосходные мастера книги. Но они с унынием наблюдают, что крупнейшее в Советской стране издательство буквально задыхается от отсутствия нужных материалов. Из года в год поступают одни и те же переплётные материалы — ледерин и коленкор, с которыми ничего нового не придумаешь и в которые одевают собрания сочинений классиков и современников, однотомники, да и всё то, что нужно выпустить получше. Читатель по справедливости сетует на унылое однообразие на своих книжных полках. Такие превосходные материалы, как «вощёнка» или разрежённая основа ледерина и коленкора, на которую отлично, создавая приятную фактуру, ложится краска, бристоольский картон, обложечные бумаги глубоких тонов — всё это фигурирует только в альбомах бумажных фабрик или на макетах демонстрируемых на художественных советах книг, макетах, которым суждено в большинстве случаев остаться лишь образцами.

Общезвестно, какое значение для внешности книги имеет каптал — цветная тесьма, которая наклеивается на корешок книжного блока, но и она не всегда бывает у нас под цвет переплёта, а какая найдётся под рукой; даже в собраниях сочинений классиков отсутствует закладка, причающая читателя закладывать книгу не каким-либо твёрдым предметом, портящим её, а элементарной принадлежностью каждой переплётной книги.

Учиться хорошему никогда не зазорно. В магазине «Книги стран народной демократии» в Москве можно увидеть книги, изданные в Чехословакии, Германской Демократической Республике или Венгрии, в очень простых, но превосходно сделанных и радующих глаз переплётках. Это не дорогие материалы, а обработанная бумага или обработанные дешёвые ткани.

На закрывшейся недавно выставке французских книг в Москве мы подолгу любовались не только замечательной техникой репродукции в книгах по искусству, но и рядовой французской книгой, сделанной добротной и по всем правилам полиграфического искусства. Кстати говоря, во Франции некоторые книги, рассчитанные на любителя, выпускаются иногда ограниченным тиражом. Книги эти стоят дорого, но они являются своего рода эталоном полиграфического искусства и необычайно двигают технику производства книги. Почему бы некоторые книги не выпускать у нас именно в качестве подарочного издания: образцы совершенной техники, несомненно, заставили бы подтянуться нашу полиграфию и при больших тиражах. Следует сказать, что рядовая французская книга выпускается без всякого украшательства, зачастую со шрифтовой обложкой, но в подборе шрифтов чувствуешь не только вкус оформителя, но и точное знание

законов полиграфического искусства. Это искусство, однако, связано в первую очередь с переплётной бумагой.

У нас до чрезвычайности мало выпускается переплётной бумаги не только для издательства, но и для обихода читателя, который любит книгу и хотел бы её переплести. Это тем более печально, что переплётные мастерские проявляют полную неосведомлённость в переплётном деле, даже дорогие книги они переплетают для библиотек порой как простые учебники. Искусство переплёта книги, которым когда-то мы славились, постепенно вымирает: старые мастера не имеют учеников и уносят с собой свои навыки.

Стандартизация меньше всего подразумевает собой ухудшение качества. Между тем ради стандартизации, повидимому, культуру книжного набора обеднили до крайности. Одним шрифтом — приевшимся «латинским корпусом» — печатается большинство наших книг. Ещё недавно были в ходу отличные гарнитуры шрифтов, вроде «академического» или «елисаветинского»; теперь производственники только рукой машут, когда заходит речь об этих шрифтах, ставших своего рода вымирающими. Ни одного нового шрифта не создано за многие годы, и это тогда, когда развитие книжного дела, миллионные тиражи, казалось бы, требуют непрерывного обновления, роста, находок в полиграфии. (Бедность в шрифтах доходит до того, что даже в академическом издании сочинений Герцена недостающую в гарнитуре одну из немецких букв пришлось заменить схожей по начертанию греческой.)

Разговор о внешности книги будет неполным, если мы не остановимся на книжной иллюстрации, которая также имеет свои законы. Обращаясь к книгам, выпущенным в России в прошлом столетии, мы видим, как гармонически сочетались с текстом графические рисунки А. Нотбека, В. Тимма, А. Агина, Е. Ковригина, П. Соколова, Н. Степанова... Правда, текстовой рисунок несколько усложняет верстку, но он не только даёт книге своеобразную тональность, а и требует высокого мастерства художника. Некоторые наши советские графики, художники большой культуры: В. Фаворский, Кукрыниксы, Н. Кузьмин, А. Гончаров, Г. Филипповский, О. Верейский — неоднократно применяли этот способ иллюстрирования, и с большим успехом. Стоит проглядеть изданного недавно Гослитиздатом «Левшу» Н. С. Лескова: блистательные рисунки Н. Кузьмина темпераментно раскрывают всю глубину этого прославленного сказа Лескова о тульских умельцах, подковавших блоху.

Однако в практике наших издательств преобладает иной способ иллюстрирования книг, а именно: вкладками, часто цветными, что не всегда помогает украшению книги. На художественных советах наших издательств художники демонстрируют обычно свои большие акварели, которым в уменьшенном виде предназначено стать цветными иллюстрациями. Хорошие сами по себе, акварели эти, становясь иллюстрациями, разделяют судьбу воспроизведений станковой живописи. Они не только не способствуют раскрытию текста, а, не будучи органически слитыми с книгой, отвлекают читателя. Это усугубляется ещё и тем, что, подготавливая книгу с самыми лучшими намерениями украсить её, наши оформители и производственники никогда не могут быть уверены, что книга будет напечатана на той бумаге, какая ей предназначалась, или что цвет переплёта будет таким, какой определил художник. В результате все попытки украсить книгу превращаются в свою противоположность: отпечатанные на плохой бумаге гравюры вялы и бледны, а вкладные иллюстрации только подчёркивают полиграфическое несовершенство книги.

Как производственники, так и оформители хорошо знают тот критический момент, когда книга уже набрана и должна печататься. Оказывается, нужной бумаги в типографии сейчас нет, а набор не может залёживаться, график выпуска не может быть сорван; и вот через две-три недели лежит

перед производственным «сигнальный» экземпляр, в котором всё не так, как задумано: ни качество бумаги, ни цвет переплёта, ни выполнение рисунков, хотя целый год, если не больше, книгу трудолюбиво готовили к печати.

Об этом грустно писать, потому что всё это находится в вопиющем противоречии с нашим умением хорошо выпускать книгу, с мастерством производственников, с тем, что советская книга давно получила мировое признание, утверждая возможности нашего полиграфического искусства. Мы не можем поэтому мириться с «узкими местами», которые не только существуют, но и обнаруживают тенденцию ещё более сузиться.

Говоря о книге, нельзя не упомянуть о прохождении рукописи в издательстве, о судьбе, так сказать, эмбриона книги.

Как известно, издательский план составляется во второй половине года; обычно к октябрю—ноябрю он уже поступает на утверждение. Предположим, что именно к этому сроку писатель закончил новую книгу. В план наступающего года, за редкими исключениями, она уже не попадёт; в лучшем случае книга может быть включена в так называемый редакционный план. Это означает, что новому произведению писателя суждено увидеть свет только примерно через два года после его написания. Но мы ведь знаем из всей истории нашей литературы, что значит слово, сказанное во-время, как оно звучит для общественного сознания и как, запоздав на год или два, оно в значительной степени может потерять действенность.

Я не хочу останавливаться на практике прохождения рукописи в издательствах, на внутренних рецензиях, которых набегают иногда до четырёх или пяти, и часто все эти рецензии настолько гуттаперчевые, что так и не поймёшь, нужно или не нужно издавать книгу. Это вопрос особый и требует особой статьи. Будем исходить из того положения, что книга принята, включена в план, готовится к печати. Проследим за судьбой рукописи после работы редактора над ней.

Рукопись поступает на «вычитку», то есть её читают корректоры, выявляют орфографические ошибки, синтаксические неправильности, ставят вопросительные знаки, когда встречаются несоответствие с правилами грамматики или прямые несообразности. Начнём с орфографии. Под рукой корректора находятся словари и справочники Даля, Ушакова, Былинского, Ожегова. Что ни словарь, то разночтение в правописании, и если даже предположить, что Даль устарел, что это словарь областных слов, то ряда слов в наших современных словарях попросту не найдёшь, и это приводит к тому, что корректоры или скрепя сердце, неуверенные в истине, пользуются Далем, или попросту пытаются убрать непривычные словосочетания. А ведь речь идёт о могучем, своеобразном, обогащающемся с каждым годом русском языке, который к тому же совершенствуют своими словесными находками и писатели.

Правда, недавно в «Литературной газете» появилось сообщение, сделанное академиком В. Виноградовым о том, что утверждён единый свод «Правил русской орфографии и пунктуации», который будет выпущен из печати 1 сентября 1956 года. Следует приветствовать и работу, проделанную Институтом языкознания Академии наук СССР по созданию нового полного орфографического словаря русского языка; словарь этот, содержащий до ста тысяч слов, должен быть выпущен в свет к началу нового года. Но мы в этой статье говорим не о будущем, а о том, что на протяжении десятилетий было практикой каждого дня.

При вычитке рукописи автор страдает не только от того, что иногда пытаются обеднить его язык. Корректоры начинают вносить поправки и в пунктуацию. Автор, считающий пунктуацию органической частью своего текста, не может примириться с произвольным искажением и его ритмики

и внутренней структуры фразы. Следует сказать, что и после восстановления автором первоначального текста в отпечатанной книге появляется за частую пунктуация, наиболее любезная корректору.

* * *

Наконец книга отпечатана. Теперь должна начаться её жизнь. В типографии, нередко в удручающей тесноте, лежат штабелями отпечатанные листы многих десятков книг, которые должны идти в брошировку. Трудно винить типографию, если в ней из-за тесноты нет необходимого порядка. Но нельзя примириться с этикеткой, которую вкладывает в каждую книгу контролёр, оповещающей о том, что при обнаруженном браке покупатель может обменять книгу. Нельзя представить себе такие этикетки приложенными, например, к ответственным деталям двигателя или даже к любому предмету широкого потребления, скажем, к шляпе; книга же, рассчитанная на десятилетия, на то, что ею будут пользоваться последующие поколения, на вековое хранение в библиотеках, то есть один из самых ответственных видов производства и культуры, имеет при себе этикетку, означающую, что брак не только возможен, но и част.

Мне кажется, что это только потворствует попустительству и искажает природу производства книги. И почему читатель должен терять время на обмен дефектной книги, прошедшей через руки контролёра, ответственного за то, чтобы книга была без дефекта?

Последуем, однако, за книгой дальше, после того, как она сброширована и облачена в переплёт. До сих пор в типографиях действует стародавний, дедовский способ упаковки отпечатанных книг в пачки. Под углы подкладывается картонка, чтобы бечёвка не резала края переплёта, — и вот плывут, сбрасываются, мокнут иногда под дождём или снегом, пока производится выгрузка с грузовика в склад, летят вниз в подвалы по наклонным доскам эти многострадальные пачки книг. В магазине подписных изданий подписчику, получающему очередные тома, продавец неизменно даёт осмотреть выдаваемый экземпляр. Спросите продавца, сколько книг с измятым корешком, с повреждёнными верёвкой краями переплётов, с испачканными грязью обрезками возвращает ежедневно подписчик? Уже немало написано было статей о недопустимости дедовских приёмов транспортировки книг. В любом универсальном или продовольственном магазине можно увидеть, что многие товары упаковываются в картонные коробки с гофрированной прокладкой внутри, оберегающей продукцию. Коробки эти могут служить по нескольку раз, если с ними аккуратно обращаться. Упаковка книг в коробки — по сто—двести экземпляров в каждой — не только предохранила бы книгу от всех изъянов на пути её следования к читателю, но и сэкономила бы государству миллионы народных средств. В эпоху контейнеров пачки перевязанных вручную книг являются просто анахронизмом.

Взглянем теперь, что же делается в наших книжных магазинах. Начнём с того, что для них почему-то отводятся обычно помещения, мало приспособленные для широкого движения книги. О магазинах букинистических книг и говорить не приходится: даже в Москве многие из них представляют собой закуты, а в областных городах букинистических магазинов попросту не существует; их не найдёшь ни в Ярославле, ни в Туле, ни в Тамбове, ни в Пензе, ни в Куйбышеве... разве что в магазине, торгующем новыми книгами и канцелярскими принадлежностями, одна-две жалкие полочки отведены для букинистических книг. Между тем букинисты всегда играли просветительную роль, не только приобщая к книге новых и новых любителей, но и давая заново жизнь старой, забытой, зачастую превосходной книге. Отсутствие букинистических магазинов обедняет наши города и по существу искажает природу величайшего культурного дела распространения книги.

Немало уже писалось о том, что наши книготоргующие организации плохо осведомлены о запросах читателей, направляют в ту или другую область книги, которые не имеют там распространения, и способствуют, с одной стороны, голоду на необходимые книги, с другой стороны создают неправильное представление о судьбах ряда книг. Практика распространения книг должна быть коренным образом пересмотрена в сторону действительного изучения интересов читателей и глубокого знакомства с их кругом. При этом следует помнить, что и в отношении спроса на книгу тоже произошла своего рода культурная революция: читатель ищет книгу, которая отвечает его духовным запросам и эстетическому вкусу, а не набрасывается на каждую новинку, как это было когда-то.

Книга — одно из самых пластических и совершенных чудес культуры. Спутник каждого человека, она включает в себя все элементы его духовной жизни и по всему своему смыслу должна быть совершенна. Белинский назвал книгу жизнью нашего времени, а страстный любитель книги Горький назвал её наиболее сложным и великим чудом из всех чудес. Поэтому наши требования, чтобы книга выпускалась у нас совершенной, никогда не ослабнут и не снизятся, а растущие тиражи требуют и растущего улучшения книги, ибо она становится достоянием всего великого народа нашего.



А. КАМЕНСКИЙ

★

РАЗМЫШЛЕНИЯ У ПОЛОТЕН СОВЕТСКИХ ХУДОЖНИКОВ

Злосчастная судьба у отдела советского искусства Третьяковской галереи! То его вовсе закрывают, чтобы использовать залы для очередной Всесоюзной выставки, то — в который раз! — перестраивают, переделывают, пока не настанет черёд новой выставки и экспозицию вновь упрятывают в запасник. Вот и сейчас, когда в преддверии съезда художников особенно важно осмыслить и критически оценить опыт творческой работы мастеров нашего изобразительного искусства, советский отдел галереи находится в непрерывном движении, и сегодня не знаешь, что там увидишь завтра. Давно уже идут разговоры о создании Музея советского искусства, но, куда его ещё нет, Третьяковская галерея должна иметь стабильную экспозицию, способную дать широкое и объективное представление о лучших произведениях живописи, скульптуры и графики, созданных после Октябрьской революции.

Всё же, несмотря на явную неполноту и слишком большую «динамичность» отдела советского искусства, знакомство с ним даёт богатую пищу для размышлений о характерных особенностях развития нашей живописи, её прошлом, настоящем и будущем.

В искусствоведческих книгах и статьях картины наших мастеров нередко называют «изобразительной летописью советской жизни». Эта изящная метафора привычна, но неправильна по существу. Летопись — дело историков, а коль скоро говорить о лучших, подлинно глубоких и правдивых произведениях нашей живописи, то они, конечно, представляют собой не простую изобразительную фиксацию тех или иных событий, но образное их отражение. Это, повторяю, лучшие картины. Вообще же советским живописцам было в основном свойственно два принципа понимания и решения творческих проблем: ограничение себя кругом задач и иллюстративно-документального изображения действительности и стремление к художественно-образному воплощению идей и фактов современности.

Было бы неразумным и необъективным утверждение, что картины иллюстративного характера всегда были никчёмны и бесполезны. Скажем, когда в двадцатых годах некоторые живописцы, входившие в АХРР, попытались «художественно-документально» (как говорилось в их декларации) изобразить «сегодняшний день, быт Красной Армии, быт рабочих, крестьянство, деятелей революции и героев труда», то их произведения в известной мере способствовали расширению идейного кругозора художников, изучению новой тематики. Но всё же те полотна ахрровцев, которые имели чисто «документальный» характер, были быстро забыты. В этом нет ничего удивительного, ибо настоящее, большое искусство начинается там, где есть обобщение, смелая мысль, глубокое постижение событий жизни. И в двадцатые годы и позднее живописцам лишь тогда удавалось достигать подлинно значительных результатов, когда они подымались над бескрылым и примитивным принципом «документализма» и шли путём поисков полнокровных, многогранных реалистических образов.

Такие образы советская живопись создавала уже с первых лет своего развития. Ещё в 1918 году А. Рылов написал картину «В голубом просторе», которая могла бы послужить поэтическим эпиграфом к истории нашего изобразительного искусства. Созданная в эпоху, когда, по словам самого художника, «на глазах круто и энергично

перестраивалась жизнь нашей страны», эта картина словно вобрала в себя «музыку» революционного времени. Ликующе-радостное жизнеутверждение сплетено в ней с вдохновенной романтикой, с мечтой о прекрасном будущем. Торжественным строем плывут в звонкой синеве небес облака, а над тёмными, беспокойными волнами моря, над изрезанными горами вековых утёсов, местами ещё покрытых нестаявшим снегом, устремились в гордом, свободном полёте сверкающие чистой белизной красавцы лебеди. Словно свежий ветер, вся эта прекрасная, строгая и величаява картина северной весны наполняет душу ощущением силы, бодрости и счастья.

Разумеется, такого типа метафорические отклики на события революционной эпохи отнюдь не снимали задачи непосредственного и конкретного её изображения. Но и в тех картинах, где мы встречаем не иносказание, а, как говорят, прямое развитие сюжета, наличие глубокого образного обобщения служит первым признаком истинно реалистического художественного решения. Вот перед нами первые попытки создания жанровых, исторических, батальных полотен на новую тематику. В тех случаях, когда они принадлежат кисти поклонников «документализма», дело обычно ограничивается тщательной, но унылой фиксацией тех или иных сцен жизни. Скажем, в «Калязинских кружевницах» Е. Кацмаца со всей точностью выписаны отдельные персонажи. Но на полотне их ничто не объединяет, кроме чисто «территориальной» близости. Главное же, в картине нет рассказа о жизни, нет образной силы.

Но когда опытные мастера отвергали пассивно-описательный метод и стремились правдиво раскрыть характер и особенности новых человеческих взаимоотношений, добиться идейной остроты и ясности повествования, их картины обретали ёмкую содержательность, впечатляющую эмоциональную окраску. Это очевидно даже на примере таких скромных вещей, как маленький жанр Е. Чепцова «Заседание сельской ячейки», с его светлой лирикой в изображении будней, как раннее полотно Б. Иогансона «Советский суд». Пусть эти вещи во многом ещё наивны, несовершенны — их искренний гражданский пафос, поэтическое утверждение новой жизни не могут не волновать зрителя, доносят до него живое дыхание дел и страстей первых советских лет.

То же самое и в области батальной живописи. Сколько на протяжении двадцатых—тридцатых годов было создано картин, где бесхитростно и скрупулёзно, как на старинных гравюрах, изображались «бой такой-то», «сражение такое-то!» Картины эти давно уже позабыты и не оставили никакого следа в истории советской живописи. На мой взгляд, то же самое можно сказать и о произведениях некогда известного баталиста Н. Самокиша, который изображал революционные бои точно так же, как в своё время живописал события русско-турецкой и русско-японской войн: всюду в его полотнах «смешались в кучу кони, люди», причём кони лихо задирают ноги и головы, а люди не менее залихватски машут саблями, вонзают штыки, раздувают ноздри и, содрогаясь, красиво умирают. Всё это, конечно, поверхностно, и в картинах такого рода не отыскать ни серьёзного раскрытия исторических событий, ни правдивого повествования о суровой эпохе гражданской войны. Закономерно, что картины Самокиша быстро отжили свой век.

Зато подлинное долголетие в искусстве обрели работы М. Грекова. Он был природный баталист и, тем не менее, никогда не ограничивался в своих произведениях батальными задачами в узком значении термина. Искусство существует для того, чтобы говорить о человеке и человеческом. И подлинный художник-баталист лишь тот, кто рассказывает правду о людях на войне. Этот принцип, утверждённый всем творчеством Грекова, является основополагающим для советской реалистической батальной живописи.

Греков слишком скуп и случайно представлен в Третьяковской галерее, и это очень обидно. Сюда должны быть перемещены из других музеев лучшие его вещи. Ведь из картин, входящих в экспозицию, только «Трубачи Первой Конной армии» и «В отряд к Будённому» воочию убеждают зрителя в том, каким замечательным, исторически точным и в то же время романтически-возвышенным певцом революционной армии был этот художник.

В важном и нелёгком деле освоения и эстетического утверждения новой, советской тематики далеко не у всех художников был такой прямой, ясный путь, как у Грекова, Иогансона, Чепцова. Было немало мастеров, которые пережили процесс трудных,

порой весьма извилистых исканий. Должны ли их пропозведения найти место в музейной экспозиции? Мне думается, что это бесспорно. Разумеется, речь идёт о значительных работах, где, несмотря на отдельные противоречия и недостатки, есть в целом убедительное, интересное и своеобразное решение современной темы. Скажем, «Смерть комиссара» и некоторые другие полотна такого замечательного мастера, как К. Петров-Водкин, «Оборона Петрограда» А. Дейнеки, «Старое и самое новое» М. Сарьяна, портреты крестьян, выполненные в двадцатых годах С. Герасимовым, и ряд других картин художников, которые сложной дорогой шли к реализму, вполне заслуживают того, чтобы быть представленными в советском отделе Третьяковской галереи. Но их там нет, ибо авторы экспозиции, очевидно (в известной мере), находились под воздействием той поверхностной, прямолинейной, «лобовой» концепции истории советской живописи, которая имела широкое хождение в недавние годы и получила наиболее чёткое выражение в книжке «Русское советское искусство», выпущенной Академией художеств.

В этой связи уместно поставить принципиальный вопрос: чего не нужно экспонировать в советских отделах наших музеев? Несомненно, что в этих отделах не может быть места произведениям формалистического толка: у широкого зрителя они могут вызвать лишь недоумение. Разумеется, я не имею в виду работы тех мастеров, которых облыжно обзывали формалистами. Ведь обвинение в формализме порой употреблялось просто как ругательство в адрес художников, чьё оригинальное, своеобразное творчество не укладывалось в рамки примитивных и куцых представлений о реализме.

Но на музейных стенах совестно видеть и слабые, бездарные работы, которые стоят за гранью настоящего, большого искусства. К сожалению, в залах нижнего этажа Третьяковской галереи встречаются картины подобного рода. Зачем понадобилось экспонировать, да ещё в таком количестве, скучнейшие, ремесленные портреты Ф. Модорова? Кого может обрадовать «Рабкор» В. Перельмана, где запечатлён некий франтоватый, прилизанный хлыщ с каким-то бесстыдно-залихватским выражением лица? Художница С. Рянгина представлена в экспозиции серией хороших полотен, но зачем-то в эту экспозицию включена такая неудачная, уродливая вещь, как «Рабочий изобретатель». Есть в советском отделе и ряд других, явно лишённых «музейного значения» картин.

Несомненно, что при отборе картин для советского отдела необходимо проявлять такую же тщательность и строгую требовательность, как и при создании экспозиции классического искусства. Надо очистить отдел от плохих, случайных, ремесленных работ и заменить их произведениями разного творческого профиля, но только высококачественными в художественном отношении.

Очевидно, что сюжетные картины, определяющие стержневую линию идейного развития советской живописи, должны занимать ведущее, центральное место в экспозиции. Но это вовсе не исключает возможности широко и разнообразно показать в ней такие полотна наших художников, в которых воспеваётся чувственная, пластическая красота мира во всём её щедром, многоликом богатстве. Ведь мастерство чувственно-убедительного, в высоком смысле красивого, гармоничного изображения природы является одной из важнейших художественных и, если угодно, познавательных задач живописи, без зрелого решения которой она вообще не может существовать как большое искусство. Поэтому, скажем, замечательные полотна П. Кончаловского и И. Машкова (чьё творчество весьма скудно и бегло отражено в галерее) представляют огромный интерес и для зрителей и для художников, в частности для авторов будущих сюжетных картин, которые могут поучиться у этих великолепных мастеров цельности, смелости и совершенству изображения природы.

Если задуматься над тем, в чём секрет успеха лучших сюжетных полотен тридцатых годов, то станет ясным, что для всех этих картин, очень различных по своему «художественному почерку», характерны три важнейших качества: значительность основной идеи, оригинальность и красочность её образного воплощения, наконец, свежесть, глубина и законченность живописной формы. Например, в предвоенные годы было создано множество исторических картин, но большинство из них кануло в Лету, а вот полотно Б. Иогансона «На старом уральском заводе» и поныне сохранило своё значение и привлекательность для зрителя. Почему? Да потому, что эта картина не

очередная костюмированная иллюстрация к тому или иному памяtnому событию, но хороший пример проникновения в самый дух истории, раскрытия её движущих сил, её важнейших конфликтов. В молчаливой схватке взглядов фабриканта, который слушает ядовитый донос угольного приказчика, и сидящего у пылающей печи рабочего Йогансон, ни в одной детали не впадая в схематизм, сумел показать перспективу истории тех времён. Он сделал это как подлинный художник, раскрыв судьбы истории при помощи конфликтного сопоставления человеческих характеров, обликов, психологии. И в лице фабриканта и во всей его рыхлой, грузной фигуре ощутимы не уверенная в себе сила, но трусливая, беспомощная злоба. А рабочий с горящими яростной ненавистью глазами выглядит подлинным хозяином положения, который поздно или рано добьётся осуществления своих стремлений.

То же и в области жанра. Масса полотен описательных, документирующих, анекдотических промелькнуло на военных выставках перед глазами зрителя, но не оставило следа в его памяти. Сохранились и живут поныне лишь те работы, в которых сцены повседневности, запечатлённые во всей своей свежести и непосредственности, наводят, однако, на серьёзные размышления, где самая поэзия образа возникает как эстетическое обобщение важных, характерных черт действительности. Такие произведения всегда обладают оригинальностью художественного склада, в них несмыслима бездумная созерцательность, банальная стандартность самого видения мира. Скажем, в «Новой Москве» Ю. Пинменова необычно уже композиционное построение. Оно лишено нередкой для живописи статичной уравновешенности. Вместе с девушкой, сидящей за рулём открытой легковой машины, зритель мчится по омытой весенним дождём площади Свердлова, видит сквозь лобовое стекло торжественную перспективу застроенного высокими зданиями Охотного ряда. И хотя взгляд безостановочно следует вглубь, лишь мимоходом замечая нарядную спешащую толпу, хотя основной нерв полотна — в движении, экспрессии быстрого ритма, картина оставляет ясное, чёткое впечатление. Благодаря остроумному композиционному замыслу художник сумел сконцентрировать огромное многообразие ощущений, и все они сливаются в одном большом чувстве: Москва — город радости, счастья.

Своя точка зрения, своё отношение, свой взгляд на вещи — вот что особенно помогает художнику выразить в картине чувство современности, извлечь цельный, впечатляющий образ из простой гряды фактов. В «Будущих лётчиках» А. Дейнеки нет ни замысловатого сюжета, ни очередного набора иллюстративных, «разъясняющих» деталей: высокое небо, свежий ветер над слегка взволнованным морем, парящий в голубой дали самолёт и притихшие, задумчиво следящие за его полётом крепкие, загорелые мальчишки — вот и всё, что изображено на холсте. Но на основе этой нехитрой фабулы художник развернул значительное, полное мужественной поэзии повествование о красоте окрест лежащего мира, о чистых, радужных помыслах и мечтах юности. И, конечно же, современность здесь проявляется не только в мотиве, в сюжетной «номенклатуре» изображения — она пронизывает весь образный строй полотна, внутреннюю направленность рассказа, характер восприятия пейзажа, словом, всё, вплоть до живописной манеры.

Добиться того, чтобы картина, как говорится, дышала сегодняшним днём, была бы накрепко связана с ним не только основной идеей, но и каждой деталью, каждым оттенком хода мысли, движения чувства, — это, пожалуй, самая трудная задача для живописца. По-настоящему успешное её решение встречалось очень не часто, но уж если такой результат венчал творческие поиски художника, его работа оказывалась живым воплощением каких-то существенных сторон жизни своего времени.

Это ценнейшее качество мы встречаем в лучших картинах довоенной поры, принадлежащих кисти весьма различных мастеров — будь то глубокие и блистательные портреты М. Неестерова, который сильнее и ярче, чем кто бы то ни было из наших художников, сумел раскрыть духовный мир современника, воспеть силу творческой воли человека; или новаторские по самой своей сущности пейзажи Г. Нисского с их удивительно точным и острым ощущением нашего времени, его размаха, динамики, ритма. Во всех этих и им подобных работах очевидно главенствующее значение образного начала, художественного обобщения, им присуще в высоком смысле слова поэтическое претворение материала жизненных наблюдений.

Нельзя сказать, чтобы картины такого типа в количественном отношении преобладали на довоенных выставках. Скорее напротив, их было немного, а среди сюжетных полотен — единицы. Но, выделяясь из массы скороспелых, поверхностных, серых произведений, именно они, эти картины, воочию раскрывали огромнейшие творческие возможности нашего изобразительного искусства. И если бы такие работы, соединявшие в себе большой идейный размах с поэтической образностью и незаурядным мастерством живописной формы, получили необходимую, вполне заслуженную ими поддержку, были признаны программными для нашего изобразительного искусства, то оно наверняка развивалось бы несравненно более успешно и незатруднённо, чем это было в недавние годы. Однако на пути больших, углублённых творческих поисков советских живописцев возникла очень серьёзная помеха.

Я говорю не о формализме. Конечно, формализм всегда был и остаётся враждебным нашей художественной культуре. Но если не заниматься нелепым самогипнозом, который так часто мешает нам добраться до истины, если объективно оценить факты истории, то надо будет признать, что уже ко второй половине тридцатых годов формализм в советском искусстве был вышиблен со всех своих основных позиций и убрался на задворки. Он был к этому времени не только разгромлен теоретически, но, что особенно важно, побеждён в художественной практике. Ведь не может быть более убедительного и неопровержимого аргумента в защиту реализма, чем создание на основе этого метода полноценных, значительных произведений. А таких работ к той поре было создано уже немало, они именно убедили и зрителей, и критику, и подавляющую часть художников, и формалистам крыть было нечем.

Итак, не формалисты явились главным тормозом успешного развития нашего искусства живописи в конце тридцатых годов и во все последующие годы. Своеобразное псевдореалистическое направление, довольно ловко маскировавшееся под реализм, громко кричавшее о передовых идеях, больших традициях, высоком мастерстве, но на деле не имевшее ни первого, ни второго, ни третьего, — вот что оказалось очень тяжёлым препятствием на пути советского изобразительного искусства, его болезнью, горем и проклятием.

Что представляло собой это направление в идейно-художественном смысле? Оно непосредственно выросло из ограниченного и примитивного ахрровского «документализма». Известно, что ахрровцы сделали большое и нужное дело, внедрив в нашу живопись тематику новой, советской жизни. Но если некоторые из художников АХРР — например, тот же Б. Иогансон в «Допросе коммунистов» — сумели добиться глубокого по мысли, острого и яркого образного воплощения этой тематики, то многие другие так и не смогли выйти за пределы унылого, серого и бездушного фотографического натурализма. Ещё И. Бродский, который, по-моему, был настоящим художником лишь в области портрета и пейзажа, создал целую серию огромных холстов, которые, собственно, и явились первыми провозвестниками недоброй памяти «парадных» полотен. Такие вещи Бродского, как, скажем, «Торжественное открытие II конгресса Коминтерна», — образец художественной беспомощности и ремесленничества. Эта картина представляет собой какую-то бессмысленную мешанину портретов. Их сотни, но все они механически объединены в пределах одного полотна с помощью простейшего арифметического сложения. Творческая «алгебра» не нашла в картине никакого применения, и она ни в малой мере не передаёт духа и смысла запечатлённого исторического события, лишена образности, идейного стержня.

Вот именно такие антихудожественные по самой своей сущности «традиции» заимствовали представители псевдорелистического направления в нашей живописи. Любимый их жанр — «парадные» полотна, которые стали появляться у нас во второй половине тридцатых годов, а затем, в послевоенную эпоху, создавались уже косяками, в порядке конвейерной работы. Творческий метод — если это благородное понятие вообще здесь употребимо — был у авторов «парадных» полотен, в общем, совершенно такой же, что у ахрровцев-«документалистов». Но внешняя разница всё же кое-какая была. А. Герасимов, Д. Налбандян, В. Ефанов, И. Тондзе и другие любители парадных фейерверков «преодолевали» убогую серость ахрровцев и стремились внести в свои полотна как можно больше шика, блеска, бьющих в глаза красочных эффектов. Конечно, вся эта грошовая позолота салонной «маэстрии» не имеет ничего общего

с подлинным художественным мастерством и не в состоянии замаскировать внутреннюю пустоту, бессодержательность, холодную казёнщину «парадных» картин. Но их дешёвая, поверхностная краснота обманывала людей с незавитым вкусом, искренне правилась мешанам, ласкала вышестоящий взор «главначпуса Победоносикова», который со многих трибун тщился убедить всех, что этот бюрократический амфир и есть самый разнастоящий социалистический реализм.

Закономерно возникает вопрос: как же могло у нас, в атмосфере советского общества, советского искусства, возникнуть и получить значительное развитие это ремесленническое, насквозь фальшивое направление, глубоко чуждое духу социалистической демократии? Ведь это тем более странно и непонятно, что, как уже говорилось, к середине тридцатых годов внутри нашей живописи сложились по-настоящему ценные реалистические традиции, были созданы великолепные картины, смело, сильно и ярко отображившие жизнь людей страны победившей революции.

Здесь приходится вновь вспомнить о пресловутом культе личности. Всем теперь понятно, что он явился причиной и питательной почвой для возникновения многих пороков, ошибок и заблуждений в самых различных областях нашей идеологической жизни. Живописи он принёс сильный ущерб¹. Только на почве культа и могло расцвести уродливым чертополохом псевдореалистическое направление, связанное всей своей сущностью с постыдным угодничеством, раболепием и беззастенчивой спекуляцией на чувствах народа. Дело не только в том, что было создано много картин, где всё направлено к безудержному восхвалению одного человека, а народ изображён безликой толпой умильно улыбающихся и аплодирующих статистов. Конечно, эти антиисторические, ложные, по большей части ужасающе безвкусные картины были вредны сами по себе. Но это только полбеда. Особенно тяжёлые последствия принесло то обстоятельство, что деятели бывшего Комитета по делам искусств и ныне сменённые руководители оргкомитета Союза художников во главе с А. Герасимовым провозгласили «культовые» полотна высшим достижением нашей живописи, образцом и примером для подражания. Под столь высоким покровительством сложился особый стиль, проявлявшийся в картинах различных жанров. Приметы этого стиля всем нам хорошо памяты: пышное благолепие, барабанный оптимизм, кричащая «роскошь» красок и полное отсутствие большой мысли, живых чувств, острых наблюдений — всего того, что отличает настоящее искусство.

Конечно, серьёзные, честные художники сторонились этого стиля даже в тех случаях, когда они, в силу искреннего заблуждения, отдавали дань культу личности. Но для ловкачей, ремесленников, любителей лёгкой наживы этот стиль был подлинной находкой, сказочным «золотым телёнком», который с такой щедростью одаривал званиями, лауреатскими медалями и всякими прочими жизненными благами. Махнув на себя рукой, порой цеплялись за хвост этого телёнка и некоторые даровитые, но внутренне неустойчивые люди: ведь вообще вопрос о том, следовать ли за калифами на час — лидерами псевдореалистического «направления» — или решительно противостоять им, был в большой мере вопросом моральным, вопросом совести художника, крепости и силы его принципов, идеалов, убеждений.

Чертами упомянутого «стиля» были отмечены многие сюжетные картины на темы современной жизни. Казалось бы, что может быть более неуместного в живописных повествованиях о трудовой деятельности народа, чем бездумная праздничность, велеречивость, самодовольство? Однако если вы вспомните выставки недавних лет, то без труда убедитесь, что именно эти качества, перекочевавшие из «парадных» полотен, были присущи длинному ряду произведений, рассказывавших о жизни наших заводов, фабрик, колхозов. Удивительное дело: наша страна переживала нелёгкие годы послевоенного восстановления и развития народного хозяйства, рабочие и крестьяне терпели немало лишений, напряжённо и самоотверженно трудились, чтобы сделать родную страну ещё более сильной и могучей, а многим художникам повсюду мерещились только торжества, праздники, поздравления, награждения, молочные реки, кисельные берега и аплодисменты, переходящие в овацию. Раскройте

¹ В области живописи, скульптуры и графики своеобразным апофеозом культа личности была специальная художественная выставка, открывшаяся в 1949 году и называвшаяся «Иосиф Виссарионович Сталин в изобразительном искусстве».

каталоги выставок 1948—1952 годов, и на вас просто посыплются такие названия картин: «Поздравление героини», «Премирование хлопкоробов», «Тост за Героя Социалистического Труда», «Указ о награждении», «Награждение орденом Ленина Кировского завода», «Торжественный день сормовских судостроителей», «На торжественное заседание», «Праздник в деревне», «Всенародный праздник», «Индустриальные успехи», «Колхозное изобилие» и т. д. и т. п. до бесконечности. Вот уж поистине лакировка действительности и в прямом и в переносном смысле!

Не так-то легко было бороться с этой лакировкой. Критикам, которые против неё выступали, художникам, которые не желали следовать «парадному» стилю и стремились насытить свои полотна серьёзными и откровенными размышлениями о жизни, приходилось выдерживать весьма ожесточённые нападки руководителей оргкомитета, Академии художеств, Изоправления Комитета по делам искусств. Эти руководители любили изображать себя беззаветными борцами против формализма. Но на деле-то они боролись вовсе не с формализмом, а с теми, кто всеми силами добивался высокой реалистической правдивости в своих произведениях. Более того, самый лозунг борьбы с формализмом использовался для всяческого уязвления художников — создателей подлинно значительных в своей идейной и образной яркости картин. Ещё бы! Ведь появление таких картин было очевидным, убийственным по своей силе разоблачением всей фальши и художественной неполноценности кондитерских изделий «парадного» стиля. И потому стоило, например, А. Пластову привезти из деревни честную, талантливую картину о жизни колхозников, как его тут же обвинили... в эстетстве, ни больше ни меньше! Стоило С. Чуйкову написать свои сердечные, умные, тонкие полотна с Киргизии, об Индии, как на него принимались навешивать различные обидные ярлычки. Стоило М. Сарьяну выставить великолепные, глубоко своеобразные пейзажи Армении или чудесные, радостные натюрморты, как начиналась форменная свистопляска. То же нередко приходилось переносить многим другим большим мастерам нашей живописи, будь то А. Дейнека или Ю. Пименов, П. Кончаловский или С. Герасимов, Т. Яблонская или В. Костенкий.

И всё же здоровые силы нашей живописи оказались достаточно крепкими и неупорными, чтобы устоять в эти трудные, сложные времена. Когда мы теперь проходим по залам советского отдела Третьяковской галереи, откуда, ко всеобщему удовольствию, убраны многометровые парадные холсты, то убеждаемся, что традиция подлинно реалистического, правдивого и яркого искусства никогда не замирала в нашей живописи. Несмотря на все рогадки, которые в изобилии ставили на пути развития этой традиции ремесленники-натуралисты и лакировщики, она упрямо пробивала себе дорогу и принесла отличные плоды и в послевоенные годы. И мы с гордостью и благодарностью думаем о творческой принципиальности лучших советских живописцев, которые сумели отстоять, сохранить в чистоте свой метод, своё мастерство, свои идеалы и представления о высоком назначении художника.

Целую стену занимают в экспозиции советского отдела Третьяковской галереи три картины А. Пластова — «Сенокос», «Жатва» и «Ужин трактористов». Это — самое значительное из того, что создал в послевоенные годы живописец, хотя, будь моя воля, я бы добавил в экспозицию ещё несколько лучших его работ.

Что так привлекает зрителя в творчестве Пластова, чем заслужил он уважение и прочное признание?

Мы помним немало картин о деревне, авторы которых, подобно персонажу известного стихотворения Маяковского, встречали крестьян лишь «при покупке на даче ножки телятины». Знаем мы и такие полотна, которые вроде бы писаны «по натуре», однако натура нужна была художнику единственно для создания наглядной иллюстрации к своей домашней «концепции». А по концепции этой выходило, что наши колхозники не столько работают, сколько веселятся, поднимают тосты за пиршественными столами, читают указы о награждении, а в прочее время, опершись рукой на трактор или комбайн, вперяют светлые взоры в необозримые дали.

Творчеству Пластова органически чуждо всё это лакированное благолепие и чисто оперное «пейзажество». Он пишет лишь то, что видит и отлично знает, никогда не выдавая желаемое за действительное. Чаще всего он показывает страдную пору в деревне,

нелёгкий труд от зари до зари. Пластов изображает крестьян в их подлинном облике — простых, сильных людей, привычных к работе, обладающих крепкой жизненной хваткой. Пластовские картины учат понимать значительность самых обыкновенных вещей, видеть и чувствовать добрую, щедрую красоту родной природы. Порой Пластова упрекали в недостатке чувства современности. Такие упреки раздавались со стороны критиков, которые привыкли измерять степень современности количеством внешних её признаков. Есть в картине, скажем, столбы высоковольтной передачи или усовершенствованная картофелекопалка — значит современно. Изображена обычная изба или ничем не «преобразованная» лесная опушка — архаично.

Разумеется, в произведениях Пластова всегда встретишь те или иные детали, точно «документирующие» время, когда происходит запечатлённая сцена. Но главное для него не в такой наивной документации. Он стремится создать поэтический образ современности, выразить её дух, её настроение. И художник достигает этой трудной цели прежде всего благодаря тому ощущению полноты жизни, чистой и светлой её радости, которое обычно отличает его повествования о современном советском селе.

Точность и яркость раскрытия эмоциональной атмосферы времени — первостепенная задача для художника, и чем успешнее он её решает, тем больший простор открывается для выражения глубинных, ёмких идей. Когда окончилась война, было создано много картин о возвращении бойцов домой. Следуя привычному шаблону, иные живописцы изображали в очередной раз развесёлые гулянья, пёстрые и шумные праздники. Всё это, казалось бы, подходило к случаю, но на поверку вызывало разочарование и досаду, ибо никак не отзывались в этих полотнах переживания военных лет, огромный опыт ума и сердца, который в праздничному моменту должен был придать особый характер и окраску.

Но вот появилось на одной из выставок «Возвращение» В. Костецкого. Скромная, сдержанная по колориту, всего лишь с четырьмя фигурами, эта картина встретила весьма прохладное отношение жюри и даже не была упомянута в каталоге. Но зритель быстро нашёл, отметил и полюбил работу Костецкого. Без фанфар и барабанов, не в пиру и не на митинге, а где-то на самой обыкновенной лестничной площадке встретила жена своего мужа-солдата. Не видно их лиц — только горячее объятие, только сплетённые руки, и этим сказано всё. Некрасивый, не по годам серьёзный мальчишка, захлебнувшись от переполнившего его чувства, прижался к выдавшей вида шинели отца, из двери, ещё не решаясь напомнить о себе, робко выглядывает старушка мать. Фигуры бойца и его жены необычайно выразительны в своём порыве. В их объятии запечатлелись и боль многих лет разлуки, и тревога тяжёлых дней, и ещё недоверчивая, острая, слёзная радость долгожданной встречи. И хотя вся эта сцена очень непритязательна с виду и происходит в самой будничной, прозаической обстановке, она несравненно сильнее, чем разного рода торжественные полотна, даёт понять и ощутить всю значительность нашей победы, всё то большое человеческое счастье, которое она принесла миллионам простых людей.

Да, лишь в тех произведениях, где «сердце с правдой вдвоём», мы встречаем глубокие, впечатляющие образы современности. Почему, например, из большого потока жанровых полотен выделались работы молодых мастеров Б. Немского, В. Гаврилова, И. Шевандроновой, получившие сейчас своё место в экспозиции советского отдела? Ведь их картины не лишены погрешностей формального порядка, им недостаёт отточенности, зрелости пластического языка. Причина, очевидно, в поэтическом обаянии работ молодых живописцев, в той искренней взволнованной интонации рассказа о нашей жизни, которая порождается только большим, выношенным чувством, смелым полётом мысли. Примечательно, что во всех этих картинах очень простые, лишённые эффектной «закрученности» сюжеты. Это страницы будней, рядовые, повседневные наблюдения: крестьянка-мать, которая не может уснуть и с любовью и грустью смотрит на лица заночевавших в её избе бойцов (Б. Немский); рабочий день в сельской библиотеке (И. Шевандронова); рассвет, врывающийся в походную палатку молодых геологов, которые не ложились спать, размышляя над какой-то сложной задачей, вставшей на пути их исследований (В. Гаврилов). Но если унылая кисть ремесленника-натуралиста, «документалиста» даже большое историческое событие превращает в некое скучное и безличное «мероприятие», то настоящий художник способен увидеть

и в облике будней важные, характерные черты действительности, раскрыть в сцене обыденной жизни духовный мир современника. Так, «Мать» Б. Немелского — это не просто точная и достоверная картинка быта суровой военной эпохи. Каждый, кто задумается над содержанием полотна, поймёт, что оно своеобразно воплотило идею народности борьбы с фашизмом, все перипетии которой были личным горем или личным счастьем каждой семьи советских людей в любом городе и деревне. В «Молодых изыскателях» В. Гаврилова нашли своё отражение романтика трудных поисков, жажда подвига, стремление понять и покорить неизведанное. А «В сельской библиотеке» И. Шеваandroновой — это подкупающий своей сердечной человечностью рассказ о добром мире, в котором живут наши люди. Так на материале самых простых, обычных сюжетов, освещая их светом разностороннего образного замысла, наши живописцы достигают значительных, широких идейных обобщений. Такое качество обычно присуще лучшим работам наших жанристов.

Опыт показал, что и так называемые «бытовые» сцены лишь тогда привлекают серьёзное внимание зрителя, когда в них так или иначе, прямо или «опосредствованно» поднимается определённая общественная проблема. В этом отношении интересную линию в советской сюжетной живописи представляют картины С. Григорьева. Мне кажется, что некоторые художники несправедливы в своих суждениях о творчестве этого мастера. Его часто считают повинным в появлении на свет божий тех назидательных пустячков, полотен-анекдотов с примитивной, прямолинейной моралью, которые в последние годы то и дело возникают на различных выставках. Что такие анекдотики, как правило дурно написанные и убогие по мысли, представляют собой форменное бедствие и тянут нашу жанровую живопись назад — это совершенно бесспорно. Но только С. Григорьев тут, по-моему, ни при чём. Ведь хорошая идея не становится хуже оттого, что её извращают. А если судить объективно, то надо признать, что в основе многих работ Григорьева лежат хорошие, важные идеи, получившие умное, художественно убедительное выражение. Вот, например, картина «Приём в комсомол». Эта картина отлично «держится» в экспозиции рядом с полотнами крупнейших наших живописцев. Обаяние картины состоит и в живой непосредственности рассказа, и в меткости, остроте отдельных, очень несходных между собой характеристик подростков, и в общем правдивом воссоздании обстановки жизни в наших школах. И главное: художник сумел очень естественно, без всякого нажима и скучного морализирования показать, что вот эти ребята, каких встретишь в любом городе, в любой десятилетке, уже на заре своей жизни проникнуты высоким сознанием общественного долга. Сходные достоинства, на мой взгляд, отличают и некоторые другие лучшие работы С. Григорьева.

Но, поддерживая жанровые полотна, в которых смело и с настоящим художественным тактом решаются важные проблемы нашей общественной жизни, быта, морали, надо как можно злее и решительнее разоблачать ту жалкую профанацию искусства, какую являют собой плоские, серенькие картинки-жанрики. Наша критика зачастую либо обходит стыдливым молчанием такого рода холсты, либо ограничивается их осуждением в самой общей форме. Впрочем, есть у них свои апологеты и даже «тсореттики». Тем больше оснований задуматься над тем, откуда возникла эта напасть, что послужило причиной её распространения.

Общественный адрес жанровых анекдотиков установить нетрудно. Они рассчитаны на обывателя, на мещанина. Те, кто искренне восхищён «изячной» красотой фильмов «Анна на шее», «Княжна Мэри», «Мексиканец», кто восторгается, глядя на аляповатые финтифлюшки и бессмысленное, но «роскошное» нагромождение колонн на фасадах домов, кто в полном упоении зачитывается душещипательной пошлятиной вроде «Елены» К. Львовой, тому нравятся и всякого рода слащаво-уютные и псевдоразоблачительные жанры. Ах, как это мило: сидят на лавочке душки-офицеры и, умиляясь, кормят голубков. И не подумайте, что это как-нибудь там безидейно! Это очень даже идейно! Это называется «Друзья мира!» Или — ну, разве не прелесть: миловидная миллионерша кокетливо грозит пальчиком шалуни-мальчишке, который катался на коньках посреди мостовой. И занятно, и красиво, и поучительно. Правильно поступил ОРУД, по заказу которого эта картина («Так нельзя!» Б. Жаркова) была репродуцирована массовым тиражом с подтекстовкой «Правил уличного движения».

Кто после этого посмеет усомниться в общественно полезном воздействии нашей живописи?!

Но особые восторги обывателей вызывают жанры, которые с лёгкой руки нескольких нетребовательных искусствоведов стали именоваться картинами «на критическую тему». Не подумайте, что в этих полотнах и на самом деле подвергаются глубокой критике какие-либо тёмные стороны нашей жизни. Нет, это просто тяготные живописные иллюстрации к прописным истинам. Понервожатая настагает ребятшек, которые тайком курят: мораль — курить вредно, особенно в раннем возрасте. Пьяный отец со свежей дырой на брюках вваливается в комнату, где находится в полном собрании семья, разумеется, передовая и образцовая, члены которой с должной мерой благородного негодования вопрошают при помощи драматических жестов и испепеляющих взглядов: «Когда это кончится?» Вывод: папа, не пей, это нехорошо. И так далее и тому подобно, вплоть до пламенного обличения юных негодяев, которые кидают снежками в девочек, что отзывается жестоким страданием в их нежных сердцах.

А как приятно, как интересно мещанину, придя на выставку, увидеть словно подсмотренные в щёлку сцены семейных скандалов. Вот разъярённая супруга, этакая классическая героиня коммунальной кухни, гроза соседей, замахивается половником на своего мужа, который не сумел уберечь любимую дочку от назначения на периферию. А вот легкомысленная красотка упархивает на очередную танцульку, поручив заботам сидящего за книгой мужа гору грязной посуды. Ах, какой мезальянс! Какая свежая, занимательная живописная сплетня! Так и хочется, поглядев на эту картину, склониться к уху соседа и сказать: «А, вы знаете, Пётр Петрович приехал из командировки и застал Марью Изановну...»

Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Печально видеть, как порой не лишённый способностей художник растрчивает своё дарование на то, чтобы потрафить низкопробным вкусам обывателя. Печально слышать, как иные критики из кожи лезут вон, доказывая, будто такие жанры способствуют популярности советской живописи и продолжают — это говорится совершенно серьёзно — традиции передвижников.

Есть ещё одна важная сторона в вопросе о жанрах-анекдотах. Ведь подобные картины можно называть живописью лишь, так сказать, номенклатурно. На деле их авторы никак не используют богатейших специфических возможностей живописи и преподносят зрителям кое-как нарисованные и раскрашенные иллюстрации на темы различных происшествий. Они рассчитывают на чисто литературное восприятие картины, только её фабулы, сюжета, в разработке которого изобразительно-пластические средства не играют существенной роли. Надо ли говорить, какой жесточайшей изменой искусству живописи является такой подход к созданию картины, как вредит он творчеству художников.

Он вредит и зрителю. К сожалению, на наших выставках ещё встречаются посетители, которые не воспринимают в картинах ничего, кроме сюжета. Такие зрители часто не могут отличить хорошей живописи от плохой, принимают за чистую монету искусства фальшивые натуралистические поделки, легко поддаются на приманку дешёвых иллюзионистских фокусов, которые мы в изобилии встречаем, скажем, в полотнах А. Лактинова.

Разумеется, по меньшей мере глупо в чём-то обвинять таких зрителей и безутешно вздыхать: мол, публика ещё «не доросла». Во-первых, речь идёт лишь о части зрителей, во-вторых, если уж искать подлинных виновников того, что у нас ещё бытуют отсталые, примитивные вкусы, то надо прежде всего вспомнить о серьёзнейших недостатках в области пропаганды искусства, о неверном, допотопном понимании популярности некоторыми работниками музеев и прессы, наконец, о картинах, вроде упомянутых, которые сами способны насаждать и прививать дурные вкусы.

Существует мнение, будто жанр по самой своей внутренней природе «литературен», иллюстративен, будто в повествованиях на темы будничной жизни вообще невозможно добиться высокого совершенства живописи, ибо задачи построения сложного и разветвлённого сюжетного рассказа подчиняют себе и делают чисто подсобными

проблемы пластического воплощения образов. Отсюда, мол, фатальная обречённость жанристов на сухость и серость живописи и даже на известную её безвкусу.

Но такой тезис, выдвинутый в своё время формалистами — последовательными противниками сюжетной картины, — по меньшей мере несостоятелен. Чтобы его опровергнуть, нет нужды конструировать сложные теоретические построения, можно даже обойтись без ссылок на опыт классиков. Достаточно повнимательнее взглянуть на стены залов советского отдела Третьяковской галереи. Вот перед нами работы Т. Яблонской. Разве не самую обычную, рядовую сцену запечатлело её полотно «Хлеб»? Засучив рукава, девушки собирают в мешки золотое зерно. Вот, собственно, и весь сюжет этой картины. Если бы ограничиться чисто «литературным» её описанием, то она может показаться скучной и плоской. Но в том-то и дело, что образно-эмоциональный смысл полотна раскрывается прежде всего в его живописном строе. Яркий, трепетный солнечный свет заливает холст, пронизывает каждый его миллиметр. Он создаёт такую зрительную атмосферу, которая уже сама по себе внушает чувство радости, свежести, кипения жизненных сил. Тонкие оттенки, сложные рефлексы цвета и света придают этому чувству многообразие. Ритм движений девушек, напряжённый, энергичный, служит как бы нервом полотна, придаёт ему особую остроту и динамическую цельность. И вот, обогащённый таким оригинальным и мастерским живописным решением, обыкновенный сюжет обретает содержательность, весомость, глубину, получает подлинно поэтическое выражение. Ведь в картине р а с с к а з ы в а е т не только сюжет, не только та или иная фабульная ситуация. Вся система живописно-пластических приёмов должна «работать» на образ, и чем прочнее она с ним связана, чем полнее его раскрывает с помощью своих специфических средств, тем больше и идейная значительность полотна и его эмоциональное воздействие.

Разумеется, такой вывод подсказывает не только «Хлеб» и другие превосходные полотна Т. Яблонской. Это вообще один из основополагающих законов искусства живописи. Вопрос лишь в том, в какой мере этот закон является руководством к действию для наших живописцев, как они используют его в своей творческой практике. «Документалисты», натуралисты очень хотели бы, чтобы такого закона вовсе не существовало на свете. Ведь в их произведениях живопись является лишь средством механической изобразительной фиксации тех или иных сцен, лиц, предметов и не играет никакой активной роли в создании образов. Некоторые другие художники отлично понимают величайшее значение пластических средств для живописи, но... это певцы-теоретики, которым даже самая хорошая школа не может возместить отсутствие голоса.

Однако у нас немало настоящих, природных живописцев. Лучшие образцы советской живописи — и названные и не упомянутые — созданы мастерами, счастливо соединяющими в своём творчестве содержательность замыслов и яркость их пластического воплощения. При этом взаимоотношения между идеей, сюжетом и живописной формой бывают весьма различны. Иные художники строят развёрнутое живописное повествование, умело добываясь цельности и красоты его зрительной организации. Пластическая форма в произведениях этих художников не только способствует, так сказать, изобразительному закреплению сюжета, но и непосредственно участвует в его раскрытии, в эмоциональном, образном воздействии полотна. Примеры картин подобного рода неоднократно назывались в этой статье.

Но есть у нас и такие мастера, которые ограничиваются минимальной сюжетной завязкой, делая живопись, как таковую, основой идейно-художественной выразительности своих картин. Вспомним, например, работы С. Чуйкова. Недавно вышла в свет его интереснейшая книга «Образы Индии», где он, между прочим, пишет: «...произведения подлинного искусства рождаются тогда, когда художник в изображаемом видит не одну внешнюю оболочку, не только самый факт, а нечто большее, видит внутренний смысл, «душу» данного явления». Точно сказано. Но можно ли выразить «душу» явления с помощью только лишь характерных, своеобразных средств живописи? Конечно. И картины С. Чуйкова — убедительное тому свидетельство. Вот среди прочих его работ индийского цикла маленькое полотно «На набережной в Бомбее вечером». В нём нет никакого фабульного действия: художник запечатлел подёрнутую дымкой цепь гор, высокое небо, спокойный залив, блистающий золотисто-зелёными отсветами тропиче-

ского заката; по набережной непринуждённо движется многоцветная толпа индийцев в национальных одеждах. Вот и всё, рассказывать тут нечего, это надо видеть. Видеть, чтобы понять, как тонко и сочно воссоздаёт кисть Чуйкова волшебную красоту природы Индии, врождённое изящество и гордое достоинство её людей, её неповторимые краски, тона, самую атмосферу жизни. «душу» Индии. Так показать далёкую страну мог лишь художник, не признающий никакой экзотики и стремящийся изобразить любой край словно бы «изнутри», с точки зрения живущих в этом крае людей.

Взгляните на другие полотна С. Чуйкова — посвящены ли они его родной Киргизии или той же Индии, — и вы убедитесь, что для художника тот или иной сюжетный мотив является лишь общими рамками изображения, в пределах которых основная роль принадлежит различным средствам живописного языка, служащим выражению определённых чувств, мыслей, образов. Это очень важно подчеркнуть: тончайший мастер живописной формы, Чуйков, однако, никогда не ставит перед собой абстрактных формальных задач, не ограничивается чисто декоративной красотой живописи. Всякий раз его кистью водит одно желание: как можно чётче, полнее, ярче выразить сложный и многосторонний, но вполне конкретный, подсказанный жизнью замысел; мастерское использование разнообразных средств живописи служит лишь способом для достижения этой цели.

Пожалуй, с наибольшей очевидностью проблема взаимоотношений между идейно-образным замыслом и реализацией его с помощью специфических средств живописи раскрывается на примере пейзажа. В этой статье нет места для подробного разговора о пути развития нашего пейзажного искусства — это совершенно особый вопрос. Здесь хочется указать лишь на один принцип, характерный для реалистического пейзажного искусства. Художник-реалист показывает природу, как она есть, стремясь к возможной полноте и точности раскрытия её подлинной, непридуманной жизни. Но, совершая выбор среди бесконечного многообразия форм, обликов, состояний природы, находя свой угол зрения на них, пейзажист всегда (хотя порой и бессознательно) добывается параллелей и ассоциаций с теми или иными идеями и настроениями. Этот своеобразный параллелизм во многом определяет живописный строй пейзажа (как, впрочем, и картины любых других жанров — в них только расчёт на ассоциации выражен не так явно), его декоративную композицию, ритм, колорит и т. д. В этом есть что-то общее с программностью в музыке. Так, в работах Сергея Герасимова, одного из самых тонких и поэтичных мастеров нашего пейзажа, редко встретишь какие-либо жанрово-повествовательные детали. Изображая, как правило, природу «в чистом виде», художник (прежде всего при помощи тончайше разработанного колорита, построенного на сложных, но великолепно сгармонизированных тональных соотношениях) раскрывает своеобразные оттенки состояния природы в разные времена года. Но природа в полотнах С. Герасимова никогда не бывает «вещью в себе», отчуждённой от человека, далёкой от мира его души. Наш современник с его раздумьями и переживаниями является лирическим героем пейзажей мастера, и в этом их особая значительность. Любой из герасимовских пейзажей обладает своим настроением, определённым строем чувств. То это взволнованное ожидание, полное добрых предчувствий, то немного грустное, но светлое в своей печали раздумье, то «улыбка ясная» души, настальж открытой весеннему ветру и солнцу, высокой радости бытия. И, конечно же, такие образные решения подсказаны художнику современностью и по-своему опосредствованно отражают мировосприятие людей сегодняшнего дня.

То же можно сказать и о многих полотнах М. Сарьяна. В советском отделе Третьяковской галереи его творчество представлено скупо и отрывочно, но недавняя персональная выставка работ этого выдающегося живописца нашего времени явилась подлинным откровением и для зрителей и для художников. Картины Сарьяна предстали перед нами, как знакомые незнакомцы. Мы узнали в них многое из того, что сами видели, думали, чувствовали, но всё это вернулось к нам вновь, обогащённое мудрой и тонкой мыслью, в ярких и необычных одеждах острой, своеобразной и совершенной живописи. Полотна, вроде сарьяновских, делают более глубоким и зрелым и видение мира и понимание его.

Говоря о том, что многие из наших художников прибегают в своих произведениях к развёрнутому сюжетному повествованию, а другие, сводя это повествование к мини-

муму, основываются главным образом на специфических выразительных средствах живописи, я ни в коей мере не противопоставляю один метод другому. Бесспорно, что оба они имеют право на существование и соприкасаются друг с другом многими гранями. Ведь когда мы говорим о сюжете в живописи, то отнюдь не приравниваем его к литературной фабуле. Нет, ведь это именно живописный сюжет, жизненная ситуация, получившая определённое зрительное воплощение и, стало быть, подчинённая своеобразным законам этого воплощения. Вне конкретных зрительных образов живописный сюжет попросту не существует. Это следовало бы уяснить себе тем вулгаризаторам, которые воображают, что картину можно «читать» совершенно так же, как книгу. Ещё важнее поглубже вдуматься в эту, казалось бы, весьма простую истину всем художникам, которые берутся за создание сюжетных полотен. Ведь один из самых тяжких грехов наших сюжетных картин в том и состоит, что порой они созданы как бы вне живописи. Художник, бывает, возьмёт интересную тему, неплохо разработает её рациональный каркас, но, ещё не «увидев» картины, не дав обрасти своему замыслу плотью зрительных образов, пишет своё полотно. В итоге получается слепая иллюстрация, лишённая образной яркости, художественной убедительности.

Особенно пострадала от этого порока в творческой работе некоторых наших художников историческая живопись. В залах советского отдела Третьяковской галереи сейчас висит очень мало произведений этого жанра, а ведь за послевоенные годы их было написано многое множество. Однако в большинстве своём они не выдержали даже очень недолгого испытания временем, ибо делались, как картинки для школьных хрестоматий, в солидных «академических» традициях — чисто иллюстративно, с массой персонажей, внешних атрибутов времени, но без образного зерна, без ощущения духа изображаемой эпохи, без поисков глубокой и своеобразной живописной формы. Вдобавок художники нередко опирались на ложные, вулгаризаторские исторические концепции, доводя до геркулесовых столбов их и без того грубую фальшь. Весьма странное впечатление оставалось у зрителя, который, придя в Третьяковскую галерею, видел на втором этаже знаменитую картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года», а спустившись этажом ниже, встречал изображения этого крупного, но весьма противоречивого и деспотичного государственного деятеля чуть ли не в виде народного героя и любимца (например, в картине П. Соколова-Скаля «Взятие Иваном Грозным ливонской крепости Кокенгаузен»). Что касается многих картин, посвящённых деятелям отечественной науки и культуры, то своей бессодержательностью, хвастливой «представительностью» и беззастенчивой лакировкой истории они могли бы сравниться разве что с известной серией биографических фильмов. Судьба этих картин поучительна, как поучительно и то, что зритель и поныне проявляет живой интерес к тем историческим полотнам, где есть смелые обобщения, глубокое движение ищущей мысли, зрительное богатство и цельность запечатлённых сцен истории. Таких полотен немного — «Конёк» Кукрыниковов, «Молодой Тарас Шевченко у художника К. П. Брюллова» Г. Мелихова, «Утро на Куликовом поле» А. Бубнова, «Радищев» В. Гаврилова, ещё, может быть, два-три полотна, но эти картины — надолго.

Нет нужды доказывать, что тесно связанный с культом личности «парадный» стиль нанес особенно сильный ущерб историко-революционной живописи. Многие картины этого жанра, созданные в этом стиле на протяжении тридцатых — начала пятидесятых годов, сейчас исключены из экспозиции советского отдела Третьяковской галереи. Нам не приходится сожалеть о судьбе этих картин: история представляла в них извращённую и первертную, а что касается живописных достоинств, то уж чего не было, того не было.

Но нельзя подумать без горечи, что из-за долголетнего господства «парадного» стиля наши художники не смогли пока достойно отразить в живописи великий революционный опыт своего народа. Из работ историко-революционного жанра, появившихся после войны, лишь картины «В. И. Ленин» В. Цыплакова и «Выступление В. И. Ленина на III съезде комсомола» Б. Иогансона и группы молодых художников представляют собой подлинно серьёзные и талантливые попытки отразить в живописи гигантский размах событий Октябрьской революции, непосредственно последовавшие за ней коренные изменения в жизни народа, образ великого основателя Советского государства. Это хорошие холсты, но ведь их всего два. К тому же и они не лишены

известных недостатков: в картине Цыплакова есть некоторый налёт искусственности, театральности, а в полотне Иогансона и его бригады центральный образ — В. И. Ленин — решён, на мой взгляд, не вполне удачно; здесь необходимо было добиться большей глубины и многогранности психологической характеристики.

Да, основная работа по созданию картин, посвящённых Октябрю и другим значительным событиям истории революции, ещё впереди. За последние два-три года новых полотен на эти темы почти совсем не появлялось. Крохотный холст В. Серова «Зимний взят!» в своём роде удачен, но это лишь, так сказать, «разведка боем», подступы к решению огромной темы. Очевидно, и многие другие мастера штурмуют сейчас эти подступы. Очнувшись от гипноза «парадного» стиля, они ищут новых, непроторённых путей, вдумываются в факты подлинной истории, стремясь постигнуть и передать во всей яркости и сложности живую правду тех незабываемых лет. Хочется верить, что уже на Всесоюзной выставке 1957 года, приуроченной к сорокалетию Октябрьской революции, мы встретим первые благие плоды этих раздумий и творческих поисков.

От этой выставки зритель вправе ждать многого. Она подведёт итоги новому этапу в работе советских живописцев всех возрастов, направлений, жанров. Было бы, конечно, легкомысленно полагать, что ко времени этой выставки полностью исчезнут характерные недостатки нашей живописи недавних лет: исправильное понимание исторического процесса, поверхностное и приукрашенное изображение жизни, слабость мастерства образного обобщения, вялость, серость живописной формы и т. д. К тому же наверняка дадут себя знать трудности иного рода, трудности роста, неизбежные при поисках нового в искусстве. Но с уверенностью можно предсказать, что в творчестве огромного большинства наших художников ближайшие годы пройдут под знаком возрождения, утверждения и развития лучших традиций советской живописи. Это традиции честного и глубокого реализма, для которого в одинаковой мере нетерпимы и всякого рода лакировка действительности и крикливое обывательское «разоблачительство». Это традиции художественного познания жизни, образного её отражения, начисто отвергающего тупую бессмысленность натурализма и фотографического «документализма», хвастливую парадность и прилизанность салонно-академической манеры. Это традиции непрерывных поисков яркой, острой и оригинальной изобразительной формы для ёмкого и разностороннего содержания, допускающие любую смелость и необычность индивидуального стиля живописца.

Опираясь на эти традиции, советские художники смогут достойно выполнить свой долг перед народом и искусством: показать со всей силой большого мастерства вчерашний, сегодняшний и завтрашний день родной страны, живую практику осуществления грандиозной программы коммунистического строительства, намеченной XX съездом партии.

И, надо думать, когда в недалёком будущем мы придём в советский отдел Третьяковской галереи, то встретим там немало радующих изменений. Ещё более почётное место обретут в экспозиции лучшие образцы живописи, созданные нашими художниками на протяжении сорока лет работы. Но исчезнут серые, посредственные картины, а их место по праву займут новые, яркие, талантливые полотна, которые будут волновать умы и потрясать сердца современников.



ОТКЛЫКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ЛИТЕРАТУРА И ПЛАН

Так много важного и интересного в журнале «Вэньбао», что не хотелось бы ограничиваться только последним, восьмым номером, недавно пришедшим в Москву. И хотя план, общая программа работы Союза китайских писателей на 1956—1967 годы, то есть до конца третьей пятилетки, помещён в предыдущей книжке журнала, мы всё-таки начнём с него.

План, программа? Как можно планировать творческую деятельность? Он неизбежно возникает, этот недоуменный вопрос. Да, план, и план очень реальный. Он выражает стремление литераторов не отстать от народа в его трудах по строительству нового общества.

В этом плане всё конкретно, всё ясно и точно. Здесь всякое утверждение дополняется теми необходимыми мероприятиями, которые непременно будут проведены.

Широкая картина подъёма литературной жизни открывается, когда задумываешься над скучными словами плана, когда пытаешься представить себе, что значит «издавать, по возможности, во всех национальных автономных районах литературные журналы на национальных языках» или «перевести к 1967 году на китайский язык все лучшие произведения мировой классики», «установить тесное сотрудничество с союзами писателей Советского Союза и всех братских государств», что значит создать к 1962 году специальный литературный институт, подготовить к 1967 году монографии о лучших писателях и лучших произведениях, написать к 1962 году историю китайской литературы от древнейших времён до наших дней, переводить на иностранные языки китайскую художественную литературу, увеличить количество периодических изданий, а среди них журнал «Китайская литература», выходящий на английском языке, с 1957 года выпускать и на языках русском и японском, и с 1959 года — на индонезийском, немецком, французском.

Этот план — здесь приведена лишь малая часть его — был принят в марте нынешнего года на Втором расширенном пленуме правления Союза китайских писателей. «Вэньбао» с самого начала 1956 года поднимал те вопросы, которые в той или иной мере должны были стать предметом обсуждения на пленуме. Коснёмся некоторых из них.

Заместитель председателя союза Чжоу Ян в своём докладе (опубликованном в номерах 5—6 журнала), напомнив о борьбе с Ху Фыном и хуфыновщиной, остановился и на сектантстве, проявлявшемся в писательской среде. В чём сущность этого явления? «Сектанты не ставят на первое место интересы страны, народа и всего литературного дела, — говорил Чжоу Ян, — на первом плане у них интересы личные и групповые. Они пытаются в области литературы создать «особую силу», отвергают контроль партии и народа над их работой и, отесняя честных партийных и беспартийных писателей, отказываются от сотрудничества с ними. Среди литературной молодёжи они распространяют буржуазные взгляды гнилого индивидуализма, уверяют молодёжь в том, что писатель, «написав одну книгу, уже достигает всего», что «гордость и есть высочайшая добродетель»...

Этой же «теории одной книги» посвящена интересная статья во втором номере журнала.

Китай

«Вэньбао» («Литература и искусство»), двухнедельный журнал по вопросам литературы и искусства. Орган Всекитайского объединения работников литературы и искусства. № 8. 1956. Год издания 7-й. Пекин. Редактор — редакционная коллегия.

★

В Китае, строящем социализм, естественно, происходит борьба за новое, социалистическое сознание в человеке. Буржуазная идеология не исчезнет сама собой, её надо разбить наголову. Литература — один из плацдармов идеологической борьбы, и создатели «теории одной книги» прельщали литераторов «ценностями» старого мира: написав-де одну книгу, писатель получит «имя», прочное место в жизни, его станут фотографировать, ему станут подносить цветы, он приобретёт «право на мнение», он окажется в числе «бессмертных», ему будет дано «всё», и никто уже не сможет свергнуть его с пьедестала. Так пропагандировалась литература во имя личных, корыстных целей в противовес благородному принципу служения литературы народу.

Журнал напоминает слова Лу Синя, сказанные им двадцать шесть лет назад, как неправ писатель, который, работая для революции, думает лишь о том, что после победы революции «трудящиеся классы» щедро возблагодарят его, будут обхаживать его, возить в особенных экипажах, кормить особенной пищей, и трудовой народ станет подносить ему хлеб с маслом и приговаривать: «Кушайте, пожалуйста, дорогой наш поэт!» Революция победила, и насколько же, восклицает журнал, отвратительнее высмеянных Лу Синем ничтожных литераторов своекорыстные, далёкие от социалистического отношения к труду все эти поборники «одной книги»!

Последние номера «Вэньбао» (7-й и 8-й) открываются статьями об отражении в литературе жизни рабочего класса. Интерес писателей к рабочей теме явно усилился, появились хорошо встреченные читателем романы Чжоу Ли-бо, Ян Шо, Лэй Цзя, рассказы Вэй Вэя, Цао Мин, Ай У, стихи Ли Цзи, Шао Янь-сяна, пьесы Лао Шэ, Ай Мин-чжи, молодого драматурга Цуй Дэ-чжи.

Как будто немало? И всё же теперь, когда поднялись многие тысячи героев труда, энтузиастов социалистического строительства, людей, владеющих новыми душевными богатствами, носителей новой, коммунистической морали, «писатели (журнал приводит слова Мао Цзэ-дуна), к сожалению, ещё не пришли к ним», к этим героям. Поэтому сейчас создание правдивых и ярких произведений о жизни и борьбе китайского рабочего — одна из главных задач китайской литературы. Народ верит, пишет журнал, что таких произведений будет всё больше.

Нет, пожалуй, ни одной чем-нибудь замечательной книги китайского автора, на которую «Вэньбао» не откликнулся бы статьёй или заметкой. Нашему читателю, например, небезинтересно будет узнать, как отнеслась китайская критика к опубликованному недавно в журнале «Иностранная литература» роману Чжао Шу-ли «В деревне Саньливань». О нём в китайской прессе писали много. Это, по общему признанию, вещь своевременная, талантливая, написанная с присущим автору мягким юмором. Чжао Шу-ли в романе правдиво отразил социалистический энтузиазм широких крестьянских масс, борьбу за социалистический путь развития деревни.

Незадолго до пленума в «Вэньбао» появилась ещё одна статья об этом романе. Она называется «Изображение любви, в котором недостаёт любви». Автор статьи, Лу Да, отдавая должное достоинствам романа, в общем справедливо критикует его за неудачное изображение любви трёх юных пар, женитьбой которых роман заканчивается. Надо думать, что и наш читатель заметил в этом хорошем произведении излишний рационализм в отношениях между молодыми людьми, отсутствие той атмосферы нежной влюблённости, какая ощущается в так поправившихся всем нам рассказах Чжао Шу-ли — «Женитьба маленького Эр-хэя», «Регистрация брака».

«Вэньбао» довольно часто помещает отчёты о дискуссиях на литературные темы. Одно такое обсуждение (материал о нём напечатан в третьем номере журнала под названием «Смелее вскрывать жизненные противоречия и конфликты») особенно интересно: отправным пунктом для него послужили произведения советской литературы.

В январе на секции прозы Союза китайских писателей обсуждались «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» Г. Николаевой, «Районные будни» В. Овечкина и главы из второй части «Поднятой целины» М. Шолохова. Большое внимание привлекла к себе повесть Г. Николаевой. «Мне нравится эта повесть», — сказал писатель Ма Фэн, — в ней есть и недостатки, но это хорошее произведение. И Ма Фэн, и Кан Чжо, и Го Сяо-чуань, и Лю Бай-юй — все они сошлись на том, что в повести представлен отличный, ярко выписанный образ девушки, смело идущей на борьбу в защиту социалистических идеалов. Однако же победа в этой борьбе добывается ею слишком

легко. Это недостаток, который, как говорили писатели, присущ и многим произведениям китайской литературы. Кан Чжо заметил, что даже в таком хорошем романе, как «В деревне Саньливань», нет той остроты конфликтов, которая характерна для «Песенок Ли Ю-цая» того же Чжао Шу-ли.

Анализируя недостатки произведения своего русского товарища по перу, китайские писатели говорили о том, чему учит повесть, какие общие проблемы китайской литературы возникали у них при размышлениях над повестью.

Нам кажется поучительным подобный опыт. Разговор о произведениях литературы другого народа оказался весьма плодотворным для выяснения наболших вопросов родной литературы. Вот то практическое проявление взаимосвязей разных литератур, без которых уже нельзя обойтись. Было бы хорошо, если бы и наши писатели так же глубоко обсудили некоторые наиболее интересные и самобытные книги и явления китайской литературы. Пока это делается лишь в узком кругу специалистов.

Разговор о советской литературе привёл китайских писателей и к обсуждению общей проблемы правдивого отражения жизни в искусстве. «Пишем ли мы правду жизни? — спрашивает Лю Бай-юй. — Я думаю, — продолжает он, — что каждый из нас прилагает все старания к тому, чтобы писать о жизни правду. Но что есть правда жизни? Что можем мы назвать прекрасным в жизни?» Он говорит, что нужно показывать борьбу народа, как она есть, что воспевание новой жизни не должно ограничиваться лишь изображением просто «счастья», как это бывает в произведениях о нынешней деревне. «Итак, что же должны мы воспевать в жизни? Что же самое прекрасное в жизни? Покой, тишина? Мы — марксисты, и, значит, мы считаем, что самое прекрасное в жизни людей — это борьба, труд, творчество».

Очень важной для представления о том, как развивается в Китае теоретическая мысль в области литературы, кажется нам статья Цзянь Мина и Цянь Хэ «Ошибочные тенденции в исследованиях о творчестве Лу Синя». Она впервые появилась в провинциальном издании — чунцинском журнале «Синань вэнь». Центральные китайские журналы имеют похвальное обыкновение перепечатывать всё наиболее ценное, что помещается в провинциальной прессе.

Цзянь Мин и Цянь Хэ выступают против формализма, произвольных субъективных толкований, вульгарного социологизма, сопряжённого с ложной многозначительностью и надуманным «подтекстом». Примеры, приводимые ими, весьма показательны.

Герой рассказа Лу Синя «Родина» приезжает в родные места. Он подходит к воротам своего старого дома. «На ветру колыхались стебли засохшей травы, просшей между черепицами крыши, и всем своим запущенным видом дом, казалось, говорил, что ему пора сменить хозяев». Критикуемый авторами статьи один из исследователей Лу Синя, У Бэнь-син, в своей книге трактует это место, как «намёк» на то, что «только новому, поднимаемому классу пролетариата принадлежит будущее». Последние слова действительно сказаны Лу Синем. Они взяты У Бэнь-сином из предисловия к сборнику «Инакомыслящий», выпущенному в 1932 году, то есть через одиннадцать лет после опубликования рассказа «Родина», к которому они ни по времени, ни по заключённому в них смыслу, конечно же, никакого отношения не имеют.

В июле 1920 года Лу Синь написал рассказ «Маленькое происшествие», рассказ о благородстве человека труда, о высокой его человечности. Тот же У Бэнь-син увидел в этом произведении в образе рикши опять же «прославление нового, поднимающегося класса и его растущего с каждым днём величия».

Ясно, что подобные домыслы лишь мешают правильному пониманию творчества великого писателя, пониманию того революционного пути, каким он пришёл к коммунистическому мировоззрению. Статья Цзянь Мина и Цянь Хэ, право же, имеет не только узкое значение применительно к данному факту. Она важна принципиально в нашей общей борьбе за марксистское литературоведение, и её полезно было бы перевести на русский язык.

Кстати о переводах. «Вэньбао» довольно часто публикует материалы о литературе из иностранной и в особенности из советской прессы. Так, в номере третьем дан перевод статьи журнала «Коммунист» о типическом, а в номере восьмом редакция,

отмечая значение этой статьи для борьбы со схематизмом, натурализмом в творчестве, с вульгарным социологизмом в критике, помещает интересные высказывания писателей Чжан Гуан-няня, Линь Мо-ханя, Чжун Дянь-фэя, Хуан Яо-мяня, в которых рассуждения о типическом строятся на примерах китайской классики и произведений современной литературы.

Можно было бы сказать ещё о многом, достойном внимания в журнале «Вэньбао», но и взятое нами для обозрения свидетельствует о том, что журнал умест пробудить теоретическую и творческую мысль и хорошо помогает китайским писателям в их стремлении к высокой идейности, к художественному совершенству.

Л. ЭЙДЛИН.

АВТОР, ГОНОРАР, КНИГА

Представьте себе, что вы едете в поезде и что вашим случайным попутчиком оказывается какой-нибудь коммивояжёр. Как вы себя отрекомендуете ему, если вы являетесь английским писателем? Такой вопрос задаёт на страницах журнала «Отор» английский литератор Уолтер Аллен и отвечает на него: «Мой опыт показывает, что если сказать собеседнику, что являетесь романистом, он сразу же бросит на вас крайне подозрительный взгляд. Если вы объявите себя литературным критиком, во взоре вашего собеседника будет полнейшая растерянность... Зато с живым интересом он воспримет известие, что вы выступаете в радиовещании... а легче всего провозгласить себя журналистом».

Уолтер Аллен прибегает к этому «примеру из жизни», чтобы обрисовать положение писателя в Англии, его место в обществе.

«Отор» — журнал весьма солидный по возрасту: почти в каждом номере публикуется какой-нибудь отрывок из статьи, увидевшей свет в этом издании ровно пятьдесят лет назад. Несмотря на почтенные годы, облик журнала и его объём весьма и весьма скромны: появляясь раз в три месяца, он удовлетворяется малым форматом и насчитывает всего двадцать четыре странички текста.

Но если непритязательность оформления журнала проистекает, быть может, от обстоятельств, не зависящих от воли редакции, то на содержании его лежит печать некоего нарочитого самоограничения. Говоря о книгах, он, как правило, не касается содержания. Касаясь газет и журналов, он проявляет минимальное внимание к их общественно-политическому лицу. Но зато весь тот круг вопросов, который связан с материальным и правовым положением писателя, с тиражами и оформлением книг и журналов, с практикой издательского дела, находит на страницах журнала широкое отражение. Это, пожалуй, единственный в Англии орган печати, освещающий эту сторону жизни литераторов. И он, несомненно, представляет интерес не для одних только английских читателей.

В журнале сотрудничают многие известные литераторы Англии. Мы видим среди них писателя С. П. Сноу, чей последний роман «Новые люди» (из жизни учёных-атомников) получил широкую известность; и романиста Кингсли Эмис, ставшего, несмотря на свою литературную молодость, весьма модным благодаря двум нашумевшим романам о «маленьких людях»; и Фрэнсиса Уильямса, известного английского журналиста, в прошлом редактора лейбористской «Дэйли геральд». Но эти и другие, совершенно не похожие друг на друга авторы, видимо, применительно к требованиям «Отора» все в равной мере сводят до минимума анализ разбираемых явлений.

Познакомимся со статьёй Кингсли Эмис «Периодика «чизкэйк». Эмис детальнейшим образом классифицирует различные типы так называемых журналов «чизкэйк» (буквально это означает «ватрушка»), поясняя, что под этим термином «имеется в виду изображение, обычно с помощью фотоснимков, слегка одетых молодых леди в со-

Англия

«Отор» («Автор»), ежеквартальный журнал. № 3. Весна 1956 г. Год издания 66-й. Лондон. Издатель — «Сосиайти оф оторз».

★

блзнительных позах»; иными словами, «чизкэйк» — это английский эквивалент пресловутой «клубнички». В этой связи автор называет такие журналы, как «Карнавал», «Лилипут» (миллион подписчиков!), «Только для мужчин» (пятисоттысячный тираж) и т. д. При этом Эмис даёт понять, что в журналах, где порнография — он, впрочем, избегает этого термина — служит главной приманкой для уловления подписчиков, она тщательно и порой умело маскируется, перемежается с материалами развлекательного и даже «познавательного» характера.

Не менее подробно пишет Эмис об иллюстрированных еженедельных изданиях, в которых «клубничка» занимает гораздо меньше места (до пяти процентов общей площади) при несравненно большем тираже, достигающем в некоторых случаях до семи с половиной миллионов. Касаясь содержания одного из таких журналов («Уикэнд ривэллин»), рассчитанного «на удовлетворение интересов рабочей семьи», Эмис указывает, что в этом издании публикуются «... кулинарные советы, советы по устройству свадебных церемоний, отчёты о знаменитых дуэлях, заметки по садоводству, гороскопы, сплсни из мира кино и телевидения, исследования о происхождении париков у судей, советы по футбольным «пулам» (то есть, на какие футбольные команды следует делать ставки.— В. Р.) ...страничка косметики, смесь мировой хроники, рассказы о нашумевших убийствах, отдел, в котором жёны оплакивают или разоблачают недостатки своих мужей, анекдоты о животных...» и т. п. О разделе юмора в подобного рода изданиях Эмис замечает, что «подчас он вызывает утробный смех, но в основном касается таких тем, как женские шляпы... неумелые врачи... женщины-шофёры и т. д.»

Нетрудно заметить, что названные Эмисом издания, как бы умело ни подавался в них материал, замыкают своих читателей в очень узкий, ограниченный мирок. Пусть быстрой чередой сменяют друг друга события международной и внутренней жизни, пусть происходят небывалые потрясения, рецепт изготовления литературных «блюдов» для этих «массовых» изданий остаётся неизменным. Нельзя не подивиться тому, что Эмис находит в этом положительное начало. Он прямо пишет о своём желании «исправить распространённую точку зрения, будто периодические издания, подобные описанным, чем-то дискредитируют «нашу культуру» или угрожают ей. Разумеется, содержание их зачастую вульгарно и банально, но нельзя сказать, что подобное чтение лишает кого-либо способности интересоваться чем-то более возвышенным. Столь же трудно подыскать веские причины, чтобы считать «чизкэйковые» материалы чем-то порочным, опасным или значительным».

При чтении этих строк невольно приходят на память слова Журналиста из лермонтовского стихотворения:

...Нагая резкость выраженья
 Не всякий оскорбляет слух:
 Приличье, вкус — всё так условно,
 А деньги все ведь платят ровно.

Едва ли специфический «чизкэйковый» налёт, присущий этим изданиям, так уж безвреден, как считает Эмис. Публикуя «всякую всячину», эти издания о многих очень существенных сторонах современной жизни либо умалчивают вовсе, либо дают о них читателю превратное, ошощенное представление. В конечном счёте, тот читатель, духовный паёк которого ограничивается этим чтением, утрачивает способность интересоваться чем-либо выходящим за рамки излюбленных редакцией «традиционных» тем. В известной мере эти издания способствуют тому, чтобы сделать «маленьких людей» невосприимчивыми к событиям большого мира, обресть их навски остаться «маленькими».

Если Эмис посвятил свою статью «массовым» изданиям, то статья Сноу, опубликованная в одном из предыдущих номеров, рассматривает литературные журналы с небольшим тиражом, рассчитанные на так называемого «высоколобого» читателя, на представителя «интеллектуальной элиты». Сноу совершенно справедливо замечает, что «эти литературные ежесечасники отражают духовный климат в стране и, выражая своё разочарование ими, мы в действительности высказываем своё недовольство общим положением нашей литературы».

Можно не соглашаться с утверждением Сноу о том, что большинство литературной интеллигенции «эволюционировало вправо», но нельзя оспорить его вывод, который гласит: «То обстоятельство, что современное творчество не вызывает энтузиазма, находит своё практическое и количественное выражение; ни один литературный ежемесячник не может рассчитывать на тираж, превышающий двадцать тысяч».

Сноу не без основания высказывает критические замечания о некоторых журналах, считая, например, что «Лондон мэгэзин» приобрёл эклектический характер» и, «будучи почти всегда приятен для чтения... как правило, ничем не волнует читателя».

Касаясь журнала «Энкаунтер», занимающего, как известно, по многим вопросам современности весьма реакционные позиции, Сноу считает интересными и значительными многие литературные материалы и статьи, опубликованные в нём, но в то же время находит нужным сделать следующее заявление по поводу некоторых материалов журнала: «В современной общественной обстановке глупый антикоммунизм не может быть приемлемой точкой зрения; нам надо найти такую точку зрения, которая не являлась бы орудием холодной войны». Сноу выступил с этим заявлением осенью прошлого года. Время, прошедшее с тех пор, было насыщено событиями, которые лишней раз подтверждают справедливость этого заявления.

Сноу пишет и о некоторых мало известных и мало распространённых английских изданиях, таких, как, например, журнал «Адам». Этот журнал посвящён англо-французскому литературному обмену. Он существует двадцать лет, но выходит в самые неопределённые сроки. К числу интересных журналов нелитературного характера Сноу относит «Дискавери» и «Эндевор», посвящённые научным проблемам, и журнал «Хистори тудей», посвящённый проблемам истории. В области научной и исторической журналистики, по мнению Сноу, в Англии достигнуты гораздо большие результаты, нежели в литературной периодике.

Наконец следует сказать несколько слов и о статье Фрэнсиса Уильямса об английской прессе. В настоящее время в Англии ежедневно продаётся не менее тридцати миллионов экземпляров газет. За последние два десятилетия рост тиражей газет едва ли не в десять раз превысил рост населения. И всё же, подчёркивает Уильямс, «наиболее серьёзные из популярных газет не только не сумели завоевать новые слои читающей публики, но постепенно отступают перед изданиями, которые обладают чертами, более привлекательными для массового читателя». Уильямс не говорит, что он понимает под этими чертами. «Меня не занимают здесь социальные причины и следствия этих изменений... хотя они представляют большой интерес,— они лежат за пределами данной статьи»,— оговаривает Уильямс. Но стоит вспомнить, что в книге Уильямса «Пресса, парламент и народ», опубликованной в Англии лет десять назад, говорилось, что для того, чтобы добиться напечатания на страницах газеты серьёзного политического заявления, «надо было бы предварительно написать его на спине купающейся красавицы».

Уильямс приводит любопытные данные о месте писателя в английской газете. По его словам, двадцатые—тридцатые годы были в этом отношении золотым веком для английских писателей, в особенности для авторов с установившейся репутацией. Тогда газеты всячески старались заручиться сотрудничеством больших литературных имён, и статьи Уэллса, Шоу, Беннета оплачивались щедрым гонораром. «Эти времена прошли. Газеты... находят уже мало места для больших имён и вообще для внештатных сотрудников, за отдельными исключениями. Эти газеты кроют их же собственный персонал, стремящийся придать им соответствующий характер... Воскресные издания если и находят нужным иногда привлечь «большое имя»... то выбирают его скорее среди звёзд кино и телевидения, чем среди писателей».

В заключение Уильямс пишет: «Ныне резервуар новых читательских кадров исчерпан. Тиражи одной газеты могут расти лишь за счёт других газет, и, повидимому, больше всего пострадают именно те популярные издания, которые ранее с наибольшей готовностью приветствовали писателей с независимой репутацией».

«Отор» уделяет много внимания состоянию издательского дела в Англии. Журнал находит его довольно противоречивым. С одной стороны, в 1955 году число названий книг, изданных в Англии, достигло рекордной цифры, превзойдя почти на одну треть число изданий в США. И в журнальном мире, в отличие от предыдущих лет, когда

один за другим закрывались литературные издания, в том числе такие, как «Скрытница», выходявший на протяжении двадцати лет, «Джон О'Лондон уикли» и другие, 1955 год ознаменовался появлением нового литературно-библиографического журнала «Букс энд букмсп». Большой успех имела книжная выставка, состоявшаяся осенью прошлого года. И всё же, по мнению «Отора» и других изданий, многие факты вызывают тревогу. Несмотря на общее увеличение количества названий, произведений художественной литературы издаётся всё меньше и меньше. В 1955 году их было меньше на 502, чем в предыдущем году, и на 599, чем в 1953. Но главное — и журнал бьёт по этому поводу тревогу — материальное положение писателя не улучшается, а его место в общественной жизни остаётся незавидным.

Характерно опубликованное журналом письмо в редакцию Гарольда Уилкинса, жалующегося на то, что издательские работники испещряют рукопись автора пометками, а заново переделывать рукопись — дело совсем не лёгкое для писателей, поскольку им «становится всё труднее заработать такую сумму, от которой с презрением отмахнулся бы мальчик, развозящий тачки с кирпичом». Если даже допустить, что это сравнение, приведённое в пылу полемики автором, огорчённым тем, что издательство отдалось отпиской от его труда, над которым он работал двадцать лет, не очень уж точно, то всё же нельзя не признать его симптоматичным.

Ещё хуже положение переводчиков. По подсчётам журнала, переводчик получает впятеро меньше любого «литературного подёнщика». «Если книга разойдётся даже тиражом в сто тысяч, переводчик не получит от этого ни одного лишнего пенни». Журнал меланхолично заключает: «Труд переводчиков всегда оплачивали плохо, и вероятно, так оно и будет. Но едва ли когда-нибудь им приходилось так тяжело, как в настоящее время».

Журнал считает, что на состоянии книжного дела сказалось и принятое в начале 1956 года решение увеличить тариф на пересылку книг. «Словно книги — это картошка или кирпичи», — негодуя, восклицает журнал, изменяя своему спокойному, подчас «академическому» тону.

Несмотря на протесты ряда издателей, писателей и книжных клубов, насчитывающих свыше девятисот тысяч членов, решение об удвоении тарифа остаётся в силе; по словам журнала, оно особенно тяжело сказалось на тех читателях, которые ввиду болезни, отдалённости проживания, условий работы и т. д. могут получать книги лишь почтой. При этом, подчёркивает журнал, брошюры с данными о футбольных «пулах» и журналы с изображениями красавиц в купальных костюмах рассылаются по прежнему тарифу. Решение Почтового ведомства научные общества Англии назвали «новым чудовищным налогом на знания».

Словно для того, чтобы утешить английских литераторов, жалующихся на материальные тяготы, журнал публикует в одном из номеров статью Уолтера Аллена о положении литературы в Америке. Аллен обильно цитирует американского критика Малколма Каули, который в своей недавно вышедшей книге «Положение литературы» писал: «Из пятнадцати тысяч профессиональных авторов, зарегистрированных в США в 1950 году, едва ли двести человек, кроме... составителей учебников, стандартных детских книг, «романов с тайнами» и романов о диком Западе, могли прожить на литературный доход». Авторские гонорары в США в пятидесятых годах были в процентном отношении несколько ниже, чем в 1940, и намного ниже, чем в 1910 году. «В стране сотни поэтов, — указывает Каули, — но в начале пятидесятых годов из них только двое могли прожить на доходы от поэзии: Роберт Фрост (совмещавший поэзию с чтением лекций) и Огден Нэш».

Не менее любопытны и другие выдержки из книги Каули, приводимые Алленом. «Положение писателя в обществе равно нулю, — пишет Аллен. — Его доходы ниже, нежели доходы врача или адвоката. Широкою публику интересует только одно — имела ли большая тираж последняя книга писателя и заработал ли он много денег». В целом же публика, по свидетельству Каули, относится к писателю с подозрительностью и враждебностью. «Лавочники не уверены, что они получают с них сполна. Часто о писателях распускают слух, что они коммунисты».

Статья Аллена принадлежит к числу регулярно публикуемых в журнале материалов о положении литературы за рубежом. Но они далеко не равноценны. Например,

статья о французских писателях, помещённая в последнем номере журнала за прошлый год, состояла из явно не критического изложения весьма сомнительных рассуждений французского публициста Раймонда Арона. Этот публицист умудрился как раз накануне выборов в Национальное собрание, показавших рост влияния компартии, доказывать «абсурдность марксистских догм».

Кстати, и в этой статье и в некоторых других материалах журнала встречаются антикоммунистические выпады или старомодные рассуждения «об угрозе всеобщей тирании научного материализма» и т. д.

Мы познакомили далеко не со всеми материалами, публикуемыми в журнале «Отор». Но и без того уже очевидно, что журнал позволяет заглянуть в те уголки английской литературной жизни, которые не всегда открыты для непосвящённых. Многие из приводимых им фактов и наблюдений весьма поучительны.

Вл. РУБИН.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Л. МИХАЙЛОВА

★

СЛУШАЯ ЧИТАТЕЛЯ И ЧИТАЯ КРИТИКОВ...

(Поездка в Закарпатье)

1

Ранним утром гостиница оглашается громким возгласом дежурной:

— Марушка! Треба будити п'ятий номер!

Просыпаются и те, кому вовсе не надо, как «пятому номеру», командированному в Закарпатье республиканским трестом, спешить на попутной машине куда-нибудь в Иршаву, на угольную шахту, или с первым автобусом торопиться в Мукачево, где изготовляют прославленную закарпатскую мебель.

Две ужгородские гостиницы — «Верховина» и «Киев» — всегда полны людей. Сюда приезжают из районов пионервожатые на совещание, комсомольцы — на областную конференцию, библиотечари — на семинар, московские актёры — на гастроли, футболисты из Венгрии и Чехословакии — на товарищеский матч с ужгородской командой. И днём и поздней ночью в коридорах раздаются шаги уезжающих или приехавших, хлопают двери номеров, гремит ключами кастелянша... А внизу, в ресторане, под звуки маленького оркестра, в котором преобладают скрипки, ужгородцы, отдыхая и развлекаясь, отплясывают чардаш и распевают модную песенку «Журавли». Шумно. И девушки, работающие в гостинице, не привыкли разговаривать тихо. Так и кажется, что это они где-нибудь в горах на Верховине переключаются от дома к дому, через звонкие ручьи, через бурливую Тиссу...

Но в этом деловом или весёлом оживлении незаметно и таит грубого нетерпения. Закарпатские украинцы — на редкость обходительные люди. То и дело слышишь:

«Прошу! Прошу!» — это «пожалуйста», «простите», «разрешите»... Этим словом вежливости вас встречают в гостинице (пусть даже нет померов), в учреждении, в магазине, в столовой, на рынке. В том-то и дело, что и на рынке! Милостивые женщины в сборчатых юбках, в аккуратных чёрных сапожках, в тёмных или клетчатых шالях, накинутых на плечи, с высокими, в форме усечённого конуса, корзинками, привязанными расшитым полотенцем за спиной (в пути удобнее, когда руки свободны), предлагают мёд, виноград, яблоки — знаменитые темнокрасные йонатанки — с располагающей, приветливой улыбкой. И уж совсем приятно было смотреть, как молодой грузчик с тяжёлым ящиком на плече посторонился в дверях магазина и пропустил женщину, прибавив неизменное: «Прошу!»...

Ужгород очень красив. Живописны его старинные зелёные улочки, изящны светлые дома удобной, экономной архитектуры в новой части города. На закате солнце золотит широко окна, зажигает багряным пламенем виноградники на горах, окружающих зелёную долину, где поконтся городок. За пологой горой в нескольких километрах — граница Чехословакии. Футболисты и делегация дружественной республики приезжали из города Пряшево на своих машинах, не успев запылиться в дороге.

Названия многих ужгородских улиц передают самое характерное в их облике: Высокая, Тихая, Шумная... После шести вечера по ладно вымощенным мостовым катят велосипедисты. Мужчины и женщины, закончив рабочий день, выходят из подъездов учреждений, разбирают свои велосипеды, оставленные во дворах или пря-

мо на улице в лёгких «стойлах» из чугуно-го железа, подвешивают портфели и сумочки на раму и разъезжаются во все концы городка.

Жизнь ужгородской улицы полна своеобразия. На скамейке набережной над дремотным Ужем, рядом с афишной тумбой, где рекламируются фильмы «К новому берегу» и «Следы на снегу» и висит маленький плакат с изречением Н. И. Пирогова: «Хорошая книга, как хорошее общество, просвещает и облагораживает чувства и нравы», — расположилась стойка студентов и лениво греется на солнышке. Мимо деловито шагает ещё не старый священник с портфелем подмышкой. Вдруг он останавливается, приподнимает рясу, достаёт из кармана брюк записную книжку и автоматическую ручку, опирается ногой на скамейку, делает какую-то памятную запись и торопится дальше. Почти спортивная споровка и деловитость движений этого человека так не вяжутся с привычной торжественностью и благолепием чёрной рясы, что одна из студенток в белом пуховом джемпере с украинским орнаментом, очень идущим к её смуглому личику, не выдерживает и прыскает в кулак.

В начале улицы, названной именем Октябрьской революции, стоит старая-престарая церковь, неумолчно позванивая колоколами. Напротив, в «модерном», как здесь говорят, здании — деловитая суэта торгового пассажа, кинотеатр, библиотека, отделения Союзов писателей и художников, Дом народного творчества.

В городе сохранилась старинная крепость, построенная чуть ли не десять веков тому назад. Такие замки-крепости были созданы на подступах к Закарпатской равнине в Ужгороде, Мукачево, селе Середнем, в Виноградове, в Хусте. Серая, сумрачная громада с четырьмя башнями по углам нависает над скалой. К подножию скалы ведёт узкая кривая улочка. То небольшой садик наступает чуть не на мостовую, то домик одним из своих углов стоит поперёк тротуара. Раньше здесь жило духовенство, и каждый каноник прирезал к своим владениям кусок земли по своему вкусу. В здании замка до 1944 года была греко-католическая духовная семинария, теперь здесь картинная галерея и краеведческий музей.

В среде закарпатской интеллигенции можно встретить старых людей, которые весь свой многолетний труд связали со

служением родному краю. Один из таких патротов, ботаник Алексей Грабарь, брат известного искусствоведа, за свою семидесятилетнюю жизнь до тонкости изучил природу Закарпатья. Ежедневно отправляется он пешком в горы и леса за новыми наблюдениями и находками. Многие в музее созданы руками этого закарпатского старожилы. Он не только коллекционер интересных экспонатов, но ещё и художник. В музее есть несколько отличных бюром, где воссозданы звери в натуральной природной обстановке, как бы застигнутые врасплох: рысь, защищающая свою добычу от волка, медведь, блуждающий в буковой чаще...

Выразительно звучит тема любви к родному краю в картинах закарпатских живописцев. В интенсивных красочных пейзажах старейшего мастера Йосифа Бокшая запечатлена пленительная природа Закарпатья, густая синь неба над белоснежными верхушками гор, быстрые реки, зелёные долины — горные луга, обрамлённые стеной тёмного леса, багряное золото осеннего виноградника на склоне холма. Хороших полотен у живописцев Закарпатья немало. Но, чтобы посмотреть их, приходится часто идти не в картинную галерею, а домой к художнику. Только недавно была наконец устроена выставка работ покойного Ревеса, ученика знаменитого венгерского художника Мункачи.

Много лет около восьмидесяти картин и этюдов Ревеса, этого мастера-реалиста, пристально наблюдавшего и великолепно изображавшего простого человека в его повседневной жизни, лежало без всякого движения у родных художника в городе Виноградове. И эта странность имеет своё объяснение. У руководства закарпатских художников есть известное пренебрежение к жанровой живописи, которая якобы мешает раскрыть в искусстве большие задачи нашей эпохи. Вот почему попало в частный дом, а не на выставку и превосходное полотно видного закарпатского художника Н. Розенберга... Женщина в яркой одежде верховинки прилегла на постель. Глаза её закрыты, смуглая рука уронила на пёстрый ковёр, покрывающий кровать, книгу. Кажется, что она ещё грезит о только что прочитанном... Устроители выставки возмущались. Что же, она, значит, уснула над книгой, книга её не увлекла?! И забраковали картину. А между тем этот сюжет, в котором своеобразно воплотилось видение

живой действительности, мог бы рассказать вдумчивому человеку о персменах, о приметах нового в жизни верховиццев выразительнее, чем фотографическое копирование ГЭС, построенной на реках Рике и Теребле, чего в картинной галерее хватает.

Писатель, живущий в Ужгороде, рассказывает об одной памятной ему встрече в первые недели после воссоединения Закарпатья с советской Родиной. Осенью, возвращаясь из Рахова, центра закарпатского лесного хозяйства, в полпути от Ужгорода увидел он на безлюдной дороге пешехода. Пожилой человек в расшитой меховой безрукавке-кептарике, в высокой гуцульской шапке нёс за плечами плетёную корзину, в которой важно покачивались два белоснежных гуся. Когда водворили старика с его живой кладью в машину, он рассказал, куда и зачем идёт. Старый бокораш (плотогон) Нямышук, прослышав, что в Ужгороде теперь продают хорошие русские книги, выпросил у своей старухи пару гусей на продажу и отправился за двести километров «добру книгу шукать»...

Сегодня на Раховщине много библиотек и читален. Лесоруба не удивишь книжкой Толстого, Салтыкова-Щедрина, Тургенева, Франко, Шолохова, Федина. Но ещё какой-нибудь десяток лет тому назад «Народная библиотечка» стряпала для так называемого «простого народа» Закарпатья немудрящее чтиво наподобие той лубочной литературы, которая выпускалась когда-то в России издателями-барышниками Морозовыми, Манухиными и Леухиными, или пичкала читателя низкопробным месивом вроде убогого «Господарского народного календаря».

В этом издании наряду с публикацией безобидного вздора велась вполне определённая идеологическая обработка читателей. «Уход за лицом» и «Уход за душой» — эти два раздела соседствовали в «Женском уголке», и легкомысленные косметического регламента уравнивались постной проповедью христианской морали. «Не спите на спине, иначе у вас оплывёт подбородок. При заболевании полости рта или желудка обращайтесь к лечению музыкой», — шарлатански советовали читателю. И с той же развязностью излагались невежественные воззрения шарлатанов от науки в «научном отделе». «Периодический и довольно быстрый упадок эр высокой культуры, вероятно, объясняется в значительной мере вырождением населения, — «разъ-

ясняет» «Календарь», ссылаясь на авторитет американского профессора. — Дело тут в перепроизводстве посредственных и низших типов в сравнении с меньшей плодотворностью родов, богатых вождями и гениальными людьми». Столь же анекдотическим было толкование причин возникновения войны и революций: «...в психике людей под влиянием... энергетических космических влияний должна накапливаться всё сгущающаяся психико-динамическая энергия, которая в конце концов прорывается наружу и разряжается в войнах, революциях и кризисах, что мы и видим время от времени на земле. Люди этого не понимают и приписывают все эти явления человеческой воле, но, быть может, в действительности человек является всего лишь безвольным механическим аппаратом, через который проявляется на земле мощное влияние Космоса». Трудно представить себе, что всё это писалось ещё в 1944 году на русском языке!

Закарпатские украинцы хорошо знали, что не «в недрах Космоса», а в головах фашистов созрела идея войны с Советским Союзом и немало закарпатцев было послано на эту братоубийственную войну «светлой личностью регента Угерщины», как величали Хорти составители «Календаря».

Прожжённые дельцы, весьма далёкие от подлинных интересов и настроений народных масс, стояли во главе этого издания, именуемого «народным». И потому не кажется чудачеством энтузиазм старого книголюба Нямышука, который не пощадил своих ног и не пожалел скудных средств, чтобы приобрести книгу, достойную веры и уважения.

Когда-то в Унгваре (Ужгороде) была единственная библиотека, где, судя по рекламному объявлению того же «Календаря», были сосредоточены «все издания угро-русской литературы». Теперь в области насчитывается около восьмисот городских, районных, заводских, сельских библиотек. На полках только одной областной ужгородской библиотеки стоит двести тысяч томов.

Непрерывно пополняется и обновляется трёхсоттысячный книжный фонд библиотеки Ужгородского университета. Покупка новинок, обмен научными изданиями с высшими учебными заведениями других городов, получение по абонементу книг из Ленинской библиотеки — по этим каналам приходят книги на библиотечные стеллажи,

которых всё не хватает, и запах свежеструганного дерева стоит под сводами старинных залов, мешаясь с запахом свежеепечатанных книжных страниц.

В нижнем этаже университетского здания, в прошлом богатого епископского дворца, размещается книгохранилище. Здесь холодно, ещё не разобранные книги свалены по углам и на подоконники. Старичок, заведующий книгохранилищем, показывает нам свои неприбранные владения с улыбкой извинения. Здесь ещё не успели освоиться с новым богатством: профессор — специалист по славянской филологии, живший и умерший в Краснодаре, — завещал Ужгородскому университету свою библиотеку в пять тысяч томов.

Неожиданно и наглядно обозначились вехи времени в этом беспорядке. Вот томик Ленина, а по соседству — ветхий фолиант в деревянном, обшитом кожей переплёте. Это — старинное издание Эразма Роттердамского из епископской библиотеки. На столе — стопа пожелтевших газет, выходявших в Закарпатье во времена венгеро-фашистской оккупации, и рядышком новенький томик Мицкевича. Наш провожатый находит стихи «Восток и север» в переводе М. Живова.

— А помните завет поэта? — задумчиво спрашивает он. — Иметь сердце, смотреть в сердце... И ещё один девиз: искать правду в поэзии и поэзию в правде!

Старик перелистывает томик и вдруг с пафосом начинает читать Мицкевича польски. Многозначительно прозвучали стихи великого славянского поэта в подвале здания, где совсем ещё недавно был фашистский застенок и где казнили и мучили непокорных сынов древней украинской земли...

Университетская библиотека по крупицам собирает — пока не такую уж многочисленную — историческую и художественную литературу о Закарпатской Украине и её связях с Россией.

Среди книг прежних хозяев дома оказалась старинное орнаментированное евангелие, написанное в одном из московских монастырей, книги Клево-Печерской лавры, Жития святых, сочинения Симеона Полоцкого. Обнаружено несколько любопытных изданий Московского университета: «Друг жён, или Искреннее наставление для поведения прекрасного пола. Переведено с французского. Печатано при Императорском Московском Университете в 1765 го-

ду». «Городская и деревенская библиотека, или Забавы и удовольствия разума и сердца в праздное время, содержащие в себе как истории и повести нравоучительные и забавные, так и приключения весёлые, печальные, смешные и удивительные. Изданием Н. Новикова и Компании. В Москве, в Университетской Типографии, у Н. Новикова, 1783 года».

Книг в университете много. И всё же преподаватели и студенты жалуются — у них свой счёт к критике и литературоведению.

— Скажите в Москве, что очень нужна «Литературная энциклопедия», — говорит библиограф Мария Ивановна. — Нужны библиографические справочники, монографии. Вот, например, студенты спрашивают, что и где прочитать об Ольге Берггольц...

Директор библиотеки Е. Фесенко, приехавшая с «Большой Украины» вместе с мужем, редактором областной газеты, говорит о нехватке книг с такой горечью, как будто в этом есть и её личная вина перед молодёжью нового университета.

— Студенты-филологи пользуются учебниками для средней школы, но разве такой объём знаний им нужен! А критическая литература по двадцатому веку? Ведь мы вынуждены чуть ли не на каждый запрос отвечать отказом...

И то же «Ні, нема» приходилось слышать изо дня в день за стойкой областной ужгородской библиотеки в ответ на требование той или иной литературоведческой или критической работы.

Вежливая школьница в белой шапочке с заячьими ушками тихо спрашивает «критику на Бажана» и стихи поэта. Первый том произведений поэта она получает, но «критики зараз нема». На полке и в самом деле пусто: вчера был выдан последний экземпляр книги А. Тарасенкова «Микола Бажан». Изучение творчества М. Бажана — в программе десятого класса, и предпринятое недавно переиздание работы Тарасенкова придётся очень кстати, но странно, что в украинской библиотеке нет украинской книги об одном из крупных украинских поэтов.

Десятиклассники, учащиеся техникумов, студенты-заочники — это главные «потребители» литературоведческой и критической книги в областной библиотеке. И есть своя особенность в этом спросе. Русскую художественную литературу охотнее читают в оригинале, но книгу об украинском писа-

теле, естественно, хотят иметь на родном языке.

Существует своеобразная связь между «белыми пятнами» в круге чтения, определяемом школьной и вузовской программами по литературе, и теми творческими задачами, которые ставят перед собой вчерашние студенты, будущие литературоведы и критики, ещё недавно рыскавшие по библиотекам и книжным магазинам в поисках необходимых критических пособий.

Можно назвать несколько интересных по теме работ, которые пишутся в стенах университета: Плисецкий и Пономарёв готовят докторские диссертации — «Русско-украинские взаимосвязи в области героического эпоса» и «Борьба демократического направления против реакционных течений в украинской критике конца XIX — начала XX вв.». Молнар посвятил свою работу теме Украины в русской классической литературе тридцатых — сороковых годов XIX века, а Янкувич — борьбе за воссоединение Закарпатья с Соединённой Украиной в литературном творчестве двадцатых — сороковых годов XX столетия. Старший преподаватель филологического факультета Ясько пишет диссертацию о традициях русского и украинского эпоса в фольклоре Закарпатья. Но очень мало дипломников и диссертантов русского и украинского отделов филологического факультета занимается современной советской и украинской литературой. Такие работы, как «Традиции Коцюбинского в украинской советской прозе» аспиранта Туреницы, не так уж многочисленны в университетских списках.

При существующем голоде на критическую украинскую книжку местному издательству, альманаху «Советское Закарпатье» стоило бы заинтересоваться деятельностью университетской кафедры литературы, посмотреть, что можно отобрать и напечатать. Но связь областных литературных организаций с университетом пока ещё слаба. Надо сказать, что книга, нужная именно в Закарпатье, будь то пособие по литературе или брошюра по табаководству, вовсе не является решающей в планах областного издательства. И дело тут вовсе не в недомыслии местных издателей, а в том, что они поставлены в чрезвычайно трудное положение и предписанными им расценками и спускаемыми «сверху» директивными планами дублируемых переизданий продукции московских издательств.

Есть, конечно, и известная боязнь ответ-

ственности за новую книгу. Вот отчего в Ужгороде с лёгкостью издают «самостоятельно» адаптированного «Робинзона Крузо», а роман М. Тевелева «Свет ты наш, Верховина...» выпустили (и то по совету «свыше») лишь два года спустя после того, как он уже был в достаточном количестве прислан в библиотеки и магазины из Москвы.

Ежегодно на книжном рынке страны появляется около ста монографий, очерков, критических исследований в области классической и современной литературы. Но когда собственными ушами слышишь требования читателей и рассматриваешь библиотечные полки, то довольно ясно обнаруживается, что издаётся не столько, сколько нужно, и часто не то, что определяется спросом, а то, что, пожалуй, исходит от инициативы того или иного автора.

В областной библиотеке трудно получить книгу о Маяковском — всё, что издано, всегда на руках, и кажется, сколько ни издавай, всё будет мало. Много раз побывала в руках книга И. Андроникова о Лермонтове — следы этого тесного общения с читателем остались на изрядно потрёпанных страницах. В ходу книга Я. Эльсберга о Герцене, работа Б. Рюрикова о Чернышевском. Но тут же на полках «пятого отдела» чинно стоит почти не тронутая «учёная книга» В. Ковалёва «Романы Леонида Леонова». В мукачевской библиотеке, например, из четырёх наличных экземпляров только два по одному разу покидали своё насиженное место. И это не потому, что читателя не интересует творчество Л. Леонова. Напротив, его «Русский лес» — одна из самых читаемых книг. В той же мукачевской библиотеке все пятнадцать экземпляров «Русского леса» всегда «на руках». Но разбухшая диссертация Ковалёва, предложенная читателю вместо живого и образного разговора о творчестве писателя, естественно, не нашла спроса в массовой библиотеке. И та же участь постигла книгу В. Ковалёва в Ужгороде.

Стоят без движения на полках книжки В. Щербинны о Новикове-Прибос, И. Эвентова о Борисе Лавренёве, М. Кузнецова о Крымове. Может быть, это объясняется тем, что читатели Закарпатья ещё мало знакомы с творчеством самих писателей, которым посвящены перечисленные критические работы? Это вопрос существенный, и к нему ещё придётся вернуться.

В маленький зал областной библиотеки ежедневно приходят десятки людей. Мно-

гие обращаются к научно-технической литературе, к литературе понятий со свойственной человеку неодолимой потребностью в совершенствовании своего опыта. К литературе образов читатель подходит без такого рационального замысла. Но она даёт ему новые привычки, эмоции, помогает ассимилировать, по выражению Салтыкова-Щедрина, новые взгляды, приобретает «новую складку», незаметно для себя самого «вырабатывать из себя нового человека».

Пожалуй, нигде так ясно, как у стола выдачи книг в библиотеке, не увидишь, насколько большим, насущным подспорьем стала литература в жизни трудового человека и какие разнообразные запросы ведут его к книге.

Проходчик шахты Деревянка пришёл в областную библиотеку за литературой по шахтному делу и за «Донбассом» Б. Горбатова. Сотрудница музея, узнав, что предстоит демонстрация фильма «Гереза Ракэн», пришла за одноимённым романом Золя. Читательница Нагорная вместе с новым изданием «Степана Кольчугина» В. Гроссмана уносит из мукачевской библиотеки «Красное и чёрное». «Хочется подготовиться», — говорит она накануне встречи с героями Стендаля в кино. Девятиклассник Радни одновременно с поэмой Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» берёт работу А. Озеровой об этой поэме, к «Сказкам» Салтыкова-Щедрина требует книги Д. Золотинцкого «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин» и А. Ефимова «Язык сатиры Салтыкова-Щедрина».

В будние дни библиотека открывается в два часа. Пока закрыты двери, молодые библиотекари, выпускники техникумов в Черновцах, Полтаве или Хусте, расставляют книги по полкам, выкладывают новинки, переговариваясь о своих делах. Ирине Бункуле предстоит зачёт по зарубежной литературе, она, как и Галина Кирнльченко, учится заочно в Харьковском библиотечном институте. Присмотревшись к работе библиотеки, прихожу к выводу, что продолжить образование некоторым сотрудникам необходимо. Не всегда работники и практиканты знают книгу лучше читателя. Случаются и казусы. У молоденькой практикантки, только что закончившей хустский техникум, студент-филолог попросил Фета, и она даже не поняла, о ком идёт речь — о поэте или об авторе какой-нибудь популярной политической или научной брошюры.

К абонементным ящикам подсаживается Мария Маруда. Она серьёзна, сообразительна, неплохо изучила дело и самую скучную и кропотливую работу — подведение итогов вчерашнего дня — делает быстро и толково. Выясняется, что накануне в библиотеке побывало двести человек. Записалось четырнадцать новых читателей. Выдано пятьсот девяносто пять книг. Учёт взятых книг ведётся по графам: художественная литература, политическая (отдельно классики марксизма-ленинизма), научная (ботаника, математика, физика), техника (радио, электричество, автомашины). Всё остальное — учебники по языкам, медицине, искусству, литературоведению, спорт, путешествия — объединено под графой «Разное».

Такая система, где есть учёт требований на литературу по разделам и нет изучения спроса на книгу как на таковую, существует не в одной ужгородской библиотеке. Читатель, допустим, попросил историю средневековой западноевропейской литературы и получил отказ. Но этот отказ нигде не записан. Постоянно отказывают в книге Н. Гудзия «Древняя русская литература», в книге Г. Абрамовича «Введение в литературоведение». Учтено, что по пятому разделу выдано в течение дня шестьдесят шесть книг, но далеко не ясно, в чём больше нуждается читатель и что больше его привлекает — пособия по языкам или книги по искусству, взял ли он «Русский язык» В. Виноградова или «Землю Сапнникова» академика В. Обручева. Я уж не говорю о подробном изучении спроса на художественную литературу, где бы отразилось тяготение читателя к тому или иному жанру, а также к тому или иному произведению писателя. В библиотеке единственный экземпляр романа А. Чаковского «Это было в Ленинграде». Он читан и перечитан, истрёпан, уже без обложки. Но двадцать экземпляров книги того же автора «У нас уже утро» стоят на полке целёхонькие. Этой книгой библиотека не была обижена. В 1950 году было прислано шесть штук в издании «Советского писателя» и пять — в издании ГИХЛ. Выходила эта книга в издательстве «Правда» в том же 1950 году, в Ставропольском крайиздате, в Госиздате Украины, во Владимирском книжном издательстве. Но читатель не проявил к этому произведению горячего интереса.

Совершенно очевидно, что есть прямая связь между библиотечным учётом и изда-

тельской политикой, но эта нить должна протянуться и дальше, к столу писателя, к его личной творческой практике.

Часы показывают два. Дверь абонементного зала распахивается. Первым входит демобилизованный офицер, на костылях. Девушки встречают его, как старого знакомого.

— Добрый день! Чому давно не були у нас?

— Лікувався. Три місяці був у санаторії...

Вторым подходит к стойке высокий мужчина с обветренным лицом. Профиль читателя обнаруживается сразу. Это охотник. Он сдаёт шесть книг: «Записки ружейного охотника» С. Аксакова, книжки Н. Зворыкина и В. Бианки, брошюрку «Охота на зайца» и «Охотнику о зверях», «Любовь к жизни» Джека Лондона и прсит «что-нибудь подобное».

Молодой солдат, до сих пор скромно стоявший у стены, обращается к хорошенькой Ирине:

— Здравствуйге. Можно записаться?

— Принесите поручительство, — следует строгий ответ.

— Йой... — разочарованно тянет юноша и быстро направляется к двери, чтобы успеть до закрытия библиотеки принести нужный документ. Через некоторое время Николай Лукьяница появился снова, записался, взял «Сердце друга» Э. Казакевича и на третий день пришёл с отзывом: «То дуже хороша книга».

Елизавета Ефимовна Остапчук, ужгородская старожилка, прсит записать на её карточку рассказы Г. Троепольского, «Избранное» Назыма Хикмета, «Сайлас Тимбермен» Г. Фаста и на украинском языке — «Современники» Б. Полевого и «Летающие блюдца» Вольфа. Эту десятидневную порцию чтения Елизавете Ефимовне вручает незнакомая девушка.

— О, у вас новенькая...

— То практикантка, — отвечает Мария. — Скоро поїде на село.

Стремительно направляется к стойке молодой рабочий электростанции Покарный. «Дуже активний читач», — рекомендует его Мария. Этот юноша, быстрый, нетерпеливый в движениях, приходит в библиотеку каждые два-три дня с одним и тем же требованием: «Дайте что-нибудь новенькое о молодёжи, о героях...» Предлагает «До-

рогами войны» В. Кожевникова. Это Покарный читал. «Черноморцы» В. Кучера? Читал. «Солдаты» М. Алексеева? Читал. «Про морскую пехоту» А. Пунченка? Читал. Давно прочитаны «Как закалялась сталь», «Сердце друга», «В окопах Сталинграда», «Морская душа», «Балтийское небо». Дошло дело до «Сборника строевых песен». С интересом рассматриваю пухлый абонемент. За девять месяцев Покарный прочёл девяносто книг. И почти в каждом названии можно найти признак, определяющий принадлежность книги к излюбленной области: «застава», «морской», «партизан» и т. д. Очевидно, и «Герой нашего времени» попал в руки этого поклонника героической темы только из-за слова, с которым у него ассоциируется представление о романтическом подвиге. Кстати сказать, это единственное произведение классической литературы, записанное в библиотечном формуляре молодого рабочего за это время, и, конечно, библиотекарям следовало позаботиться о более широком круге чтения для молодого рабочего, не пренебрегая его романтической «складкой». Представляя себе книги, близкие характеру этого читателя, можно было бы порекомендовать Покарному «Севастопольские рассказы» и «Хаджи-Мурата», а из повиннок — «Зелёный луч» Л. Соболева, увлекательную повесть, в которой романтика подвига и становление волевого, целеустремлённого характера советского морского командира даются с несравненно большей психологической глубиной, чем, допустим, в книге Д. Ткача «Крутая волна» и в ряде «литературно-художественных» сборников, проглоченных Покарным. Можно было бы пробудить у юноши интерес к книге о революционном прошлом советского рабочего класса, предложив ему «Степана Кольчугина» В. Грессмана или «Грач—птица весенняя» С. Мстиславского. Наконец, надо постараться обогатить представления молодого человека о жизни наших китайских, индийских друзей, указав ему, скажем, на «Ураган» Чжоу Ли-бо или на роман Ахмада Аббаса «Сын Индии», который, наверно, также пришёлся бы по вкусу Покарному.

К сожалению, работники библиотеки порой ограничивают свои функции технической выдачей книги и забывают о своей творческой роли — роли пропагандистов литературы, способных оказать влияние на вкус чи-

тателя. Чаще всего они обращают внимание абонента на новинку или предлагают то, что уже испытано и лежит под рукой, на столе, чтобы без лишнего хлопот можно было выдать посетителю очередной «паёк».

Нельзя не считаться с тем фактом, что основная масса библиотекарей имеет всего лишь среднее образование. Иной раз они обходят книгу просто потому, что мало знают. Сколько раз приходилось наблюдать, как и библиотекарь и читатель сообща откладывали книгу в сторону, не зная, о чём она. Очевидно, нужна такая система информации, рекомендации литературы, которая помогла бы библиотекарю быстрее продвигать, увереннее рекомендовать то или иное произведение.

Обычно издательства не выпускают произведений классиков или зарубежных авторов без предисловия или послесловия. И это верно. Новое издание обычно рассчитано на новое, подрастающее поколение читателей. Переводная книжка иногда предваряется вступительным словом самого автора. Но вот книга нашего современника, изданная в «Советском писателе», предстаёт перед библиотекарем как сложная загадка или как дитя без роду, без племени. Роман М. Соколова «Искры», «Россия молодая» Ю. Германа, «Годы и люди» Ю. Либединского, «Земля зелёная» А. Упита — всё это внушительные книги, которые не перелистаешь враз, чтобы тут же о них судить.

Очень часто без предисловия или хотя бы краткой аннотации даже хорошая книга какое-то время «не работает». Почему бы на внутренней стороне суперобложки, в начале или в конце книги, не охарактеризовать хотя бы в общих чертах произведение и его автора? Было бы полезно вернуться в этом смысле к опыту издательства «Academia» или позаимствовать формы, которые применяются в зарубежном книгоиздательском деле, когда читателю приоткрывают содержание не только данной книги, но дают и характерную выдержку из какого-нибудь другого произведения, предлагая продолжить знакомство с автором.

— Отчего у нас это не делается? — спрашивает Галина.

Ничего не даёт, особенно мало подготовленному читателю, существующая форма рекомендательных списков, которые к тому же не очень регулярно составляются и вывешиваются в библиотеках и в которых сообщается только фамилия автора и название произведения. Было бы очень полезно, если

бы посылка новой партии книг из Центрального библиотечного коллектора сопровождалась рекомендательными списками-плакатами, где книга описывалась бы хоть так кратко, как это делается в сводных планах Главиздата, рассылаемых магазинам для заказов. Это тем более необходимо, что много новинок печатается в журналах, которых в закарпатских библиотеках, например, на абонементе нет (они выдаются только в читальном зале), а отдельным изданием произведение выходит, когда откликни в печати уже отшумели и читатель либо забыл, либо так и не узнал, что писалось о книге. Не следует упускать из виду и того, что далеко не вся масса людей, абонирующихся в библиотеках, привыкла читать критические статьи.

Нужно твёрдо помнить, что новинка для читателей новых областей — это не только то, что лишь вчера написано и выпущено в свет. Коренное население Закарпатья, сравнительно недавно получившее доступ к русским классическим и советским произведениям, вовсе ещё не освоилось с этим богатством. Библиотекари не часто сами предлагают Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Чехова, Горького, Шолохова, Федина, Фадеева, ошибочно полагая, что эти книги уже много раз были в обращении. Редко снимают с полки Гончарова, Короленко, Лескова, Салтыкова-Щедрина, Достоевского. Обычно произведения перечисленных авторов требуют старшеклассники и студенты.

Русская и советская литература никогда, разумеется, не была только предметом школьного изучения. Призванная воспитывать миллионы, она сама по себе служит источником образования. Но отсюда ясно, сколь значительна миссия библиотек Закарпатья в пропаганде русской классической и советской литературы. Нужно иметь в виду и то, что огромное количество жителей этой области получило образование в дозосинные годы, когда в учебных программах русская литература не значилась вовсе. Вот почему так важна активность библиотечных работников, их способность тактично и сердечно выступить в роли советчиков, пропагандистов книг, являющихся гордостью нашей отечественной литературы.

Когда человек выходит из школы, перестаёт учиться, пишет Чернышевский, его образование поддерживается чтением, вместо прежних учителей и наставников взрослый человек имеет одну наставницу — лите-

ратуру. «Не нужно доказывать, что образование — самое великое благо для человека. Без образования люди и грубы, и бедны, и несчастны... Образованным человеком называется тот, кто приобрёл много знаний и, кроме того, привык быстро и верно соображать, что хорошо и что дурно, что справедливо и что несправедливо, или, как выражаются одним словом, привык «мыслить», и, наконец, у кого понятия и чувства получили благородное и возвышенное направление, то есть приобрели сильную любовь ко всему доброму и прекрасному. Все эти три качества — обширные знания, привычка мыслить и благородство чувств — необходимы для того, чтобы человек был образованным в полном смысле слова. У кого мало познаний, тот невежда; у кого ум не привык мыслить, тот груб или тупоумен; у кого нет благородных чувств, тот человек дурной». Чем больше развивается литература, тем образованнее и лучше становится народ, — эту свою мысль великий русский просветитель увидел бы воплощённой советской действительностью, и она приходит на ум, когда наблюдаешь за всегдашними закарпатскими библиотек.

В один из воскресных дней в областной библиотеке побывали: пенсионерка Онегина, старший техник комитета радиодифкации Радзиковский, художник Симон, бухгалтер Сидоренко, студент Кунеев, архивариус Кудинова, шофёр облисполкома Черепанов, домохозяйка Рожкова, телефонистка Удут, радистка Герасимец, фельдшер Воронцова, мастер цеха Костырин, переплётчица Леопченкова, работник обкома комсомола Великокклад, истопник Карпинец, инженеры Костин и Стахов, лингвист Коваленко, синоптик Проценко, техник аэропорта Полюкин, лектор филармонии Цирикус, монтажница кинопроката Фенк, инженер-механик Ужгородской МТС Плих, преподавательница школы глухонемых Чекан.

Приходили рабочие и служащие артелей, деревообрабатывающего комбината, виносовхоза. Это были люди разного уровня знаний и разных запросов. Одни требовали Шекспира и Шолохова, Сервантеса и Толстого, другие проявляли интерес к лёгкому, занимательному чтению. Старший инженер Закарпатлеспрома Пахомов и его жена унесли вместе с «Капиталом» Маркса роман Арагона «Коммунисты», «К новому берегу» В. Лацина, «Открытую книгу» В. Каверина, «Берег ветров» Ладю Хинт, «Чудесную силу» Б. Галина, «Девятый вал»

И. Эренбурга. Инструктор комитета физкультуры Блиннов попросил книжку Н. Томана «Что происходит в тишине», чтобы «скоротать время на дежурстве». В этот день библиотекари выдали до шестисот книг. Читатели брали «Петра Первого» А. Толстого и «Поднятую целину» М. Шолохова, «Екатерину Воронину» А. Рыбакова и пьесы А. Корнейчука, сказки бр. Гримм и «Жизнь» Мопссана. Но не все выбрали бесспорно хорошие книги, и было бы очень уместно, если бы люди, робеющие перед серьёзным произведением, или читатели с упрощённым взглядом на художественную литературу пользовались и более пристальным вниманием работников абонеента.

К группе людей у стола подходит молодой человек лет двадцати восьми — тридцати, невысокий, крепкого сложения, с умным, пристальным взглядом из-под чёрных бровей. Он в чёрной куртке, в сапогах, в чёрной смушковой шапке, а не в шляпе и не без головного убора, как многие ужгородцы. Интересно, какие книги возьмёт этот человек с внешностью рабочего-интеллигента? Ирина записывает на его карточку «Русский лес», работы Ленина «Очередные задачи Советской власти», «Империализм, как высшая стадия капитализма» и пособие по литературоведению.

На мой вопрос о профессии Василь Васильевич Лозанец ответил:

— Готовлюсь стать преподавателем литературы.

— А были?

— Лесорубом...

Среди молодой интеллигенции Закарпатья можно встретить много людей, подобных Лозанцу. За десять лет шагнули они из голодного детства, из бесправной юности в удивительный мир своих мечтаний. Свою зрелость они встретили как полновластные хозяева жизни, её творцы и главари. Всего только десять лет назад ушёл из села с котомкой за плечами Юрий Ильницкий, а сейчас он один из секретарей обкома партии.

И Василь Лозанец тринадцать лет, ещё при оккупантах, пошёл в свалевские леса на работу, а через пять лет, уже комсомольцем, поступил в хустский лесотехнический техникум. В 1951 году Лозанец пришёл техникум на лесохимический завод в Сваляве, здесь вступил в партию. Спустя три года он был штатным пропагандистом райкома партии, потом стал слушателем партшколы и одновременно заочником университета по факультету филологии. Стре-

мление получить литературное образование отчасти продиктовано желанием иметь общую специальность с женой (она коммунистка, окончила ленинградский пединститут и преподаёт в Сваляве русский язык и литературу).

День в библиотеке приносит любопытные наблюдения, знакомит с характерными типами читателей.

Под вечер не вошёл, а влетел человек в зелёной шляпе, с угольно-чёрными глазами, с закрученными усиками на продолговатом, заострённом лице. Галина легонько подталкивает меня.

— Я вам про него говорила... Это С., инженер Закарпатлеспрома. Он все наши книги ругает.

Проходит немного времени, и я начинаю думать, что С. и впрямь классический тип хулителя.

— Все наши писатели пишут слащаво.

Слащавы, по его мнению, В. Панова и В. Кочетов, Д. Гранин и В. Некрасов. Видно, этому жёлчному по природе человеку мерещатся розовые краски и там, где их в помине нет, и он готов перенести грех лакировки на всю советскую литературу. Тем не менее он регулярно приходит в библиотеку и вместе с томом русского или зарубежного классика берёт новую книгу советского писателя.

— С чего бы это? — подтруниваю я.

— Ну, когда-нибудь напишут же хорошее, — улыбается наконец строгий судья.

И всё же нашлась одна книга, которую он признаёт безоговорочно, — шолоховский «Тихий Дон»...

Об одном типе читателя, с которым пришлось столкнуться, хорошо сказал Твардовский. Это «читатель волевой»,

Что, не страшись печатной тишины,
Вплоть до конца несёт свой крест
И в силу самодисциплины
Что преподают, то и ест...

Читатель Б. — именно такой неразборчивый потребитель литературы. Он утверждает, что «все книги оказываются хорошими». В семье Б. читают все. Отец, мать, сыновья буквально глотают книгу за книгой. Брат пользуется библиотекой облизполякома, его жена абонирована в библиотеке больницы, где она служит. Очевидно всё же, что процесс такого скоростного чтения мешает всерьёз задуматься над книгой и увидеть, скажем, разницу между «Иваном Ивановичем» Коптяевой и «Анной Каренной». Это-

го колоссального различия двух художественных масштабов как раз и не почувствовал мой собеседник, добродушно уверявший, что всё прочитанное им «одинаково интересно»...

Раскрашенная пожилая женщина в темно-красном пальто с чернубурой лисой, в яркочерной шляпке с вуалеткой и блёстками советует приятельнице, остановившей своё внимание на книге Ивана Курчавова «Московское время».

— Берите, берите. Раз роман, значит хорошо.

Похоже, что дамы жаждут погрузиться в чужие «красивые переживания».

Довелось в закарпатских библиотеках увидеть и читателя-читатчика, собственно, даже не читателя, а оценщика книги. Эти кадры воспитаны иными организаторами читательских конференций и обычно выступают как проводники «подработанных» мнений по поводу той или иной книги.

Автор романа «Свет ты наш, Верховина...» М. Тевелев с горечью рассказывает о тягостном впечатлении, которое однажды сложилось у него после обсуждения книги. Читательская конференция происходила в школе взрослых, и выступавшие говорили цитатами из лекций, добросовестно оперировали политическими терминами и определениями, оставляя в стороне образную сущность произведения.

Писатель поделился своей обидой на читателя-сухаря с преподавателем литературы. Вздохнув, седая старушка сказала:

— Если вы преподаёте физику, вы берёте сущность предмета. Цель преподавания литературы — воспитание этического и эстетического чувства, но именно об этом у нас часто не думают и нередко неодобрительно относятся к стараниям преподавателя литературы вести свой урок в этом русле. По правде сказать, я побаиваюсь осуждения и сама же подчас выхолащиваю свой предмет...

Этот разговор заставляет вспомнить то объяснение предмета литературы и её отличия от любого другого предмета науки, которое в своё время дал Чернышевский: «...главная цель учёных сочинений... та, чтобы сообщить точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в том, что в учёных сочинениях излагаются собы-

тия, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большей частью создаются воображением самого писателя.

Старая учительница, видимо, сильно напугана укоренившимся подходом к книге, когда социальная проблематика рассматривается в полном отрыве от воплощения идеи средствами, присущими тому или иному художнику, и когда начинает действовать пресловутое мерило оценки усилий автора по принципу «отразил» или «недоотразил» он действительное событие, а то, как чувствуют и поступают люди в различных обстоятельствах, как создаётся контакт между воображением художника и воображением читателя, — это остаётся за пределами разговора.

Читательница Г. возвращает книжку «Второе дыхание» В. Пронского, выпущенную Госиздатом Украины в 1955 году.

Раскрываю книгу наугад:

«Казанцев редко вмешивался в творческие дела жены. Он любил следить за её домашними репетициями и часто испытывал настоящее удовольствие, чувствуя, с каким вдохновением она готовит свои роли. И теперь он ни в чём не мог упрекнуть жену. Она, как и прежде, не щадила себя, старалась полностью врасти в свою героиню».

— Поправилась книжка?

— Да, — с готовностью отвечает читательница.

— Ну, а язык?

— Язык, правда, сухой, казённый...

— А о чём она?

— Автор отразил борьбу за рождение качественной бессемеровской стали, — следует готовый ответ.

Продолжаю допытываться:

— А герои? Как вам показалось, они интересные люди? Вы встречали похожих?

Моя собеседница достаточно грамотна, она производит впечатление думающего человека, у неё живая, свободная речь. Но перед этим несложным вопросом читательница пасует, это даже не было в сфере её внимания, когда она читала один из тех «производственных романов», где голая техническая проблема вуалировалась «для читабельности» топорными экскурсами в область личных переживаний героев.

В ответах читательницы Г. нельзя не почувствовать отзвука того грубо утилитарного истолкования художественного произведения, которое одно время было распространено в нашем литературоведении. В Закарпатье это явление как реакция на эстетские взгляды прошлого (ещё не ставшего здесь далёким) изживается, может быть, с большим опозданием, чем в других местах. Но беседа с этой читательницей, а также со многими другими посетителями библиотек, убедила и в том, насколько беспочвенны разговоры о безразличии читателя к теме труда в литературе. Это неверно раньше всего потому, что в жизни того самого человека, который приходит в библиотеку за книгой, труд, творчество играют колоссальную роль, психология другого человека труда не может не интересовать его. И потому он не может остаться равнодушным к поэтической картине труда, как, полюбив, не может не откликнуться на прекрасные строки о любви, и, тонко чувствуя природу, пройти мимо страниц, воссоздающих её красоту. Любопытно, что первой побудительной причиной, заставляющей лесоруба обратиться к «Русскому лесу» Л. Леонова, служит заглавие, с которым у читателя ассоциируется мысль о собственной профессии.

Другое дело, что книги, подобные «Второму дыханию» В. Пронского, не обогащают, а, напротив, портят вкус читателя, что «Металлистов» А. Былинова почти никто не просит, а «Дни нашей жизни» В. Кетлинской идут нарасхват, что «Курбины» В. Кочетова читаются охотнее, чем «Труд» А. Авдескио (широкую популярность в Закарпатье принесла этому писателю книга приключенческого жанра, да ещё на «местную» тему — «Над Тиссой»).

Читатель художественной литературы принял и полюбил именно те книги, в которых преобладает не описание законов профессионального творчества героя, а исследование закономерностей человеческого характера, он по достоинству оценил произведения, где видно стремление показать человека и в его общественно-трудовой и в личной жизни. Об успехе такой манеры изображения человека труда красноречиво говорит статистика библиотек. Из книг, вышедших недавно, огромным спросом пользуются «Искатели» Д. Гранина, «Екатерина Воронина» А. Рыбакова. Характерную реплику пришлось, между прочим, услышать в муниципальной библиотеке от одного читателя —

шофёра — по поводу романа Гранипа: «Я думал, это про геологоразведку, а это про людей».

Книги о труде читатель оценивает так же, как и любые другие книги: всё дело в том, насколько правда жизни в них совпадает с правдой искусства, насколько художественно полноценно воплощён в них материал действительности. Однако критические статьи нередко вступают в противоречие с этим простым и ясным требованием читателя.

2

В общении с читателями, библиотекарями, работниками закарпатской печати и университета не раз приходилось убеждаться, что для многих авторитет нашей литературной критики является переменной величиной. Люди не хотят мириться с тем, что часто рецензия говорит им о книге одно, а своё ощущение, впечатление от прочитанной книги — совсем иное. Отсюда рождается подчас недоверие к критике, отсюда — сомнение в серьёзности печатного отзыва о книге.

В нашем искусстве мы знаем примеры догматизма, возникшего из умозрительного понимания действительности, когда автор, следуя теоретическому предначертанию, берёт тезис и подлаживает под него живой материал действительности. При таком подходе игнорируется плоть и кровь жизни, и произведение неминуемо становится плоскостной схемой. То, о чём говорит автор, не пережито, не прочувствовано им, образ базируется не на личном ощущении художника, а возникает как результат механического сцепления лозунга с искусством. И книга, несмотря на усилия критики, становится мёртвым капиталом библиотечных фондов.

На полках ужгородской, мукачевской, хустской библиотек в некотором отдалении от истрёпанных, затёртых томиков А. Твардовского мирно дремлет поднятая на щит поэма С. Щипачёва «Павлик Морозов», а лирические стихи поэта, аттестованные куда более скромно, давно нашли свою дорогу к читателю. Единодушное признание критики, как известно, получили произведения С. Бабаевского, Е. Мальцева. Однако очень многие читатели охладели к такого рода литературе задолго до того, как критика перестала считать эти книги образцом для подражания.

В то же время есть широко популярные книги советских авторов, о которых критика либо ничего не сказала, либо сделала это с большим опозданием. Такая судьба постигла «Это было под Ровно» Д. Медведева — одно из самых читаемых произведений об Отечественной войне, утверждающее дух коммунистической партийности, дух героизма и интернационализма. С мнением критики по поводу двух популярных, своеобразных в художественном отношении книг, с разной исторической темой, но одинаково обращённых к патристическому чувству советских людей, — «Когда крепости не сдаются» С. Голубова и «Россия молодая» Ю. Германа — читатель ознакомился спустя много времени после того, как успел прочитать и полюбить оба эти романа.

Противоречивость, эволюция оценок в отношении некоторых книг вызывают недоумение читателей. Первоначальное суждение критиков по поводу «Повести о директоре МТС и главном агрономе» Г. Николаевой совпало с мнением большинства тех читателей, с кем мне приходилось говорить. Теперь люди спрашивают, почему произошла переоценка повести.

Хорошо уже то, что повторный разговор принял форму дискуссии, которая выявила и противников и защитников этого произведения. Но, может быть, этот факт и смущает читателя, приученного к безапелляционности критических суждений, к представлению о непререкаемости каждой оценки, появляющейся в печати.

У лирического рассказа Николаевой оказался и широкий и точный адрес. Тысячами абонементов голосуют закарпатские читатели за это произведение, пронизанное светом веры «главного агронома» — скуластенькой Насте — в своё призвание, героической убеждённости советского молодого человека в правду дела, которому он служит.

Тираж этой маленькой книги, доставшийся Закарпаты, потонул в море заявок и требований от городских, районных, сельских и колхозных библиотек, от покупателей книжных магазинов. Библиотекарь села Долгое Иршавского района Мария Кукла жаловалась, что не могла получить повесть ни через библиотечный коллектор, ни в магазинах, ни в кioskе областной комсомольской конференции. «Але всі мої читачі хочуть прочитати», — даже с какой-то ноткой беспомощности закончила свой

рассказ энергичная библиотекарьша, недавняя выпускница технпкума, что в Хусте. У Марии в библиотеке шесть тысяч книг и шестьсот восемьдесят читателей. Она создала три передвижки по сто пятьдесят книг — на деревообрабатывающем комбинате, на животноводческой ферме и в санатории. Раз в неделю отправляется Мария с новым грузом книг в лес, к читателям. Это рабочие и инженерно-технические работники Леспромхоза и деревообрабатывающего комбината, а также учительство, врачи, сёстры. Машинистам, электрикам, медикам нужна и специальная литература, и западная классика, и советская новинка на украинском и русском языках. К сожалению, снабжение книгой из областного библиотечного коллектора ведётся довольно хаотично, без учёта подлинных потребностей читателя, и Мария иной раз добывает книги по собственной инициативе и на собственные деньги. Но её попытки приобрести повесть Г. Николаевой так и не увенчались успехом.

Особенно резко обозначилось несопадение рецептов критики со вкусами читателя при разговорах о повести В. Пановой «Серёжа». Многие протестовали против замалчивания, а потом неверной критики этого произведения на страницах «Литературной газеты».

В своей статье «Долг и его оплата» («Литературная газета», 11 февраля, 1956 г.) В. Кочетов пишет, что при условии более глубокого изучения жизни нашего общества и у критиков и у самих писателей было бы меньше «творческих шараханий из стороны в сторону». Справедливо предостерегая против такого «шарахания», в результате которого некоторые писатели отступились от генеральных тем нашей современности, автор впадает в другую крайность, и всё, что в литературе прямо не связано с показом человека в труде, пренебрежительно именуется «заговской» тематикой, выбрасывая её тем самым за борт жизни нашего общества. Поэтому В. Кочетов считает, что признание нового произведения В. Пановой основано на недоразумении, что это всего лишь «повесть о маленьком мальчике Серёже, пусть тоже не без достоинств, но тоже далеко не такая, чтобы стать поводом для серьёзных, глубоких дискуссий».

Сегодня «Серёжа» уже не нуждается в защитниках. Но нельзя не отметить несообразность утверждения В. Кочетова уже хотя бы потому, что тема детства, поэзия нерво-

чального познания мира принесла долговечность многим и многим творениям искусства, в том числе неумирающим повестям Л. Толстого и Горького. Как жаль, что известный советский писатель смотрит с таким холодным пренебрежением на книгу о ребёнке. Можно представить себе, что и опубликованное в альманахе «Литературная Москва» стихотворение Н. Заболоцкого «Некрасивая девочка», в котором сильно и ярко раскрыто ощущение художником красоты мира, гуманистическое понимание прекрасного в жизни и в искусстве, вызывает неудовольствие строгих дядей и тётёй, столь занятых важными делами, что у них не остаётся времени для мыслей о подрастающих людях нашего общества.

Доверчивый мир ребёнка и мудрый мир взрослого — это взаимопроникновение — одна из первооснов человеческих отношений, самое нежное и прочное сплетение жизни. Маленький Серёжа во всём хорошем, что ему открывает жизнь, как бы находит Коростелёва — этого удивительного чудо-человека!.. И читатель, увидевший Коростелёва чистыми глазами Серёжи, принимает в сердце поэтический образ и ясно чувствует — вот настоящий человек-коммунист.

Догматическая критика не пожелала заметить большой внутренней цельности, значительности этого образа и захотела надеть шоры на глаза читателя. Но читателем повесть принята вопреки безапелляционному приговору газеты.

Однажды пришлось услышать разговор двух критиков. Один сказал, что «Золотая роза», по его мнению, — свидетельство активного вторжения писателя в общее дело литературы, его протест против дидактизма, ремесленничества. Другая, критик Н. (это довольно плодовитый автор, часто выступающий в печати), спросила:

— Что такое «Золотая роза»? Вы имеете в виду — «Золотая карета»?

Мы посмеялись над этой путаницей, столь странной в устах профессионального литератора. Но дело даже не в том, что критик спутал Леонова с Паустовским и не успел познакомиться с новинкой, хотя, например, литературная молодёжь Закарпатья зачитала к тому времени номера «Октября» с повестью Паустовского до дыр. В этом ответе было выражено и другое — «узковедомственный» подход некоторых критиков к современной литературе. Критик Н. специализируется в области

«производственной» тематики, и поэтому всё, что лежит за пределами этой сферы, считает незлободневным.

Однако все мы знаем книги, где фигурирует самая злободневная терминология, и они, тем не менее, не вызывают ни внимания, ни сочувствия читателя, остаются ремесленной поделкой, вроде, например, «Широкого течения» А. Андреева. И есть произведения о таких «несовременных» вещах, как природа, где открываются какие-то очень современные, созвучные советскому человеку понятия, например, рассказ М. Пришвина «Заползлый мёд».

Развитие всех жанров и видов литературы, к которому призывает партия, невозможно при узкоцеховом взгляде на творчество писателей, укоренившемся в умах некоторых критиков.

Об этом говорили мы с аспиранткой Ужгородского университета Л. Голубевой. Тема её диссертации — творчество Паустовского. Надо сказать, что у аспирантки довольно трудное положение. Научный руководитель предлагает ей отыскивать в произведениях Паустовского влияния скандинавских авторов. (Это заблуждение, вероятно, подсказано тематикой и колоритом таких произведений, как «Северная повесть», «Посёлок среди скал», «Корзина с еловыми шишками».) С другой стороны, критика понуждает молодого исследователя искать в творчестве писателя то, что ему не свойственно.

Искусство, говорил Белинский, имеет свои законы, без уважения которых нельзя хорошо писать. «Оно прежде всего требует, чтобы писатель был верен собственной натуре, своему таланту, своей фантазии... Кто что любит, чем интересуется, то и знает лучше, а что лучше знает, то лучше и изображает. Вот самое законное оправдание поэта, которого упрекают за выбор предметов; оно неудовлетворительно только для людей, которые ничего не смыслят в искусстве и грубо смешивают его с ремеслом».

К Паустовскому наша критика иной раз предъявляла совершенно произвольные требования. Одно время ставили ему в вину его пристрастие... к описанию природы. Когда писатель обратился к изображению людей и социальной среды в повести «Беспокойная юность», ему предъявили претензию в том, что он сделал это не так, как другие, а так, как это присуще его, Паустовского, писательской манере.

А. Берзер, рецензировавшая «Беспокойную юность» в «Литературной газете», писала: «Мы не можем упрекать писателя, создающего автобиографическую повесть, в том, что его жизнь сложилась так, а не иначе, что встретил он на своём пути одних людей, а не других». Тем не менее перечень требований и упреков к автору этой автобиографической повести говорит о том, что от него добиваются совершенно другой книги, чем та, которую он создал. А. Берзер утверждает, что Паустовский, задумавший написать не просто мемуары, а художественное произведение, не справился с задачей, потому что не показал разворота событий первой мировой войны и Февральской революции во всей широте. Эпизоды повести, пишет критик вопреки своему же правильному тезису, «характеризуют разные стороны жизни России тех лет, передают выразительные детали быта, нравов. Но всё же это боковые линии, не воссоздающие в полной мере атмосферу времени, исполненного грандиозных исторических событий».

Приходилось слышать мнения, что в главе «Сырой февраль» не ощущается накала первых дней революции, бледна роль самого рассказчика. Но ведь и эта глава, точно рассказывающая, «как было дело», — автобиографическая, и не вина автора, что он в такие дни очутился в сонном Ефремове, где ему порой начинало казаться, что нет ни железных дорог, ни телеграфа, ни войны, ни вообще каких бы то ни было событий.

Тема повести, как говорит сам автор, в кратком вступлении, — становление человека и писателя. И как раз не о слабости, а о мужестве писателя можно говорить, если сорок лет спустя он со всей честностью рассказывает о себе, не пытаясь возместить приукрашиванием былое «неумение разбираться... в общественных отношениях, в самом себе».

Мы узнаём из первых глав «Беспокойной юности» (а прежде из книги «Далёкие годы», изданной в 1946 году), что рассказчик не был подготовлен воспитанием к активной революционной деятельности. Достигнув призывного возраста, он был освобождён от военной службы из-за сильной близорукости и не попал в окопы. Не прошёл он классовой школы и на большом заводе. На первый взгляд может показаться, что герой, определив своё жизненное призвание, шёл к своей цели, к своему мастерству

каким-то боковым путём. Но почему же тогда нас всё-таки захлёстывает ощущение беспоконного, тревожного времени, сквозя которое пробивался навстречу своей судьбе юноша, охваченный настойчивой мыслью о писательстве, отчего мы поддаёмся очарованию этого лирико-романтического, овеянного поэзией повествования?

На первых страницах автор скромно предваряет читателя: «А сейчас, как говорили в старинных театрах актёры, выходя к зрителям перед спектаклем: «Мы представим вам разные житейские случаи и постараемся заставить вас поразмышлять над ними, поплакать и посмеяться». Но перед нами не простое копирование окружающего, не статика точно зафиксированных «житейских случаев», а живая, меняющаяся панорама действительности, богатство реальных человеческих характеров, которое даёт пристальным, глубоко заинтересованным изучением жизни во множестве её проявлений.

Реалистическое проникновение вглубь «хитросплетений жизни», многолюдье, в котором вращается рассказчик, временами напоминают свободную манеру горьковских автобиографических повестей. С большой правдой рисует Паустовский то терпеливое упрямство, с каким постигает герой нелёгкую премудрость житейских «университетов», преодолевает молодой интеллигент свою «чрезмерную чувствительность», тот испуг в себе, который Горький метко назвал «социальной и всяческой малограмотностью... беззащитностью, безоружностью пред жизнью».

Встречаются иногда книги, авторы которых словно побаиваются выглянуть за рамки анкетных сведений о герое и обстановки, в которой он формировался, предлагают читателю шаблонный, скудный — «отсюда досюда» — перечень признаков времени и черт того или иного литературного типа. А между тем какое множество связей, влияний, событий перекрещивается в человеческой судьбе!

Вот «туманная поэзия» юношеского восприятия литературы, «прекраснодушные мысли» об «обездоленном народе», навеянные речами отца и его друзей «главным образом в столовой, за чаем»; мальчишеское преклонение перед внешностью, романтическим ореолом революционной работы с её подпольными типографиями, динамитом, адскими машинами... Вот «чудо че-

ловеческой мысли», «вера в безграничную силу человеческого сознания», открывшиеся в лекциях университетского профессора; и страсть, владеющая сердцем «с детских лет», — «любовь к природе». А потом работа трамвайного кондуктора в гуще разношёрстного московского люда и, наконец, начало тесного знакомства с народом в пору добровольной службы в военно-санитарном поезде Союза Городов, когда беззаботный одинокий мальчик «впервые ощутил себя русским до последней прожилки», растворившись «в народном разливе, среди солдат, рабочих, крестьян, мастеровых».

В ясно осознанном стремлении стать писателем, чтобы «с наибольшей полнотой выразить себя в своей кровной связи с народом», уходил он всё дальше от той московской жизни, что шла «мимо войны», от аудиторий Политехнического музея, набитых обожателями Игоря Северянина и поклонниками футуристов, от анемичных литературных «сред», где витийствовали в ту пору поборники возрождения эллинской философии и жрецы богоискательства.

«Тогда я ещё многого не понимал в событиях, накотившихся на Россию», — признаётся рассказчик, оглядываясь на свою беспокойную юность. Но одно он понимал отчётливо: творить, создавать книги, выражать себя в своей ровной связи с простыми людьми — это значит самоотверженно делить их судьбу, идти туда, где и трудно и страшно.

В эпиграфе к сборнику рассказов «Бег времени» писатель говорил устами своего героя: «Ничего нет в мире милее для меня, чем мой народ, его судьба, чем волшебный русский язык и трогающая сердце то силой, то грустью, то покоем и радостью наша природа...»

Повесть К. Паустовского обнажает корни, из которых выросло это проникновенное отношение художника и патриота к своей Родине. Оно возникло ещё в те далёкие годы «всероссийской беды», предшествовавшие великой русской революции, когда будущий писатель определил «своё ощущение мира и представление о человеческом счастье, достоинстве и свободе», когда он обрёл самое бескорыстное чувство, без которого «нет настоящего человеческого характера», чувство своей страны, «особенной, очень дорогой и милой в каждой её мелочи».

Вот это главное в мироощущении автора. Поэтически выраженное в «Беспокойной

юности», наполняет повесть современным смыслом и делает её для нас интересной и нужной.

Читая книги Паустовского, мы часто восхищаемся его чистым и ясным языком, его умением тонко описывать людей и природу, нас трогает лиризм его произведений. «Беспокойная юность» позволяет увидеть, как строилась кладовая, откуда читатель черпает мысли, образы, слова. Самый драгоценный из его кладов — многолетнее общение с простыми людьми, «смена мест и впечатлений», неисчерпаемый запас наблюдений, добытых в скитаниях по родной земле.

В арсенале советской литературы тонко отточенная манера Паустовского, его проникновенный, лирический талант по праву занимают своё значительное, видное место. Его произведения существуют в русской прозе, как существуют картины Левитана среди полотен Сурикова и Репина. Вот почему в перечне записей на читательском абонементе наряду с «Хожением по мукам» и «Первыми радостями», «Поднятой целиной» и «Молодой гвардией», книгами Н. Островского и В. Катаева, В. Ажаева и В. Пановой, А. Макаренко и Г. Николаевой, В. Лациса и Б. Горбатова, Б. Полевого и В. Некрасова, С. Антонова и В. Каверина значатся «Колхида» и «Кара-Бугаз», «Беспокойная юность» и «Золотая роза» — увлекательное эссе, в котором при всех несовершенствах, справедливо отмеченных критикой, поэтично выражено то главное, что покоряет читателя, — высокое наслаждение, упоённость писателя работой, творчеством.

Самые внимательные читатели и страстные ценители литературной критики в Закарпатье — преподаватели, аспиранты и студенты-филологи, писатели, журналисты. Здесь запомнили заметки о литературе А. Фадеева, статьи В. Смирновой, В. Перцова, Б. Рюрикова, статью А. Петросян против догматизма в критике, статью А. Макарова, посвящённую русскому роману о народах бывших окраин, Е. Книпович — о романах В. Лациса, критические работы Л. Чуковской, статью-репортаж С. Львова «В книжном магазине на улице Горького» У закарпатских читателей, среди которых многие свободно читают по-венгерски и чешски, рассказ о продаже в Москве книг на этих языках вызвал особый интерес. В Закарпатье голод на лите-

ратуру этого рода. Есть целые районы, например, Береговский, где среди колхозников-виноградарей мало венгров, однако туда засылается лишь десять процентов литературы на венгерском языке. Видимо, мы ещё плохо учитываем спрос на художественную и массово-политическую литературу для национальностей, населяющих Закарпатье, да и в планах областного издательства этот раздел занимает незначительное место.

С понятной заинтересованностью воспринимаются статьи С. Штут, выступающей в нашей критике с пропагандой темы труда, необъятно широкой, наиболее важной темы нашего времени. Но далеко не все разделяют взгляды критика и считают правильными её советы писателям.

Странным кажется именно тот факт, что стремление к полноте в решении темы «человек и его дело» трактуется в её статьях как нежелательное. Более того, требование многостороннего изображения человека труда она считает ошибочным и догматичным. Такую точку зрения С. Штут высказывала в предсъездовской трибуне «Литературной газеты», когда возражала В. Перцову, И. Эренбургу, К. Симонову, утверждавшим, что герои, показанные односторонне, утрачивают доверие читателя благодаря своей схематичности.

«...Почему так ополчаются против «односторонности» её противники? — писала С. Штут в статье «Почувствовать красоту деяния» («Литературная газета», 7 декабря 1954 г.). — Они полагают, будто изображением одной стороны жизни нельзя обеспечить сложность, объёмность, жизненность героя. Но многие шедевры мирового искусства замкнуты рамками только одной стороны человеческого бытия — его частной жизнью... Разве кажутся кому-нибудь схематичными образы Джульетты, Татьяны, Анны Карениной потому, что автор не показал нам, что они делали между двумя свиданиями, и разве мы утратили к ним доверие потому, что не видели этих героинь в их хозяйственной, скажем, деятельности?»

Мне кажется, что С. Штут здесь явно грешит против исторической правды. Ведь совокупность типических обстоятельств, в которых показаны эти типические характеры, исчерпывается именно частной жизнью, и эта «одна сторона человеческого бытия» для Джульетты, Татьяны и Анны Карениной была и как бы всеобщей и в то же время единственной сферой

жизни, в которой они существовали и действовали. И художник преодолевал здесь не «однообразие материала», как утверждает С. Штут, а как раз воссоздавал полную ту жизнь, отпущенную историей на долю той героини в то время, которые изображены у Шекспира, Пушкина и Толстого.

Как тут не вспомнить сердитые слова Горького, сказанные им по поводу теоретических мудрствований такого рода: «Большинство людей думает и рассуждает не для того, чтобы исследовать явления жизни, а потому, что спешит найти для своей мысли спокойную пристань, торопится установить различные «беспорные истины». Эта поспешность фабрикация беспорностей особенно свойственна критикам и весьма вредно отражается на работе беллетристов. В глубоко ответственной работе литераторов аксиоматичность, догматизм и вообще «кустарное» производство беспорностей неизбежно ведёт к ограничению, к искажению смыслов живой, быстро изменяющейся действительности».

Если принять точку зрения С. Штут, то получится, что Шекспир был вынужден «ограничивать» себя при выяснении закона, движущего жизнью образа. Но почему советский писатель обязан ограничивать себя добровольно? Для женщин нашего времени, для литературных героинь, подобных Поле Вихровой, Ульяне Громовой, Дусе Ошурковой, личная часть бытия — действительно лишь одна сторона существования. Значит ли это, что художник должен её отсекать и, в угоду защитникам односторонности, забывать о том, что для человека нашей, советской эпохи характерна именно широта, многоплановость жизненных связей?

Основным недостатком «производственно-го» романа С. Штут считала то, что «технично-экономическая задача не переводится писателем в план психологический». Отсюда, по её мнению, схематичность произведения, бледность образов: трудовая победа достигнута, а читатель не верит, что её совершил этот неумный герой; и ничего не изменится, если мы к его неумным речам о производстве прибавим глупые объяснения в любви; здесь не поможет никакое обращение к быту, заверяет С. Штут. Верно, в данном случае не поможет. Но допустим, что технико-экономическая задача стала средством «психологической характеристики героя», что писатель показал нам его не

только «там, где с непостижимой скоростью режется металл», но и «там, где родилась эта идея скоростного резания металла», как того требует С. Штут. И этого будет достаточно, чтобы создать «объёмный», «сложный», «жизненный» образ советского рабочего? Душевная бедность героя такого романа не в том, что его слабо соединили с производственной проблемой, а в том, что его не выпустили из сферы производственного конфликта. Его деяние понимается, как производственное достижение, иногда как трудовой подвиг, но при этом упускается нечто большее — вся жизнь человека, возникновение новых черт в его характере, масштабы его вклада в переустройство общества.

Полнота видения мира и однолинейность при его изображении — такое совмещение невозможно без насилия над природой искусства. Если мировоззрение, жизненный опыт художника открывают ему широкую картину бытия в её противоречиях и в её гармонии, он постарается перенести это своё ощущение жизни, такой, какой она была, есть или будет, в своё творчество, отбирая то главное, организующее, что определяет процесс общественного развития и что поэтому близко сознанию миллионов людей.

В психологии человека происходит непрерывная борьба между старым и нарождающимся, и процесс этих качественных изменений описать нелегко. Диалектика чувств извилистее диалектики понятий. Она, как картина с несколькими световыми планами, требует тончайших оттенков письма.

И совсем не следует думать, будто смелое обращение талантливого художника к личной жизни героя, чего так чураются иные пекущиеся об идейности нашей литературы критики, означает отход от проблем общественного звучания. В повести «Не ко двору» В. Тендрякова, в «Ненужной славе» С. Воронина «своя», «отдельная» жизнь героев, их глубоко интимные переживания отражают своеобразно большую жизнь сегодняшней деревни. Характер семейных противоречий, в которых побеждает новая мораль, служит убедительным выражением продолжающихся преобразований в советском обществе. В этих книгах нет декларативности, это живая правда современной действительности, и это наша критика признала.

Авторы, пишущие о рабочем классе и о технической интеллигенции города, не

достигли в последнее время таких заметных удач. В той сфере, которую они избрали полем художественного осмысления и где социалистические формы общественных отношений утвердились уже давно, конфликты личного и общественного не носят такого обнажённого характера. Здесь люди как бы поворачиваются к фронту событий своей общественной стороной; личное не выступает таким крупным планом. Невнимание к этому второму, но отнюдь не второстепенному плану и привело к примитиву, к упрощению человеческой психологии в произведениях, где по страницам гуляют или «голубые», без страха и упрёка, герои, или же печально традиционные образы «не без родимых пятен», как говорится. Но критики не столько пытаются объяснить происхождение этой слабости у того или иного автора, сколько обосновать её закономерность, будто бы вытекающую из природы того материала, к которому обращается писатель.

В романе Д. Гранина любовная линия, отношения с близкими слабее характеризуют личность Лобанова, чем его темпераментно описанная борьба с рутинёрством и формализмом в технике. И вот Б. Брайнина, автор статьи «Подвиг мысли» («Литературная газета», 10 марта, 1956 г.), спешит на помощь этой слабости с очередной попыткой фабрикации беспорочностей: «...роман «Искатели» выиграл бы, если бы в данном случае дело обошлось без «личной» жизни».

Читаешь эту статью, и вначале создаётся впечатление, что всё тут правильно. Критик ратует за органическое единство трудового и личного поведения героя, осуждает систему «пропорций» в изображении производства и быта. Настораживают лишь неизменные кавычки при слове личное. «За последнее время,— пишет автор,— велись споры: надо ли, а если надо, то в какой пропорции изображать быт и «личную» жизнь человека, то есть его отношение к женщине, к семье. Но как бесплодны и формальны эти споры! Ведь дело не в том, надо или не надо и в какой пропорции, а как это сделано: помогает это или не помогает раскрытию сложности, своеобразия внутреннего мира человека или, наоборот, суживает, обедняет идейное содержание образа, снимает конкретные приметы времени, нарушает идейно-художественную цельность произведения».

В итоге, как видим, рассуждения критика сводятся к тому, что обращение к личной жизни оказывается способным и «сузить», «обеднить», «нарушить» цельность образов и произведения (фраза «как это сделано» по сути является ничего не значащей отговоркой, ибо, если «сделано» плохо, то что тут, собственно говоря, доказывать?). Особенно выразительно это «отношение к женщине и семье», которое «снимает конкретные приметы времени»!

«...гуманизм советской литературы прежде всего выражается в умении бороться за человека, за то лучшее, что есть в нём. Подвиг мысли и подвиг борьбы — две стороны одного и того же процесса», — пишет Б. Брайнина. Ну, а подвиг сыновней, материнской, братской любви, подвиг дружбы, описанный, например, Б. Горбатовым в первой части «Донбасса», — разве изображение полёта возвышающего чувства может помешать нашей гуманистической литературе в её борьбе за то лучшее, что есть в человеке!

В создании живого образа человека у советской литературы есть свои достижения, и нет никакого смысла от них отказываться. Отчего в книгах о войне отношение героя к женщине, к семье, изображение его личных чувств помогало раскрытию сложности и своеобразия внутреннего мира героя, не обедняло, не сужало идейного содержания образа, не снимало конкретных примет времени? Защита идей коммунизма, любовь к Родине как деяние, как высшее выражение нравственной силы человека и любовь к близким, в ком олицетворилась Родина, были спаяны воедино в сознании и в сердце советского солдата. Правда лучших книг о войне не умирает. В них с проникновенной силой выражена красота души советского человека.

Отчего же сегодня обращение к чувствам рассматривается некоторыми критиками как неправомерное, кажется им опасным препятствием на пути писателя, которое, пожалуй, лучше обойти?

В значимых образах советской литературы, в герое Н. Островского Павле Корчагине большим мыслям и большим свершениям сопутствуют большие чувства. Но если бы читатель пожелал воспользоваться указаниями иных наших критиков, предлагающих свою конструкцию героя-деятеля, в его, читателя, сознании постепенно сложилась

бы довольно унылая картина: в понедельник, после выходного дня, герой откладывает свои эмоции, словно праздничное или, наоборот, как уже непригодное платье, отправляется в учреждение или в цех, включает, приступая к делу, некое подобие механического «держателя» и только тут предстаёт перед художником как объект, достойный прекрасной кисти.

Мы выдвигаем требование — показывать не только трудовую, но и личную жизнь героя. Но что понимать под определением — личное? Ведь можно представить себе и другую, не менее унылую и столь же неправдивую книгу: человек приходит с работы, захлопывает за собой дверь, и тут-то начинается для него настоящая жизнь, обнаруживаются его характерные душевные движения и пристрастия. Нечто подобное мы находили в некоторых произведениях недавнего прошлого. Но не так обстоит дело в действительности, да и в тех произведениях искусства, которые свободны от давления догматических «нормативов».

Кинозрителей глубоко тронули образы двух Евдокимовых — маленького и большого — в фильме «Дело Румянцева». Взрослый Евдокимов взял из детского дома на воспитание рыжего мальчишку, своего одноклассника. Невесты не падали на таких нескладных, застенчивых парней; вот он и решил «сам себе родить ребёнка»; к тому же он сам воспитывался в детском доме и хорошо понимает душу мальчика, лишённого семьи. Как видим, его поступок продиктован глубоко личными побуждениями. Но вот этот молодой рабочий в сугубо деловой обстановке, в кабинете у следователя, страстно отстаивает правоту Румянцева. И фильм убеждает, что эта история близко касается самого Евдокимова не потому, что они с Румянцевым товарищи, а потому, что чувство справедливости для него органично, оно обусловлено его личным, требовательным и цельным отношением к жизни. В этом понимании общественного долга как борьбы за свой личный идеал справедливого заключено гражданское, человеческое превосходство носителей передовых общественных взглядов над представителями эгоистической собственнической идеологии.

Тонко обрисованы душевные движения у разных людей в рассказе В. Тендрякова «Ухабы» (альманах «Наш современник» № 2, 1956 г.). Молоденький лейтенант принимает горячее участие в судьбе ранен-

ного при автомобильной катастрофе, кажется, только затем, чтобы оправдаться в глазах жены. Минуту назад он обнаружил себя в этой истории как бессердечный, тупой мещанин, и он должен вернуть уважение любимой во что бы то ни стало. Но трагизм события задевает другую сильную струну в его сердце, и он ведёт борьбу за спасение умирающего с Княжевым, директором МТС, этим «бюрократам», «выросшим до убийцы», ведёт её так непримиримо и страстно, как к тому обязывает его честь советского человека и офицера. А вот Княжев с готовностью потащил раненого на собственных плечах, но отказался дать трактор, чтобы по бездорожью перевезти человека в больницу, — инструкцией запрещено, — и человек погиб! Мы встречаемся с такими людьми в жизни. Вот они именно и полагают, что между их личным и их должностным отношением к тому или иному событию воздвигнута невидимой рукой непроницаемая стена и что внимание должностного лица к частному случаю грозит государственным интересам.

В статье «Почувствовать красоту деяния» С. Штут критиковала следующее высказывание И. Эренбурга по поводу романа о труде одного начинающего автора: «Плоха не схема романа, плохо то, что этот роман только схема. Читатель не знает, что делали герои между двумя производственными совещаниями. Может быть, Иванов женат? Может быть, жена его поддерживала? Может быть, он несчастен в личной жизни? Может быть, Петров любит музыку?... Может быть, у товарища из центра опасно заболел сынишка? Люди живут сложно, и когда их лишают объёма, они кажутся читателю неживыми...»

Сущность этой сильно урезанной при цитировании мысли Эренбурга сводилась к тому, что любая схема в любом литературном произведении неизбежно ведёт к упрощению внутренней жизни людей, будь то романы о любви (Эренбург ссылаясь на пример некоторых послевоенных французских романов) или произведения, посвящённые теме труда, творчества.

«Сказать о человеке всё, — возражает С. Штут, — просто невозможно. А главное — не нужно... задача искусства — отнюдь не «полный перечень всех отдельных признаков и отдельных «факторов» того или иного явления». Что ж, это верно. Но рассмотрим претензии, обращённые С. Штут в другой

её статье — «Изображение рабочего класса в современном советском романе» («Дружба народов» № 1, 1956 г.) к автору романа «Дальняя дорога» Е. Катерли: «Ни на один вопрос, жизненно важный для трудовой деятельности огромного заводского коллектива, мы ответа в романе не найдём. Как работают люди, сколько зарабатывают, удовлетворяет ли их работа, есть ли возможность для роста, каковы отношения с администрацией — все эти и многие другие (разрядка моя. — Л. М.) интересы и заботы трудовых людей, определяющие и их поведение, и их настроение, и их характер, и их психологию, остаются за пределами книги».

Когда писатель описывает жизнь скульптора, он, разумеется, не оставляет в стороне творческую лабораторию своего героя. Но если бы автор говорил только о том, «как работает» и «сколько зарабатывает» его герой, читатель, взявший книгу, чтобы обогатить своё знание жизни, подумал бы: «Какой скучный человек этот скульптор!» Точно такое же впечатление оставит «производственный роман», написанный по той унылой анкетной методе, которую предусматривает «перечень» С. Штут. Советский рабочий — человек с очень широкими полномочиями в жизни. Эту насыщенность образов людей труда читатель и хочет найти в литературе, в романе о рабочем классе, призванном создать тип совсем нового литературного героя.

Высокая идея и житейская забота, любовь к прекрасному и чувство долга — всё это вводит в жизнь человека, переплетается в сознании, влияет на мироощущение, проявляется в поступках. Но С. Штут в своём «перечне» почему-то сводит интересы «рабочей массы» к заботе об условиях труда. «Многие другие» интересы и заботы трудовых людей критик оставляет за пределами статьи, но они, тем не менее, остаются в пределах жизни. И художник не может рассматривать мораль, эмоциональное чувство, органически связанные со всей внутренней структурой человека, как необязательные приложения к его творческим идеям, к его политическому облику.

Чернышевский писал о Толстом, что «знание человеческого сердца — основная сила его таланта». Нельзя забыть жалких и уродливых страданий Каренина... Он безгранично скорблён Анной в своём понимании благопристойности и непрерывно терзается этим чувством. Он никогда и не любил

Анну, а теперь уже ненавидит жену, но цепляется за неё, чтобы сохранить навсегда, казалось, установленный порядок в своём доме... Левин, окрылённый чистой любовью, намерен всё изменить в жизни своих крестьян. Счастье переполняет его душу, и он сам хотел бы всех осчастливить.

Перед читателем толстовского романа два диаметрально противоположных характера, два разных типа людей, в одном из которых писатель символизирует мысль о нравственности, свою, толстовскую идею общественного творчества, в другом — всё косное и безобразное, что связано с рабским строем жизни. И у читателя не возникает сомнений, правомерно ли обращение писателя к частной жизни его героев, сохранил ли он при этом конкретные приметы времени.

М. Шолохов описал историю мучительных отношений Давыдова и Лушки, но могучее обаяние образа коммуниста от этого не померкло, а возвычилось. П. Павленко показал Воропаева даже не в одной, а в двух любовных коллизиях, и идейное содержание образа ничуть при этом не пострадало. Неотразимо раскрылось читателю сердце этого борца за счастье людей, человека, в ком так полно выразился дух времени.

Наша литература не может и не должна держать душевное богатство советских людей в ящике за семью замками. Нельзя не понять, что проблема созидания нового человека, человека большой души и возвышенных идеалов, неотделима от проблемы воспитания чувств. Перед советским искусством выдвинута высокая цель, и этой цели должен соответствовать уровень критического разговора. На пути возведения несовершенств в принцип, на пути амнистирования этих несовершенств советскую классику не создать. Сомнительную пользу приносит нашей литературе стремление оправдать её слабости доморощенными теоретическими построениями, когда авторы «проблемных» статей договариваются до того, что у Анны Карениной была значительная сфера жизни («скажем, хозяйственная», как пишет С. Штут), которую Толстой опустил, и когда подобная «концепция» пропагандируется как основа создания художественного произведения.

С. Штут с полным основанием утверждает, что поэзия труда наших дней не нашла своего полноценного художественно-

го воплощения, что книгам о труде не хватает размышления о самых острых вопросах современной трудовой жизни, не хватает, как выражается С. Штут, «смысловой и поэтической точности характеристики героя в процессе труда». Но определение причин недостатков и выводы, к которым приходит автор статьи в результате оценки того или иного произведения, представляются читателю далеко не бесспорными.

Перечитав «строго и требовательно» книги, в которых особенно активно разрабатывалась идея творческого труда, в частности произведения Леонова, Катаева, Малышкина, Крымова, Макаренко, Н. Островского, С. Штут заключает: «Но эти книги раскрывали преимущественно объективную сторону созидательной мощи народа — её историческую роль. Целеустремлённое, осознанное творчество как факт психологической жизни простого человека не могло найти раньше своего широкого отражения (частично оно отражалось и в досоветской литературе и, конечно, в литературе советской), поскольку оно не было неотъемлемым элементом массового труда. Что нужно, чтобы показать его сейчас? Обратиться к практике нашего современника и прежде всего к тому, в чём она выражается с наибольшей силой, — к конфликту, как движущему нерву произведения».

Нельзя согласиться с такой оценкой по крайней мере двух произведений из этого ряда. Я имею в виду «Люди из захолустья» и «Танкер «Дербент». Да и сама С. Штут спорит с этим своим утверждением, рассказывая несколькими абзацами выше о том, как великолепно изображено у Малышкина счастье Журкина, «нашедшего «прочность» в сознании своей нужности партии», и как горды герои Крымова, чувствующие себя участниками «большого дела».

Критик видит просчёты одних сегодняшних произведений в том, что авторы мало показывают овладение новой техникой, этим «определяющим элементом» «повседневного героизма рабочих»; других в том, что в них отсутствует «рабочая масса», третьих в том, что «масса» не «принесла с собой свои самые значительные, самые насущные заботы и тревоги».

«...спор специалистов вокруг того или иного изобретения, — пишет С. Штут, — неправоммерно возводится в ранг главного спора наших дней, он не передаёт самых существенных сторон действительности. Творческое начало нашей сегодняшней жиз-

ни состоит не только в том, чтобы осуществлять технический прогресс силами технической интеллигенции, а и в том по преимуществу, чтобы привлечь к этому делу творческую мысль широких трудовых масс». Т. Трифонова в статье «Правда жизни и мастерство писателя» («Дружба народов» № 2, 1956 г.) справедливо заметила, что спор вокруг технической проблемы вообще не может быть главной проблемой литературы, независимо от того, кто спорит — инженеры, учёные или рабочие.

Следует отметить и то, что, говоря о проблеме «создания нового человека масс», С. Штут оставляет в стороне коммунистическую идеологию, без которой вообще невозможно решить задачу воспитания рабочего нового типа.

«Политическое звучание книги о труде зависит от меткости и силы удара, нанесённого самому опасному противнику творческой мысли народа. Кто и где он — на этот вопрос романы о труде, в которых отсутствует рабочая масса, естественно, ответить не в состоянии», — пишет С. Штут. Эта грозно звучащая, а в сущности пустозвонная фраза невольно вызывает в воображении образ некой «массы», которая сметает на своём пути некоего столь же туманного и неопределённого «противника».

В наше время при колоссальном расцвете личности человека невозможно представить себе рабочий класс в виде однотипной, безликой массы. В этой массе есть, скажем, рабочие опытных заводов, которые помогают конструктору создавать новую машину и подчас не уступают ему в техническом и общем развитии. И есть только по внешности культурные, опрятные девушки, которые украшают свой уголок в общежитии аляповатыми открытками, с нетерпением ожидают в фабричной библиотеке очереди на «Елену» К. Львовой и вполне равнодушны к своему делу.

Вовсе не обязательно, чтобы роман о рабочем классе сводился к показу действий целой массы людей в сюжете. Можно избрать и другой путь: создание крупного художественного образа, в котором читатель увидел бы типическое в облике растущего социалистического рабочего класса. Такие черты — идейную целеустремлённость, творческую энергию, профессиональное мастерство, возрастающее интеллектуальное обогащение мы находим в героях «Донбасса» Б. Горбатова.

Автор «Критических заметок» на том основании, что «Донбасс» Б. Горбатова относится к произведениям, которые описывают события довоенных лет, лишь вскользь упоминает о романе. И напрасно.

Б. Горбатов показывает, что весь исторический путь донецкого рабочего класса был подготовкой к появлению таких удивительных людей, как Андрей Воронько, Фёдор Светличный, Виктор Абросимов.

Откроем одну из страничек романа: «Мне казалось раньше, — рассказывает автор, — что я знаю рабочих людей, знаю с детства. Знал я мастеровщину—сдельщину, забубённую, отчаянную, отпетую — золотые руки, пьяные головушки... Знал чистых пролетариев, нищих, бесправных, но гордых, они жили артельно, администрация их не любила, но побаивалась. Знал «самостоятельных» — обычно то были машинисты, камеронщики, слесари, — они имели свой собственный клочок земли на шахте и свою халупку на ней — «каютку», как говорили здесь. И они гордились тем, что они собственники, хозяева и брезгливо отгораживали себя, свой дом и свою жизнь высоким тыном или дырявым плетнём от «шантрапы». Знал я и шантрапу, золотую роту, эту серую прискапельскую кобылку, которую жизнь беспощадно мела, как перекасти-поле, по бесприютной земле. с шахты на шахту, с золота — на уголь, из кабака — в тюрьму, из забоя — в могилу... Знал я и одиночек, тщетно пытавшихся выбиться «в люди», в конторщики: эти ходили чисто, состояли в обществе трезвости, и единственной отрадой их скупой, одинокой, чёрствой жизни была гитара с голубым или алым бантом. Знал я и интеллигентных рабочих, любителей серьёзных книг и хорового пения: знал стариков начётчиков, неутомимых искателей справедливого бога. Знал революционеро-...

Но вот передо мной сидели трое молодых рабочих, и они мне были незнакомы и недоступны. Я таких раньше не знал. У них были золотые руки мастеровых, и гордость пролетариев, и энтузиазм ударников. Но они уже не были ни пролетариями, ни мастеровыми, ни вчерашними ударниками. Это были совсем новые люди».

Из живых человеческих чёточек лепит писатель характеры своих героев. Тихий парень Андрей, с его медлительным упорством, думами для шахты, «для всеобщей пользы» и трепетным чувством первой любви, в которой «ещё не было ни желания, ни

страсти, а только необыкновенная и какая-то почтительная, пугливая нежность...» Проницательный Светличный, одержимый жаждой драки, желанием всё перестроить, переделать, будущий инженер с «тонким чутьём политика». Неуёмный фантазёр Виктор, полный веры в «свои силы, в свою сноровку, в своё шахтёрское счастье». Это был «живой коммунизм» в образе молодых ребят-новаторов.

Годы «великого нетерпения», когда вся страна жила темпами, была в пути, в движении, когда всё стало возможным — покорение пустынь и перековка людей... Идея автора вылилась в поэтический рассказ о том, как время окрылило обыкновенных мальчиков, которые и учились средне и особых талантов за собой не имели, как разгорелся в их душах огонь великого старания на пользу родине...

И когда сегодня мы читаем в газетах сообщения о том, что закарпатские юноши и девушки — лесорубы из Свалявы, виноградари из Береговского района, строители ГЭС в Карпатах — направляются по зову партии в Донбасс, мы узнаём в этом тот же порыв, ту же славную традицию молодёжи тридцатых годов. И думаем: может быть, это «многогрудный, величественный» Донбасс Горбатова, рыжая шахтёрская земля с «бесстрашными цветами», опознанный её любящим сыном, пленила воображение украинских хлопцев, ищущих свою «правильную дорогу», как искал её когда-то Андрей Воронько. В среде этой молодёжи писатели Закарпатья могли бы найти своих героев, как нашёл их для себя Горбатов в рядах творцов первой пятилетки.

В образе Андрея Воронько наиболее убедительно обрисован процесс идейного созревания, рождение «новых советских чувств». Вот он, робкий и затанчившийся, попав в странный «очарованный лес» под землёй, сердито думает о себе: «И что я за человек такой, всего-то боюсь?..» Мальчик формируется в цельного, вдумчивого человека. В нём непрерывно происходит невидимая другим внутренняя работа, «словно вертели там медленные жернова и перемалывали, перетирали впечатления дня — туго, долго, мучительно, но зато до конца».

Он был из того поколения комсомольцев, у которых не было чужих дел, всё было своё, кровное, нужное. Вот отчего он сам берёт на себя ответственность за всё,

с чем связывает его жизнь, за судьбу друга и за порядки в шахте.

Среди авторских отступлений есть одна реплика, выразительно характеризующая самоотверженную натуру этого героя «Дон-басса»: «Бедный Андрей! Его всегда, всю жизнь будут считать сильным и поэтому не станут щадить!» С такой ноткой гордости и грусти говорят о любимом сыне, провожая его в далёкий путь.

Думается, что пресловутая «односторонность» в изображении человека труда родилась из абстрактного «массовидного» представления о рабочем, как о «социальной единице» с профессиональными признаками, но не как о человеке с особенной, неповторимой душой. И призвание такой «единицы», по мнению некоторых писателей и критиков, состоит только в том, чтобы добиться рекорда, вчера — путём мускульных усилий, а сегодня — с помощью новой техники.

Среди произведений о рабочем классе, которые разбирает С. Штут, читатель находит роман М. Гусейна «Апшерон». Критик расценивает книгу, как «произведение талантливое и значительное». В то же время мерило, с которым подходит критик к книге, к её «главной, с точки зрения народнохозяйственных нужд», проблеме — «качеству работы всего треста, дающего мало нефти стране», понуждает автора статьи к несколько неожиданному выводу: «Жизненно важный конфликт — стране нужно больше нефти — оказался художественно оголётанным: автор не придал ему обаяния смелой, сильной, умной, волевой души нашего современника». Оставим на совести автора стиль этой фразы и обратимся к её сущности. Если жизненно важный конфликт решён в произведении неубедительно, то в чём тогда талантливость и значительность романа? В том — и это очевидно из самой статьи, — что писателю удалось характеры и в особенности главный герой, Таир, смелый и одарённый юноша, в том, что автор сумел передать характерное и в деловых и в личных взаимоотношениях людей. Трудно тут свети концы с концами и понять, чего добивается критик от автора и читателя романа. Видимо, здесь имеет место отголосок всё того же рассудочного представления о лобовом воздействии литературы на жизнь, о каком-то «оперативно-инструктивном» назначении художественного произведения, когда роман «о нефти», «об угле»

или «о рыбе» рассматривается прежде всего как средство вторжения в экономику и уже потом как способ раскрытия психологии людей. Критик часто повторяет слова о красоте, о поэзии труда, но эти упоминания не могут заслонить той сухости, той абстрактной логизации, которой проникнута вся статья.

Пафос романа М. Гусейна — в становлении личности молодого рабочего, а критик хочет видеть пафос художественного произведения в овладении новой техникой. «Социальные конкретно-исторические черты рабочего существуют не абстрактно, они обнаруживаются в профессиональном», — пишет критик. Но живой — индивидуальный, а не только «социальный» — образ Таира не захотел укладываться в аккуратную критическую рамку, ограниченную «профессиональным». Автор «Апшерона» с любовью и жаром рисует честную, чистую натуру своего героя. Читатель ясно видит, как романтически увлечён Таир своеобразием профессии нефтяника и какой привлекательный отпечаток накладывает на юношу этот по-своему героический труд, как преобразуются его взгляды на жизнь. Книга, как пишет сама же С. Штут, дышит «поэзией моря, неба, солнца, молодости, музыки, подвигов, любви». Но критик остаётся неумолимым: «Смелость Таира и его последний подвиг... не оказывают заметного влияния на выполнение плана трестом Кудрата Исмаил-заде». Явное расхождение в замысле писателя и в замысле критика привело к противоречивой оценке романа. Мысль «о сегодняшней правде труда» — овладении новой техникой — странным образом вытеснила из рассуждений критика атмосферу и правду искусства.

И. Корнилов, директор машиностроительного завода, рассказывая в «Литературной газете» (15 марта 1956 года) о своих размышлениях над книгой, справедливо заметил, что о новом почине рабочий, техник или инженер может узнать из газеты, о техническом новшестве — из специальной литературы. «Как организовать производство, как внедрить новую технологию, как определить свойства материалов — я знаю из множества специальных источников», — говорит И. Корнилов. — Как «влезть» в душу человеческую, познать глубже людей, с которыми живёшь и работаешь, — об

этом может рассказать лишь собственный жизненный опыт и искусство».

Рассуждение критика о герое «Апшерона» привело на память ещё одно высказывание — дневниковую запись М. Пришвина в «Дороге к другу». Писатель увидел прекрасную девушку, спросил, как её зовут, кто она, не музыку ли она изучает. Студентка Оля изучала нефть. Образ девушки занимал воображение художника. И однажды в лесу, где застывшие лужицы — «цветы мороза», готовые вот-вот растаять под солнечным жаром, напомнили своей прозрачной чистотой личико Оли, писатель задумался: «Неужели от этой девушки с такими ясными глазами тоже останется одна только нефть?» Конечно, Пришвин говорит здесь не о тщете изучения нефти. И о нефти, и об угле, и о хлебе думает художник, воссоздающий живую жизнь общества. Здесь речь идёт о той узости чувств и мыслей, которую мы иногда наблюдаем у иных молодых людей. И о том, что эта узость подчас находит почву в литературе, когда пишущие люди забывают, что главная задача художественного произведения по отношению к читателю, как писал Чернышевский, — «развивать в нём привычку мыслить и поддерживать в нём любовь ко всему прекрасному...».

Толкуя сообразно своей системе взглядов недостатки произведений о рабочем классе, С. Штут отыскивает и предлагает вниманию литературы мнимые конфликты с какой-то надуманной «социальной» окраской. Такова проблема отношений между инженером и рабочим («мы хотим видеть рабочих не рядом с чужим изобретением, мы хотим видеть их авторами своих изобретений»). Такова же проблема «отношений рабочих с администрацией».

Непонятно, что имела в виду С. Штут, выделяя эту «проблему» в ряд «насушенных вопросов», определяющих «психологию и поведение» рабочих. Может быть, писателю надо осветить борьбу профорганизации за соблюдение пунктов колдоговора? Если этого требует С. Штут, то надо, по крайней мере, об этом ясно сказать, тогда не будет мнимой значительности в положениях статьи, и читателю просто будет легче судить, насколько прав критик в своих оценках и предложениях.

Весь этот разговор словно бы и не связан непосредственно с беседами в закарпатских библиотеках. Однако толчком к размышлениям на этом поводу послужили также

и высказанные читателями мысли и заданные ими вопросы, в частности по поводу критики, которая порой не помогает, а мешает читателю научиться отличать истинно художественное произведение от ловкой или добросовестной беллетризации технико-экономических проблем.

3

Острроверхие крыши, а вдали голубеющая горная крутизна, характерный пейзаж Закарпатья в предутренней дымке. Это обложка сборника рассказов М. Тевелева «Гостиница в Снеговце». Первая книга молодого прозаика Ивана Чендея «Чайки летят на сѣд» («Чайки летят на восток»); закарпатские сказки Андрея Калина, записанные Петром Линтуром; сборник стихов поэта-антифашиста Дмитрия Вакарова; сказки в стихах Владимира Ладыжца; «Слово про вірність» — сборник стихов учителя Григория Коваля; рассказы для детей Михайлы Томчания; очерковая повесть Петра Добры «20 лет за океаном»; очерк Бориса Ярославцева «Призвание» — эти книги, изданные с любовью и вкусом, недавно поступили на полки местных библиотек и книжных магазинов. В Закарпатье человек как будто рождается с душой и зрением художника. Резные деревянные или керамические изделия, кустарные вышивки или ковры (к сожалению, всё это становится редкостью из-за нераспорядительности местных организаций), оформление праздничной демонстрации или обложка книги равно отмечены печатью вдумчивого мастерства. Так колоритно и изящно оформлены художниками Л. Левницким, В. Берцом, Г. Глюком и В. Демидюком сказки Андрея Калина, сборники стихов Дмитрия Вакарова, Григория Коваля. Обложка и рисунки Н. Розенберга к весёлым сказкам и загадкам В. Ладыжца для детей младшего возраста, как и самая книга талантливого поэта, без сомнения могли бы послужить украшением продукции столичных издательств.

В Закарпатье на глазах писателя, даже очень молодого, столкнулись два уклада жизни. Досоветское прошлое для него не только история, как, допустим, для воронежского или днепропетровского начинающего автора. Это кусок его собственной биографии, то, что он пережил сам, ощутил в своей личной судьбе. Местная тема — это и то особенное, что есть и возникает в

экономике, и глубокие изменения в психологии людей, и перемены в облике городских улицы и в пейзаже Верховины.

Большинство рассказов Ивана Чендея посвящено прошлому Закарпатья. Он уроженец горного села, хорошо знает быт и людей Верховины. В некоторых рассказах молодому автору удалось наблюдения, накопленные с детства, типичные жизненные случаи отлить в точно продуманную сюжетную форму. Такой насыщенностью обладает совсем маленькая новелла «Чайки летят на восток», рассказывающая о простом героизме порабощённого закарпатского люда, написанная в ясной поэтической традиции украинской прозы. Дух народной жизни раскрыт в образах вечно озабоченных нуждой мужчин и женщин, просто-душно-доверчивых, постоянно голодных «дітлахів» (детей), в трагедии бесправия и зависимости (рассказы «Ружана» и «Василько»), в трагедии разлуки («На зароботки»), невольной жестокости в семье («Завещание»), в крушении веры в святость церковного авторитета («Родительская суббота»), в стихийном и в осознанном протесте бедняков против панов и их прислужников («Чёрная туча», «Канун весны»).

Помолившись, бережно отсчитывает яйца на помин души умерших родственников Олёна Сидун (рассказ «Родительская суббота»): «Пока Дмитрик глотал слюну и обдумывал, как было бы хорошо скушать яичко, мать вынула из псалтыря длинную бумагу. На одной стороне был длинный список кандидатов от аграрной партии в пражский парламент, на другой — такой же длинный список покойных родственников Олёны и её мужа Василя.

— Петро, Микола...— прочитала Олёна. То были два прадеда по линии мужа. Положила в миску два яйца.

— Василь, Михайло...— прочитала снова. То были имена прадедов по её линии. Положила ещё пару яиц на дно миски.

— Одотя, Параска, Одотя, Анна... — прочитала громко и взяла в обе руки по два яйца, чтоб и бабкам было легче на том свете.

Пришла очередь до дедов.

— Дмитро, Иван...— Одно яйце попалося большое, наверно, от старой курицы.

— Э, нет,— сказала вполголоса.— Деду Дмитрию хватит и поменьше. Пропил землю у Фишеля, детям под грядку луку не осталось.

Взяла и заменила яичко. Положила ещё два яйца и за своих дедов.

Теперь настала очередь отцов и матерей.

— Мария, Олёна,— прочла, взяв листок в руки.

Мария—мать мужу, Олёна — её.

— Ага, ты старая сука! Не хотела, чтоб меня взял. Тебе куркульская дочка спать не давала. Сама была, как воробей зимой, думала на невесткином разбогатеть! — И выбрала самое маленькое яичко на помин свекрови...»

Так металась Олёна между чувством религиозного долга, горькими своими обидами и жалостью к голодным, вымаливавшим яичко детям, пока не отнесла заветный узелок в церковь. Там после службы пан превелебный, дьякон и попадьё чуть не в драке делили мёд, сало, калачи, сушёные сливы и фасоль. А олёнино поминанье пошло у попадьё на подкомр только что вылупившихся цыплят.

«Боже мой,— думала бедная женщина.— А я хлопчиков венником молотила!»

Убедительно рисует автор эту смену настроений героини, показывая, как идёт она путаными, едва заметными стёжками к своему прозрению. Живой, особенный быт, реальные типы людей пленяют в рассказе «Родительская суббота». «Плуг», рассказ о душевном разладе, настаивающем человека-собственника на Новой Верховине, написан с тем же богатством бытовых и психологических деталей, точным знанием обстановки, с тонким проникновением в душу героя. Но есть в первой книге И. Чендея и менее удачные вещи, в которых поэтизация страданий становится как бы самоцелью. В рассказе «Звезденица» («Соблазнительница») натуралистически смакуются жестокие подробности семейного суда над виновной. В сентиментальных тонах написана новелла «Льодові квіти» («Ледяные цветы»). В этих новеллах автор, быть может, бессознательно подражает старым беллетристическим образцам. Такое полярное изображение «народных типов», когда люди народа в одних случаях рисуются, как жестокие, слепые животные, а в других — как убогие мученики, взывающие к снисходительной жалости, свойственно литературе старого типа. Молодому автору надо смелее браться за изображение глубоких и действенных реалистических характеров (у него есть для этого все данные) и при решении новых сюжетов отказываться от декларативности, от расплыв-

чатой символики, какая есть, например, в рассказах «Тревожная ночь» и «Легенда о единстве». Эти две вещи, а также рассказы «Поджигатель», «На рассвете» и отчасти «Весеннее цвстень» описательны, в них есть лишь видимость движения, сюжет лишён мускулатуры.

В выдержках из дневников и писем Романа Роллана, опубликованных журналом «Иностранная литература» в прошлом году, есть одна запись, которую многие советские писатели могли бы взять в качестве эпиграфа к своим книгам: «Красота, добро — для меня понятия, равноценные жизни. Вот почему моя любовь устремлена к тем, кто живёт богатой жизнью; и эта любовь усиливается по мере того, как жизнь этих людей становится ещё более могучей». Уместным был бы такой эпиграф и в книгах М. Тевелева.

В сюжетных коллизиях его рассказов раскрываются черты людей сегодняшнего Закарпатья. Писатель ставит своих героев в ситуации, когда мы видим главное в натуре и судьбе человека, желающего избавиться от прошлого, получившего возможность после веков порабощения думать и поступать самостоятельно. Живая действительность Закарпатья помогает художнику обилием ярких человеческих типов.

Под пером писателя переливаются краски Верховины, оживают могучие карпатские горы, что в звёздной ночи, «как чабаны, усаживаются вокруг костра на полонине, готовые встрепенуться чуть свет», а в непогоду, «точно их подняли по тревоге с насиженных мест», ошетниваются взъерошенными лесами. Писателю удаётся передать читателю частичку своей любви к своеобразному краю и людям, среди которых он живёт.

Такие люди, как Фёдор Суббота (рассказ «Чудо»), нередки в талантливом народе Верховины. Автор рисует замечательного резчика по дереву, как художника-искателя, настойчиво постигающего тайны жизни и тайны мастерства. «Во всём его облике угадывался человек характера независимого, по-хорошему знающий себе цену», — рассказывает автор, много наслышанный о знаменитом резьбьере и встретившийся с ним в Снеговце, на пленуме райкома партни. Живя бок о бок с этим двадцатитрёхлетним бригадиром трактористов горной машинно-животноводческой станции в снеговцкой гостинице, писатель с интересом приглядывался к самобытному характеру.

«Несмотря на молодость, Суббота был уже главой солидного семейства. Женился он, как рассказывали, по большой любви на вдове, которая привела с собой двоих детей. Через год она подарила Субботе третьего. Это её образ вырезал Суббота из буковой глыбы. Молодая верховинская женщина сидела на пороге дома и кормила ребёнка. Тонкое, в милой улыбке лицо её было поднято кверху, не к небу, нет, а к другому человеку. Его не было в композиции, но он угадывался в ней. Он стоял над любимой и, должно быть, говорил ей нечто очень ласковое и обоим дорогое.

Фигуру эту выпросил у Субботы директор МЖС и установил её не в клубе, а в конторе, в той самой комнате, где трактористы получают наряды. Она стоит там уже больше полугода и, как уверял меня старик нарядчик, очень благотворно влияет на окружающих:

— При ней грубое слово совестно сказать и окуроч бросить, да и на душе веселее, и казённости меньше».

В простеньком домишке, который и гостиницей не назовёшь, в одном из районных центров горного края, что раскинулся вдоль скандальной речушки, неподалёку от перевала на стыке четырёх дорог, в неторопливых ночных беседах на тесно сдвинутых железных кроватях, когда случайный знакомец способен рассказать о самом сокровенном, о том, что «печёт душу», вдруг приоткрывалась писателю «светлая трепетная красота сердца» людей, властно меняющих привычный облик и строй жизни.

Война отняла близких у подполковника медицинской службы Авдеева. В те годы он партизанил в Закарпатье, потом решил остаться среди людей, с которыми породнился кровью. Доктору предлагали на выбор любую больницу, но он добился назначения в самое глухое — как прежде говорили, богом забытое — верховинское село и там основал участковую больницу (рассказ «Чудо»).

— Не человек к штанам, а штаны к человеку, — пробурчал Авдеев, когда его стали уверять, что постройка больницы не предусмотрена планом.

До поры до времени «партийному секретарю» Горуле было известно об Андрее Стефаке, трактористе горного леспромхоза, лишь то, что он записной щёголь и что все девушки сохнут, заглядываясь на девятнадцатилетнего, самого дерзкого в Студе-

нице красавца. Но однажды ночью в злую мартовскую непогоду возвращался Горуля на попутной машине из Снеговца с семинара секретарей колхозных парторганизаций и повстречал одинокую фигуру, шагавшую навстречу бешеному ветру по горному серпантину, усеянному мокрыми хлопьями снега. То был Андрей. Хлопец шёл с известием к старому Степану Островке о том, что дочку его спасли в киевской больнице, что она выздоравливает, будет жить. Телеграмму только что приняли в сельраде.

— Что же ей до утра в сельраде лежать? — ответил Андрей. — Ночь у старого длиннее нашей...

По-иному теперь повернулась жизнь верховинцев. «...Людей всё касается» — договор на соревнование между лесорубами и гроза стихийного бедствия («Это было только начало»), чьё-то высокое счастье («Милые наши горы») и чья-то тяжкая болезнь («Цена человека»). И так меняет эта общность интересов человеческую душу, что люди иной раз с изумлением, словно впервые разглядывают друг друга. Так было и с Горулей, когда смотрел он вслед уходящему Андрею и в раздумье промолвил, обращаясь к шофёру: «Вот что я хотел тебе сказать, Михайле... как захочется тебе узнать настоящую цену человека, подведи его к чужой беде или чужой радости. Никогда не ошибёшься!»

Можно ясно ощутить пристрастие писателя к определённому типу человека. Герой Тевелева прежде всего одарён глубоким интересом к другим людям.

«Надо в первую голову думать не о том, что ты начальник, а о том, что ты коммунист» — такая запись появилась в блокноте секретаря Снеговецкого райкома Русинко после одной из многочисленных бесед со встречаемыми то на лесных дорогах, то на колхозной ферме, то в чайной, а то и просто на скамейке снеговецкого сквера с какой-нибудь старенькой бабушкой.

Для тех, кто не привык жить своим умом, Юрий Иванович Русинко, могучего сложения мужчина, лет тридцати пяти, — и «оригинал» и «тяжёлый человек». Они поглядывают на него с опаской: что ещё сегодня преподнесёт им первый секретарь? «А между тем, — ведёт свой спор с любителями рутинного писателя, — всё «неожиданное» и «оригинальное» в нём удивительно естественно и просто. Вдумайся и заключишь, что ты бы сам только та-

кое решение и принял или только так бы и поступил» («Партийная рекомендация»).

Прислушаемся к словам этого умного и весёлого человека, делающего свою работу с огоньком, с хорошим азартом. Он обсуждает со своим собеседником одну из существенных проблем практики партийной работы — подбор кадров партийного аппарата: «Что и говорить, опыт — дело великое, но мне кажется, когда о человеке говорят только «опытный партийный работник», — это так же звучит, как если о поэте скажут: «опытный», а не «талантливый»... И не за опытом в данном случае следовало гнаться, а за тем, про что в анкетах, и не то что в анкетах, даже в характеристиках не пишут. Читаешь пункт за пунктом: и год рождения, и девичья фамилия жены, и где работал с такого числа по такое — всё есть, а вот добр или зол, хитёр или прям, с душой или без души, умён или глуп — таких пунктов нет... А людям-то, народу, приходится сталкиваться не с девичьей фамилией жены, а с тем, по чему можно судить: «Вот это настоящий человек!» — или — наоборот».

Протест против узкоремесленного подхода к любому виду творчества, будь то искусство валяния или искусство партийного руководства («Чудо»): столкновение могучего воздействия коллективного труда с психологией обособленного человека («Это было только начало»): единое и неисчерпаемое в душах советских людей чувство любви ко всему дорогому и прекрасному, что говорит о Родине («Эхо»); тема интернационализма и бережного отношения к достоинству человека, к хорошему человеческому порыву («По делам службы»); рассказ о том, как в частной жизни хороших людей иной раз ещё и сейчас «мёртвое хватает живое» («Русунбаевы»); неизбежность революционных традиций в старом и новом поколениях советского рабочего класса («Наследный принц») — тематика всех одиннадцати рассказов, объединённых в книжке «Гостиница в Снеговце», обращена к насущным проблемам нашей жизни. В этой книжке есть свои недостатки. Подчас многоступенчатый сюжет (несколько описательных рассказов внутри рассказа, вложенных в уста героев и недостаточно органично связанных между собой) создаёт ощущение вялости действия, как, например, в рассказе «Русунбаевы». Порой попадает недосказанная мысль или небрежная фраза. Но

автору удалось завоевать расположение читателя задушевной искоркой, оптимизмом, тёплым юмором. М. Тевелев сумел проникновенно описать приметы новой жизни, передать её национальный колорит, раскрыть природу новых отношений между людьми. В этом значение и место разбираемой книги, тем более существенное, что закарпатские прозаики сделали в этом смысле пока ещё не много.

Об этом говорили читатели мукачевской библиотеки при обсуждении очередного номера альманаха «Советское Закарпатье». Среди присутствовавших были сотрудники местной газеты, молодые поэты и очеркисты, члены литературного объединения, гордые своей перепиской с известным венгерским писателем Петером Вершем, преподаватели, учащиеся, студенты сельскохозяйственного техникума.

Молодая библиотекаря с лицом кинозвезды толково излагает своё впечатление о балладе Семёна Панько «Сёстры», посвящённой строительству ГЭС в Карпатах. Сооружение это необычно, оно воздвигнуто на двух реках. В долине реки Теребли будет находиться мощный водоём, в ущелье Рики — здание станции с электросиловым оборудованием. Строители проложили через гору туннель и слили воды двух рек воедино. Для этого удивительного, поистине сказочного сюжета С. Панько нашёл простую и выразительную поэтическую форму.

Читательница Лобова говорила о гуманистической направленности творчества М. Тевелева. Выступавшие отмечали воспитательное значение рассказа «В гимназии» старого писателя И. Жупана, но, по их мнению, рассказ выиграл бы от сокращений и более тщательной стилистической правки. И в этих и в других выступлениях требовательно звучало пожелание — больше рассказывать о тех, кто сегодня творит новую жизнь, о тех, кто добивался воссоединения с родиной.

Новый читатель Закарпатья хочет видеть в своей литературе образы борцов, от чего имени говорил в своих стихах Дмитрий Вакаров, казнённый фашистскими палачами:

Жизнь наша — битва,
мы бунтари!

Нельзя не заметить, что некоторые местные писатели подчас охотнее уходят в область фольклора или продолжают рассказывать о прошлом, актуальностью своих произведений они особенно похвастаться не могут.

«На то есть газета» — так неверно определил роль литературы по отношению к современности один из членов писательской организации, записавший много действительно интересных сказок о досоветском времени.

Очерк как мобильный жанр научного и художественного суждения о жизни не представляется этому литератору (да и некоторым другим, не высказывавшимся так прямо) полноценным родом литературы. Этим товарищам показалась неожиданной ссылка на опыт В. Овечкина, возглавившего в литературе фланг разведчиков больших жизненных проблем. Упоминание имён Тендрякова, Троепольского, Бакланова, писателей остроконфликтной темы, построивших свои талантливые произведения на животрепещущем жизненном материале, опять-таки ничего не сказало некоторым ужгородским литераторам, собравшимся на обсуждение очерка Б. Ярославцева. Трудно решить, что здесь проявилось — плохое знание этих имён или скептицизм, но тот факт, что у писателей Закарпатья мало произведений о сегодняшнем дне, несомненно, связан с недооценкой возможностей оперативного литературного творчества.

Изучая опыт советской литературы, писатели Закарпатья могли бы обратиться к мыслям Горького об очерке: «Никогда и нигде важнейшее дело познания своей страны не развивалось так быстро и в такой удачной форме, как это совершается у нас. «Очеркисты» рассказывают многомиллионному читателю обо всём, что создаётся его энергией на всём огромном пространстве Союза Советов...» Это высказывание относится к началу тридцатых годов, ко времени огромного революционного переустройства всех форм жизни в стране: такое же время ныне переживает народ Закарпатья.

Налёт сентиментально-слащавого подражательства, знакомые сюжеты, просвечивающие в иных произведениях, упорное обращение к прошлому объясняются известной разобщённостью писателей с реальным сегодняшним героем, слабым знанием современной жизни. Между тем очерк позволяет тренировать наблюдательность, учит умению исследовать и обобщать факты и, как показывает литературная практика, под пером одарённого человека может вылиться в значительное художественное произведение.

Странно было наблюдать, как некоторые члены писательской организации старались

свести на нет удачную работу Б. Ярославцева, по старинке объясняя мнимую неполноценность его очерка примитивностью литературной формы. Но достаточно обратиться к самому очерку, чтобы убедиться, с каким углублённым художественным вниманием подходит Б. Ярославцев к предмету, о котором пишет:

«Цветы выступают, как сквозь воду, будто со дна хрустально-чистого горного озера — «морского ока», где вода холоднее льда и прозрачнее воздуха.

Вот в озёрной глади отразилось круглое, чуть скуластое лицо, с зачёсанными назад, поредевшими уже волосами, крупным, немного тяжёлым носом и серыми цепкими глазами. Вот прозрачной воды касается, отражаясь в ней, рука с согнутым пальцем, но не колеблется блестящая гладь. Ибо то, что кажется озёрной водой,— только полировка, сделанная умелыми руками.

А человек постукивает согнутым пальцем по стенке шкафа и говорит:

— Дерево чувствовать надо, куда оно ведёт, и не лезть вперёд, а приглядеться, понять... Душу его понять...»

А вот как образно раскрывает автор «душу дерева», описывая породы древесины: «Тополь, даже полированный, кажется неровным, шероховатым, как будто выступают на серебристо-жёлтом шёлке мелкие коричневые пятнышки сучков: похоже, что на ткань брызнули с кисти коричневую краску. У бука древесина почти белая, ровная. У ореха — серая с коричневыми полосами, иногда среди них, как на уральских камнях, попадает резкая чёрная черта. А сверху, как рыба мязга над песчаным дном, торопятся куда-то черные мелкие чёрточки-царапины».

Очерк Б. Ярославцева бесспорно можно считать ценным вкладом в актив литературы Закарпатья. Автор обобщил опыт целой отрасли промышленности, весьма значительной в экономике Закарпатья. Рассказ о технологической и экономической задаче тесно связан с описанием перелома в сознании людей.

Рисуя путь превращения капиталистического предприятия в социалистическое, автор показал призвание целого коллектива людей, поднял голос в защиту художественного промысла. Недаром же мебельщики, к которым ездили советоваться автор и редактор книжки, говорили: «Как правильно написано, мы сами о себе и о своём деле больше понимать стали».

Обсуждение очерка Б. Ярославцева вылилось в принципиальный спор о боевом характере нашей литературы, обнажило слабые стороны в работе писательской организации, недостаточный демократизм, пристрастие руководящего ядра к аппаратным методам работы, к администрированию.

Редкие выезды представителей отделения в область обычно связаны с посещением литературных объединений, которые созданы в некоторых районах при редакциях газет, или с приездом иногородних писателей, которых знакомят не столько с жизнью, сколько с экзотикой Закарпатья.

В работе закарпатского отделения есть свои положительные черты. Здесь хлопочут о материальном обеспечении нуждающихся писателей, о переиздании написанного старыми писателями, о создании новых литературных объединений. Но пульс коллективной творческой жизни бьётся слабо, имеют место элементы групповщины, равнодушия, подчас бесцеремонного отношения к одним литераторам и полного благоприятствования по отношению к другим.

Отделение Союза писателей живёт обособленно, замкнуто. Массовые вечера, посвящённые советским и зарубежным авторам, устраивают библиотеки, комсомольские организации области и городов, и всё это происходит без ведома и помощи отделения ССП. Общественности приходится чуть не за руку тащить писательскую организацию, чтобы привлечь её к делу, близко касающемуся литературы.

Из-за нераспорядительности Облкниготорга на складах и книжных базах скопилось художественной, политической, технической литературы на несколько миллионов рублей. Кстати сказать, десятки тысяч омертвлённого капитала дали выпуски альманаха «Советское Закарпатье», начиная с 1947 года. В то же время в библиотеках альманаха нет. Библиотекарь села Гребля Терезия Андрашко жаловалась, что она не могла достать альманах ни за 1954, ни за 1955 годы.

Учительница средней школы зашла вечером в библиотеку:

— Дайте мне для нашей секции литературы и языка всё, что есть закарпатского писателя Михайлы Томчания и художественный анализ его произведений.

М. Томчаний — один из одарённых и плодотворных новеллистов. Но библиотекарьша с некоторым сомнением спрашивает:

— Закарпатского?

Обком партии был инициатором проведения месячника книги, во время которого трудящиеся Закарпатья раскупили множество книг. К сожалению, писательская организация включилась в это дело под большим давлением и с большим запозданием.

...Автобус линии Ужгород—Мукачево мчится по гладкой асфальтовой ленте. Дорога петляет, как это бывает, когда она вьётся в горах или вдоль капризной реки. Но мы едем по равнине, горы громоздятся дальше, впереди, справа и слева. Почему же так извивается шоссе? Когда-то, оказывается, профиль дороги был начертан и оплачен корчмарями. Они давали крупную взятку инженеру, и тот подводил бойкий проезжий тракт к каждой корчме.

На полпути между Ужгородом и Мукачево, у подножия покрытых виноградниками гор, раскинулось живописное село Середне. На северо-западной околице села высятся развалины замка, построенного в XII столетии. Это образец фортификационного сооружения, древней крепости. Позднее крепость стала резиденцией католического ордена, и предприимчивые монахи собирали на дороге дань со всех проходящих. А дальше, за Хустом, по дороге в Межгорье стоят домики сплошь без дымоходных труб, дым просачивается прямо через кровлю. Это уже светские владыки выколачивали гроши из бедняка, облагая налогом даже трубу на крыше.

На остановке возле сельмага поджидали автобус несколько человек. Вошла совсем молоденькая девушка с неизменной корзиной за плечами, голубоглазая, светловолосая, со спокойным округлым лицом. Она освободилась от клади и села рядом со мной. Усталость и автобусная качка сморили мою соседку, она закрыла свои прекрасные глаза, уронила голову на моё плечо и крепко уснула. На крутом повороте она встрепенулась и смущённо поглядела вокруг ничего не видящим, сосредоточенным, счастливым взглядом. Это выражение не сходило с её лица, пока она не увидела высокого смуглого парня на одной из остановок. Тут её взгляд стал прямым и строгим. «Сердится,—подумала я.—Или другое?» И мне вспомнились стихи «Незнакомой девушке» Юрия Гойды, прочитанные

недавно. Девушка собрала после грозы градины и положила к себе на грудь. Так поступает, по старинному местному поверью, тот, кто полюбил...

Легенда оживает вновь,
Поверие живёт —
Чтоб сдержанной была любовь,
Носи над сердцем лёд.
В семнадцать лет любовь не ждёт,
Поторопись, не жди —
Ведь всё равно растает лёд
На молодой груди!

(Перевод М. Светлоза)

Наверно, и моей спутнице обычай велел быть сдержанной с её чернобровым другом...

Автобус подкатывает к Мукачево, проезжает широкий деревянный мост через неглубокую, быструю Латорицу и останавливается в центре у памятника советским воинам, погибшим в борьбе за освобождение Закарпатья.

Древний украинский город лежит в долине, окружённый с трёх сторон горами. Нарядные кварталы домов летом утопают в зелени и цветах. К городской библиотеке ведёт широкая, как проспект, улица. Маленький выложенный камнем дворик, деревянная балюстрада, несколько дверей, и за ними светлые, просторные комнаты.

Вот у стойки появился студент, вот старый шахтёр-пенсционер, приехавший в гости к сыну, вот молодая учительница, вот рабочий табачной фабрики в задумчивости перебирает книги. Советская родина высвободила этих людей, молодых и старых, из-под гнёта томительно-бедной жизни «маленького» человека в провинции капиталистической Европы и вместе с освобождением распахнула для них двери к сокровищнице культуры, подарила великую радость общения с родной литературой.

Эта радость ясно ощущается здесь при любой встрече с читателем, в беседе с ним, в его отношении к жизни, к искусству. Такие беседы заставляют по-новому вспомнить многое читанное давно, с обострённым вниманием обратиться к тому, что было прочитано бегом, спорить с тем, что прежде казалось не стоящим спора.

Быть может, именно поэтому и картины увиденного, и записи бесед, и мысленный спор так тесно сплелись в этих дорожных заметках.

ПИСЬМА ИЗ РЕДАКЦИИ

г. Воронеж,
проспект Революции,
д. 48, кв. 1.

А. И. Шубину.

ПО ПОВОДУ ПОВЕСТИ А. И. ШУБИНА

Добрый день, Алексей Иванович!

Не так давно я прочла Вашу новую повесть «Большая Лукавка», напечатанную в № 35 альманаха «Литературный Воронеж» и позднее изданную в Москве «Молодой гвардией», и мне захотелось написать Вам несколько слов.

Встречая новое произведение писателя, чьё творчество тебе знакомо, испытываешь понятный каждому интерес: что нового открыл нам автор или о чём именно, может быть даже и давно известном, он всё-таки заставил нас задуматься?

Мне вспоминается предыдущая Ваша повесть «Доктор Великанов размышляет и действует» — повесть, которая обсуждалась в Москве в Союзе писателей лет девять тому назад.

Доктор Великанов и медсестра Ульяна Ивановна запомнились мне прежде всего как яркие характеры. Их стойкость в чёрные дни немецко-фашистской оккупации, твёрдость их духа перед лицом испытаний, а также их, так и хочется сказать, рассудительная храбрость были показаны в повести без всякого нажима. Любя этих людей, как и других, духовно родственных им, Вы часто рассказывали о них в тоне спокойного, дружеского юмора, как бы подчёркивая этим, что стойкости и мужеству этих скромных людей, право, не следует удивляться: они просто не могли поступать иначе — тогда они не были бы самими собой.

Спокойный юмор, раздумчивая ирония вообще Вам свойственны. И уж если Вы не отказались от этого хорошего свойства, показывая очень трудную жизнь своих героев в дни грозных испытаний, то, конечно, теперь, в эпоху мирного созидания, этот юмор тем более ограничен.

С юмором, с мягкой усмешкой рисуете Вы, например, образ молодого гидробиолога Константина Стригачёва в повести «Большая Лукавка». С первого же его появления читатель видит, что гидробиолог, один из участников экспедиции на реке Большая Лукавка, «вопиюще молод», романтически влюблён в свою профессию и страстно увлечён работой экспедиции. У Стригачёва, да и у молодого журналиста областной газеты Володи Рязанцева эта романтика иногда выглядит немножко смещённой и даже несколько нарочитой. Но Володя ведь тоже увлечён своим первым редакционным поручением, ему хочется увидеть, как «голубая ниточка» на карте превратится в освоённую для местного транспорта новую водную судоходную трассу. А кроме всего, ведь это молодость, у которой за плечами ещё так недалеко ушедшие годы детства с его любопытством ко всему новому, необычному.

Правда, Володя Рязанцев — натура несколько иного склада, чем Стригачёв. Очеркист областной газеты, Володя, несмотря на свою юность, уже вполне серьёзно понимает ответственность в подходе к фактам и людям. И освоение Большой Лукавки для молодого журналиста — это не только открытие нового пути и связанные с этим специально технические и транспортные проблемы, но и целая серия встреч, знакомств — вторжение в жизнь.

Наряду с достойными уважения колхозными деятелями, такими, как братья Поярковы, старик мичуринец Антсов, славная и умная девушка Вера Баякина и другие, встречаются на пути Володи и такие любители административных и разного рода обходных манёвров в работе, как Бушуев, председатель колхоза «Нозь», которого за его безудержное самохвальство колхозники прозвали: «Якало».

Сатирически выглядит, например, история с постройкой в колхозе «Новь» бани. Для неё уже заготовлена крикливо распisanная вывеска, но фундамент будущего здания зарос бурьяном. Зло и остроумно показана картина сдачи зерна Бушуевым на заготовительном пункте и разговор колхозников о своём председателе. Но вот что удивляет: оценка образа Бушуева существует в повести как бы в двух вариантах. Первый вариант — это мнение колхозников о Бушуеве и их вера в неминуемо бесславное завершение его карьеры. Второй вариант оценки деятельности Бушуева принадлежит секретарю Лозняковского райкома партии Черемнову.

Беседа с Черемновым очень нужна молодому журналисту Рязанцеву: где, как не в райкоме партии, может он получить самые важные сведения о делах и людях района, проверенные живым их изучением? Мне, читателю, ясно представляется, как много ожидает Володя от беседы с Черемновым. Даже все внешние подробности райкомовской обстановки Вы показываете как нечто, предваряющее собой впечатление от самого Черемнова. Недаром Володя, едва начав разговор с секретарём райкома, уже подумал: «Здесь мне нравится. И кабинет, и порядок в нём, и сам Черемнов — всё нравится. Я чувствую себя здесь хорошо и просто». Образ Черемнова Вы рисуете с большой симпатией — он по-человечески Вам интересен. И читатель готов верить, что Черемнов умен, внимателен и чуток к людям. Потому-то удивительно и досадно, что именно Черемнов даёт смягчённый и расплывчатый вариант анализа и оценки того явления, которое так и хочется назвать: «бушуевщина». В беседе с Володей Черемнов вначале определяет нрав Бушуева как «шумовитость», а потом, перейдя уже к развёрнутому разговору об этом председателе колхоза, избирает в качестве исходной точки следующее определение:

«— Я не хочу совсем очернить в ваших глазах Бушуева, — сказал Черемнов. — У меня нет сомнений в его честности и преданности колхозному делу. Бушуев — патриот колхоза, у него есть инициатива. Но всё это уживается в нём с большими недостатками». Не одобряя разных явно фанфаронских затей Бушуева, отмечая, что хозяйство артели «развивается однобоко», Черемнов всё же находит, что у колхоза «блестящее экономическое положение». Он дважды повторяет, что Бушуев «лгать не будет», что с него, как с патриота колхоза, «можно спросить больше», что он ещё не развернул полностью своих способностей. А между тем Бушуев, как думают колхозники в повести, как раз показал свою полную неспособность руководить хозяйством. Бушуев, якобы не умеющий лгать, на деле показывает себя самым беспардонным лжецом. Крикливо нападая на формализм и бюрократизм, он пытался сдать на заготпункте четырнадцать центнеров влажной пшеницы и был уличён в обмане приёмщиками и самим Черемновым, которому случилось увидеть эту сценку. По Черемнову, с Бушуева ещё «можно спросить больше», а вот колхозники совсем иного мнения о способностях своего председателя. Никакого «блестящего экономического положения» в своём колхозе они тоже не видят, что ясно показывает откровенный дорожный разговор между колхозниками «Нови» и их соседями из колхоза «Маяк революции»:

«— Сколько у вас нынче трудовень потянет? — интересовались маяковцы.

— Точного подсчёта не было, но счетовод говорит, килограмма по два придётся.

— У нас потяжелее: три двести.

— Слышали, что вы богатеть начали! А мы который год на месте топчемся. Никакого роста, — вздохнул кто-то из колхозников «Нови». — Наш Бушуй только на собраниях звонить здоров.

— Зато у вас новая баня есть!

Все засмеялись. История с бушуевской баней была известна всему району.

— Вы бы в декабре или январе сводили бы своего Бушуя в ту баню да попарили.

— Долго ждать! Скоро общее собрание будет, мы ему без бани баню устроим».

Этой насмешливо-резкой оценке деятельности Бушуева, а также и общего положения колхоза «Новь», данной колхозниками, я, читатель, больше доверяю, чем расплывчатой характеристике из уст Черемнова. Черемнову кажется, что Бушуев только «оступается», что он просто путает «инициативу с прожектёрством, творческий размах с делячеством, гордость с бахвальством». А между тем Бушуев ничего не «путает», а всюду лезет напролом, нахально надеясь воспользоваться моментом и каким-

нибудь обходным путём поставить на своём. Бушуев обрисован настолько ясно, что такие, например, черемновские слова, как «творческий размах», так же несовместимы с образом Бушуева, как аромат розы несовместим с репейником.

Как же объяснить эти противоречия в понимании и оценке положения в колхозе «Новь»? Отчего это происходит? Может быть, суждения Черемнова о людях неглубоки? Или он слишком осторожен, или откровенные резкие формулировки ему почему-то не нравятся?.. Ведь и у честных, умных, партийно мыслящих людей могут быть свои противоречия в характере или в методах работы, в основном верных, в чём-то и спорных; так уж лучше это как-то объяснить, оттенить, чем оставлять недоговорённым, неосмысленным. А может быть, логика развития образа Бушуева перестала повиноваться автору?

Возможно, подумалось мне, наконец, что Вам не хотелось слишком заметно нарушать общую настроенность этой повести, где всего ощутимее юмор, шутка, жизнерадостный лиризм и романтика молодости. Скорее всего это так, и это, пожалуй, самый большой Ваш просчёт. Совсем ведь не обязательно, чтобы жизнерадостная тональность повествования вела к лёгкости, даже некоторой бездумности, в решении серьёзных вопросов, которые так или иначе затрагиваются в произведении. А это в Вашей повести есть, и не только в случае с Бушуевым и Черемновым.

Ещё выпуклее это заметно в другой встрече Володи Рязанцева — встрече с секретарём райкома комсомола Скрипицыным. Приход к нему Володи также вполне обоснован. Все собранные молодым журналистом материалы неопровержимо доказывают, что в комсомольской организации автоколонны на почве зажима самокритики оклеветан честный комсомолец Семён Лобанов.

Секретарь райкома комсомола Скрипицын назван в заголовке: «Человек, который говорит вполголоса», и в Лозняковском райкоме комсомола все говорят вполголоса, сидят с кислыми лицами. Все художественные детали, характеризующие «стиль» работы Скрипицына и деловую обстановку в этом райкоме, убедительно показывают, что руководство Скрипицына действует на работников, как дурной заразительный пример. Внешний облик Скрипицына, его манера держаться с людьми, его многозначительно тихий голос, который он никогда не повышает, уверенный, что всё будет выполнено именно так, как он желает, — всё это художественно и достоверно передаёт атмосферу скуки, официального благополучия и непререкаемой самоуверенности. Естественно, Рязанцев вступает в спор, и не только с самим Скрипицыным, но — может быть, сам того не сознавая — и с порочными, канцелярско-бюрократическими методами руководства, которые особенно нетерпимы, когда они касаются молодёжи.

В этом столкновении победил Володя, победила его партийная принципиальность. Несправедливо обвинённый комсомолец Семён Лобанов восстановлен во всех правах, Скрипицын снят со своего поста. Секретарь обкома комсомола Обручев в беседе с редактором областной газеты выражает своё удовлетворение тем, что Рязанцев помог обкому комсомола исправить «большую ошибку» — выдвижение Скрипицына. Кажется, уже можно поставить точку? Да, фабула завершена. Однако почему же я испытываю неудовлетворённость? Чего мне не хватает в этой истории столкновения Володи со Скрипицыным? Давайте подумаем. Такое у меня ощущение, что Вы сказали о Скрипицыне далеко не всё, чего органически требует история его «величия» и падения. В те годы, когда Вы работали над этой повестью, некоторые прискорбные явления нашей жизни и их причины не только в литературе, но и в жизни ещё не были так прояснены, как в наши дни. Поэтому те советы и замечания, которыми мне хочется закончить это товарищеское письмо Вам, сказаны, как говорится, на будущее.

Мне думается, что такой вот Скрипицын — порождение очень серьёзных исторических обстоятельств, связанных с культом личности. Кроме нарушений ленинских норм партийной жизни, советской демократии и законности, культ личности, как известно, ещё и насаждал особую «школу» руководства. Она отучала работников действовать самостоятельно, приучала ориентироваться на указания «сверху» по каждому поводу. Вот такие «очень опрятные» юноши вроде Скрипицына, люди с ленивой

мыслью, обожающие всё готовое, в те годы быстро «выдвигались», служили даже неким образцом «дисциплинированности» и «сознательности». Удержавшись кое-где до наших дней, эти люди до сих пор не хотят расстаться с прошлым. Приятные и благожелательные к своим подхалимам, они не просто холодны, сухо официальны и антидемократичны, они ещё и опасны для честных и непосредственных натур, как, например, Семён Лобанов. Володя, споря со Скрипицыным и внутренне возмущаясь им, ещё не чувствует, как этот человек опасен. А эти мысли должны у Володи появиться, и разговор его со Скрипицыным (в дальнейшем) может закончиться не обязательным безжизненным рукопожатием, а совсем по-иному, более наступательно и резко. «Суровые выводы», о которых говорит Обручев, касаются не только самого Скрипицына, они могли вызвать жёсткий разговор о нарушениях ленинских норм в партийно-комсомольской работе, о вреде поверхностного выдвижения на руководящие посты некоторых чересчур «правильных» молодых людей.

Не забывайте, что, показывая события и людей, с которыми встречается Володя, Вы тем самым освещаете и его самого, его характер, ум, способность осмысливать увиденное. Лишая героя такой способности, Вы лишаете его главной доли обаяния, воздействия на душу читающего. Да разве только в интересах образа героя важно такое осмысление? Это важно прежде всего в интересах читателя, в интересах воспитания в нём более глубокого понимания жизни, более резкого и наступательного отношения к недостаткам. Кстати, ещё раз о резкости и большей наступательности: юмор, лиричное раздумье, мягкая ирония, дружески-усмешливая улыбка вполне уживаются там, где это нужно, с суровым обличением сатиры, резко нападающей на всё отжившее, на всё, что мешает людям стать инициативными, смелыми и преданными строителями коммунизма.

В Вашей повести, Алексей Иванович, многое удачно и правдиво найдено, и, возможно, со временем она будет переиздана. Своим письмом мне хочется подсказать Вам дополнительные внутренние источники дальнейшего углубления и улучшения книги. А более глубокое раскрытие идеи, как живая вода, освежает краски и звучание художественного произведения.

Душевно желаю Вам здоровья и творческих успехов.

Анна КАРАВАЕВА.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. Перцов. Не только объяснять, но и изменять! — **Е. Старикова.** Народ — это люди. — **А. Коган.** Дыхание нового. — **С. Липкин.** Власть разума. — **Бор. Ефимов.** Мастерство иллюстратора. — **А. Илупина.** Живой Рахманинов. — **Л. Симонян.** Об одном рассказе Кришана Чандра.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **М. Юрьев.** Героическая эпопея китайского народа. — **А. Иглицкий.** Политика национальной катастрофы. — **А. Тимашев.** Успехи польской географической науки. — **Г. Менделевич.** Горький — пропагандист науки. — Член-корреспондент Академии наук СССР **В. Ковда.** Исчезнувший остров. — Инженер **А. Морозов.** Путь к машине.

Литература и искусство

Не только объяснять, но и изменять!

Книги критиков мало и редко находят у нас оценку в печати, да и то преимущественно с одной стороны: правильны ли те мысли, положения, которые высказывает автор, и нет ли в них какой ошибки? Понятно, что этот вопрос обязательно и прежде всего должен быть поставлен и ответ на него должен быть дан, — ведь с помощью критики мы осуществляем на практике руководство живым историко-литературным процессом. Однако, оценивая работу критика — статью ли, сборник или монографию, — нельзя удовлетвориться заявлением: да, всё правильно, никакой ошибки нет. А что есть? Критическая статья не циркуляр. Критика является одновременно и наукой и искусством. Стало быть, в основу оценки работы критика должен быть положен критерий качества: что нового внесла статья или книга в изучение предмета или в освещение вопроса, что представляет собой статья или критическая монография как литературное произведение?

«Основные проблемы советской литературной критики» — так называется большая, едва ли не центральная статья в сборнике новых статей Б. Рюрикова. Выдвигая на первый план вопрос об идейных позициях критики и литературоведения, автор стремится решить его в том духе,

который мне кажется обязательным, если относиться к критической статье не как к циркуляру, а как к научному и литературному произведению. В своём обзоре развития нашей критики за последние годы Б. Рюриков резко высмеивает вульгарно-социологические схемы, которые сводили анализ творчества художника не то к его биографии, не то к его социальному происхождению.

«Из истории литературы социологи сделали огромный архив отдела кадров с соответствующими характеристиками, причём нельзя не заметить, что в этом отделе кадров сочиняла характеристики личность тупая и ограниченная».

Сказано сильно и справедливо. В работе Б. Рюрикова можно с удовлетворением увидеть торжество здравых понятий, которые долгое время были если и не в полном забвении, то в известном пренебрежении: автор говорит о значении таланта в работе литературоведа, о том, что утверждение марксистского метода в критике и литературоведении позволяет более полно раскрыться таланту и индивидуальному мастерству критика. Хорошо показан в этой статье Б. Рюрикова общий объём работы критики и литературоведения — это внушительная спла в духовной жизни Советской страны. Но немало сказано и горького по адресу нашей критики. В разделе статьи, посвящённом тому, как критика

Б. Рюриков. О богатстве искусства. Сборник статей. Редактор А. Елкин. 339 стр. «Советский писатель». М. 1956.

изучала своеобразие искусства, Б. Рюриков подобрал такие примеры необоснованных критических восхвалений и примитивных оценок, которые были в ходу ещё совсем недавно, каких-нибудь пять-шесть лет тому назад, что при перечитывании их сейчас становится просто стыдно. Не удивительно, что такие писания роняют авторитет нашей критики.

Указав на наличие талантов в нашей критике и литературоведении и высмеяв скучных дидактиков, Б. Рюриков хочет воодушевить критические кадры на большую серьёзную работу. Нельзя не присоединиться к призыву, которым заканчивается его статья, тем более, что, как указывает автор, в основу её положен доклад на Втором Всесоюзном съезде писателей.

«Давайте заглянем в завтрашний день нашей критики. Договоримся только сразу об одном: не будет никаких идиллий, не будет салонной изысканности—будут споры, будут разногласия, будут столкновения мнений, оценок, точек зрения, но это будут споры, вдохновлённые заботой о развитии литературы».

Сказано хорошо и опять же — справедливо. Но вот прошло более полутора лет с того дня, как это было сказано на съезде писателей, а что-то не слышно споров и столкновений мнений, оценок, точек зрения. Вернее сказать, не видно споров, потому что в нашей критической литературе не появляется статей и книг, в которых была бы ошибка мнений, а споры слышны, но они слышны в кругу читателей и писателей, и чем теснее круг обсуждающих то или иное произведение, тем эти разногласия проявляются более глубоко, содержательно, интересно — я имею в виду именно те споры, которые вдохновлены заботой о развитии советской литературы.

Среди читателей есть свои «болельщики». Я почти не знаю такого случая, когда произведение, появившееся в наши дни, не вызвало бы у читателей различных мнений, иногда прямо противоположных оценок, в которых отражаются и разные эстетические требования и проверка произведения жизнью, то есть многосторонним непосредственным опытом разных групп, разных слоёв нашей читающей публики. Разве не естественно, что эти различные мнения одного произведения должны отражаться и в критике, потому что **переходная точка зрения может победить от-**

сталую или более ограниченную только в споре. Нет никакого сомнения, что подобные споры могут углубить действие художественной литературы, повысить её воспитательную и эстетическую роль, могут послужить толчком, своего рода «ускорителем» развития самой художественной литературы, понимая под развитием не просто исправление ошибок.

Этого у нас в критике сейчас нет. Б. Рюриков предупреждал: «не будет никаких идиллий». Однако если состояние критики, которое мы переживаем (и оно отчасти отражает состояние литературы), нельзя назвать идиллией, то его можно охарактеризовать так: все кошки серы.

Сборник своих статей Б. Рюриков возглавил по названию одной из них «О богатстве искусства». Это, конечно, продиктовано желанием подчеркнуть идею, особенно дорогую для автора. В статье «О богатстве искусства» Б. Рюриков показывает несостоятельность изолированного критерия искренности, выдвинутого В. Померанцевым в качестве единственного критерия, обеспечивающего рост искусства. Аргументация Б. Рюрикова сильна и хорошо построена. Неправильный тезис разбит. Почему же возникает ощущение, что эта победа неполна? Мне кажется, потому, что критик ограничивается доказательством неправильности тезиса, не показывая ничего положительного, того именно, что обещано в заглавии его статьи. Богатство искусства Б. Рюриков совершенно справедливо понимает прежде всего как идейное богатство, на этой основе и складывается разность образного мышления художников. О последнем Б. Рюриков говорит скупое. Между тем наше искусство по-разному утверждает новое и взрывает старое. К одной цели оно идёт многими путями, неодинаковыми и по содержанию и по форме. Идёт не мирно, неуживчиво. Борьба в искусстве — признак его богатства, многообразия талантов. Борьба идёт средствами самого искусства, она не утихает ни на один день. «И вечный бой! Покой нам только снится», — можно сказать человеку, который хочет прожить тихо, занимаясь искусством.

Богатство искусства может быть умножено критикой. Книга Б. Рюрикова, провозглашая «декларацию прав» искусства, логически приводит к «декларации прав» критики: богатство искусства должно быть дополнено богатством критики.

Критика неприятна для автора критикуемого произведения — я имею в виду критику недостатков. Критика недостатков как литературная задача легче, чем критика, раскрывающая достоинства произведения. Конечно, одно от другого не всегда отделимо, но критическая статья обязательно должна обогатить понимание произведения мыслью и чувством критика. Это как бы эпилог, который автор сам написать не может. Задача критического обогащения произведения — задача трудная. Пересказом её не решить, нужен творческий анализ произведения, который под силу далеко не всякому, кто вполне успешно может написать рецензию. Известно, что недостатки иногда являются продолжением достоинств; художественное произведение можно любить, как и человека, вместе с его недостатками. От критика требуется сознательность в любви и ненависти; если этого нет, а вместо осознания преподносится бездумный трафарет и безапелляционное назидание, то нечего удивляться, что такая критика непопулярна в среде писателей. К этому следует добавить, что критика, не умеющая обогатить произведение своим анализом, указанием на недостатки, могла очень эффективно помешать «обогащению» автора: критика была нежелательна и даже опасна для писателей в период существования Сталинских премий в области литературы и искусства. Трудно представить себе что-нибудь более ужасное для искусства, чем практика Сталинских премий в послевоенные годы. Тем не менее более ужасное было: в результате этой практики самый чувствительный урон понесла литературная критика. Она в значительной части обезличилась. Вызволить её из этого безрадостного существования можно, лишь развязав её. Не нужно бояться при этом, что вместе с ломкой стандарта в оценках могут быть поколеблены иные авторитеты и несколько пострадает литературная «табеля о рангах». Большой художник не боится пересматривать самым решительным образом свой собственный опыт — примером тому может служить К. С. Станиславский. Своих слишком последовательных учеников он ошломлял резкой критикой, требуя от них творческого «непослушания» в соответствии с новыми требованиями жизни и с новыми этапами развития искусства.

Объективная оценка — вот наш идеал, в

нём партийная душа и совесть нашей критики. Однако этот идеал, как и всякий идеал, — результат, итог борьбы, столкновения разных оценок. Если критик воодушевлён партийным идеалом, то он не может судить о литературе без личного увлечения, без страсти. Объективная истина существует иногда в тех зёрнах, которые принято называть «рациональными». Нельзя «рационализировать» критику, стремясь сразу получить готовый плод, его нужно уметь вырастить. Борьба за объективную оценку произведения или значения творчества писателя иногда, как известно, шла в течение многих десятилетий. Только в советском обществе получили объективную оценку Пушкин, Чехов, Лесков, Герцен, Салтыков-Щедрин. Наши общественные условия способствуют тому, что объективная оценка хорошего и развенчание дурного приходит скорее. Но то и другое не устанавливается самотёком, не является без борьбы. Нельзя «назначить» человека «писателем», как нельзя настоящего писателя «отменить». Примеры писательской судьбы наших современников — Есенина, Ильфа и Петрова, Тынянова, Пришвина — могут служить иллюстрацией последнего, что касается примеров первого, то их приводить нет нужды, они у всех на глазах.

Только борьба оценок в живой литературе, отражающая борьбу художественных тенденций и художественных индивидуальностей, может содействовать улучшению пульса литературной жизни. Наладится хорошее кровообращение, оно будет питать организм литературы, очистит его. Это всё произойдёт не сразу, а постепенно и потребует многих перемен. Критика потеряет свой административный характер и, продолжая великие традиции классиков, обретёт характер «обогащительный» — нравственный, идейно-воспитательный, эстетический. Критика недостатков перестанет быть столь болезненной для художника, потому что на критику найдётся антикритика. А свой авторитет и критик и писатель будут завоевывать достоинством своих работ, убедительностью и новизной мысли, пленительностью образов. Критерием при этом может быть только жизнь, то есть борьба за победу коммунизма.

Круг мыслей, очерченный выше, навеян книгой Б. Рюрикова. В другом цикле статей объектом изучения автора рецензируемой книги становится русская классиче-

ская литература — традиции революционно-демократической эстетики и два великих романа — «Воскресение» Л. Н. Толстого и «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского.

Для общей направленности книги важен тот вывод, к которому приходит автор, обстоятельно и любовно раскрывая смысл творческой позиции Н. Г. Чернышевского, нашего великого предшественника в критике: его смелая, глубокая мысль оплодотворила развитие русской литературы. С первых шагов писателя, будь то Лев Толстой или Николай Успенский, наш великий критик умел различить в нём самое важное, присущее только ему, — художественно неповторимое, возвышающе-человеческое.

Обращая внимание на удивительное совпадение заключительных ситуаций «Воскресения» и «Преступления и наказания», Б. Рюриков показывает, как ложная морализирующая тенденция разрушает логику образного мышления художника. Анализ романа Л. Н. Толстого интересен. Критик сумел сделать ощутимым «самодвижение» образа, подмечая особенности развития сюжета «Воскресения», улавливая повышенную слышимость голоса автора в этом романе, использование контрастов заурядно-бытового и гневно-патетического в сценах и деталях. В сопоставлении с «Преступлением и наказанием» явственнее выступают для читателя своеобразные ходы мысли и приёмы Л. Н. Толстого — всё же богатство искусства.

Мне кажется, что общий пафос книги не отразился в анализе «Молодой гвардии» А. Фадеева: предпочтение, отдаваемое критиком второму варианту романа по сравнению с первым, осталось необоснованным. И если можно согласиться с Б. Рюриковым, что частности общей картины разработаны во втором варианте «Молодой гвардии» лучше, то весь роман как оптимистическая трагедия после пе-

ределки, на мой взгляд, потерпел серьёзный урон.

В этой статье критик отошёл от основной своей мысли о богатстве искусства, которая с новой стороны выступает в отличной полемической статье «Творчески разрабатывать вопросы эстетики». Захватывает убеждённости, с какой Б. Рюриков обрушивается на вульгарно-социологические схемы, отстаивая суверенитет образного мышления. Составляя органическую часть духовной жизни народа, направляемого партией по пути борьбы за коммунизм, искусство суверенно, как мышление образами.

Живите богато! — как бы говорит Б. Рюриков своей книгой людям искусства, приглашая их выйти из состояния расчётливой и отчасти угрюмой идиллии, в которой лавровые венки душат их обладателей, как змен душат Лаокоона и его сыновей.

За чем же дело стало? Да за тем, чтобы изменить то положение, неправомерность которого автор книги о богатстве искусства так хорошо объяснил, — за этими самыми статьями и исследованиями, в которых будет столкновение мнений, оценок, точек зрения, то есть будет именно всё то, к чему Б. Рюриков так справедливо призывает. Давайте же ваши рукописи в журналы, в издательства! А если эти критические работы, воодушевлённые убеждением, вдохновлённые заботой о развитии советской литературы, там всё же не возьмут (может быть, по недостатку места для таких работ), то создадим журнал критики и литературоведения. Кстати, необходимость такого органа критической и научной мысли давно доказана и не один раз объяснена, а воз, как говорится, и ныне там!

Стремление к богатству искусства требует, чтобы выход был найден.

В. ПЕРЦОВ.

★

Народ — это люди

Новое произведение С. Бородин «Хромой Тимур» посвящено той же эпохе, что и его известный исторический роман

Сергей Бородин. Звёзды над Самаркандом. Трилогия. Хромой Тимур. Роман. Первая книга. Редактор А. Удалов. 488 стр. Государственное издательство Узбекской ССР. Ташкент. 1955.

«Дмитрий Донской». Но па этот раз писатель ведёт нас ко двору одного из жесточайших в истории человечества завоевателей. Перед нами первая часть трилогии «Звёзды над Самаркандом».

1399 год. Тимур только что вернулся из опустошительного похода в Индию, оставив позади себя разрушенные города, выжжен-

ные сады, потравленные поля и множество трупов. Ещё караваны с несметными сокровищами, награбленными в завоёванной, но не покорившейся стране, не достигли стен Самарканда, а уже новым заботам, не отдыху, отдаётся неукротимый старик. В зените власти и славы он встревожен судьбами своей колоссальной империи, единство и цельность которой можно сохранить только террором, только новыми и новыми походами — чтобы прокормить войско, чтобы не дать соседним народам даже поднять голову. Уже задумывает Тимур поход в Египет, в Турцию, уже маячат в его мечтах бескрайние просторы и бесчисленные сокровища великого Китая.

Но пока Тимур дома, в Самарканде; он занят внутренними делами государства, и перед нами развёртываются картины жизни громадного и пёстрого азиатского средневекового города, написанные с такой живописной щедростью и одновременно так свободно, что читатель никак не ощущает, сколь велик труд исследователя, скрывающийся за каждой частностью романа.

Но одной яркости и достоверности описаний мало для достижения той высокой поэзии истории, которой мы вправе ждать от советского романиста. Эта поэзия добывается глубокоим проникновением в смысл отдалённых исторических событий, увиденных глазами передового человека нашего времени.

Противоречива была эпоха, которую взялся изобразить С. Бородин, и нелегка была задача художника. Известны слова К. Маркса о Тимуре: «...он дал своему новому царству государственное устройство и законы, представляющие большой контраст с теми зверствами и дикими разрушениями, которые по его приказам совершали татарские орды». Политический противник и конкурент Золотой Орды, немало способствовавший её упадку, преемник и продолжатель варварской военной политики Чингиз-хана, Тимур создал в конце XIV века громадное феодальное государство, способствуя небывалому расцвету культуры и науки в центре этого государства — Самарканде. С. Бородин поставил перед собой задачу — воссоздать это время через образ самого Тимура.

В сложных связях с различными людьми и классами общества вырисовывается этот образ. «Покоритель мира» предстаёт пе-

ред нами уже стариком, окружённым многочисленными жёнами, детьми и внуками. Не просты отношения в этой громадной семье, где царицы соперничают между собой не только в нарядах, но и в происхождении и силе влияния, где сыновья правят целыми царствами, а внуки готовятся принять от деда власть над громадной империей. С. Бородин легко вводит нас в сложнейшие перипетии этих необычных семейных и одновременно политических связей благодаря своему искусству исторического портретиста. Особенно выразительна фигура старшей жены Тимура — «старой, седой, почерневшей на ветру и зное бесчисленных дорог» Сарай-Мульк-ханым.

Тимур не повезло с сыновьями. Мираншах, правитель царства Хулагу, — безумец, самодур и мот. Завершающая книга первого тома посвящена описанию карательного похода Тимура во владения отбившегося от рук сына и отстранения Мираншаха от власти. Тимур мечтает вырастить достойных преемников из любимых внуков. Рассудительный Мухаммед-Султан, храбрый Халиль, дерзкий Ибрагим и, наконец, задумчивый маленький Улугбек — будущий преемник Тимура, великий учёный средневекового Востока, — все они живо представлены в романе — ближайшее окружение Тимура, его гордость и надежда. Но, как колосс, возвышается над всеми ними (не говоря уже о подобострастных вельможах) Тимур. Он мудрее, дальновиднее, решительнее всех, и нет рядом никого, кто противостоял бы ему как личности. Но не только это: старый, больной, неугомонный Тимур неизменно вызывает наше сочувствие и нашу симпатию, — так ведётся повествование. Да, он жестоко расправился с приближёнными Мираншаха, и романист достаточно подробно и впечатляюще описывает, как струёй стекала кровь казнённых по специальным желобам и собаки целую ночь вылизывали её. Да, он не позволил царевичу Халилю взять в жёны простую девушку. Но — подсказывает писатель читателю — Мираншах так ничтожен, и может ли крупный политический деятель жертвовать интересами государства ради любви юной четы?

Однако читатель и не склонен ждать от Тимура сентиментальности и покладистости. Настораживает другое: любовь героев, которым как будто бы симпатизирует писатель, начисто лишена поэзии и теплоты. Тимур разлучил влюблённых, но их, как

это ни, странно, ни капельки не жалко, да и их чувства очень скоро перестают занимать и самого автора.

Вот эта односторонность в освещении событий при обстоятельности описаний и их внешней живописности постепенно начинает приобретать характер принципиальной особенности книги.

Немалое место в ней отведено взаимоотношениям Тимура с купцами. Тимур покровительствовал купцам и превратил Самарканд в один из крупнейших центров мировой торговли своего времени.

Изображение различных типов купцов тимуровской эпохи занимает большое место в романе. Особое внимание писатель уделяет фигуре предприимчивого армянского торговца, по прозвищу Пушок. Это Пушок в качестве агента Тимура направляется в Москву, приведя читателя на берега холодного зимнего Каспия, в Астрахань, — так широко раздвигаются географические границы романа. И снова мы детально и обстоятельно знакомимся с бытом и нравами другого города, другого народа. Однако человек, находящийся в центре этого эпизода, не становится при этом ярче и интереснее.

Это верно, что часто простая, примитивная жажда наживы толкала купцов-путешественников XIV—XV веков на невероятные приключения, какими изобилвала их судьба. Но ведь самые обстоятельства жизни подобных торговцев, перед которыми открывался весь мир — такой ещё просторной и неведомой, такой страшный и увлекательный, — не могли не наложить отпечатка на характеры, не придать им своеобразной мужественной поэзии. Ведь и сам Христофор Колумб искал новых торговых путей. Ведь среди таких, как Пушок, был и русский купец Никитин. Это были сильные, интересные, яркие люди. А Пушок у С. Бородина бледен, даже жалок, он как человек не вызывает ни нашей симпатии, ни нашего интереса. Пёстрые обстоятельства его жизни складываются как-то помимо него, единственно силой воли Тимура. Могло, конечно, быть и так. Но самый ли верный путь для изображения эпохи — выбор подобного героя, и случаен ли он в романе С. Бородина? Нет, такие фигуры мелькают по книге во множестве, не вызывая ни симпатии, ни сочувствия, не приводя нас к суровому и высокому пониманию исторической эпохи, — все они в ро-

мане лишь винтики в хитроумной политической машине «владыки мира».

А вместе с тем кажется, что изображение жизни народа занимает большое место в романе С. Бородина. Добросовестный историк, С. Бородин подробно описывает, как тяжела была жизнь народов в государстве Мавераннахр. Нищие деревни, убогие лачуги ремесленников, подневольный каторжный труд в дворцовых мастерских, жестокие наказания за малейшую провинность — всё это обстоятельно, со знанием дела изображено в романе как широкий фон событий, развёртывающихся вокруг Тимура и по его воле. Но именно фон, не более.

Воины, оружейники, рабыни, мастера — все вместе они составляют живописную толпу, но ни в ком из них писатель не показал человеческой личности, хотя бы примерно с той силой убедительности, с тем проникновением в психологию и характер, как изображён Тимур. А ведь народ — это люди. Особенно для художника.

Неудовлетворённость той ролью, какую отводит романист в своей книге народу, вовсе не означает требования приписать крестьянам и ремесленникам значение активной и сознательной исторической силы, какой они не были во времена деспотического феодального режима. Напротив, как мне кажется, С. Бородин той же преувеличивает политическую активность людей из народа, во всяком случае, не находит убедительной формы её выражения. Такие персонажи, как мастер-чеканщик, его дочь Шад-Мульк (возлюбленная царевича Халиля), каменщик Муса, русские мастера-оружейники, выступают в романе как люди, сознательно противостоящие Тимуру. В их уста автор вкладывает обличительные тирады против Тимура.

Но часто они выглядят скорее как современные комментаторы политики Тимура, чем как его рабы, жертвы, у которых вскипает кровь, сжимаются кулаки при виде мучений и насилий над их ближними. Особенно холодно и схематично изображены русские оружейники Назар и Борис, по замыслу автора призванные играть немалую роль в идейном содержании романа.

Односторонность автора романа особенно явно сказывается в изображении военной деятельности его героя.

Тимур вошёл в историю человечества как жестокий завоеватель. Писатель не умал-

Чивает о страшных опустошениях, которые он несёт в завоёванные страны. Срыт с лица земли дерзкий город Ургенч — об этом вспоминает жена Тимура. На месте зарублены сто тысяч связанных индийских пленников, которые не слишком покорно взирали на «владыку мира», — об этом говорят у ночного костра войны Тимура. А вот и его заветные мысли: «Народы всегда ропщут. И покорённые и, бывает, свои тоже... Ропщут! Но затем он и складывает башни из отрубленных голов, — семьдесят тысяч голов в Исфакане, во! В Исфизаре — башни из живых пленников, выше городских стен, — связать, и одного на другого, как кирпичи, а между ними известь, серую, быстро сохнущую... А потом заставить мулл вскарабкаться на рыхлую вершину, чтоб с её высоты призвать верующих к благодарственной молитве! Во славу аллаха!..» Так думает «покоритель мира», готовый новые походы. И кажется, как можно обвинить писателя в пристрастии к Тимуру после таких красноречивых тирад? Но отношение писателя к Тимуру порой проявляется в интонации, в отдельном слове, в маленьком штрихе портрета... И получается, что изуверски казнённые пленники — это лишь исторический факт, сообщённый романистом; мы не видим их мук, не слышим их стонов и проклятий, не задумываемся над тем, что испытывают их жёны и дети. А Тимур со своей неукротимой волей и энергией, со своим умом и властностью, со своими заботами и одиночеством — весь перед нами. И в силу эмоционального воздействия художественного слова, которое иной раз сильнее логики и фактов, читатель начинает испытывать сочувствие к Тимуру, одинаково «покорителю мира», — вопреки протесту разума, не же-

лающего прощать тиранам башен из человеческих тел.

Писатель имел право на разностороннее и глубокое психологическое изображение личности Тимура. Но он не мог без ущерба для исторической достоверности и идейной глубины своего романа сосредоточить внимание на переживаниях своего героя, не соотнеся их с той великой трагедией сотен тысяч людей, которые были им разорены и замучены.

Научный подход к историческим закономерностям не означает бесстрастности и объективизма. Советский историк всегда будет на стороне широких народных масс, советский писатель всегда будет говорить от их имени. В новом романе С. Бородина пока недостаточно ясно выразилась эта народная, гуманистическая точка зрения на личность великого завоевателя и тирана Тимура Гурагана.

И самый талант романиста оказался обращённым главным образом на воспроизведение подробностей придворного быта феодального Востока. Картина получилась яркая, сверкающая блеском драгоценных камней, но холодноватая.

Выступив в первой книге трилогии «Звёзды над Самаркандом» снова как талантливый исторический бытописатель, С. Бородин не поднялся здесь пока на более высокую ступень художественного изображения прошлого, не стал смелым и самостоятельным исследователем истории в её отношении к настоящему. Мы говорим «пока», потому что трилогия только начата. Читатель только введён в эпоху и познакомлен с её героями. События, которые окончательно определяют место каждого из них, — впереди.

Е. СТАРИКОВА.

★

Дыхание нового

Григорий Бакланов принадлежит к тому едва ли не самому молодому поколению советских писателей, чей приход в литературу падает на последнее пятилетие. Его первый рассказ — «Выговор» — появился в журнале «Крестьянка» в 1951 году. Четыре года спустя Бакланов опубликовал

Г. Бакланов. Новый инженер. Очерк. Альманах «Год 38», книга 3-я. 1955.

Г. Бакланов. В Снегирах. Редактор К. Буковский. 268 стр. «Советский писатель». М. 1955.

«В Снегирах» — повесть, отмеченную отличным знанием современной колхозной действительности, умением передать сложность и противоречивость жизни, не теряя при этом ясности авторской позиции.

Перед нами очерк Г. Бакланова «Новый инженер», напечатанный в 3-й книге альманаха «Год 38» и перензванный (под названием «Чужая беда...») в сборнике, выпущенном издательством «Советский писатель». Какие новые пласты действительности подымает он, над чем заставляет задуматься

маться? Как связан очерк с предшествующим творчеством Бакланова, раскрываются ли в нём новые стороны дарования молодого писателя?

Очерк начинается со спора, разыгравшегося между директором МТС Бочко и вновь присланным главным инженером Куделиным. Мы слышали лишь конец разговора. Почему холодны глаза директора? Почему Куделин с сердцем швыряет окурок? Что произошло между ними?

Бочко работает в районе давно, дело знает, требования времени улавливает быстро. Что механизацию проводить надо — он понимает хорошо, что ждёт её противников — тоже. Попасть в такое время в газету под маркой «противника механизации», говорит он зональному секретарю РК Проскуракову, — «это, я тебе скажу, всё равно, что под поезд попать».

Почему же этот, несомненно, умный и знающий, волевой и любящий свою работу человек на деле выступает против механизации колхозов?

Тому есть две причины. Одна коренится в особенностях характера Бочко, другая — в тех обстоятельствах, в которых ему пришлось ряд лет работать и которые наложили на него свой отпечаток.

«...Ты что, серьёзно думаешь, я противник механизации? Враг людям? Или мне лишняя слава мешает?..» — спрашивает Бочко Проскуракова. Нет, конечно, лишняя слава ему не помешала бы, но он не хочет рисковать ради неё и уже имеющей! Уж что-то, а трудности, стоящие на пути механизации колхозных ферм, он представляет себе поотчётливее Куделина. То ли было в старину: выступить инициатором, полюбоваться собственным фото в газете, а выполнил ли ты своё обещание — кто проверит: важно, что был почин... Теперь не то: «праздники» пройдут — начнётся «похмелье: дадут жёсткий план, обязательства, договора, скрытые резервы... посулился, так... давай». Зачем же ему лишний хомут на шею, лишнюю обузу на горб?

Как зачем? Но ведь механизация колхозных ферм позволит высвободить массу непроемчиво занятых рабочих рук: один управится там, где сейчас потеют четверо. И дело не только в руках: за ними люди, возможность облегчить их труд. Разве для этого не стоит рискнуть?

А это уж зависит от человека! Один живёт государственными интересами, как сво-

ими личными; для другого главное — «своя боль», своя рубашка ближе к телу, а до чужой беды ему и дела нет...

Единство личного и общественного бывает разным. Можно себя отдавать делу без остатка, а можно и дело использовать для самовозвеличения! Такой болезнью болел, например, герой «Снегирей», Денисов. Он стремился укрепить лишь «свой» колхоз, до остальных ему и дела не было. При известии о неудачах других он даже испытывал нечто похожее на удовлетворение: ведь на этом фоне ярче видны были его, Денисова, успехи! Так дошёл он и до того, что подсунил слабому колхозу несортные семена: где, мол, им там разобраться!

Илья Петрович Бочко подлогами не занимается. Но вот он, «яростно отрекаясь от... благодарности», которую выражает ему тракторист Фомин за выстроенный дом, в то же время «с хитрым выражением» напоминает: «В Колодезянской МТС Зубочанинов всё обещает построить своим рабочим дома. Но что-то живут они у него до сих пор по частным квартирам, углы снимают». И ведь хорошее, казалось бы, дело сделал человек, а всё-таки поневоле вспомнишь Денисова. Для обоих беда товарища — это «чужая беда», выгодный фон для их собственных удач.

Откуда пришла эта черта к таким людям, как Бочко и Денисов? Думается, дело не в них одних, а и в тех обстоятельствах, в том стиле руководства, который получил у нас довольно широкое распространение в последние десять—пятнадцать лет и нигде не казался так пагубно, как в сельском хозяйстве. Немалую роль тут сыграло стремление служить не делу, а лицам, забота не о существовании проблемы, а лишь о том, чтобы угодить вышестоящему руководителю. Именно в таких условиях и Денисов и Бочко постепенно привыкли заботиться не об общем деле, а о том, как они будут «выглядеть». А привыкнув, стали и от других добиваться того же, из жертв этого «стиля» превратились в виновников его насаждения.

Не менее важна фигура зонального секретаря райкома Проскуракова. Когда мы слышим, как он жалуется Куделину: «Вы, приехавшие, вы одни недостатки видите», — мы понимаем: ему есть на что обижаться! Нам ясно, почему он сравнивает прежде всего «что было и что есть»: «в этом — годы моей жизни, я этому всё отдал. Мало? Так больше у меня не было». Это не фраза: он

и сейчас четвёртый день не видит семьи, мотается по району, под дождём, промокший, голодный... А выматается, умрёт — похоронят так, как похоронили секретаря райкома Комелева в повести В. Тендрякова «Саша отправляется в путь». И силы и самую жизнь отдаёт человек, а вспомнить его, по сути дела, будет нечем. Жалко? Да, конечно, «по-человечеству» жалко. В сущности, это трагедия, трагедия жизни, загубленной зря, с видимостью дела, и Тендряков и Бакланов правильно протестуют против такой бесцельной растраты самого дорогого, что есть у человека. Но жалостью тут ничего не изменить! И Куделин прав, когда он сравнивает «то, что есть», не с прошлым, а «с будущим, с тем, что должно быть», и убеждённо утверждает: «...если для нас самая больная своя боль и за нею нам других не видно, мы не руководители, и мы должны уйти и уступить место другим».

Что же случилось с Проскуряковым? Ведь раньше он хорошо знал, как надо руководить! Восемь лет был он первым секретарём. С него требовали рапортов — и он требовал; опоздавшим с севом или сдачей хлеба грозил отобрать партийный билет — и всё было в порядке; так по крайней мере казалось ему самому.

Изменилась жизнь! Теперь требуются не рапорта, а «что-то совершенно иное, а что — он ещё хорошенько не знал». Между ним и людьми нет уже «широкого стола под зелёным сукном»; мало теперь «скомандовать», что требуется сделать, надо подсказать — как, а это ему неизвестно: он не знает ни людей, ни агротехники, ни экономики. И это не только личная беда, но и вина Проскурякова, ибо от его некавалифицированного, бюрократического руководства страдают и дело и люди, его творящие.

Вот, к примеру, председатель колхоза Гриштаков. Бывший фронтовик, он сегодня «осторожничает», не смеет «своё суждение иметь». Но почему? Оказывается, пробоval он критиковать здешние порядки. «Похвалили на первый раз, в актив даже зачислили. Только помочь не помогли. Я вскоре опять выступил. Тут уж промолчали. Тогда я в области сказал, на совещании». После этого зачастили к нему представители, «стали на всех совещаниях к делу и не к делу меня вспоминать». «Как после этого должен я критиковать?» — спрашивает Гриштаков. Нельзя оправдать

Гриштакова, но нельзя и не согласиться с ним в том, что осторожными не рождаются — осторожными делаются. И едва ли не наибольшая вина перед партией таких руководителей, как Проскуряков, в том, что они убивают живую мысль, инициативу, плодят осторожничанье, молчаливщину.

И Бочко и Проскуряков — характеры, имеющие уже какую-то «предисторию» в произведениях писателя. Но в новом очерке Бакланов решает и новую для себя художественную задачу: делает главным героем произведения главного героя эпохи. Думается, это не случайно: «смена героев» писателем, его творческая эволюция вызвана наступлением нового в самой жизни.

Инженер Куделин, положительный герой очерка, — человек неровный, с отнюдь не идеальным характером. Линию свою он привык проводить прямо, не обходя острых углов; не всем это нравилось — так появилось партвысказание. На новом месте Куделин верен себе: он настаивает на механизации колхозных ферм (за что МТС непосредственно не отвечает), не останавливаясь перед обострением отношений с Бочко и Проскуряковым. И тут, при всём увлечении Куделина фигурой Бочко, выясняется их полярная противоположность в главном: для Бочко и Проскурякова «своя боль» заслоняет чужую, для Куделина и тех, кто идёт за ним, беда вообще не может быть чужой! Партия научила Куделина тому, что борьба за коммунизм — это забота не только о «ближних», но и о «дальних», борьба не только за повышение экономического благосостояния колхоза, но и за человека, за то, чтобы мать тракториста Звлягинцева не делала своими натруженными, склеротическими руками того, что может сделать — и в других колхозах уже делает — электричество. Так определяются идея очерка и его конфликт.

Писатель не облегчает трудностей, стоящих на пути героя, не рисует его чудобогатырём, разделяющимся с противниками похода. При всей твёрдости и упорстве Куделин до наивности доверчив, по-детски влюбчив в людей. Чересчур быстро поверил он, например, в то, что Проскуряков принял его сторону; не ожидал он и того, что на него попытаются давить всеми средствами, вплоть до попыток «сыграть» на анкете, свести счёты при переводе из кандидатов в члены партии.

Не стужил ли писатель краски, стремясь во что бы то ни стало повести героя

по линии наибольшего сопротивления? Нет, старое без боя не сдаётся, и читателя надо готовить к таким боям.

В очерке проявились характерные черты писателя, знакомые нам по «Снегирям» и «Запутанному делу»: стремление изобразить явления времени не в обнажённо публицистической форме, а через те черты, которые они вносят в душу современника; умение видеть в своих героях не просто «носителей», определённых социальных качеств, а и сложные человеческие индивидуальности; способность так сказать о герое немного, чтобы читатель мог сам додумать остальное.

Всё познаётся в сравнении. Особенности писательской манеры Бакланова станут яснее, если посмотреть, как он «заново» создаёт образ, вообще-то, казалось бы, не новый в литературе. Проскуряков, например, по стилю своей деятельности напоминает секретаря райкома Бурмистрова из очерков И. Антонова «У нас в Мордовии». Но Антонова больше интересует «бурмистровщина», чем индивидуальные черты Бурмистрова; против неё направляет он открыто свои публицистические стрелы. Метод Бакланова иной. Он не объявит вам от себя о самовлюблённости Бочко или «потере курса» Проскуряковым, а покажет, как хвалится Бочко, что он-де вот дома для трактористов построил, а в Колодезянской МТС ещё только собираются; как «поворачивается» на сто восемьдесят градусов Проскуряков. И так достоверно, зримо это нарисовано, что мы ясно представляем себе Бочко и Проскурякова и в иных, не описанных автором ситуациях.

А вот в образе Куделина такую достоверность ощущаешь не всегда: нет-нет да и проскользнут в нём некая умозрительность, заданность. И когда слышишь его очень верный по мысли ответ Проскурякову, что сравнивать настоящее надо не с прошлым, а с будущим,— не знаешь: Куделин ли это говорит или сам автор?

Очерк заканчивается неожиданно, там, где события только начинают развёрты-

ваться. Идёт районный актив, слово берёт Куделин. Что скажет он? Как будут реагировать на его критику Проскуряков и Бочко? Какие результаты даст она? На эти вопросы автор не даёт прямого ответа.

Почему?

Мы не собираемся требовать, чтобы писатель обязательно втиснул в узкие рамки одного очерка и наказание порока и торжество добродетели. Подобная умозрительность часто уводила наших писателей от реализма, обуславливала облегчённое изображение жизни, заставляла объявлять уже решёнными те конфликты и трудности, которые в жизни ещё далеко не преодолены. Нам кажется, Бакланов прав, что не устраивает своему герою триумфа под занавес, а говорит читателю суровую правду о трудностях и красоте борьбы.

И всё же ощущение незавершённости остаётся; ловишь себя на том, что вновь и вновь ищешь на последней странице слова «продолжение следует». Думается, перед нами повесть, прерванная посреди неё (хотя бы сам автор и не задумывал её так). Об этом говорит архитекtonика произведения. Совещание районного актива — так, как оно написано,— не может служить финалом: слишком велика была экспозиция, слишком многое этому совещанию предшествовало и слишком мало на нём «распутано». Скорее это композиционный центр будущей повести, повести, в которой автор должен будет «прояснить», художественно конкретизировать такой, например, чрезвычайно важный для действия, но пока что лишь пунктиром намеченный образ, как новый секретарь райкома Белан, глубже, объёмнее показать Куделина,— словом, рассказать о своих героях на новом этапе их деятельности.

Может быть, и не стоит торопить с этим Бакланова. Перед его героями — большая дорога жизни. Жизнь подскажет писателю и продолжение повести, оборвавшейся на таком интересном месте.

А. КОГАН.

Власть разума

Мы живём в эпоху всё более узкой специализации наук. Геометрия и функциональный анализ так далеки друг от друга, что математики, работающие в этих двух областях, считают себя людьми разных профессий. Если мы обратимся к медицине, то много ли общего мы найдём между зубным врачом и психиатром?

В средние века все науки, в понимании современников, составляли единый мир знания. Вероятно, это происходило и потому, что любой способ познания жизни — литература и искусство в том числе — уже тем самым был научным, что противопоставлялся религии. Мостом между этими различными способами познания передко служила математика. Точность её вычислений, основанная на опытах, сближала её с науками естественными, крылатая сила её рассуждений, краткость которых являлась вершиной изящества, приводила её к просторам философии, иногда к гармонии поэзии и музыки.

Так возникала энциклопедичность великих людей средневековья как на Западе, так и на Востоке. Круг интересов итальянского художника Леонардо да Винчи напоминает круг интересов узбекского поэта Алишера Навои, и оба они были хорошими математиками.

Величайшим энциклопедистом Востока был Абу-Али ибн-Сина, известный во всём мире под латинизированным именем Авиценны. Стилизованное в духе старинной длинное название повести В. Смирновой-Ракитиной есть не только стилизация — оно выражает суть вещей: «Повесть об Авиценне, великом учёном Средней Азии Абу-Али ибн-Сине, враче, математике, астрономе, философе, поэте и музыканте, жившем тысячу лет назад и прославившемся во всём мире».

Он родился, как полагают, в 980 году в таджикском селении Афшана, близ Бухары. Писатель Садриддин Айни сравнительно недавно разыскал это селение по остаткам плотины на реке, построенной, по преданию, Авиценной. Впрочем, об Абу-Али ибн-Сине до сих пор бытует в таджикском народе, да и на всём Востоке, множество преданий различной степени достоверности. Некоторые из них переложены в стихах.

В. Смирнова-Ракитина. Повесть об Авиценне. Редактор В. Броун. 452 стр. «Советский писатель». М. 1955.

Автору, прежде чем писать об Авиценне, пришлось прочесть много книг. Чувствуется обширность изученного материала. Изречения древних восточных писателей и поэтов, крылатые слова, афоризмы, стихотворные строки, слегка изменённые, рассыпаны по всему тексту повести.

Привлекли внимание автора и труды наших востоковедов. Читая повесть, узнаёшь мысли Бартольда, Якубовского, Бертельса. Жаль только, что некоторые из этих мыслей существуют в повести в химически-чистом виде, они как бы не растворились в ней. Досаднее всего то, что даже в речи героев иногда прорываются современные выражения, более подходящие нашим кандидатам наук. Вот, например, как оценивает старик Натили династию Саманов:

«Они всегда покровительствовали наукам, искусствам и ремёслам. Это за их время Бухара украсилась творениями великих зодчих».

Или вот как говорит ибн-Сина своему другу, знаменитому математику Бируни, об Аристотеле:

«Если я и беру что-то у него, то только то рациональное зерно...»

Поскольку мы заговорили о стиле, отметим заодно, что не только автор, но и герои повести говорят: «Саманиды, Фатимиды». Откуда у уроженцев Бухары эти «иды», это греческое окончание фамилий, условно употребляемое специалистами? И потом, гулямы — воины-рабы — действительно составляли гвардию восточных владетелей, но уверена ли писательница в том, что слово «гвардия» было известно бухарцам и хорезмийцам? Мы помним, как модернизирует словарь Фейхтвангер, присваивающий древним римлянам и иудеям звание генералов, министров и т. д. В. Смирнова-Ракитина не пользуется этим приёмом. Видно, здесь — не художественное решение, а трепетная робость перед авторитетом источников.

Однако посмотрим, как же всё-таки справляется писательница со своей основной и нелёгкой задачей: каким встаёт со страниц книги образ Авиценны?

Этот многогранный, всесторонне образованный человек более всего запоминается нам при чтении книги, когда он выступает в роли врача. Страницы повести, посвящённые Авиценне-врачу, самые живые. Автор выразительно и горячо рассказывает, как в

тмы. Действительно ли в предсмертные свои дни он написал знаменитое четверостишие? Мы, во всяком случае, верим автору, что так оно и было:

«А потом, собравшись с силами, произносит шёпотом, с лёгкой усмешкой на худом, обтянувшемся лице:

От праха чёрного и до небесных тел
Я тайны разгадал мудрейших слов и дел
Коварства я избег, распутал все узлы,
Лишь узел смерти я распутать не сумел...»

★

Мастерство иллюстратора

Художник Н. В. Кузьмин — график незаурядного и острого дарования — сделал рисунки к «Левше» для нового издания бессмертной повести Н. С. Лескова.

Это большая и интересная работа, плод длительного и углублённого труда, в котором явственно проступает огромная увлечённость и горячая заинтересованность художника замечательными образами, колоритом и духом гениального лесковского «сказа».

Щедро рассыпанные и как бы сплавленные стеклом, иллюстрации Кузьмина сливаются в восприятии читателя воедино с ярким, самобытным, прихотливо стилизованным языком Лескова. Творчество художника достигает здесь подлинно органического «сродства» с искусством писателя.

Причудливая, узорная ткань «Сказа о тульском косом левше и о стальной блохе» подсказала Н. Кузьмину соответственно гибкую и богатую форму иллюстрирования, при которой рисунки то сопровождают текст, то окаймляют, то внедряются в него. Художник не скупится на самые разнообразные приёмы: здесь и страничные и полустраничные рисунки, и совсем крохотные виньетки, и более крупные заставки, концовки. Иллюстрации чёрные и многоцветные, одни чуть-чуть тронутые красками, другие — сочно, грубовато раскрашенные в стиле старинного народного лубка.

Рисунки сделаны пером, которым поистине виртуозно владеет Н. Кузьмин. То лёгкими, изящными, как бы порхающими штрихами, то более резкими, упругими и контрастными — художник с удивительным

Мы закрыли книгу с тем чувством, что многое узнали о величайшем учёном Востока, тысячелетие со дня рождения которого, по призыву Всемирного Совета Мира, отмечало всё человечество. Не все страницы повести подарили нас художественным наслаждением, но каждая страница обогатила наш ум, мы жили волнением автора, мы вместе с писательницей полюбили её удивительного героя.

С. ЛИПКИН.

мастерством лепит пластическую, объёмную форму лиц, фигур, складок одежды, предметов, пейзажа.

Иллюстраций много — около восьмидесяти. Перед нами проходит целая галерея образов эпохи: талантливые и горемычные русские умельцы, хитроумные английские мастера, цари, генералы, придворные, «свистовые казаки» — все они изображены правдиво, ярко, и мы узнаём в них именно тех людей, о которых рассказывает нам Лесков.

Но самыми выпуклыми и живыми вышли из-под пера художника две центральные фигуры повести, на которых сосредоточилось внимание иллюстратора, — Платов и левша.

С «мужественным стариком» — донским казаком Платовым — мы встречаемся почти на каждой странице. Кузьмин показывает его и в групповых композициях, и отдельно, и как бы приближая его к читателю крупным планом, так что мы можем разглядеть каждую складку и чёрточку очень выразительного лица Платова — то недовольного, то сосредоточенного, то лукавого, то торжествующего.

Такого же художественного единства с замыслом писателя иллюстратор достиг в образе левши — в подлинном олицетворении русского народного гения, одного из бесчисленных, безымянных талантов-самородков, загубленных тупым бездушием и варварским произволом царизма.

Левша у Кузьмина — спокойный и задумчивый, трогательный своей очень «человечкиной душой».

Особенно хороша, на мой взгляд, сценка «аглицкого парея», где левша сидит за столом вместе с откормленным, захмелевшим «полшкипером». Сколько здесь тонкого юмора и богатого выразительного подтекста! Менее удачно изображён левша, сидящий в коляске, в ногах у Платова.

Метко и верно схвачены и другие персонажи повести. Блестяще нарисованы оба царя: по-маниловски слащавый и томный Александр, напыщенный и самодовольный солдафон Николай. Единственная неточность допущена, как мне кажется, художником на рисунке, где Платов упрямо вывёртывает замок из «пистолети неизвестного мастерства». На лице царя играет при этом какая-то снисходительно-ироническая улыбка,

а между тем выражение у Александра должно быть встревоженное и несколько грустное: ведь царь по своей деликатности боится «skonфузить» гостей...

Иллюстрации к «Сказу о левше» — большая и радостная удача советской сатирической графики. Повесть Н. С. Лескова, оформленная Н. В. Кузьминым, — прекрасный подарок нашему читателю.

Бор. ЕФИМОВ.

★

Живой Рахманинов

Чем дальше читаешь письма Рахманинова, тем больше кажется, что он жив как же, как его музыка; что его строки, на протяжении пятидесяти трёх лет адресованные самым разным людям, ещё хранят тепло его руки; что живое сердце великого труженика и гениального музыканта всё ещё бьётся.

Всё творчество Рахманинова было исполнено добра и красоты. Добра потому, что любое из 177 его произведений — не только проникнутая светом «Весна», но и возвышенный трагизм Четвёртого фортепианного концерта или Третьей симфонии — вдохновлено идеями гуманизма и словно излучает любовь к человеку, порыв к его радости, сострадание к его несчастьям. Красоты потому, что совершенный и разнообразный мелодизм всегда был основой его творений.

«Мелодия — это музыка, главная основа всей музыки», — говорил Рахманинов, характеризуя творчество русских композиторов. Рахманинов сам принадлежал к их блистательной плеяде, сам исповедовал эстетическое кредо передовых русских художников, дарование которых формировалось на рубеже XIX и XX веков, в тревожную и знаменательную эпоху накопления общественных сил для величайшего исторического перелома.

Конечно, Рахманинов не был революционером. Но широкая и мятущаяся душа, интуиция великого художника вела его к непрестанному исканию новых дорог в искусстве и жизни.

В 1905 году Рахманинов вместе с Таневым, Шаляпиным и другими подписал постановление московских музыкантов, в котором говорилось: «...когда по рукам и

ногам связана жизнь, — не может быть свободно и искусство, ибо искусство есть только часть жизни. Когда в стране нет ни свободы мысли и совести, ни свободы слова и печати, когда всем живым творческим начинаниям народа ставятся преграды, — чахнет и художественное творчество... Мы... такие же бесправные жертвы современных ненормальных общественно-правовых условий, как и остальные русские граждане».

И хотя это гражданское настроение не привело Рахманинова к ясному пониманию путей завоевания подлинной свободы, он до конца дней своих оставался человеком, нежно любившим свою отчизну, и тот, кто прочтёт его письма периода Великой Отечественной войны, ощутит это особенно явственно.

В приложении к рецензируемому сборнику приведено интервью, данное Рахманиновым корреспонденту нью-йоркского журнала «Monthly Musical Record», которое заканчивается горестным признанием: «Уехав из России, я потерял желание сочинять. Лишившись родины, я потерял самого себя. У изгнанника, который лишился музыкальных корней, традиций и родной почвы, не остаётся желания творить, не остаётся иных утешений, кроме неушиемого безмолвия нетревожимых воспоминаний».

Честность и прямотуше были неотъемлемыми свойствами Рахманинова. И если судить по его письмам (а они дают нам для воссоздания его нравственного облика материал почти исчерпывающий), то именно эти качества наряду с взыскательностью и трудолюбием доминировали в его характере.

Не много найдём мы среди 565 ныне опубликованных писем Рахманинова таких, где бы он не говорил о работе, о сво-

С. В. Рахманинов. Письма. Редакция, вступительная статья и комментарии Э. Апетяц. 503 стр. Государственное музыкальное издательство. М. 1955.

ём обязательном, едва ли не каждодневном, непрерывном, порой мучительном, но всегда желанном труде.

Начиная с полушутливых писем к сёстрам Скалон семнадцатилетнего «странствующего музыканта Сергея Рахманинова», мы беспрестанно встречаем слова «работа», «работать», «спешить», «стараться» и т. д. И если в шестнадцать лет он уже был композитором, чьи вещи исполнялись публично; если в девятнадцать лет он был уже известным исполнителем, дававшим концерты из труднейших произведений; если год от году и до самой смерти росла его слава творца и интерпретатора музыки, — то объясняется это прежде всего трудом. Трудом и талантом.

Но сам Рахманинов считал эти понятия совпадающими или, во всяком случае, утверждал, что работоспособность — признак и неотъемлемое, может быть, самое главное свойство таланта. «...Помимо способностей, настоящему таланту полагается и дар работоспособности с первого дня осознания своего таланта», — пишет он своему другу В. Р. Вильшау в 1935 году.

А за сорок пять лет до того — в 1890 году — он писал: «Вторник и среду я напролёт сидел за балетом» (речь идёт о переложении «Спящей красавицы» Чайковского для исполнения на рояле в четыре руки); «...у меня ни одной минуты почти свободной нет»; «когда занимаешься весь день напролёт, тогда становится как-то легче... сюиту свою кончил только сейчас инструментовать. Это всё хорошо, только вот у меня после этой работы правая рука страшно болит...» Читая эти письма и невольно вспоминаешь чеховское: «многописание — великая, спасительная вещь», горьковскую усидчивость, его писание «до боли в плече»...

Чем дальше, тем больше развивалась феноменальная работоспособность Рахманинова: растёт число его собственных произведений, которые он отделяет, не жалея сил; с увеличением его популярности пианиста увеличивается число часов его упражнений на рояле, с приобщением к дирижированию растёт его работа с оркестром и черновая, подспудная, никому не заметная работа «с самим собою» над оперными партитурами. В 1939 году он подчёркивает: «...конец работы для меня знаменует конец жизни».

Есть несомненная психологическая закономерность в том, что такой подвижничес-

кий труд идёт об руку с предельной художественной взыскательностью. Невозможно определить, что раньше возникает в душе великого артиста — самокритичность или трудолюбие, вечная неудовлетворённость собой или органическая потребность в каждодневной работе. Это сплав, взаимопроникновение характерных черт всякого таланта.

В этом мы убеждаемся и на примере Рахманинова. Уже в юношеских письмах и в шуточной и в серьёзной форме звучит крайняя требовательность к своему мастерству. В тридцать шесть лет в письме к Морозову: «За эти две недели я только и поспел исправить «Toteninsel» для печати. Сделал я там очень много поправок. Почти половину переписал вновь». В письме к В. Р. Вильшау: «Вот уже четыре года, как я много занимаюсь. Я делаю успехи, но право же — чем больше играю, тем больше вижу свои недостатки. Вероятно, никогда не выучусь, а если выучусь, то накануне смерти разве... Раньше, когда сочинял, мучился от того, что плохо сочиняю, теперь — от того, что плохо играю. Внутри себя ощущаю твёрдую уверенность, что могу делать и то и другое лучше. Этим и живу».

Вот это самосознание своих возможностей и есть, очевидно, высшая радость, которая была дана Рахманинову. В сочетании с предельной его самокритичностью она и давала ему, наверное, тот творческий импульс, который поддерживал великого музыканта до самого его последнего дня, наступившего во время очередного концертного турне 1943 года.

Программы его концертов — образец строгого вкуса, огромной музыкальной культуры, отвращения к модернизму. «Модернистов не играю. Не дорос!» — иронически восклицает он в одном из писем середины тридцатых годов. Но ещё в самом начале века, в России, он резко выступал против адептов «новых» веяний в музыке, высмеивал отсутствие ясности в произведениях футуристов, а в 1919 году говорил: «Я мало ценю тех, кто отказывается от мелодии и гармонии ради погружения в оргию шума и диссонансов, являющихся самоцелью. Русские футуристы повернулись спиной к простой народной песне своей родины, и, вероятно, потому их творчество вымучено, ходульно и неестественно. Это справедливо в отношении не только русских футуристов, но и всяких других. Они стали отщепенца-

ми, людьми без родины — в надежде, что смогут стать интернациональными. Но в этом они ошибаются...

Естественно и как нельзя более отраднo, что в нашей стране произведения Рахманинова исполняются чаще, чем где бы то ни было. Не говоря уже о пианистах, певцах и дирижёрах, признанных лучшими интерпретаторами Рахманинова, мы не можем не гордиться тем, что даже на хореографических подмостках живут его творения: Уланова сделала «Элегию» Рахманинова поистине зримою музыкой.

Но невозможно умолчать здесь и о чрезвычайной ограниченности рахманиновского репертуара в филармонических концертах, о том, что мало идёт его «Алеко», хотя сам Чайковский мечтал, чтобы первая опера Рахманинова шла в один вечер с

«Иолантой». Большую радость принесла постановка в Большом театре «Франчески да Римини», хотелось бы, чтобы и другие театры обратили внимание на эту оперу, о которой так часто упоминается в опубликованных письмах Рахманинова.

Их издание — заслуга Центрального музея музыкальной культуры и Государственного музыкального издательства. Подбор писем, редакция, вступительная статья и комментарии З. Апетянц сделаны так, что вводят в круг жизни и творчества Рахманинова любого читателя. Он узнаёт живого Рахманинова и, расставаясь с ним, не говорит горестного «прощай», а ждёт новых и новых встреч с его вечно живой музыкой.

А. ИЛУПИНА.

★

Об одном рассказе Кришана Чандра

Впервые читая в юные годы «Простую душу» Флобера, Горький был изумлён тем, какое потрясающее впечатление производит на него «неинтересная» жизнь обыкновенной кухарки. Горький признавался, что он машинально рассматривал страницы на свет, словно надеялся увидеть между строк разгадку творческой тайны Флобера.

Индийский писатель Кришан Чандр, без сомнения, владеет тайной творческого мастерства, позволяющей создавать произведения искусства, художественная правда которых потрясает не меньше, чем сама жизнь. Об этом свидетельствуют рассказы Кришана Чандра, переведённые на русский язык и включённые в «Избранное». Чтобы убедиться в этом, достаточно взять один из них, например, «Калу Бханги».

Калу Бханги, как и его отец, живёт и умирает мусорщиком. Он трудится всю жизнь, но он нищ, а вряд ли бывает нищета страшнее той, которая выпадает на долю индийцев низших каст.

Автору удалось вылепить фигуру героя так рельефно, что она врежется в память. Мы видим изнурённого, истощённого человека с натруженными руками и понимаем, почему эта скорбная фигура, знакомая писателю с детства, снова и снова возникает в его воображении: ведь искусство ответ-

ственно за всё, что происходит в жизни, а значит, и за горькую участь таких, как Калу Бханги. Мы верим писателю, что из года в год Калу Бханги смотрит на него с немым укором, с невысказанной тоской, словно просит о чём-то. «Я знаю, чего ты хочешь! — говорит Кришан Чандр. — Ты хочешь выслушать рассказ, который до сих пор так и не написан, хотя его можно было бы написать». Кришану Чандру ясно, что литература в долгу у поработённых труженников, о беспросветной жизни которых должна быть сказана жгучая правда. Написав рассказ о Калу Бханги, художник выплатил свой долг сполна.

Однако чем же всё-таки обусловлена ценность созданного Чандром реалистического произведения? От чего зависит неповторимая выразительность рассказа? От того ли, что писатель сумел колоритно воспроизвести облик Калу Бханги, на черты которого наложила неизгладимый отпечаток его жизненная судьба? От того ли, что писатель с нескрываемым волнением говорит об этой тяжкой судьбе, обращаясь то к своему герою, то к читателям? Конечно, и в одном и в другом проявляются отличительные качества творческого дарования Кришана Чандра: живописность и эмоциональность. Но талант — это не просто совокупность доступных мастеру литературных приёмов, а свойственное ему умение видеть и показывать реальную действительность так, чтобы люди, ради которых пишутся

Кришан Чандр. Избранное. Перевод с урду. Редакция и предисловие А. Нукаркина. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

книги, вдумывались в существующее и стремились к лучшему.

«Настоящая жизнь невозможна, пока ты, Калу Бханги, стоишь здесь со своей метлой в руках», — говорит Кришан Чандр. Читая рассказ, всё более и более убеждаешься в справедливости этих слов. Изображение безрадостного существования обездоленного человека само по себе вызывает негодование против социальной несправедливости. Чувство это усиливается, как ни странно, именно тогда, когда герой испытывает нечто отдалённо похожее на радость. Такое ощущение приходило к Калу Бханги летом, в солнечный день, на зелёной лужайке, где под его присмотром паслась хозяйская корова. «Словно зеркало, сверкала на солнце лысина Калу Бханги, а корова неторопливо лизала его голову», — рассказывает Чанар. Фигура Калу Бханги, присевшего на корточки перед высунутым коровьим языком, не выглядит гротескной: для этого она слишком трагична. Вся сцена представляет собой яркий пример творческого мастерства художника, который обладает способностью воплощать сложные социально-психологические проблемы в реально ощутимые образы. Разве не становится ясно, насколько недопустимо существование социальных условий, при которых человек лишён самого необходимого для жизни? Радость нужна человеку не меньше, чем хлеб, а Калу Бханги никогда не наедался дёсны и никогда не испытывал настоящей радости. Всё это отображено в произведении со свойственным художнику умением выявлять общезначимое в конкретном, типичное — в индивидуальном.

В рассказе о Калу Бханги множество выразительных деталей; каждая из них добавляет новый штрих и новую краску к вдохновенно нарисованной картине. При этом автор не перестаёт вести с читателем разговор об изображённом, придавая рассказу особую интонацию, то горько-ироническую, то нежно-задушевную, всегда взволнованную.

У старейшего индийского поэта Валлатхола есть стихотворение, краткий пересказ которого сводится к следующему. Когда поезд тронулся, с крыши через окно в вагон влез оборванный мальчик. Он запел, и казалась странным, что из иссохшего горла льётся звонкая песня. Мальчик пел о том, как мучителен голод. Его слушали люди, которые тоже страдали от голода.

«И в ладошки хрупкие, как слёзы, падали скудные медяки...»

Стихотворение Валлатхола называется «Индия плачет». Калу Бханги в рассказе Кришана Чандра не плачет, у него нет слёз. Придавленный гнѐтом безрадостного существования, он даже не представляет себе, что мог бы жить иначе: в его душе нет ни отчаяния, ни надежды. Общественные горячки, при которых трудящегося человека постигает такая страшная судьба, не должны и не могут оставаться неизменными. К этой мысли, как к итогу, Чандр подводит читателей многими путями, разнообразие которых свидетельствует о силе и полноте его творческого дарования.

«Чего же ты хочешь от меня? Ведь я рассказал всё, что знал о тебе! Зачем же ты стоишь передо мной и мучаешь меня?» — спрашивает автор, обращаясь к своему герою. Вопрос этот не остаётся без ответа. Произведение в целом представляет собой взволнованный вопрос и оптимистический ответ. Прочитывая рассказ, мы убеждаемся в том, что индийскому писателю присущ подлинный гуманизм. Повествование о бедном мусорщике конечно, но Калу Бханги будет живым укором стоять перед глазами писателя, пока в реальной действительности мрачное существование подобных ему не изменится к лучшему. Для того, чтобы настало светлое время новой жизни, когда и Калу Бханги станет другим, «нужны усилия писателя и его читателей», «соединѐнные усилия всех людей», — говорит Кришан Чандр.

Мы знаем, что за последние годы на родине Кришана Чандра произошли большие перемены к лучшему. Индийская Республика доказала прогрессивному человечеству свою готовность отстаивать мир во всѐм мире. Дружба советского и индийского народов, несомненно, содействует победе мира и торжеству прогресса. Тем не менее не следует думать, будто таких людей, как Калу Бханги, нет на нашей планете.

Вернёмся к тому, с чего мы начали. «Неинтересная» жизнь обыкновенного мусорщика, в которой не было ни выдающихся событий, ни бурных переживаний, воспринята художником так, что повествование о ней стало значительным произведением искусства. В этом повествовании ощущима преемственность, идущая от лучших традиций индийской и мировой литературы. Вместе с тем рассказу свойственна новизна, которая навеяна свежим ветром совре-

менной эпохи. Повесть Чандра «Когда пробуждаются поля» насквозь проиизана бурными порывами этого ветра: герой её, сын ватти¹ и сам ватти, шёл впереди восставшего народа в 1946—1948 годах, когда крестьяне прогнали помещиков и поделили землю. В творчестве Чандра повесть «Когда пробуждаются поля» воспринимается

¹ Ватти — батрак, находящийся в пожизненной долговой кабале у помещика.

как своего рода продолжение рассказа «Калу Бханги», хотя каждое из этих произведений совершенно самостоятельно. Оба они войдут в литературу навсегда. И если искать разгадку творческой тайны индийского писателя, то она окажется простой: Кришан Чандр — талантливый художник, который распознаёт правду, воспроизводит правду, борется за правду.

Л. СИМОНЯН.

★

Политика и наука

Героическая эпопея китайского народа

После победы народной революции в Китае создались благоприятные условия для развития наряду с другими отраслями знания исторической науки. Издаются различные монографии и обобщающие труды, публикуются многочисленные исторические источники, документы и материалы. Только по периоду новой истории Китая (1840—1917) за последние два года изданы много томные публикации материалов — об опиумной войне, о Тайпинском восстании, Няннданском восстании, восстаниях некитайских национальностей, китайско-французской войне, движении за реформы 1898 года, об Ихэтуаньском восстании. В центре внимания китайских историков находится народ, его борьба за свободу и независимость.

Проблемы национально-освободительной борьбы китайского народа занимают главное место и в книге Фань Вэнь-ланя «Новая история Китая».

Имя профессора Фань Вэнь-ланя хорошо известно советской научной общественности. Он является одним из видных представителей передовой части китайской интеллигенции, которая твёрдо стала на позиции марксизма и неразрывно связала свою судьбу с судьбой народа. Выражением большого авторитета учёного является избрание его в 1954 году депутатом Всекитайского собрания народных представителей. В настоящее время Фань Вэнь-лань — директор Третьего института истории Академии наук КНР. Его перу принадлежат

труды по различным проблемам истории Китая.

В 1945 году, находясь в Яньани, столице революционного Китая, он закончил капитальный труд «Новая история Китая». Книга в 1955 году вышла в КНР уже девятым изданием. Теперь она переведена на русский язык.

Фань Вэнь-ланю удалось ярко и убедительно показать свободолюбие великого китайского народа, силу его сопротивления иностранным захватчикам. Начиная с 30 мая 1841 года — славного дня «первого подъёма национально-освободительного движения», когда жители южнокитайской деревни Саньюаньли и окрестных селений в ответ на бесчинства английских агрессоров подняли знамя «отрядов усмирения англичан», — все сто с лишним лет новой и новейшей истории Китая наполнены героическими примерами национально-освободительной борьбы. Китайский народ гордится своими прославленными предками — бойцами «отрядов усмирения англичан», сыном крестьянина Ли Сю-эном, возглавившим борьбу тайпинской армии против объединённых сил китайско-маньчжурской реакции и иностранных агрессоров, крестьянами, ремесленниками, кули — участниками Ихэтуаньского восстания, которые не допустили уничтожения Китая как государства. История Китая поистине окрашена в красный цвет — цвет крови лучших сынов народа, защитников национальной независимости и суверенитета страны.

Полной противоположностью высокому патриотизму простого народа служат «традиции» ведущей группировки среди эксплуататоров. «По мере постепенного усиления иностранной агрессии её предательская

Фань Вэнь-лань. Новая история Китая. Том I. 1840—1901. Перевод с китайского. Редакция и предисловие В. Н. Никифорова. 600 стр. Издательство иностранной литературы, М. 1955.

деятельность всё больше расширялась, — пишет Фань Вэнь-лань. — Начало положил Му Чжан-э, его преемниками по части предательства стали Цзэн Го-фань, Ли Хун-чжан, Юань Ши-кай, Дуань Ци-жуй, Ван Цзин-вэй и, наконец, самый гнусный предатель родины — Чан Кай-ши. За прошедшие 100 лет один предатель сменял другого. Шаг за шагом они привели страну к тому, что она превратилась в колониальный ад».

Были и среди сановников того времени патриоты, подобные Линь Цзэ-сюю, который занимал пост особоуполномоченного по борьбе с опиумной торговлей и прославился решительным сопротивлением агрессорам. Однако политику определяли капитулянты и реакционеры, свирепо расправлявшиеся с народом и пресмыкавшиеся перед иностранцами. Это о них Фань Вэнь-лань пишет, что «тигры и волки, истребившие сотни тысяч человек, перед лицом иностранных агрессоров неизбежно превратились в собак и баранов, прячущихся и сдающихся в плен».

Китайскому народу приходилось бороться на два фронта — и против чужеземных захватчиков и против местных угнетателей. Так было и в период Тайпинского восстания и на рубеже XIX и XX веков, когда империалистические державы перешли от захвата пограничных к Китаю государств — Бирмы, Вьетнама — к разделу Китая. Бойцы «отрядов мира и справедливости», поднявшиеся на борьбу с империалистами, должны были отражать удары в спину, наносимые национальными предателями типа Ли Хун-чжана и Юань Ши-кай.

В книге ярко нарисован образ военачальника тайпинов Лю Юн-фу, который после поражения восстания увёл свои войска — отряды «Чёрного знамени» — на границу с Вьетнамом. Когда французские колонизаторы развязали в 1884 году войну за окончательный захват Вьетнама, отряды «Чёрного знамени» во главе с Лю Юн-фу пришли на помощь вьетнамскому народу и вели борьбу против оккупантов. А через десять лет, в 1895 году, Лю Юн-фу организовал борьбу против японских империалистов на Тайване. Страницы книги, посвящённые сопротивлению китайского населения острова японской оккупации, ещё раз напоминают о том, что Тайвань — китайский остров, который должен и будет принадлежать Китаю.

Говоря о попытке буржуазных реформ, совершённой Кан Ю-вэем и его сторонниками в 1898 году, Фань Вэнь-лань объясняет неудачу этой попытки слабостью китайской буржуазии, её неспособностью к решительной революционной борьбе с реакцией. «Китайский народ мог осуществить задачи революции, только получив руководство со стороны китайского пролетариата. Возлагать же свои надежды на буржуазию он не мог».

Из то же время массовые восстания XIX века, главной силой которых были крестьяне, свидетельствовали о том, что крестьянство, не руководимое рабочим классом, не может добиться победы в борьбе с феодалами и иностранными агрессорами. Китайский народ, «учтя горькие уроки из поражения восстаний тайпинов и «ихэтуаней», начал отказываться от старых форм борьбы и переходить к сознательному демократическому движению. Не прошло и 20 лет, как он вступил в этап новодемократической революции».

Этот этап начался после победы Великой Октябрьской социалистической революции в России. Рабочий класс Китая вышел на арену политической борьбы и создал свою коммунистическую партию, которая привела китайский народ в 1949 году к великой победе, изменившей лицо Азии.

Вместе с Советским Союзом и Индийской Республикой народный Китай решительно борется против попыток вновь закабалить азиатские народы. Опыт вековой освободительной борьбы помогает народным массам Китая и других стран Востока распознать коварные приёмы империалистов, срывать их замыслы, противопоставлять колониальным державам свой единый фронт.

Рассматривая новую историю Китая с марксистских позиций, автор немало место отводит экономическим проблемам. В частности, он развенчивает «пионеров промышленного развития Китая», — представителей феодальной чиновной бюрократии, показывая их тесную связь с иностранным капиталом.

Работа Фань Вэнь-ланя, богатая фактическим материалом, далека от академизма и читается с большим интересом.

Выход в свет на русском языке содержательной и поучительной книги Фань Вэнь-ланя является новым свидетельством укрепления научных связей между СССР и КНР.

Кандидат исторических наук М. ЮРЬЕВ.

Политика национальной катастрофы

Два года назад в одном из своих выступлений федеральный канцлер Аденауэр заявил: «Немецкий народ чтит память семи миллионов погибших во время второй мировой войны и двух миллионов погибших в первую мировую войну. Множество убитых покоится в чужой земле. По пятидесяти трём странам разбросаны немецкие могилы».

В мае нынешнего года в бундестаг был внесён законопроект о всеобщей воинской повинности, необходимой, как было указано в правительственном меморандуме, для укрепления «миролюбивого» и «оборонительного» Североатлантического союза и для противодействия СССР, который ставит своей задачей «покорение свободного мира».

Законопроект о всеобщей воинской повинности предусматривает создание в короткие сроки полумиллионной армии. Это — логическое следствие политики ремилитаризации, проводящейся западногерманскими милитаристами под эгидой империалистических кругов США и некоторых западноевропейских стран.

Итак, всё хотят начать сначала. Воздух Западной Германии снова сотрясают воинственные речи старых фашистских генералов, рабски преданных пресловутой доктрине «Дранг нах Остен». В Мюнхене организовано «Военно-научное общество». Его возглавил «учёный совет», в состав которого вошли бывшие генералы вермахта, в их числе и генерал Мантейфель, организатор другого военного объединения — «Брудершафт». Возникают всё новые группы и ассоциации бывших участников войны. Большинство их входит в «Союз немецких солдат», насчитывающий свыше трёх тысяч местных отделений. Открыто объединяются и бывшие эсэсовцы, лелеющие в глубине души мечту о том, чтобы ещё раз верой и правдой послужить кровавожадному германскому империализму.

Р а ч и W a n d e l. Der deutsche Imperialismus und seine Kriege — das nationale Unglück Deutschlands. S. 192. Dietz Verlag, Berlin. 1955 (П а у л ь В а н д е л ь. Германский империализм и его войны — национальное несчастье Германии. 192 стр. Издательство Дитц, Берлин. 1955).

Э. Д з е л е п и. Умереть за Германию? Перевод с французского Е. Рубинина. Редактор А. Ф. Шульговский. 140 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1955.

Германские милитаристы и империалисты — смертельные враги мира и независимости народов — дважды на протяжении жизни одного поколения ввергли Германию в национальную катастрофу.

Об уроках двух мировых войн, о тяжких страданиях, выпавших на долю немецкого народа, напоминает вышедшая в ГДР книга Пауля Ванделя «Германский империализм и его войны — национальное несчастье Германии». Написанная на строго документальном материале, иллюстрированная цифровыми данными, книга эта меньше всего походит на бесстрастное историческое или экономическое исследование. Она по-настоящему публицистична и глубоко патриотична. Пером Ванделя водила любовь к родному народу, забота о его будущем.

Книга Ванделя всем своим содержанием опровергает псевдонаучные труды западногерманских и некоторых других историков, которые тчатся доказать «закономерность» и «историческую необходимость» прихода к власти фашизма в Германии, возрождения милитаризма в ФРГ и включения её в агрессивный Североатлантический союз.

Оглядываясь на путь, пройденный Германией за первую половину XX столетия, Вандель справедливо замечает, что всё это время немецкий народ вынужден был либо воевать, либо готовиться к войне. Вандель подвергает обстоятельному анализу не только отдельные исторические факты, но и делает широкие обобщения, раскрывает условия зарождения и усиления германского империализма, неразрывно связанного с ростом могущества монополий и их стремлением к захвату новых рынков.

Характерной представляется кривая доходов фирмы Круппа — этого злого гения Германии, при всех режимах олицетворявшего её военный потенциал. В 1933 году дивиденды фирмы составили 118 миллионов марок. В 1940 году они увеличились до 421,4 миллиона. В начале 1945 года семейству Крупп принадлежали сто десять германских и сорок одно заграничное предприятие. Более чем вдвое возросли перед второй мировой войной доходы крупнейшего сталепромышленника Тиссена, пожертвовавшего несколько миллионов марок в фонд фашистской партии и обогатившего приход к власти Гитлера.

Несмотря на колоссальные изменения, произошедшие в мире после окончания вто-

рой мировой войны, несмотря на возникновение нового суверенного государства — Германской Демократической Республики — и рост сил мира во всём мире, западногерманские милитаристы остаются верными себе. Разве не появляются ныне в западногерманской прессе обветшалые завоевательные лозунги, с помощью которых делается попытка хоть как-нибудь поднять сникший после 1945 года боевой дух недобитых гитлеровцев? И разве, как две пули из одной обоймы, не похожи они на изречения идеолога тотальной войны Людендорфа или на истерические страницы «Майн кампф» Гитлера? Богом германских империалистов, злостно клеветующих на миролюбивую внешнюю политику СССР, попрежнему остаётся бог войны.

Много интересного сообщают главы книги о борьбе рабочего класса Германии против войны, империализма и фашизма в период с 1914 по 1945 год.

Ещё до начала второй мировой войны сотни тысяч мужчин, женщин, юношей и девушек были брошены в тюрьмы или приговорены к каторге. Во время владычества Гитлера около миллиона немцев было заключено в фашистские концлагери. Тридцать две тысячи лучших представителей народа были казнены. В августе 1944 года фашисты убили Эрнста Тельмана, чьё имя служит для миллионов людей символом миролюбивой демократической Германии.

Исторической заслугой антиимпериалистических сил, и прежде всего немецкого рабочего класса, является то, что они, несмотря на тяжкие жертвы, стремились направить развитие страны по мирному пути. Вандель рассказывает о понятии героической в условиях фашистского террора борьбы Коммунистической партии Германии за создание антифашистского народного фронта.

И всё же, указывает автор, нужно тщательно изучить те ошибки, которые помешали демократическим элементам Германии предотвратить приход к власти фашизма и развязывание войны.

Деятельность немецких антифашистских сил, в авангарде которых шли коммунисты, заметно усилилась во время второй мировой войны. Большую роль сыграл национальный комитет «Свободная Германия», способствовавший подъёму движения сопротивления в фашистском рейхе. В одном из со-

общений в адрес Аллена В. Даллеса, находившегося в годы войны в Швейцарии, говорилось: «В Германии существует коммунистический центральный комитет, который руководит коммунистической деятельностью в Германии... Сдвиг в сторону крайне-левых принимает удивительные размеры и постоянно усиливает своё значение».

Вандель разоблачает преступный сговор империалистов Западной Германии и США, направленный в первую очередь против немецкого народа. Одним из важнейших условий этого сговора является то, что на «передовой линии огня» должны будут находиться немецкие, а не американские солдаты.

Сегодня, заявляет автор, для решения германского вопроса имеется лишь один разумный путь, предложенный Советским Союзом и ГДР и отвечающий кровным интересам немецкого народа и его соседей в Европе. Но создание мирной, демократической Германии никак не вяжется со стремлением правящих кругов ФРГ добиться «объединения» Германии путём «освобождения Востока».

Книгу Ванделя дополняет работа видного французского буржуазного публициста Дзелепи, носящая название «Умереть за Германию?» и полемически заострённая против перевооружения Западной Германии. Дзелепи, пишет в предисловии его соотечественник Бернар Лавернь, «в настоящее время является одним из наиболее осведомлённых людей по вопросам эволюции немецкой политики и настроений как руководящих кругов, так и немецкого народа».

Обстоятельно изучив историю германского вопроса, начиная с 1947 года, Дзелепи шаг за шагом разоблачает несостоятельность доводов сторонников вооружения Западной Германии. «Будущие историки, — указывает он, — окажутся в весьма затруднительном положении, когда им нужно будет установить причины, побудившие западные державы во главе с США начать вооружение Германии спустя лишь несколько лет после её разгрома в самой чудовищной из войн, которые она развязала в течение столетия».

Дзелепи выражает настроения широких кругов французской общественности, видящих в вооружении Германии угрозу национальным интересам Франции. Вот почему, как бы объясняя название своей книги, он

пишет: «Стремиться перевооружить Германию и вступить с ней в союз — значит стать её соучастником и согласиться умереть за неё». Полемизируя со сторонниками политики «европейской интеграции», автор указывает, что их драма состоит в стремлении организовать «оборону Европы» при помощи державы, которая в течение двадцати пяти лет дважды пыталась поработить Европу. «Вот почему логика на стороне тех, кто больше опасается «двенадцати германских дивизий», чем 150 советских дивизий».

С этими словами переключается высказывание парижской газеты «Фигаро» (май 1956 года) в связи с решением Советского Союза сократить свои вооружённые силы: «Общественное мнение не только во Франции, но и в других западных странах будет оказывать давление на свои правительства, добиваясь того, чтобы они последовали примеру Советского Союза... Как же в такой обстановке будет выглядеть Федеративная Республика Германии — единственная вооружающаяся страна в окружении стран, готовых предпринять сокращение своих вооружённых усилий?.. Для Франции перспектива германского перевооружения не представляет, естественно, в таких условиях никакой привлекательности».

Цели, которые ставят перед собой руководители Западной Германии, с грубой приподлинностью выболтала ещё в 1953 году

«Deutsche Soldatenzeitung» («Немецкая солдатская газета»): «Мы принимаем идею Европейского оборонительного сообщества, потому что она даёт нам политические шансы». Не нуждается в расшифровке, что именно нужно понимать под «политическими шансами». И не случайно, говорит Дзелепи, с американской точки зрения нет никакого противоречия между территориальными претензиями Западной Германии и «оборонительным» характером Атлантического союза.

На страже интересов немецкого народа стоит Германская Демократическая Республика, миролюбивую политику которой всё активнее поддерживают широкие народные массы на всей германской территории, борющиеся против возрождения милитаризма, за мирное и демократическое развитие Германии.

Книга Ванделя имеет подзаголовок «Попытка разъяснения рокового характера немецкой истории последних сорока пяти лет». Эта попытка, несомненно, удалась. Немецкий народ, настойчиво подчёркивает Вандель — и в этом пафос всей его работы, — должен извлечь ценные уроки из наполненной кровавыми войнами первой половины XX века. Тогда вторая его половина станет и для Германии и для всей Европы эпохой — эпохой мира.

А. ИГЛИЦКИЙ.

★

Успехи польской географической науки

В Варшаве вышло новое издание капитального труда «Физическая география Польши», принадлежавшего погибшему от руки фашистских оккупантов профессору Станиславу Ленцевичу и его ученику профессору Ежи Кондрацкому.

Труд Ленцевича — Кондрацкого продолжает славные традиции польской географической науки, насчитывающей много выдающихся имён, начиная от Коперника,

Станислав Ленцевич, всесторонне образованный учёный, неутомимый путешественник, трудолюбивый исследователь, добился выдающихся научных результатов.

Stanisław Lenczewicz, *Geografia fizyczna Polski. Opracował i uziębował Jerzy Kondraccki Warszawa, 1955* (Станислав Ленцевич, Физическая география Польши. Переработал и дополнил Ежи Кондрацкий. Варшава, 1955).

Примером его трудолюбия может служить составленный им систематический каталог озёр Польши, которых в довоенных границах было 6 659.

Основной научной работой Ленцевича явился его обстоятельный географический труд «Польша», подобным которому насчитывается не много в мировой географической литературе.

Достойными продолжателями дела своих предшественников оказались учёные народной Польши, сумевшие широко развернуть исследовательскую работу. В Варшаве выросло новое здание Института географии Польской Академии наук.

Книга профессора Ленцевича рассказывает о природе Польши и труде польского народа, умножающего и по-повому использующего естественные богатства своей родины.

Один из ближайших учеников С. Ленцевича, профессор Ежи Кондрацкий, «переработал и дополнил» эту книгу, как об этом скромно говорится в её подзаголовке. Работа проделана огромная. Достаточно сказать, что около одной трети территории послевоенной Польши составляют земли, воссоединённые с ней по Потсдамскому соглашению. Весь текст, относящийся к этим землям, принадлежит Е. Кондрацкому.

Сравнивая издания труда С. Ленцевича 1937 и 1955 годов, мы можем судить о выдающихся успехах польской географической науки. В последнем издании бросается в глаза прежде всего тщательность и полнота характеристики поверхности страны, климата, растительности.

По существу новой является глава о природных ресурсах. Мы узнаём о плановых мероприятиях по улучшению природных условий и рациональному использованию естественных ресурсов. Это не могло быть предметом исследования в старой Польше: стихийное, хищническое использование ресурсов природы — неизбежный спутник капиталистического строя.

С. Ленцевич отмечал недостаточное использование ресурсов каменного угля «за отсутствием спроса». Е. Кондрацкий подчёркивает быстрый рост добычи не только каменного и бурого угля, но также металлогенных руд, химического сырья и других полезных ископаемых в связи с огромными масштабами хозяйственного строительства в народной Польше.

Большой интерес представляют сообщения о перспективах водно-энергетического строительства. Следует всё же пожалеть, что в книгу не включены последние данные о мелиоративных работах, развёрнутых на территории Люблинского, Белостокского и других воеводств, в частности о строительстве канала Вепж—Кжна и о гидроэнергетическом строительстве в бассейне Одры.

Наиболее ценными в книге являются описания районов Польши. Перед читателем раскрываются картины польской природы. Узкая полоса приморских земель с глубоко врезающимися Щецинской и Гданьской бухтами. Мягкий, влажный климат, серо-голубые тона пейзажа, песчаные дюны, поросшие хвойным лесом, широкие устья многоводных рек Вислы и Одры, медленно текущих к морю. Невольно вспоминаются холмистые гряды нашей Прибалтики, Рижское взморье, устье Западной Двины. Южнее рас-

положены Поморское и Мазурское Поозёрья. Своеобразно сочетание высоких моренных гряд, местами напоминающих горный ландшафт, с многочисленными озёрами, берега которых поросли хвойными и лиственными лесами.

Наиболее значительные по площади центральные равнины представляют собой местности, очень характерные для Польши. Это широкие, слегка всхолмленные низменности с многочисленными извилистыми и многоводными реками, текущими в широких долинах, образованных талыми водами древнего ледника.

Центральные польские низменности напоминают южные области Белоруссии и северные области Украины.

На крайнем западе — в Любушской земле — и на крайнем востоке — в Белостокском воеводстве — сохранились значительные лесные массивы. На востоке важнейший из них — Беловежская пуща.

Центральные низменности на юге постепенно уступают место полосе древних возвышенностей — Краковско-Ченстоховской и Верхнесилезской, с хребтами известняковых гор, изобилующих полезными ископаемыми, и полями пшеницы, картофеля, сахарной свёклы. Здесь расположен угольно-металлургический бассейн центральной части Сталиноградского воеводства, растущий в сторону Ченстоховы — на север и в сторону Кракова (Нова Хута) — на восток.

Солнечная, богатая зеленью, приветливая Присудетская котловина в Нижней Силезии, орошаемая Одрой, с её мягким климатом, слегка волнистой поверхностью является одной из житниц Польши. Здесь развито высокоинтенсивное земледелие, быстро растущее благодаря увеличению числа кооперативных и государственных хозяйств.

На юго-западе Польши возвышаются массивные глыбы древних Судетских гор, расчленённых глубокими речными долинами, изобилующих полезными ископаемыми, ценными строительными материалами, покрытых густыми хвойными и лиственными лесами. Отличные климатические условия, живописность местности, обилие минеральных источников способствовали возникновению множества курортов.

На южной окраине Польши лежат Прикарпатская котловина и дуга Польских Карпат, представляющих собой своеобразное сочетание горных хребтов, то высоких, суровых и обнажённых (Татры), то невысо-

ких и покрытых растительностью, с мягкими очертаниями и пологими склонами.

Достоинством рассматриваемой книги является всестороннее описание природы каждой местности. Следуя примеру своего учителя, Е. Кондрацкий характеризует и хозяйство каждого района. И хотя экономико-географическая характеристика даётся сжато, она конкретизирует описание, связывая природу с хозяйством.

К числу недостатков книги можно отнести слишком дробное членение климатических подрайонов (выделяемые двадцать один подрайон зачастую мало отличаются один от другого) и чрезмерно краткую схематичную характеристику почвенного покрова.

Труд Ленцевича—Кондрацкого базируется не только на работах самих авторов. В нём использованы также многие работы, вышедшие в Польской Народной Республике за последние годы, в том числе книга Стефана Яроша «Ландшафты Польши». Эту книгу, изданную на прекрасной бумаге, с отлично выполненными многочисленными иллюстрациями, можно с полным основанием назвать своеобразной физико-геогра-

фической энциклопедией территории народной Польши.

Труды польских географов — Р. Галёна, известного своими работами по изучению северной Польши, выдающегося карпатоведа М. Климашевского, геоботаника В. Шафера дали Е. Кондрацкому богатый материал и частично готовые выводы, использованные в его книге. Нельзя не упомянуть о нескольких крупных монографиях, посвящённых землям, возвращённым Польской Народной Республике по Потсдамскому соглашению, — Нижней Силезии, Любушской земле, Западному и Восточному Поморью, реке Одре и её бассейну.

Всё сказанное свидетельствует о значительном накоплении материалов полевых исследовательских работ, позволивших географам Польши перейти к такому ответственному и сложному этапу научной деятельности, как обобщённые, разносторонние характеристики не только отдельных областей, но и всей страны. Успехи польской географической науки — одно из ярких проявлений общего подъёма науки народной Польши.

А. ТИМАШЕВ.

★

Горький — пропагандист науки

Народ должен знать, что ныне он живёт в атмосфере, созданной для него именно наукой... И вагон трамвая, и кинематограф, автомобиль и граммофон, пуговица пиджака и градусник — всё это — полезное, забавное, мелкое и великое, — всё создано наукой».

Эти слова прозвучали около сорока лет назад со сцены Большого театра в Москве. Их произнёс, обращаясь к рабочим, крестьянам и интеллигенции, М. Горький. Великий писатель был и неутомимым пропагандистом научных знаний. Этой сравнительно мало известной стороне многогранной деятельности Горького посвящена книга М. Юнович.

Основную задачу науки Горький видел в применении её достижений для дальнейшего прогресса техники и улучшения жизни людей. Круг научных интересов Горького был очень широк. Его заметки можно увидеть не только на книгах о теории относительности Эйнштейна и неевклидовой

геометрии Лобачевского, но и на «Насущных задачах современного естествознания» К. А. Тимирязева, «Физике и её значении для человечества» О. Д. Хвольсона, «Проблемах химии в общедоступном изложении» П. Ю. Шмидта.

Высказывания писателя о создании «второй природы», послушной человеку, о необходимости широкого отражения в литературе научных знаний и развитии литературного жанра научной популяризации особенно актуальны в наши дни, когда пропаганда новейших достижений науки и техники приобретает всё более широкое значение в связи с величественными предначертаниями шестого пятилетнего плана.

«...Значение популяризации точных знаний огромно и ответственно», — неоднократно повторял Алексей Максимович.

«С тех далёких лет, — пишет в своей книге М. Юнович, — когда юноша Алексей Пешков читал ночами в пекарне «Рефлексы головного мозга» И. М. Сеченова, до статей М. Горького во славу науки, познающей природу, — через всю жизнь, весь

труд писателя проходит интерес к естествознанию».

Герой пьесы «Дети солнца» — учёный Протасов — развивает гипотезу о возникновении живого вещества из неорганической природы в процессе её развития и мечтает о создании искусственного белка. Это одна из кардинальных проблем науки сегодняшнего дня.

Хорошо известна неутомимая деятельность Горького как организатора и редактора многих научно-популярных журналов и изданий, а также его инициатива в создании таких крупнейших научных учреждений, как Всесоюзный институт экспериментальной медицины, впоследствии получивший его имя.

Ряд материалов, приводимых автором, а также интересные обобщения и выводы могут служить существенным дополнением к творческой биографии писателя. Публицистический жанр, избранный М. Юнович, потребовал точности изложения научных проблем и фактов. В книге отсутствует домысел, вполне уместный в биографической повести или романе. Она написана хорошим, образным языком.

Наиболее существенный из недостатков книги — нечёткость её композиции. Некоторые главы построены по хронологическому принципу («Научные интересы Горького в 1892—1902 годах», «Работа в области науки в 1917—1920 годах»), другие — по тематическому («Биология», «Техника»).

Посвятив одну из глав истории научного содружества Горького и Тимирязева, автор вынужден был вернуться к этому вопросу в главе «Биология», а проникнутые «горячей пропагандой технических знаний» корреспонденции Горького с Нижегородской выставки оказались оторванными от главы «Техника».

Глава «Горький и наследие великих русских революционеров-демократов» изобилует цитатами из Белинского, Герцена, Чернышевского, Писарева. Вообще автора следует упрекнуть в обилии цитат. Иногда они приводятся и там, где было бы вполне достаточно мысли самого автора.

Хотелось бы более подробно узнать о работе писателя в «Ассоциации для развития и распространения положительных наук», инициатором создания которой он был и

ряд программных документов которой составил. Жаль, что в книге не нашло своего отражения выступление Горького с лекцией «О знании» перед слушателями Петроградского Коммунистического университета в марте 1920 года.

Автор зачем-то «исправил» одно место из воспоминаний академика К. М. Быкова. Вместо «...он (Горький. — Г.М.) показывал нам много материалов об изобретателях, снимки, у него их были целые горы», читаем в книге: «...он показывал им материалы новаторских предложений — у него их были целые горы». Так волей автора фотографии превратились в «новаторские предложения».

Значительная часть книги посвящена истории знакомства Горького с научной литературой, пересказу содержания этой литературы и, в частности, отношению к науке различных писателей. Ряд этих сведений (сами по себе они бесспорно интересны) к теме книги имеет лишь косвенное отношение.

Несомненный интерес для читателя представит бы рассказ об участии М. Горького в налаживании англо-советских научных связей. По просьбе Горького английский писатель Г. Уэллс в 1920 году прислал новинки научной литературы. Алексей Максимович организовал издание части этих книг на русском языке.

Но это частные упущения. Книга М. Юнович, потребовавшая от автора большого, кропотливого труда, выполнила, как нам кажется, своё назначение.

Горький предстаёт перед нами как человек огромной культуры и эрудиции, жадно впитывавший всё новое и большое, что создавала наука. Её достижения обогащали Горького-художника, и он в свою очередь обогащал ими своих читателей, пробуждая в них интерес и глубокое уважение к всепокоряющей силе человеческого разума.

Думается, что книга «Горький — пропагандист науки» пробудит у наших молодых писателей желание глубже и шире познакомиться с достижениями современной передовой науки, раскрывающей перед человечеством широкий путь к счастью будущего.

Г. МЕНДЕЛЕВИЧ

Исчезнувший остров

Привлекает уже название этой книги: «Исчезнувший остров». Что это? Остров, который поглотили морские пучины в результате тектонических процессов? Или это ледяная глыба, оторвавшаяся от полярной суши и растаявшая во время движения к югу? Нет, речь идёт о более необычном острове — он возник и исчез в пустыне.

Эта пустыня — Голодная степь в Средней Азии. Безводная, опалённая солнцем равнина занимает территорию в один миллион гектаров. С севера она ограничена рекой Сыр-Дарьёй, с запада — песками пустыни Кызыл-Кум, с юга — северными отрогами Туркестанского хребта.

Голодная степь издавна привлекала внимание русских исследователей. Здесь много солнца, длинное лето и хорошие, плодородные почвы. Но для успешного земледелия, кроме всего этого, необходима вода. И русские почвоведы и инженеры ещё в дореволюционное время разрабатывали проекты орошения Голодной степи водами реки Сыр-Дарьи.

И. Васильков воссоздаёт почти девяностолетнюю историю борьбы отечественных учёных, узбекских, казахских и русских крестьян за освоение этой пустыни. В книге подробно описывается голодностепская равнина, её природные особенности, почвы и история её освоения. Тот, кто знает Голодную степь и знает людей, отдавших себя великой задаче преобразования природы пустынь, будет благодарен автору за то, что он вспомнил талантливых агрономов и инженеров А. Костякова, М. Бушуева, Ф. Моргуnenкова, Н. Макридина, Н. Димо, Н. Курбатова и других, долгие годы работавших в Голодной степи, создававших первые опытные посевы, осуществлявших проекты орошения.

Автор хорошо ознакомился с проблемой орошения в Голодной степи, беседовал с ветеранами-голодностепцами, ознакомился не только со специальной литературой, но и с архивными документами. Читатель узнает из книги историю создания первого проекта орошения Голодной степи в 1869 году и других, более совершенных проектов; познакомится и с попытками ороше-

ния, предпринятыми под руководством одного из «великих князей» в последние десятилетия прошлого века. Попытки эти были неудачны и привели к тяжёлым последствиям. Орошаемые и уже освоенные земли подверглись катастрофическому засолению, и крестьяне-переселенцы должны были их бросить.

Лишь в советские годы была по-серьёзному поставлена и решена проблема мирного завоевания земледельцем этой страшной пустыни. Вскоре после Великой Октябрьской социалистической революции Советское правительство рассмотрело вопросы освоения новых земель в Средней Азии. В 1918 году Совет Народных Комиссаров по инициативе Владимира Ильича Ленина принял постановление «Об организации оросительных работ в Туркестане». В этом документе предусматривалось орошение более пяти сот тысяч гектаров земель в Голодной степи.

Гражданская война помешала началу этих работ. Но, как только позволила обстановка, в Голодной степи появились экспедиции почвоведов, инженеров-мелиораторов, агрономов. Вслед за ними пришли и первые отряды строителей.

Автор рассказывает нам об этих людях. В книге не случайно выделено три биографии. Люди разной национальности и различных жизненных путей — матрос с крейсера «Варяг» Фёдор Семёнов, старший мираб (водомер) в бышем царском хлопковом имении на Мургабе Александр Орлов и чабан Дельдыбек Кульчуков — как бы олицетворяют дружбу народов СССР, многонациональный коллектив пионеров социалистического строительства в пустыне.

Александр Семёнович Орлов стал директором первого в Голодной степи совхоза, созданного в середине двадцатых годов. Этот хлопковый совхоз был тогда только небольшим островом в пустыне. Поэтому его и называли «Пахта-Арал», что в переводе с казахского и узбекского языков значит «хлопковый остров».

Совхоз «Пахта-Арал» сыграл большую роль в покорении Голодной степи. В книге рассказывается, как строились первые каналы, как распахивались лёссовые сероземные почвы, как с первых шагов благодаря опыту агрономов М. Бушуева, А. Данильченко, М. Заонегина здесь был введён пра-

Игорь Васильков. Исчезнувший остров. Редактор В. Бояркина. 168 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.

вильный хлопково-люцерновый севооборот, позволивший из года в год повышать плодородие почв и урожай хлопчатника. Каналы и дороги на усадьбе были обсажены аллеями быстро растущих деревьев; виноградники, цветники, парки и сады закрыли посёлки совхоза от жаркого солнца и пыльных бурь.

На орошаемых землях совхоза, занимающих десятки тысяч гектаров, работали рядом учёные и производственники. Они совместно решали сложнейшие задачи механизированного крупного поливного хозяйства, преодолевали трудности, которые далеко не всегда можно предвидеть и которые так осложняют работу земледельца в пустыне. Никогда не знавшие влаги, рыхлые и пористые голодностепские лёссы растворялись, как сахар, от первых «порций» воды. Просадки грунтов деформировали каналы и поверхность полей. В результате драгоценная вода уходила из оросительных каналов далеко в подпочву, а солёные грунтовые воды, лежавшие на глубине десяти — пятнадцати метров, приходили в движение и, приближаясь к поверхности почв, вызвали появление солончаков и гибель сельскохозяйственных растений. Но шаг за шагом люди вникали в причины этих явлений и учились бороться с ними.

Шли десятилетия. Совхоз «Пахта-Арал» окружила сеть новых ирригационных каналов, на равнине Голодной степи появились новые богатейшие колхозы и совхозы. Пустыня постепенно отступала под натиском советских людей, а остров хлопка превратился в обширный континент плодороднейших земель.

Мне посчастливилось много лет работать в совхозе «Пахта-Арал», и я могу сказать, что он превратился в подлинную «академию орошаемого земледелия». Подтверждением этому служит и книга И. Василькова. Не случайно вновь и вновь возвращается автор к одной из серьёзнейших проблем орошаемого земледелия — к борьбе с засолением почв: ведь Голодная степь пережила подлинную драму вторичного засоления своих почв и последствия этого всё ещё не изжиты.

Сейчас в Голодной степи орошается около двухсот тысяч гектаров. Усадьбы колхозов и совхозов, посёлки и города утопают в зелени садов и виноградников. Бесконечные пространства орошаемых полей покрыты

посевами хлопчатника, дающего высокие урожаи.

По шестому пятилетнему плану предусмотрены поистине грандиозные работы по дальнейшему освоению и орошению целинных земель Голодной степи. Учёные и инженеры Узбекской ССР уже работают над планом освоения всей голодностепской равнины. Всё это стало возможным благодаря опыту, накопленному людьми, проложившими путь научно обоснованному земледелию в пустыне.

Научно-художественная повесть «Исчезнувший остров» знакомит нас с этим опытом не в готовом виде, а позволяет проследить извилистый путь, которым шли наука и практика, путь, где наряду с победами были и поражения. Теперь, когда в Казахстане, Сибири и других районах страны по решению партии и правительства осваиваются целинные и залежные земли, читатели с интересом познакомятся с поучительными картинами борьбы советских людей за освоение целинных земель в Голодной степи.

Авторскому рассказу помогают хорошие иллюстрации. Вот документальные фотографии старой Голодной степи, такой, какой она была в начале нашего века: единичные колодцы на безжизненной равнине, землянки переселенцев-бедняков, пришедших сюда в 1913 году, землекопы, прокладывающие ирригационные каналы кетменями и лопатами, засоленные солончаковые земли. А на соседних фотографиях запечатлён сегодняшний день: чудесная гладь магистральных каналов, домики рабочих и служащих совхоза, окружённые парками, клубы и школы, цветущие сады и орошаемые поля, новейшая сельскохозяйственная техника.

Автора книги можно упрекнуть лишь в одном: напрасно он не написал о том, что догматическое восприятие и толкование некоторых неудачных высказываний В. Р. Вильямса о целесообразности применения дренажа в борьбе с засолением орошаемых почв на долгие годы задержало осуществление этого важнейшего технического средства в комплексе мер по борьбе с засолением. В целом же сложная проблема засоления почв изложена научно правильно. Некоторые неточности, заметные специалисту, не портят эту хорошую книгу.

*Член-корреспондент
Академии наук СССР В. КОВДА.*

Путь к машине

Однажды на Московский станкостроительный завод имени Орджоникидзе пришла группа десятиклассников. Начальник цеха показал школьникам гордость завода — станок последней модели. К своему удивлению, инженер заметил, что кое-кто из юношей несколько разочарован.

— По описаниям в книгах и журналах такие станки представлялись нам значительно более интересными.

Действительно, авторы научно-популярных книг и статей, стремясь рассказать о машине как можно занимательнее, порой впадают в крайность и рисуют нечто весьма далёкое от действительности, хотя и наделённое внешними чертами «производственной романтики».

Книга З. Перля «Повесть о машине» свободна от этого большого недостатка, и её читатели при первой же встрече с машинами узнают старых друзей. Автор удачно справился со стоявшей перед ним нелёгкой задачей. В книге много увлекательного материала. Интересны даже «сухие места», посвящённые описаниям взаимодействия отдельных деталей механизмов.

Несомненным достоинством книги является то, что автор не побоялся некоторого «разнобоя» в стиле. Рассказ о предистории машин, об их первых шагах, их «детских болезнях» беллетристичен. Но что останется в памяти читателя, если точно так же будут изложены «анатомия» зубчатых колёс, «секреты» передаточных чисел и многое другое, требующее сосредоточенного внимания читателя? Здесь автор прибегает к точным, кратким формулировкам, не делая попыток искусственно оживить текст. Это вовсе не значит, что подобные места излагаются стилем учебника (к сожалению, ещё сохранился такой стиль), — нет, они написаны достаточно живо. Читателя захватывает проникновенно в тайны тех механизмов, которые он видит повсюду, но обычно только снаружи.

Показательна в этом отношении одна из лучших в книге глав — «Активный мост». Автор рассказывает, как простое движение преобразуется в работу множества сложнейших деталей: одни из них вращаются, другие движутся вперёд и назад, третьи — вверх и вниз, и все выполняют задание

конструктора. А ведь не так легко объяснить, каким образом, например, шёт швейная машина, для чего служит та или другая её часть или как достигается стремительный и в то же время надёжный поворот автомобиля, спасающий иногда жизнь пешехода или водителя.

Обо всём этом в книге рассказывается понятно и предельно коротко. Хорошо, что отдельные главы заканчиваются обобщающей мыслью. Например, в конце «Активного моста» автор пишет: «Как из 32 букв алфавита складываются десятки тысяч слов нашей речи, как из немногих красок путём их подбора и смешения получается всё многообразие тонов и оттенков в картинах, как из небольшого числа звуков возникают самые различные мелодии, так из описанных механизмов конструктор создаёт машины с любым заданным рабочим движением и решает с их помощью самые сложные и, казалось бы, запутанные задачи управления этим двигателем, его регулирования». Трудно яснее изложить основную идею всей главы.

Книга посвящена не одной машине или какой-нибудь группе машин. Её задача — ввести читателя в недра машиноведения, показать, как работают те люди, к которым обращена значительнейшая часть Директив XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану.

Важнейшие проблемы стоят сейчас перед конструкторами, работающими в области машиностроения. Нужны механизмы, не боящиеся чрезвычайно высоких скоростей, давлений, температур, напряжений. В шестой пятилетке будут работать турбины, паровые котлы, генераторы и другие машины невиданных ещё мощностей. Они должны будут действовать в таких условиях, которые требуют и новых материалов и новых знаний.

Для осуществления этой грандиозной программы мало знать, как делается та или другая машина сейчас. Нужно обладать подлинным даром предвидения, проникать мыслью в завтрашний день. Нашей молодёжи необходимо знать, над чем работают творцы машин, какие трудности стоят на их пути, как они преодолеваются.

Об этом всегда должны помнить авторы книг, посвящённых технике. В «Повести о машине» таким вопросам уделено много внимания. З. Перля рассказывает о новей-

З. Перля. Повесть о машине. Редактор В. Пекелис. 352 стр. «Молодая гвардия». М. 1955.

ших методах исследования усталости металла, вибраций, о непрерывном стремлении к повышению коэффициента полезного действия машин, о трении, о рождении «спасительной детали» — шариковых и роликовых подшипников.

Очень интересна глава, посвящённая описанию того, как создавалась машина «ШС-500» — шлифовально-полировальный агрегат для изготовления зеркального стекла. Ярко показывается работа конструкторов, которых сама жизнь заставила найти новый путь. Этот путь типичен для многих технических проблем, и потому с таким интересом читается вся глава.

Есть книги, которым можно заранее предсказать долгую жизнь. К ним, несомненно, относится «Повесть о машине». Она строго научна, и в то же время её изложению свойственны одновременно простота и живость. Книга прочно стала на место, оставшееся до неё пустым, — между специальными трудами и популярными брошюрами, не задающимися целью ввести читателя в круг серьёзных проблем.

В Директивах XX съезда КПСС по шестому пятилетнему плану много внимания уделено подготовке кадров, тех новых кадров, которые так нужны теперь для всего народного хозяйства. Молодёжь станет на вахту у сверхмощных машин новых гидро- и тепловых электростанций, у реакторов атомных станций. Она будет строить и обслуживать полностью автоматизированные заводы, выпускающие уже не отдельные детали, а целые машины. На заводах тяжёлого машиностроения, на обширнейших полях нашей Родины — всюду будут трудиться рабочие очень высокой квалификации.

Огромную роль в сложном процессе повышения культурного уровня и технических знаний молодёжи играет научно-техническая литература в целом и её «лёгкая кавалерия» — научно-популярные книги. Мир техники теперь так велик и многообразен, что правильно выбрать своё место, соответствующее внутренним склонностям и возможностям, нелегко. Научно-популярные книги должны служить надёжными проводниками, которые помогут молодёжи найти правильную дорогу. Одной из таких

книг, несомненно, является «Повесть о машине».

Каковы недочёты этой хорошей книги? Хотелось бы, чтобы больше места было уделено людям, их творческой работе. В частности, это относится к главе «Рождение новой машины» — материал главы настойчиво требует этого. Нужно было шире описать «будничную» работу конструкторов, трудности, стоящие перед людьми, рассчитывающими самые ответственные детали. Приведём один пример. Известно, что при создании сверхмощных машин от детали требуется особая прочность и, следовательно, увеличение веса; а большие тяжести, движущиеся с огромными скоростями, в свою очередь предъявляют новые требования к материалу. Думается, читатель с большим интересом узнал бы, как конструктор путём остроумных и весьма сложных расчётов сумел примирить эти разные и противоречивые требования.

Более полной хотелось бы видеть и первую главу, посвящённую «предистории» машин. Напрасно автор не назвал имён некоторых видных деятелей науки о машинах, и наших и зарубежных. Главы «Тайна работающего металла», «Внутри работающей машины» и в особенности «Механические помощники в труде» могли быть изложены живее и проще. Кое-где автор прибегает к излишнему детализированию. А ведь если свод хорошо держится на двух опорах, не надо ставить третью — она явится только помехой. Глава «Активный мост» заканчивается уже упоминавшимся образным сравнением работы конструктора с деятельностью художника, музыканта. Но на странице 257 читатель снова наталкивается на то же сравнение. Это повторение не углубляет образ, а оскучивает его.

От соседства с хорошими рисунками, в основном принадлежащими известным иллюстраторам научно-популярных книг — Н. Смольянинову, С. Вецрумбу, Г. Наумову, Г. Васильевой, — проигрывают неотчётливые фотографии (например, на стр. 77).

Как всякую хорошую книгу для юношества, «Повесть о машине» с интересом прочитают не только молодые читатели.

Инженер А. МОРОЗОВ.

ОТГОЛОСКИ МИНУВШЕГО

НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ О ЛЬВЕ ТОЛСТОМ

В государственном архиве Орловской области обнаружены документы, представляющие интерес для биографии Льва Николаевича Толстого. Это — секретное «Дело о разрешении графу Илье Львовичу Толстому открыть в Мценском уезде столовую для оказания помощи пострадавшим от неурожая крестьянам», относящееся к весне 1898 года.

Хотя это «Дело» было заведено на сына Л. Н. Толстого, тем не менее во всех собранных в нём документах говорится главным образом о самом Льве Николаевиче. Это не удивительно, поскольку, как известно, действительным организатором и руководителем работы по оказанию помощи голодающим был именно Лев Толстой, приехавший в апреле 1898 года по просьбе Ильи Львовича в его имение Гринёвку Чернского уезда Тульской губернии.

До сих пор имелись крайне скудные сведения об этом периоде жизни Толстого. Работа его среди голодающих в 1898 году описана лишь очень кратко в книге его сына, Ильи Львовича, «Мои воспоминания»; о деятельности Толстого в этот период мы знаем несравненно меньше, чем о его работе в голодные дни 1891—1892 годов (см. сборник «Лев Толстой и голод», 1912, и книгу Величкиной «В голодный год с Львом Толстым», 1928).

Найденные документы позволяют значительно дополнить и уточнить известные нам скудные сведения, сообщённые в воспоминаниях И. Л. Толстого.

Как явствует из обнаруженного в Орловском архиве «Дела», открытие Толстыми столовых проходило следующим образом.

С просьбой о разрешении открыть столовые Илья Львович обратился 28 апреля 1898 года в Мценское уездное попечительство. Не добившись разрешения от попечительства, Илья Львович поехал к орловскому губернатору А. Н. Трубикину.

Видимо, боясь получить отказ и от губернатора, Илья Львович стал просить разре-

шения на открытие лишь одной столовой.

Губернатор разрешил открыть одну столовую и дал в связи с этим предписание мценскому уездному исправнику с грифом «Совершенно

секретно». В предписании есть такие строки: «...Ввиду устранения возможности известной пропаганды в столовой и дабы не испортить доброе дело и не придать ему другое назначение, как оказывать помощь бедным, я предлагаю Вам донести мне, где именно будет открыта графом Толстым столовая, кто будет ею заведывать, и независимо от сего поручаю Вам иметь неослабное наблюдение негласным образом за всем, что будет происходить в этой столовой».

8 мая 1898 года мценский уездный исправник А. А. Иванов доносил орловскому губернатору:

«...5-го числа я получил сведение, что в сельце Лопашине графом Толстым открыта столовая. Так как по Попечительству заявления об открытии столовой не поступало, а также получив предписание Вашего Превосходительства, я после молебна в местном соборе отправился в сельцо Лопашино.

До прибытия в столовую я заехал к ближайшим помещикам г-же Бендерской и г-же Чарковской.

От Бендерской я добыл следующие сведения:

Столовая в сельце Лопашине открыта 4-й день. Перед открытием столовой приходил граф Лев Николаевич Толстой. Она видела его издали. Одет он был в старую свиту, на ногах опорки и за спиной котомка. Он заходил в крестьянские хаты, справлялся о их нужде, составил список нуждающихся и объявил, что их будут кормить в столовой, которую он откроет. На просьбу крестьян других обществ кормить и их был ответ: «Пусть ваши помещики поворочают мозгами».

Со своей стороны Бендерская, отлично зная всех крестьян сельца Лопашино, находит, что нужды в открытии столовой положительно не было и открытие таковых принесёт только вред. Уже и теперь, как говорит Бендерская, слышно недовольство крестьян других деревень и тех, которые не попали в число пользующихся дарами обсадами и ужинами. Они высказыва-

вают, что они одинаковы у царя дети и что это кормит царь, и их должны кормить.

Г-жа Чарковская высказала тоже, что открытые столовых совершенно излишне и что это послужит к тому, что рабочие побросают свои места.

Приехав в сельцо Лопашино, я застал время ужина. В хате крестьянина Гордея Алёхина было собрано 40 детей и 8 взрослых; ели они гороховую похлёбку, около каждого по ломтю хлеба. Присутствовала при ужине гувернантка графа И. Л. Толстого и дочь графа, девочка лет 12. Гувернантка мне объяснила, что столовая открыта на 57 человек, заведует столовой граф Илья Львович, а ведёт хозяйство жена хозяина дома, которой выдаются продукты, привозимые из имения графа. Горячую пищу дают два раза в день, которую разнообразят: бывает картофельный суп, гороховая похлёбка, кулеш, затем каша и квас. Также сообщила, что графом открыты ещё две столовые, в дер. Каменке и Губаревке.

Вчерашнего числа мною получено письмо от г-жи Бендерской, которая приложила ведомость пользующихся в столовой крестьян сельца Лопашино и заявляет, что им, соседям, придётся ждать 3-х радостей: 1) сами будем пахать, варить рабочим, доить коров, 2) ждать за ложный ропот наказания Божьего — полного голода и 3) самое главное — это бунта и разбоя.

...Донося об изложенном Вашему Превосходительству, имею честь доложить, что негласный надзор за открытыми столовыми мною учреждён и будет иметься самое строгое наблюдение. Ожидать чего-либо противозаконного нет основания, но ропот со стороны других, не пользующихся даровой пищей, будет».

Всего было открыто в Миценском уезде девять столовых в течение трёх недель.

Из письма Л. Толстого жене Софье Андреевне от 20 мая 1898 года мы знаем, чем окончилась его и Ильи Львовича работа по открытию бесплатных столовых. По словам Толстого, орловский губернатор прислал «замечательно глупое и жалкое письмо», в котором писал, что «он разрешает одну или две столовые и потому просит больше не открывать...»

Этот конец не удивителен, если вспомнить слова В. И. Ленина о том, что в условиях царской России одна забота о дей-

ствительном (а не мнимом) удовлетворении нужд народа была равносильна агитации против правительства. Именно поэтому Ленин писал в статье «Борьба с голодающими» в 1901 году о том, что «в России всякая деятельность, даже самая далекая от политики, филантропическая (благотворительная) деятельность неизбежно ведет к столкновению независимых людей с полицейским произволом и с мерами «пресечения», «запрещения», «ограничения» и проч. и проч.».

История открытия столовых для голодающих крестьян в 1898 году Львом Николаевичем Толстым и его сыном служит яркой иллюстрацией к ленинским словам.

В. ШЕПЕЛЕВ.

г. Орёл.

★

СУДЬБА ПАДУНСКОГО ПОРОГА

«Многоводная Ангара давно прельщала человека своим географическим

положением, своею же недоступностью, своими порогами она внушала страх ему и, как дикая красавица, не давалась в руки...» Так писала 10 октября 1885 года газета «Восточное обозрение».

...Сегодня, как и века назад, бурлит и пенится могучая Ангара у Падунского порога.

Когда не существовало ещё ни железных дорог, ни знаменитого Московского тракта, Ангара была единственным путём, по которому можно было попасть из Западной Сибири в Иркутск, Кяхту, Ленский край. Посольства московских царей, направлявшиеся в Китай, поднимались по Ангаре.

По рекам и многочисленным волокам в прошлом шли грузы из глубин Сибири на Волгу. 7900-вёрстный путь продолжался обыкновенно около трёх лет. Суда приходилось тысячи вёрст тянуть против течения бечевою. Самым страшным перегоном на этом огромном пути считался порожиетый участок Ангары. Здесь часты были крушения, приводившие к гибели груза и отважных пловцов.

«Сии Ангарские пороги очень страшны. Из них Падун, Долгий и Шаманский считаются опаснейшими», — писал «Северный Архив» сто тридцать лет назад¹.

¹ «Северный Архив, журнал древностей и новостей по части истории, статистики, путешествий, правоведения и нравов». 1825 год. № 13, часть 16-я.

С появлением Московского тракта судоходство на Ангаре резко упало. Если некогда здесь проходили сотни судов, то в 1863 году, свидетельствуют записи Братского Острога, через Падун спустилось только одиннадцать судов.

Суда, плывшие из Иркутска в Енисейск, обыкновенно останавливались у Братского Острога. Здесь купцы нанимали вожей (лоцманов) и затем спускались через опасные пороги.

От ангарских лоцманов требовалась недюжинная смелость, виртуозное мастерство: нелегко провести судно через причудливую цепь каменных преград. Малейшая неловкость, неточное движение рулём — и судно может быть брошено на порог или прибрежную каменную гряду.

Восемьдесят лет назад был опубликован путевой очерк Ф. Чалеева, спустившегося по ангарским порогам на небольшом судёнышке: Очерк так и назван: «Плавание по реке Ангаре в 1875 году»¹.

...И вот наступило самое большое испытание — Падун. Здесь вода мчится с бешеной силой и кипит, словно в котле. Прежде чем ринуться в жерло грозного порога, полагалось вновь произнести слова молитвы. «...Лоцман протяжным, носовым, на старинный церковный лад, голосом прочёл известную уже молитву... Перед лодкой по сторонам рассыпались маленькие островки, за ними грохотал Падун и лежал поперёк реки уже знакомой нам чёрной полосой с высунувшимися гранитными зубьями. За первую грядой, тянущуюся версты на две, река сдавливалась громадными стенами, суживалась и неслась как будто в ущелье или в галерее... Падун рокотал громче и громче, за грядой открылся белый как снег освещённый солнцем омут... лодка начала увёртываться от подводных камней то вправо то влево... Страшный рёв стоял над Падунюм... В пороге нельзя было слышать и собственного голоса...»

Многие путешественники, купцы, учёные издавна задумывались: как укротить неприступную Ангару, как преодолеть каменный барьер на водной дороге, имеющей первостепенное экономическое значение?

¹ «Древняя и новая Россия», исторический иллюстрированный ежемесячный сборник, 1877, т. III, № 9.

Всем было ясно, что Ангара — могучая, поистине великая река. Путешественники называли её «рекой-морем», «крупнейшей рекой Старого Света», восхищались её удивительной прозрачностью, полноводием, силой. «Кому как не Ангаре быть живой артерией, по которой переливались бы богатства Востока на Запад и обратно?» — писал один из путешественников. И как заманчиво казалось открыть сквозной путь из Байкала к Енисею и далее к Карскому морю.

Одним из исследователей Ангары был декабрист Пётр Муханов, вышедший в 1832 году на поселение в Братский Острог и проживший здесь десять лет. В его переписке содержится мысль, что от каменной преграды на Ангаре «можно было бы избавиться небольшим обводным каналом». После посещения порожистого участка реки он писал: «От этого тридцативёрстного порога почти зависит всё сибирское судоходство».

В восьмидесятых годах А. М. Сибиряков получил привилегию на буксирование парходами судов по реке Ангаре «на протяжении от с. Братский-Острог до впадения её в Енисей». Нанятый Сибиряковым штурман Каллистратов пришёл из Иркутска в Енисейск на простом судне, а затем, ко всеобщему удивлению, спустился через пороги на паровом катере. Но наладить регулярное движение судов штурману-смельчаку так и не удалось.

Падун продолжал грохотать и бесноваться, наводя ужас на отважных пловцов.

И вот настала пора, когда человек властно покоряет себе суровую Ангару. Решена судьба грозного Падуна. Советские люди не собираются ни «расчищать» порог, ни обходить его каналом. Неприступный Падун и другие пороги будут утоплены в водах ангарских водохранилищ — крупнейших рукотворных морей на земном шаре.

Пройдёт несколько лет, и Падун, навсегда присмиривший и умолкнувший, окажется на дне морском, а высоко над ним по вольному простору будут плыть большие корабли, держа путь к «священному» Байкалу, в енисейские порты, к берегам далёкого Ледовитого океана.

Мих. ЦУНЦ.



РЕПЛИКИ

МУЗЕИ И КИНЕМАТОГРАФИЯ

Советские люди проявляют большой интерес к изобразительному искусству, как русскому, так и зарубежному. Наши музеи, особенно Третьяковскую галерею в Москве, Эрмитаж в Ленинграде, выставки советских и зарубежных художников посещают тысячи и тысячи зрителей.

Но что мы сделали и что делаем для того, чтобы приобщить к художественным сокровищам людей, живущих за пределами крупных городов страны?

Существует два способа популяризации изобразительного искусства: художественные издания и научно-популярные кинофильмы. К сожалению, оба способа мы используем недостаточно.

Государственное издательство изобразительного искусства (Изогиз), обязанное издавать альбомы репродукций, настенные картины, открытки и т. п., явно не справляется с этой важной культурно-просветительной задачей. Прежде всего недопустимо узок круг тех художников, которых решается пропагандировать Изогиз. Это бесконечные повторения «Утра в сосновом лесу» Шишкина или «Богатырей» Васнецова. Создается впечатление, что, вместо того чтобы дать в руки массовому зрителю лучшие образцы всего мирового и отечественного искус-

ства, Изогиз старается ограничить его интересы несколькими, пусть хорошими, но далеко не исчерпывающими всего богатства живописного наследия картинами.

За пять лет своего существования Изогиз не выпустил ни одной хорошей художественной серии. Серия «Мастера русского искусства» не достигает цели, так как качество репродукций очень низкое, и полиграфический брак только дискредитирует великих мастеров. Ссылаясь на технические и материальные трудности, Изогиз даже не пытается исправить положение, не использует опыта зарубежной полиграфии, в частности опыта стран народной демократии.

В печати уже неоднократно раздавались голоса о неудовлетворительной работе Изогиза, однако никаких признаков изменения к лучшему не заметно. Новая серия о русских художниках, в которую вошёл альбом «Маковский», — образец бездарности и безвкусицы. Подбор иллюстраций и качество их выполнения таковы, что читатель не сможет узнать ничего, кроме сюжетов, которые затрагивал прославленный русский жанрист. О его живописном мастерстве он не составит себе даже отдаленного представления.

Альбомы, выпускаемые «Советским художником», лучше по качеству выполнения. Альбом «Венецианская живопись эпохи Возрождения» содержит ряд хороших репродукций. Однако продукция издательства слишком невелика по объ-

ему, слишком ограничен круг художников, им пропагандируемых.

Пришла пора кинематографу всерьез заняться массовой пропагандой изобразительного искусства. У нас уже есть удачные опыты. Документальные фильмы «Выставка Дрезденской картинной галереи» и «Нидерландская живопись XV—XVI веков» интересно задуманы и хорошо выполнены, несмотря на отдельные неточности в передаче красок. Режиссеры Н. Береснев и Я. Миримов сумели избежать мелькания кадров, которое обычно связано с тем, что в рамках одного кинофильма по искусству стараются втиснуть как можно больше объектов. Этим недостатком страдают многие фильмы о русских художниках, такие, например, как «Поленов», «Левитан», «Шишкин».

Киноработники должны понять, что в кинофильмах, посвященных изобразительному искусству, режиссер должен помочь зрителям сосредоточиться, вдумчиво взглянуть в картину, «открыть» в ней детали (в связи с этим важно умелое кадрирование), научить ценить не один сюжет, но и живописное мастерство.

Наконец, стоит подумать и о расширении тематики и жанров таких кинокартин. Следует запечатлеть на пленку не только сокровища Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея, но и ряда других музеев и картинных галерей страны. Несомненно, большой интерес у зрителей вызовут фильмы, сделанные на материалах выставок советских и зарубежных художников. Выставок картин из частных

собраний. А почему бы киноаппарату не заглянуть в творческую лабораторию крупнейшей советских художников подобно тому, как это сделали французы в фильме о Пикассо?!

Но создать фильмы — это только половина дела. Важно, чтобы они дошли до зрителя в различных местах страны, а не промелькнули, как метеоры, лишь в столичных кинотеатрах. Надо организовать регулярно (хотя бы два раза в месяц) демонстрацию таких фильмов в возможно большем количестве кинотеатров страны.

Только при этом условии кино хотя бы отчасти сможет заменить людям музеи.

*Действительный член
Академии художеств
СССР М. АЛПАТОВ.*

★

ЕЩЕ РАЗ О СЛОВАРЯХ

В журналах и газетах наших не раз появлялись статьи и заметки, авторы которых очень убедительно доказывали насущную необходимость издания русского языка и справочников. И всё же большая часть словарей попрежнему остаётся лишь в проекте, работа над ними ведётся так туго и вяло, как будто издания эти предназначены не для современников, а для отдалённых наших потомков.

И невольно позавидуешь обилию и разнообразию словарей, представленных на демонстрировавшейся недавно в Москве выставке французской книги и графики. Тут мы видели и портативные «карманные» словарики и прекрасно иллюстрированные многотомные спра-

вочные издания по самым разнообразным отраслям науки и искусства. Были здесь и филологические словари: фонетические, этимологические, синонимические и т. д.

Недавно в прессе отмечалась удручающая медлительность, с которой Институт языкознания Академии наук СССР осуществляет издание пятнадцатитомного «Словаря современного русского литературного языка».

Не лучше, а, пожалуй, ещё хуже обстоит дело и с другими мероприятиями Академии наук в этой области.

Двадцать лет прошло с тех пор, как был выпущен «Проект древнерусского словаря». Увы, «просит» так и остался проектом. До сих пор не издано ни одного выпуска.

Голословным оказалось и другое обещание, данное институтом в 1949 году: подготовить Словарь этимологический взамен прежнего, составленного А. Преображенским (М. 1910—1916).

Много раз в печати появлялись информации о скором выходе в свет трёхтомного «Словаря языка Пушкина». Ещё в 1952 году в журнале «Вопросы языкознания» была напечатана статья, в которой подробно рассказывалось об огромном значении этого словаря: он должен был послужить образцом для составления аналогичных словарей языка других русских классиков.

Что уж мечтать о выпуске целой серии, если готовый пушкинский словарь доселе покоится в недрах Института языкознания!

До сих пор не издана книга, в которой были бы со-

браны и систематизированы замечательные русские поговорки и пословицы. Прежние издания таких сборников (Дала, Иллострова и другие) давным-давно стали библиографической редкостью. Кроме того, они устарели и не могут отвечать требованиям современных читателей.

Не удовлетворена и не менее острая нужда в подробном словаре синонимов. Неужели наши писатели, переводчики, пропагандисты, агитаторы, журналисты, педагоги, учащиеся — все те, кому необходим подобный словарь, должны разыскивать малопригодную, в сущности, книжку, составленную Н. Абрамовым более чем полвека тому назад: «Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений» (1904), или столь же несовершенный «Учебный словарь синонимов русского литературного языка» В. Павлова-Шишкина (М. 1930).

А как велика потребность в большом фразеологическом словаре, который заменил бы нам наконец дореволюционный двухтомный сборник М. Михельсона «Русская мысль и речь», где систематизированы образные слова и иносказания? Ведь со времени выхода книги Михельсона прошли десятки лет...

Очень нужен словарь архаизмов — без него новым поколениям читателей некоторые выражения в сочинениях классиков остаются неясными. Учащейся молодёжи необходим также и мифологический словарь.

Наши словари должны быть разного типа: и строго академические, и «облегчённые», и пространные, и краткие (укажем, например, на однотомник, составлен-

ный С. Ожеговым: «Словарь русского языка», выдержавший уже три издания). И выпускать их надо большими тиражами, не ставляя читателей безуспешно «охотиться» за книгами, как «охотились» они недавно за подпиской на «Толковый словарь» В. Даля и за книгой Н. С. Ашукина и М. Г. Ашукиной «Крылатые слова», которая с молниеносной быстротой исчезла с книжных прилавков.

Советские лингвисты обязаны ответить на запросы миллионов наших читателей не декларациями и обещаниями, а делами, работами.

Н. БОГОСЛОВСКИЙ.

★

ИСТОРИЧЕСКАЯ ТЕМА

За последнее время вышло немало хороших исторических романов и повестей о прошлом нашей великой Родины. Все они, как правило, изданы книгами. В журналах же — «тонких» и даже «толстых» — исторические произведения печатаются редко. Спорить с этим трудно: ясно, что тема современная — генеральная тема нашей литературы. Плохо другое: в литературных, театральных, кинематографических рецензиях можно порой уловить щегольство, нигилистическим пренебрежением к исторической теме.

Доказывать правомерность исторического жанра, имея в золотом фонде советской и мировой литера-

туры «Петра Первого» А. Толстого, «Дмитрия Донского» С. Бородина, «Чингиз-хана» В. Яна, вряд ли стоит.

Интересные книги на исторические темы у нас и сейчас появляются в небольшом количестве. Назовём хотя бы повесть «Гоголь» Юрия Гаецкого, выпущенную Детгизом в 1954 году и сейчас вновь издаваемую в том же издательстве массовым тиражом, роман Валентина Иванова «Повести древних лет», вышедший в «Молодой гвардии».

Характерно, что ни о той, ни о другой книге в печати не было даже упоминания.

Молодой украинский прозаик Ю. Мушкетик, автор исторической повести «Семён Палий», рассказывал на одном из семинаров Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей, что, задумав после первой своей книги снова работать над исторической темой, он не только не встретил поддержки, но даже услышал по своему адресу удивлённо-укоризненные реплики: мол, человек молодой, а обращается к прошлому. Подобные упрёки, конечно, несправедливы и неверны. Познание истории важно для современного читателя. И одарённый молодой автор, берущий на себя такую задачу, делает доброе и нужное дело. Кстати сказать, если бы тот же Юрий Мушкетик, работая над своей первой книгой, знал, куда он может обратиться за советом, за помощью, если бы он, по его собственным сло-

вам, не шёл зачастую ощупью в своей литературной работе, он легко избежал бы тех ошибок и недостатков, которые были обнаружены в его интересной книге в процессе обсуждения на семинаре.

Таким местом, куда мог бы обратиться за советом и консультацией писатель, работающий в историческом жанре, должен стать журнал. Вопрос о создании специального художественно-исторического журнала, где печатались бы рассказы, повести и даже крупные произведения на исторические и историко-революционные темы, вполне своевременен. Помимо беллетристики, такой журнал призван публиковать и мемуары людей, которым есть о чём вспомнить; об этом справедливо писала в «Новом мире» А. Бруштейн.

Очень соблазнительно закончить эту реплику стереотипной фразой: «К сожалению, Союз писателей не уделяет должного внимания исторической теме». Но нет, этого делать не следует: художественно-исторический журнал должен издавать не союз, а издательство. Какое? «Советский писатель»? Гослитиздат? «Молодая гвардия»? Да, скорее всего «Молодая гвардия». Ибо познание прошлого — и прежде всего историко-революционного прошлого — даёт неоценимый материал, формирующий взгляды, вкусы, интересы молодёжи, расширяющий её кругозор.

Ан. ШИШКО.



МЕЖДУ ПРОЧИМ...

ФАСТ НЕ ЭТОГО ХОТЕЛ...

Существует два перевода новой пьесы Говарда Фаста «Генерал Вашингтон и водяной». Один сделан В. Гороховым и Ю. Смирновым, второй — Г. Алперс. Известно также, что пьесу готовит к постановке театр ЦДСА.

Генерал Вашингтон оставался в фермерском доме. Между ним и молодой хозяйкой Анни происходит такой диалог:

«Вашингтон. Что ты делаешь, о женщина?»

Э.н.н. Снимаю с вас носки. Почему вы всегда сквернословите и ругаетесь, сэр?» (Перевод В. Горохова и Ю. Смирнова).

Может быть, девушка слышалась? Можно ли подвергнуть сомнению благопристойность обращения генерала? Или она так испорчена, что ей чудится сквернословие там, где его и в помине нет? Возможно, Анни — девушка с прошлым: ведь когда Вашингтон, виргинец по происхождению, пытается её поцеловать, она (в переводе В. Горохова и Ю. Смирнова) отвечает ему так:

«Меня никогда не целовал джентльмен из Вирджинии, хотя, помнится, это удавалось некоторым другим».

В переводе Г. Алперс это нескромное признание звучит так:

«Меня ещё никогда не целовал джентльмен из Виргинии, хотя я не могу ска-

зать того же про других джентльменов».

Итак, только джентльменам из Виргинии не удавалось ещё целовать юную Анни. Джентльменам из других местностей это удавалось.

На прошлое Анни намекает и солдат Браун, говоря ей:

«...Мы можем разговаривать... как люди, которые, так сказать, кое-что знают о радостях жизни...» (В. Горохов, Ю. Смирнов).

Хотя Анни молода, хотя и живёт уединённо, но времени даром, как видим, она не теряла. Трудно, однако, понять её упрёк Вашингтону в сквернословии. Генерал ведёт себя скромно, не ругается, если не считать мягкого «чёрт возьми», и испытывает явную склонность к лексикону нервных дам: «Боже, но где же генерал Гейтс?» (Г. Алперс), «Но где же, прости господи, генерал Гейтс?» (В. Горохов, Ю. Смирнов).

Объединённые усилия трёх переводчиков создали образ мягкого, нервного Вашингтона и разбитной красотки Анни. Но Фаст иначе задумал своих героев. В предисловии мы читаем. Он (Вашингтон) любил собак и лошадей, людей, женщин... знал больше бранных англосаксонских слов и пользовался ими чаще, чем любой другой человек в колониях. Анни же, по замыслу автора, является представительницей народа: это крестьянская девушка с крепкими устоями, ясной головой и здравым смыслом.

Почему же герои получились не такими, какими их задумал автор? Только подлинник пьесы ответит на этот вопрос. В подлиннике Вашингтон кричит на Анни:

«Какого дьявола ты там возишься?», а не осведомляется изысканно: «Что ты делаешь, о женщина?» Он не спрашивает дрожащим голосом: «Боже, но где же генерал Гейтс?», а выражается куда сильнее: «But where in God's name is General Gates?» Упоминание имени господина бога в английском языке часто звучит, как ругательство. Именно так оно употреблено здесь. Его явно не стоило переводить, как «боже» или «прости господи».

Теперь с помощью подлинника защитим поруганную переводчиками честь Анни. Что же она говорит Вашингтону, когда тот пытается её поцеловать? «I've never been kissed by a gentleman farmer from Virginia, although I imagine some others have». Это значит: «Не знаю как других, а меня ни один джентльмен из Виргинии никогда не целовал».

Итак, не Анни целовали все желающие, а, напротив, джентльмены из Виргинии, которые её самой не целовали никогда, могли всё же, по её предположению, целовать каких-то других женщин! Ни слова не сказано в подлиннике и о «радостях жизни», о которых, как игриво намекает Браун, «кое-что знает» Анни. Выражение «gracious part of living» следует перевести, как «изящная сторона жизни». Между людьми, кое-что знающими о радостях жизни, и людьми, знакомыми с изящной стороной жизни, — существенная разница.

Приведём несколько цитат.

В подлиннике сказано: «Ваше сквернословие стало притчей во языцех всей армии» («It's the talk of the

whole Army the language you use»).

Перевод: «Это только вашим солдатам простительно так ругаться» (Г. Алперс). «Вы разговариваете так, как все в вашей армии» (В. Горохов, Ю. Смирнов).

Подлинник: «Они погибли, они умерли, и черви их поедает» («Gone they and dead, with the worms in their bodies»). «Они ушли мёртвыми, с червями в теле», — переводит эту фразу Г. Алперс. У В. Горохова с Ю. Смирновым хватило выдержки отказаться от образа мертвеца, разгуливающего с червями в теле, но вместе с Г. Алперс они не поняли слова «gone» в данном контексте, переведя его как «ушли».

Но не всегда переводчики шагают в ногу. Иногда пальма первенства по искажению текста пьесы принадлежит Г. Алперс, иногда вперёд вырываются В. Горохов и Ю. Смирнов.

Глагол «to honor» (читать, почитать) В. Горохов и Ю. Смирнов по неизвестным причинам перевели как «жалеть», «...так я вас любила и жалела». Иногда они вносят поправки в текст Фаста. В подлиннике сказано: «Вы видели Гловера...», а в переводе: «Вы видели Гейтса...»

В подлиннике Браун говорит Анни: «Я пытался выказать вам долю того уважения, которое я к вам испытываю» («I have tried to show you some of the regard in which I hold you»). Г. Алперс заставляет слова Брауна звучать загадочно: «Я пытался высказать вам своё мнение о вас».

Какое мнение? Дурное или хорошее? Как разобратся в этих ребусах

читателю, не знающему английского языка, и как составить мнение о пьесе Фаста? Ведь наивный читатель будет судить о пьесе по переводам.

Н. И.

★

КТО НАПИСАЛ «БОРИСА ГОДУНОВА»?

Как выяснилось, проблема эта и поныне не разрешена. Небезинтересно проследить этапы борьбы мнений.

К истории вопроса. Сомнения в том, что А. С. Пушкин — автор «Бориса Годунова», зародились в тридцатые годы прошлого столетия. И. И. Лажечников, взяв для одной из глав «Ледяного дома» эпиграфом известные строки из «Бориса Годунова»:

Но час настал — и ничего не
помню.
Не нахожу затверженных
речей;

Любовь мутит моё
воображенье...

приписал их Нестору Кукольнику, автору верноподданнической пьесы «Рука всевышнего отечество спасла».

При отсутствии бюро проверки и других сверочных контрольных органов, которыми щедро оснащены современные издательства, эта точка зрения возобладавала (ещё одно чудо, совершённое рукой всевышнего).

Иной взгляд. К концу XIX века победило хрестоматийное утверждение о том, что «Борис Годунов» написан всё же Пушкиным. В издании 1900 года под упомянутыми выше строками уже стоит подпись Пушкина.

Компромиссное решение. Развитие литера-

туроведения и текстологии в тридцатые—сороковые годы XX столетия позволило прийти к более гибким решениям. Например, в издании ЗИФ 1928 года «Ледяной дом» подвергся обработке, при которой все эпиграфы были изъяты. Так проще. Однако в большинстве изданий тридцатых—сороковых годов эпиграф, очевидно согласно воле покойного автора, вновь приписывался Кукольнику, но в примечаниях делалась скромная сноска: «Стихотворение это принадлежит Пушкину («Борис Годунов»)».

Современная стадия исследования. Послевоенная дискуссия о «Борисе Годунове» характеризуется ликвидацией сноски. Эпиграф твёрдо оставлен за Кукольником. Издательства Риги, Смоленска, Тулы скрепили эту точку зрения подписями редакторов и подкрепили её солидными тиражами «Ледяного дома».

К. В.

★

ПОЖАЛЕЙТЕ УЧАЩИХСЯ!

В газете «Советская культура» (№ 44, 1956 г.) шекспироведы найдут интересное для них упоминание о до сих пор не известной трагедии великого англичанина «Леди Макбет». Что это? Неизвестный вариант известного «Макбета»? Или затерявшееся произведение о детстве и юности леди-злодейки, неопубликованная первая часть, продолжением которой послужила трагедия «Макбет»?

Сведения о неизвестном произведении Шекспира по-

дарила читателям Л. Новикова, написавшая следующее: «...Манера создания фильмов у некоторых голливудских деятелей отличается большой непринуждённостью. Берётся какое-либо классическое произведение, например, трагедия Шекспира «Леди Макбет», и...»

Нет, не советуем шекспироведам рыться в пыльных архивах в поисках неведомой трагедии. Впрочем, куда легче предположить, что такая трагедия существует, чем допустить печальное предположение, будто сотрудники «Советской культуры» не дают себе труда проверять публикуемый материал, предпочитая навязывать классикам то, чего они не писали.

:

...Можно представить себе такую фантастическую биографию известного составителя толкового словаря Владимира Даля (1801—1872). Ну, скажем так: «В. И. Даль жил во второй половине XVIII века. Он дружил с Ломоносовым, с которым его объединяла горячая любовь к живому великорусскому языку. Властная Екатерина, чьи пышные приёмы Даль был вынужден иногда посещать, пыталась заставить литератора стать придворным толкователем слов, но это ей не удалось, и т. д. и т. п.»

К сожалению, для этой фантастической биографии есть основания. Толчком к её составлению послужил фельетон Н. Ногиной «Тайна горизонта» (журнал «Техника — молодёжи» № 4, 1956 г.). Автор фельетона,

справедливо бичуя волокитчиков из Министерства коммунального хозяйства и подкрепляя критику цитатой из Даля, мимоходом, но категорически утверждает, что составитель словаря жил и работал «почти двести лет тому назад».

Фельетон Н. Ногиной полезен и нужен. Будем надеяться, что он внес смятение в ряды волокитчиков, заставив их пересмотреть методы своей работы. Но к чему же вносить смятение в ряды учащейся молодёжи?

И. Н.

★

АРБУЗ НЕ АРБУЗ...

Должен ли человек, взявший на себя труд составителя примечаний к собранию сочинений писателя, быть знакомым с именами и хотя бы с основными произведениями классиков мировой литературы? Вопрос как будто не требует ответа. Так думалось и нам, пока мы не обратились к примечаниям к шеститомному собранию сочинений А. П. Чехова, вышедшему в Москве в 1955 году в качестве приложения к журналу «Молодой колхозник».

В рассказе «Три года» имеются следующие строки (т. IV, стр. 161): «Говорили о декадентах, об *Орлеанской дева*, и Костя прочёл целый монолог; ему казалось, что он очень удачно подражает Ермоловой». Ни у персонажей чеховского рассказа, ни у читателей не могло возникнуть сомнений в том, что речь идёт о трагедии Фридриха Шиллера «Орлеанская дева», где главную

роль с неповторимым мастерством исполняла гениальная русская актриса Мария Николаевна Ермолова.

Сомнение возникло лишь у одного человека — у составителя примечаний Н. В. Осьмакова. «А поймут ли, — забеспокоился он, — читатели, о чём, собственно, речь идёт? Ведь народ молодой, в тонкостях литературных не искушённый».

И вот на странице 379 появляется примечание: «*Орлеанская дева*» («Орлеанская девственница») — сатирическая поэма выдающегося французского писателя-просветителя Франсуа Вольтера».

«Что это? — думает ошеломлённый читатель. — Типографский брак? Вклеили страницу не из той книги? При чём здесь поэма Вольтера, когда явно подразумевается трагедия Шиллера? Кто такой Франсуа Вольтер? Быть может, это Франсуа Мари Аруз, более известный под псевдонимом Вольтер? А где же автор трагедии «Орлеанская дева» Шиллер?»

Такие недоуменные вопросы возникают не раз при ознакомлении с примечаниями, составленными Н. В. Осьмаковым. Лишь объём заметки не позволяет множить число примеров.

Прочитаешь такие примечания, и вспомнятся гоголевские слова:

«Засеют как следует, а взойдёт такое, что и разобрать нельзя: арбуз не арбуз, тыква не тыква, огурец не огурец... чёрт знает, что такое!»

А. И.

КОРОТКО О КНИГАХ



БОРИС РАЕВСКИЙ. Товарищ Богдан. Рассказы о Бабушкине. Детгиз. Л. 1956. 256 стр. Цена 4 р. 75 к.

Лучшим памятником стойкому ленинцу, отважному борцу за дело рабочего класса — Ивану Васильевичу Бабушкину служат слова Ленина: «Все, что отвоевано было у царского самодержавия, отвоевано и исключительно борьбой масс, руководимых такими людьми, как Бабушкин».

Это ленинское высказывание — эпитафия аннотируемой книги.

Автор последовательно прослеживает жизненный путь своего героя: от мальчика на побегушках у купца в Апраксином дворе до крупного партийного работника — «товарища Богдана».

Героическая жизнь Ивана Васильевича Бабушкина, целиком отданная борьбе за счастье людей, послужит для молодого советского читателя примером беззаветного служения народу.

МАРИАНО ХОСЕ ДЕ ЛАРРА. Сатирические очерки. Перевод с испанского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 436 стр. Цена 8 р. 55 к.

Имя автора этой книги почти не известно советскому читателю. Между тем Мариано Хосе де Ларра на своей родине — в Испании — оставил о себе большую и добрую память. Он был одним из наиболее выдающихся представителей испанской литературной и общественной мысли начала XIX столетия. Для Испании это была эпоха, которую Маркс назвал «одной из самых трогательных и поучительных глав современной истории». Национально-освободительная война 1808—1814 годов, первая, а затем вторая буржуазно-демократические революции выявили огромные жизненные силы народных масс. Ларра выступил как писатель-патриот, вначале как поэт, а потом как сатирик-публицист.

В сборник вошли лучшие сатирические очерки и публицистические статьи Ларры.

ИВАН ИВАНОВИЧ ГОЛИКОВ. Автор текста А. Н. Рейнсон-Правдин. «Советский художник». М. 1956. 126 стр. Цена 16 р. 15 к.

Прелестные по лёгкости и изяществу уточнённого рисунка, миниатюры палешан известны далеко за пределами нашей Родины. Начиная с венецианской выставки 1924 года, всемирной выставки в Париже в 1925 году, где «Артель древней живописи» Палеха получила один из девяти «боль-

ших призов», присуждённых СССР, русская миниатюра завоевала широкое признание.

Книга о художнике-палешанине Иване Голикове раскрывает нам творческий путь этого выдающегося мастера, пионера палехской миниатюры на чёрном лаке, целовека беспокойных поисков новых тем, новой техники палехского письма, новых выразительных средств.

Значение книги о Голикове состоит в том, что наряду с обстоятельным и ясным разбором работ художника она знакомит читателя с особенностями искусства Палеха, рассказывает о том, как оно развивается в наши дни.

Ю. СЛОНИМСКИЙ. П. И. Чайковский и балетный театр его времени. Государственное музыкальное издательство. М. 1956. 336 стр. Цена 15 р. 75 к.

Кто не испытывал глубокого наслаждения прославленными балетами Чайковского! Тема этой книги — знакомство с замыслами великого композитора и процессом его творчества — близка всем любителям и ценителям искусства. Желая восстановить историю создания балетов Чайковского, автор привлёк много первоисточников, в числе которых и ряд неопубликованных рукописей Чайковского, Глазунова, известного балетмейстера XIX века Петипа.

В книге прослежено, как Чайковский решительно порвал с традицией, которая «отождествляет балет с музыкальным балаганом», и, развивая принципы Глинки, создал замечательные образцы классической балетной партитуры.

Н. Л. СТЕПАНОВ. Мастерство Крылова-баснописца. «Советский писатель». М. 1956. 292 стр. Цена 6 р. 50 к.

В книге анализируется мастерство великого русского баснописца И. А. Крылова. Используя богатый и обширный материал, исследователь обстоятельно знакомит читателя с творческой лабораторией баснописца, с народными истоками его творчества, с композиционной манерой писателя, с принципами отбора поэтических средств художественно-сатирического иносказания.

ИНГЕР ХАГЕРУП. Стихотворения. Переводы с норвежского. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 72 стр. Цена 85 к.

Современная норвежская поэтесса Ингер Хагеруп приобрела широкую известность в годы второй мировой войны своими стихами, направленными против фашизма. После

войны Ингер Хагеруп — активная участница борьбы за мир, за свободную, независимую Норвегию.

В переводе стихов Ингер Хагеруп приняли участие А. Ахматова, М. Петровых, Н. Грыбачёв, Е. Долматовский и многие другие поэты и переводчики.

Составитель сборника и автор краткого предисловия — Н. Крымова.

Т. ЛИВАНОВА. Моцарт и русская музыкальная культура. Музгиз. М. 1956. 112 стр. Цена 3 р. 10 к.

«Моцарт поистине завоевал и покориł умы русских музыкантов — представителей высокой и самобытной национальной культуры» — это своё положение, высказанное в начале аннотируемой книги, автор доказывает ходом дальнейших рассуждений.

Чайковский видел в Моцарте свой идеал прекрасного. «Какая глубина! Какая смелость и какая стройность!» — говорится о Моцарте в маленькой трагедии Пушкина.

Автор книги раскрывает перед читателем существо непреходящего обаяния великого австрийского композитора, показывает то влияние, какое оказывала его музыка на развитие русской культуры.

ФЕРДИНАНД ФРЕЙЛИГРАТ. Избранные произведения. Перевод с немецкого. Государственное издательство художественной литературы. М. 1956. 472 стр. Цена 6 р. 90 к.

Имя Ф. Фрейлиграта вошло в историю литературы как имя поэта-трибуна немецкой революции 1848—1849 годов, одного из сотрудников Маркса и Энгельса в «Новой Рейнской газете». Дружба и многолетнее сотрудничество с Марксом и Энгельсом оказали благотворное влияние на творчество поэта.

Настоящий сборник является первой попыткой дать русскому читателю широкое и последовательное представление о творческом пути видного немецкого поэта, ознакомиться с различными этапами этого пути. С этой целью в сборник включены не только избранные стихотворения Фрейлиграта, но и ряд его писем, в том числе письма К. Марксу, представляющие собой ценный комментарий к творчеству поэта.

Сборнику предпослана вступительная статья А. Дымшица.

А. Л. РЕУЭЛЬ. Русская экономическая мысль 60—70-х годов XIX века и марксизм. Госполитиздат. М. 1956. 424 стр. Цена 10 р. 20 к.

Формирование взглядов первых русских марксистов связано с проблемой рождения большевизма — ведущей революционной силы в России. В книге освещена одна из частей этого важного вопроса — показано влияние трудов Маркса и Энгельса на развитие русской прогрессивной экономической мысли.

ГЕОГРАФИЯ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. Географгиз. М. 1956. 136 стр. Цена 3 р. 50 к.

Эта книга — сборник статей сотрудников Академии наук СССР — знакомит с важ-

нейшими проблемами развития современной китайской экономики. В ней показана роль научных географических исследований в изменении экономического облика Китая.

Обобщая опыт экономического развития народного Китая, книга служит ещё одним свидетельством жизненной силы крепнущего социалистического строя народного Китая.

И. Г. БЛЮМИН. Очерки современной буржуазной политической экономии США. Госполитиздат. М. 1956. 280 стр. Цена 6 р. 75 к.

Книга содержит критический анализ буржуазных экономических теорий США. Автор разоблачает попытки буржуазных экономистов приукрасить и оправдать капиталистические монополии и военно-государственный монополистический капитализм, подвергает критике современные буржуазные «теории кризисов» и «антикризисные» программы.

В заключительной части книги рассматриваются работы прогрессивных американских экономистов, ведущих борьбу против реакционных теорий в политической экономии.

ЗА КРУТОЙ ПОДЪЕМ ЖИВОТНОВОДСТВА. Сельхозгиз. М. 1956. 256 стр. Цена 4 р. 80 к.

В сборнике рассказывается об опыте передовиков животноводства — участников Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1954 и 1955 годов. Со статьями выступают председатели колхозов, директора машинно-тракторных станций, агрономы, учёные. Материалы книги охватывают различные по природным и экономическим условиям районы страны — Курскую, Московскую и Полтавскую области, Ставропольский край, Украину, Казахстан.

РАДИОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА И ИХ ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ. Издательство Академии наук СССР. М. 1956. 128 стр. Цена 1 р. 90 к.

Книжка эта вышла в научно-популярной серии Академии наук СССР и подробно описывает малоизвестные области применения радиотехники и электроники. Читатель получает интересные сведения о применении методов радиозлектроники в различных областях науки, техники и производства.

В. НОВИКОВ. Из истории освоения Советской Арктики. Госполитиздат. М. 1956. 216 стр. Цена 2 р. 80 к.

Планомерный штурм труднодоступной Арктики начался с первых же лет существования Советского государства.

Книжка В. Новикова состоит из разделов, соответствующих основным этапам освоения Арктики советскими людьми. Перед читателем проходят подвиги бесстрашных исследователей, в том числе экспедиция «Сибирякова», челюскинская эпопея, дрейфующие станции «Северный полюс». Отдельные главы книги рассказывают о первых полярной индустрии, о новой жизни народов Крайнего Севера.

Сдаются в печать...

Большинство новинок советской поэзии выпускают издательства «Советский писатель», «Молодая гвардия» и Детгиз.

В издательстве «Советский писатель» в скором времени выходят «Стихотворения» украинского поэта А. Копштейна. Студент Литературного института, он добровольцем ушёл на финский фронт и в 1940 году погиб, спасая раненого друга. Ему было тогда немногим больше двадцати лет.

В одном из стихотворений поэт писал:

Если я упаду, умирая,
Будь во взгляде последнем моём —
Молодая, живая, сырая,
Та земля, на которой живём.

Стихи А. Копштейна, искренние, мужественные, раскрывающие черты нашего молодого поколения, продолжают жизнь поэта-бойца.

Произведения старейшего сибирского поэта Ивана Ерошина ещё до революции печатались на страницах «Правды». Свообразие его творчества, отчётливо проявившееся в выходящей книге стихов, — в близкой связи с поэзией народов Алтая: жителей тайги, охотников, звероловов.

Ленинградский поэт Всеволод Азаров много лет изучал жизненный путь вождя немецкого пролетариата Эрнста Тельмана. Поэма В. Азарова «Товарищ Тельман» выйдет вскоре отдельной книгой в Ленинградском отделении издательства «Советский писатель».

Семён Кирсанов включил в книгу «Стихотворения» свою лирику и лирико-публицистические произведения — от первых поэтических опытов, относящихся к двадцатым годам, до стихов последнего времени.

Среди поэтических сборников, подготовленных к печати в «Молодой гвардии», следует назвать первую книгу лирических стихов даровитого двадцатидвухлетнего бурят-монгольского поэта Солбона Ангабаева «Табунная степь».

Наши читатели знают уже о недавно обнаруженных тетрадях Сергея Чекмарёва (см. «Новый мир» № 1 за 1956 год). Вскоре «Молодая гвардия» выпустит книгу объёмом около десяти печатных листов: «Стихи, письма, дневники», содержащую всё сохранившееся литературное наследие безвременно скончавшегося молодого поэта.

Книга «Стихи и поэмы» Назыма Хикмета включает старые произведения поэта, а также ряд новых вещей, публикуемых впервые. Особый интерес представляют отрывки из большой эпопеи «Человеческая панорама». Она была написана в турецкой тюрьме в годы 1942—1950. В настоящее время собрана только одна книга из девяти, которые по частям были переданы поэтом из тюремной камеры на волю с помощью различных людей. «Человеческая панорама» — поэтическая история XX века.

Произведения греческого поэта Алексиса

Парниса, особенно его поэма «Сказание о Никосе Белояннисе», успели уже полюбить советским читателем. Книга «Греция — моя родина» будет первой большой книгой поэта, выпускаемой в русских переводах. Предисловие к книге написано Назымом Хикметом.

Лауреат Государственной премии Польской Народной Республики Виктор Ворошильский окончил в этом году аспирантуру при Литературном институте в Москве. Сборник его стихов, впервые издающихся в русских переводах, автор назвал «Десять лет молодости». Это название напомнит читателю о десятилетия народной Польши.

*
*

Родители осаждают Государственное издательство детской литературы письмами: трудно достать книжки для дошкольников! Но повинен в этом не только Детгиз. «Повинен» и от года к году растущий в нашей стране спрос на хорошую детскую книжку.

В прошлом году только по редакции литературы для дошкольников вышло около ста названий общим тиражом свыше сорока одного миллиона экземпляров. В нынешнем году этот солидный тираж будет превзойдён.

Какими же книжками порадует Детгиз самых маленьких читателей или, точнее, слушателей? Назовём некоторые из них.

С. Маршак написал новую весёлую книжку для малышей «Приключения в дороге».

В его пересказе выходят английские народные песенки: «Плывёт, плывёт кораблик». Часть песенок появляется в русском переводе впервые. Книжка снабжена цветными рисунками В. Конашевича.

«Алёнка» — рассказ в стихах о детях, о детском саде — первая книжка молодого поэта Л. Зубковой. Цветные рисунки М. Успенской.

Художник К. Ротов выполнил цветные иллюстрации к выпускаемому отдельной книгой двум поэмам С. Михалкова — «Дядя Стёпа» и «Дядя Стёпа-милиционер».

А. Рождественская написала книжку «Интересные неизвестные». Это загадки в стихах.

Читатели «повзрослее» (те, что именуются «младшим возрастом») также получат немало интересных книг.

Ю. Яковлев написал поэму «Петрушка». Герой её — бродячий кукольник, участник революционных событий 1905 года.

Иркутский поэт И. Луговской выпускает сборник стихов о родной Сибири «Кто разбил лёд?».

«Мартышкино завтра» — так называется сказка Б. Заходера, обращённая к ребятам, злоупотребляющим словом «завтра».

Я. Аким сдал в печать сборник стихов «Что говорят звери».

Сборник стихов и рассказов в стихах Г. Мамлина носит название «Никита едет в лагерь».

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

К. Маркс и Ф. Энгельс. Святое семейство или критика критической критики. 240 стр. Цена 5 р.

Заявление Правительства СССР по вопросу о разоружении. 16 стр. Цена 20 к.

Пребывание Н. А. Булганина и Н. С. Хрущёва в Англии. 88 стр. Цена 90 к.
Дж. Ф. Брей. Несправедливости в отношении труда и средства к их устранению. 260 стр. Цена 6 р. 60 к.

Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. Том II. 884 стр. Цена 18 р.

С. Мурашев. Ленинская «Искра» и Нижегородская организация большевиков. 152 стр. Цена 2 р. 40 к.

В. П. Нихамин. Японо-американские противоречия на современном этапе. 128 стр. Цена 2 р.

В. В. Рымалов. Колониальная экспансия финансового капитала США под флагом «помощи». 200 стр. Цена 3 р.

Первая русская революция и международное революционное движение. К пятидесятилетие первой русской революции 1905—1907 годов. Часть II. 512 стр. Цена 12 р.

М. Н. Тихомиров. Древние русские города. 480 стр. Цена 15 р.

Н. И. Толоконский. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

Энвер Ходжа. Албанский народ — за мир и социализм. 164 стр. Цена 4 р.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

А. Акимова. Первое сентября. Повесть. 284 стр. Цена 5 р. 10 к.

Е. Горбань. Данила Сагайдак. Дум старого казака. Стихи. 52 стр. Цена 1 р.

А. Злобин. Рождение будущего. Очерки. 228 стр. Цена 4 р. 15 к.

Ю. Капусто. Жизнь Анны Акимовой. Повесть. 192 стр. Цена 3 р. 80 к.

И. Кобзев. Мои знакомые. Стихи. 112 стр. Цена 1 р. 25 к.

С. Мелешин. Родные люди. Рассказы. 228 стр. Цена 2 р. 70 к.

Ф. Наседкин. Испытание чувств. Роман. 376 стр. Цена 6 р. 55 к.

С. Федорченко. Детство Семигорова. Роман. 344 стр. Цена 5 р. 75 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Акоп Акопян. Сочинения в одном томе. Перевод с армянского. 368 стр. Цена 7 р. 20 к.

Николай Асеев. Памяти лет. Сборник стихотворений 1912—1955. 448 стр. Цена 9 р. 10 к.

В. В. Вересаев. Повести и рассказы. 560 стр. Цена 10 р. 85 к.

Генрих Гейне. Собрание сочинений в десяти томах. Перевод с немецкого. Том I. 386 стр. Цена 10 р. 50 к.

Георгий Гулиа. Повести и рассказы. 616 стр. Цена 10 р. 75 к.

Дереник Демирчян. Вардананк. Исторический роман в двух книгах. Перевод с армянского. 736 стр. Цена 15 р. 85 к.

Исландские саги. 784 стр. Цена 12 р. 70 к.

Павел Кустов. Стихотворения. 195 стр. Цена 6 р.

Генри Лаусон. Австралийские рассказы. Перевод с английского. 80 стр. Цена 1 р. 20 к.

В. Луговской. Избранные произведения в двух томах. Том I. 316 стр. Цена 8 р. Том II. 340 стр. Цена 9 р. 65 к.

Ф. М. Решетников. Избранные произведения. В двух томах. Том I. 616 стр. Цена 12 р. Том 2. 656 стр. Цена 12 р. 25 к.

А. Решетов. Стихотворения и поэмы. 315 стр. Цена 7 р. 30 к.

Русские частушки. 496 стр. Цена 6 р. 10 к.

К. Ф. Рылев. Стихотворения. Статьи. Очерки. Докладные записки. Письма. 443 стр. Цена 8 р. 35 к.

С. Скиталец. Кандалы. Исторический сказ в трёх частях. 456 стр. Цена 3 р. 30 к.

Стихи о Ленине. 232 стр. Цена 6 р. 25 к.

Е. Чарени. Избранное. Перевод с армянского. 408 стр. Цена 10 р. 75 к.

Ованес Шираз. Стихотворения и поэмы. Перевод с армянского. 328 стр. Цена 6 р.

А. Ширванзаде. Хаос. Перевод с армянского. 320 стр. Цена 5 р. 90 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Василий Ардаматский. Встречи. Рассказы. 320 стр. Цена 5 р. 95 к.

Вожатые о своей работе. Сборник. 168 стр. Цена 2 р. 15 к.

Феликс Дзержинский. Дневники и письма. Перевод с польского Ф. Кона, С. С. Дзержинской, И. Ф. Дзержинского и М. Развадовской. 192 стр. Цена 3 р. 85 к.

И. Ефремов. Великая дуга. Повести и рассказы. 744 стр. Цена 12 р. 80 к.

Пионерское лето. Сборник. 430 стр. Цена 9 р. 60 к.

И. Пешкин. Молодые прокладывают пути. (Григорий Пометун, его учителя и товарищи). 96 стр. Цена 1 р. 40 к.

Владимир Солоухин. За синь-морями. 184 стр. Цена 2 р. 75 к.

В. Г. Фёдоров. Кто был автором «Слова о полку Игореве» и где расположена река Каяла. 176 стр. Цена 4 р. 15 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Карл Фридрих Гаусс. Сборник статей. 310 стр. Цена 11 р.

Литература славянских народов. Выпуск 1. Адам Мицкевич. К 100-летию со дня смерти. Сборник статей. 162 стр. Цена 8 р. 65 к.

Морелли. Кодекс природы. 300 стр. Цена 6 р. 60 к.

А. М. Терпигорев. Воспоминания горного инженера. 271 стр. Цена 6 р. 25 к.

А. И Шнеерсон. Подчинение буржуазного государства монополиям. 443 стр. Цена 15 р. 25 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ НАУК РСФСР

Звено юных пионеров. 112 стр. Цена 1 р. 65 к.

Политехническое обучение в преподавании математики. Из опыта работы в V—X классах. 228 стр. Цена 4 р. 70 к.

Физическое воспитание в детском саду. 148 стр. Цена 2 р. 90 к.

П. М. Якобсон. Психология чувств. 238 стр. Цена 6 р. 65 к.

ГОСТЕХИЗДАТ

М. Лауэ. История физики. Перевод с немецкого. 230 стр. Цена 7 р. 35 к.

Н. И. Лобачевский. Три сочинения по геометрии. Геометрия. Геометрические ис-

следования по теории параллельных линий. Пангеометрия. 416 стр. Цена 14 р. 60 к.

Ф. В. Майоров. Электронные регуляторы. 492 стр. Цена 14 р. 20 к.

Н. Н. Сытинская. Луна и её наблюдение. 255 стр. Цена 5 р. 55 к.

М. П. Шаскольская. Кристаллы. 228 стр. Цена 6 р. 60 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Бертольд Брехт. Стихи. Роман. Новеллы. Публицистика. Перевод с немецкого. 659 стр. Цена 18 р. 15 к.

Мбийю Коинанге. Говорит народ Кении. Перевод с английского. 120 стр. Цена 2 р. 20 к.

Эльза Триоле. Неизвестный и другие рассказы. Перевод с французского. 445 стр. Цена 13 р. 65 к.

МЕДГИЗ

А. М. Геселевич. Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова. 264 стр. Цена 8 р. 65 к.

Н. Б. Тамбиан. Марафонский бег в свете врачебных исследований. 188 стр. Цена 6 р. 15 к.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

Р. М. Кофман. Всесоюзные первенства по шахматной композиции. 312 стр. Цена 8 р. 25 к.

Н. А. Макаревич. Организация работы физкультурного коллектива. 146 стр. Цена 2 р. 40 к.

А. А. Светов. Это будет на спартакиаде. 176 стр. Цена 3 р.

КРЫМИЗДАТ

Н. И. Полотай. Басни. 64 стр. Цена 95 к.

ЛЕНИЗДАТ

На заводах Ленинграда. Сборник статей. 260 стр. Цена 3 р. 40 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

Б. Н. Агапов (зам. главного редактора), **С. Н. Голубов**,
А. Ю. Кривицкий (зам. главного редактора), **Б. А. Лавренёв**,
М. К. Луконин, **А. М. Марьямов**, **Е. Успенская**, **К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Еход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 4/VI 1956 г.

А 07281. Формат бумаги 70×108¹/₁₆. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 140.000. Заказ № 1254

Получено к печати 2/VI 1956 г.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова, Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.